

BIBLICAL LITERATURE

Вилис Лацис

Буря

Постановлением Совета Министров СССР Лацису Вилису Тенисовичу за роман «Буря» присуждена СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ второй степени за 1948 год

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая

1

Поезд Рига — Взморье был набит битком. Карлу Жубуру пришлось простоять всю дорогу. После станции Приедаине освободилось одно место, но как раз между двумя заносчивого вида субъектами, слишком заботливо оберегавшими свои костюмы. Один поминутно расправлял складки серых брюк, заглаженные до такого совершенства, что они напоминали отточенные лезвия, другой все время ощупывал тщательно завязанный полосатый галстук и придерживал шляпу из жесткой соломки, которая лежала у него на коленях вверх дном, так, чтобы всем видна была белая шелковая подкладка с маркой фирмы. «Джек Арроусмит — Нью-Йорк», — прочел Жубур. «Вероятно, из моряков, а может быть, коммивояжер или просто фронт — хвастается контрабандной шляпой». И он невольно вспомнил своего сослуживца по посредническому бюро Атауги, карапуза Бунте. У того вечно торчат из карманов пиджака или пальто несколько английских или французских газет, хотя Бунте ни по-французски, ни по-английски не знает ни слова. Тоже шик своего рода. Жубур улыбнулся. Вот и он сам: что ему эти пассажиры! Люди незнакомые, не имеют к нему никакого отношения, к вечеру он позабудет об их существовании, а все-таки, когда один из них снова расправил складки брюк, он машинально взглянул себе на колени и отодвинулся от соседей. Изомнешь еще — ведь вся его солидность заключается в этом шевиотовом костюме!

Он снова улыбнулся, на этот раз грустной, горькой улыбкой — улыбкой неудачника. Да, особенных поводов к ликованию или зазнайству у него нет. За плечами уже тридцать два года, а что собственно он собой представляет? Один из легиона людей без постоянной работы, без перспектив занять штатную должность в государственном или муниципальном учреждении. Впереди ни стажа, ни надежд на пенсию за выслугу лет. Получишь вот так среднее образование, одолеешь за два года первый курс экономического факультета, а потом и числись безработным интеллигентом, пока какой-нибудь Атауга не примет тебя на пятьдесят латов в месяц в свою посредническую контору.

Контора носит претенциозное название «бюро»; каждую субботу, а в экстренных случаях и среди недели, в газетах «Яунакас Зиняс» и «Брива Земе»[1] появляются объявления о хороших солнечных квартирах, которые можно снять при содействии этого бюро в любом районе Риги. Атауга каждый сезон шьет у Оркова новый костюм, на бал прессы он является во фраке и цилиндре, и на следующий день газеты печатают снимки, на которых этот деятель представлен в кругу столпов торговли и промышленности, а иногда даже его голова

высовывается из-за плеча Беньямина-старшего[2] или самого Ульманиса, так что приятное возбуждение несколько дней заставляет розоветь полные щеки Атауги. Он пользуется радостями жизни, он счастлив. У него есть пятиэтажный дом в центре города, дача в Дзинтари, семиместный бьюик, сын, дочь, жена, страдающая сахарной болезнью... ну, и маленькая блондиночка, которую он навещает украдкой.

Когда Тупинь, издатель еженедельного журнальчика «За кулисами», начинает слишком откровенно намекать в своих фельетонах на тайные увлечения главы известного посреднического бюро, господина А., — Атауга разыскивает в телефонной книжке его номер и берет трубку. Каких-нибудь сотни две латов — и дело улажено.

А Жубур рыщет по улицам в поисках наклеенных на оконные стекла билетиков, выспрашивает дворников и управляющих домами. Он довольно хорошо изучил все неблагоустроенные дома, где часто меняются жильцы, где никогда не бывает солнца, где квартирная плата высока и требуется дорогой ремонт за счет съемщика. В случае удачи он получает сверх месячного оклада двадцать — тридцать латов, покупает новую рубашку, галстук, полдюжины носовых платков и билет в театр. Но стоило ли кончать среднюю школу и изучать экономические науки, чтобы потом охотиться за освобождающимися квартирами или убеждать какого-нибудь чудака в том, что у темных и сырых комнат имеются свои достоинства (особенно в жаркие летние месяцы!)? Для этого достаточно обладать некоторой долей развязности и хорошо подвешенным языком. Все равно самым пронырливым агентом бюро был и останется Бунте — тот самый, с иностранными газетами в карманах, — хотя голова у него не обременена знаниями и он с подозрительным усердием выводит свою фамилию в ведомости на жалованье. Даже позавидовать нечему...

Откровенно говоря, Жубур не завидовал и Атауге со всеми его бьюиками, балами прессы и сложными взаимоотношениями с журнальчиком «За кулисами». Не то чтобы покойный отец сумел привить ему умеренные жизненные идеалы, хотя старик Жубур, до конца дней проработавший на лесопилке, с детства вдалбливал сыну, что в жизни надо довольствоваться малым. Постоянное место в солидном учреждении, где служащие ходят в галстуках и с портфелями, пенсия на старости лет, а больше человеку и желать нечего.

— А когда крепко встанешь на ноги, тогда и жениться можно. Да не бери первую попавшуюся, а сперва присмотришь, разузнай, что у нее есть за душой. Взять голь перекатную легче легкого, а потом изволь корми и одевай ее весь век. Уж если брать, так чтобы была одна-единственная у родителей, чтобы у отца в деревне имелось хорошее хозяйство, — вот тогда и на черный день грош-другой отложить можно... Любовь! Да разве приданое помешает любви, разве без него крепче любится? Это в какой книге написано?

Старик уже шестой год покоится на Мартыновском кладбище, по правую сторону от жены, а сыну, видимо, не пошли впрок отцовские поучения, — он до сих пор не может найти постоянной работы, до сих пор еще не встретил девушку, которая должна принести ему в дом достаток. Жизнь в свою очередь не припасла для него счастливого случая, который вывел бы его на широкую дорогу.

В вагоне стояла духота, пахло потом. Июльское солнце заливало скошенные луга с сохнувшим на них сеном. Сивая лошаденка чесала бок о ствол березки, отбиваясь хвостом от назойливой мошкары. Березка раскачивалась, вздрагивала зеленая макушка, и казалось, деревце силится отмахнуться от непрошенной соседки.

Два подростка-школьника сосали шоколад и разглядывали украдкой молодых женщин.

— Вот в прошлое воскресенье здорово было, — торопливо рассказывал один. — Я три раза купался. Раз как захлестнет меня волной, прямо полон рот воды набрал... Фу — до чего соленая...

— Нельзя так, Лаймон, — строго уговаривала худощавая немолодая женщина мальчугана лет трех, который протягивал ручонки к красному уху сидящего рядом старика. — Так нельзя, дядя рассердится.

Ребенок, смеясь, продолжал тянуться к красному, необычайно большому уху. Владелец его дремал, заслонившись газетой.

Разные люди были в вагоне. И унылые и веселые, молчаливые и говоруны. Жубур никого не знал, и ему было томительно скучно среди этого множества людей. Ни их дела, ни их разговоры не затрагивали его, не вызывали любопытства. «Но ведь все они что-то думают, к чему-то стремятся, какие-то желания, какая-то необходимость заставили их сегодня выйти из дому, очутиться в вагоне, каждый из них надеется что-то пережить за сегодняшний день. Чем они хуже меня?..» — думал Жубур.

Было воскресенье, июль 1939 года. В такие дни многие рижане едут на Взморье. Жубур тоже поехал. Пока человек живет, он должен что-то делать, — нужно ему это или не нужно, приносит пользу или нет. Да и откуда ему знать это, если он не нашел своего места в жизни, не знает даже, чего ждет от нее.

Жубур этого не знал. Он просто существовал. Он прозябал. 2

В Дзинтари Жубур сошел с поезда и направился прямо к пляжу. Скоро он почувствовал всю неуместность крахмального воротничка и черных полуботинок. От раскаленных солнцем дюн веяло нестерпимым жаром. И хоть бы легчайшее дуновение ветерка! Сосны стояли, не шелохнувшись ни одной веточкой. Точно застывшие, лежали воды залива, даже за последней отмелью было ясно видно дно.

Жубур сразу вспотел. Следуя примеру других, он снял пиджак и медленно зашагал по направлению к Майори. Да и не так просто было лавировать между лежащих на песке, принимающих солнечные ванны людей и кучек сложенного платья. У него в глазах зарябило от ярких купальных костюмов, разноцветных пижам, от коричневых, желтых, красных и бледных, еще не тронутых загаром человеческих тел. Худощавые лежали рядом с упитанными; юношески стройные мускулистые фигуры двигались среди старчески дряблых туш. В песке возле воды возились дети, рыли канавки, строили крепости и дворцы.

Не зная, куда приткнуться, из конца в конец пляжа слонялись одиночки, вроде Жубура. Семейные располагались где-нибудь на дюнах; одни загорали, подставляя солнцу то спину, то грудь, другие закусывали бутербродами, запивая их из бутылок тепловатым лимонадом, или, прикрыв головы носовыми платками, просматривали газеты и иллюстрированные журналы. Иные, разомлев от жары, сонным взглядом провожали снующую мимо публику.

Часто, когда люди сбрасывали с себя костюмы, можно было прийти в заблуждение относительно их социальной принадлежности. Портной-подмастерье с значительным выражением лица вполне мог сойти за коммерсанта, а стройная манекенша притягивала гораздо больше взглядов, чем дочка фабриканта, которой почему-то не придали грации даже папины доходы.

Бойко шла торговля мороженым и лимонадом. Словно для того, чтобы еще сильнее подчеркнуть пестроту пляжа, в толпе расхаживали продавцы воздушных шаров с колеблющимися над головами красными, синими и зелеными гроздьями. По двое, по трое бродили подростки с рабочих окраин — их можно было узнать по темным пиджакам и простым ситцевым рубашкам. Этот предприимчивый народ громко отпускал самые смелые замечания: от их острых языков никому не было спуска. Они заигрывали с приглянувшимися девушками, вступали в разговоры с незнакомыми людьми. Только когда в поле зрения появлялся полицейский, они немного стихали.

Навстречу Жубуру шествовала группа мужчин в белых теннисных костюмах и в темных очках. У всех у них застыло на лицах одинаковое выражение: они как будто брезгливо обнюхивали воздух, взгляды их скользили поверх толпы. Они ни на кого не смотрели, никого не замечали. Преисполненные чувства собственного превосходства, они не могли примириться с мыслью, что на пляже имеет право появляться всякий, кому вздумается.

Да, много разного народа отдыхало на пляже. Были здесь и рабочие, приехавшие подышать свежим воздухом после тяжелой трудовой недели. Появлялись и почтенные собственники и спекулянты, надеявшиеся согнать в морской воде, под жарким солнцем килограмма два жира. Здесь были матери с дочерьми, взыскующими брачных уз, и любители нечаянных приключений; были тихие, созерцательные натуры с биноклями, направленными из-за дюн на купальщиц, и, наконец, люди, которые хоть раз в неделю старались казаться не тем, чем они были. Приказчик с усиками Кларка Гебла бросал на женщин победоносные взгляды покорителя сердец, девица из ночного бара «Фокстротдиле» выдавала себя за кинозвезду, а цветные шапочки студентов-корпорантов[3] еще издали грозно предупреждали: «Дорогу будущему Муссолини! Мы плюем на вас, плебеи!»

Жубур почувствовал, что у него начинает жать левый ботинок. Разыскав укромное местечко на дюнах, он разулся. «За каким чертом я сюда приехал?» Не то чтобы эта толчея, этот шум мешали ему. Наоборот, он чувствовал себя здесь еще более одиноким. Окружающие были сами по себе, он сам по себе. «И все мы так: толкаешь локтями соседа, а сам так же далек от него, как Юпитер от Земли. Но ведь есть же, должно быть, между нами что-то общее, даже когда мы не сознаем этого. Если бы произошло что-нибудь, если бы сама жизнь сблизила нас, сделала участниками каких-нибудь значительных событий. Но разве это случается каждый день?..»

Жубур лениво подумал, что не мешало бы выкупаться, благо трусы он захватил с собой. Только кто присмотрит за платьем? В газетах каждый день пишут про обворованных купальщиков. Изволь тогда в одних трусах возвращаться в город. Нет уж, незачем рисковать.

На солнцепеке разболелась голова. Глаза утомлял мерцающий блеск воды. Жубур растянулся на песке, закрыл глаза. Чем дальше, тем сильнее овладевало им мучительное чувство пустоты. Пустота была вокруг него и в нем самом. Какая мелкая, тусклая, бесцельная жизнь! И ведь будто нет особых причин для тоски, но почему тогда ничто его не радует?

Давно еще, когда Жубур только что окончил школу, он был полон надежд на будущее, но двенадцать лет сплошных неудач иссушили в его душе все мечты. Потерейных билетов он не покупал, на выигрыши не рассчитывал, а то, чего мог достичь собственными усилиями, было заранее известно и ликования не вызывало. «Конечно, такая жизнь достается в удел большинству людей, у многих она еще тяжелее. Может быть, разница лишь в том, что другие находят какой-то смысл и удовлетворение в таком существовании, а вот я еще не примирился с ним. Надо научиться мечтать, что ли, отвлекаться от этих безрадостных дум». Но в глубине души он сознавал, что больше всего недостает ему общества, друзей. Обстоятельства бросали его из стороны в сторону, и жизнь сложилась так, что все его знакомства быстро обрывались, не успев окрепнуть, не оставляя в душе глубокого следа. «Точно капля, упавшая на щеку и испарившаяся на солнце, поэтически выражаясь... Или как случайный порыв ветра: всколыхнет на ветке лист, умчится вдаль — и лист не дрожит уже больше... Вот так и я... Так и я...»

Он незаметно уснул. Разбудили его негромкие голоса, доносившиеся из-за выступа дюны:

— Что ты скажешь, Понте, про эту леди? По глазам видно, что скучает.

— Недурненькая леди, но маникюр у нее не выдерживает никакой критики. Вы разрешите, барышня? Мы ужасно устали, а возле вас можно приятно отдохнуть... Ха-ха!

Еще не очнувшись окончательно, Жубур приподнялся, чтобы разглядеть говорившего. Это был франтоватого вида субъект в сером с иголочки костюме, с тщательно прилизанными, лоснящимися волосами и пробором через всю голову. Он был примерно одних лет с Жубуром, пожалуй даже помоложе, хотя мешочки под глазами свидетельствовали о бурно проведенной юности. «Чего он пыжится?» — неприязненно подумал Жубур.

Другой был маленький толстячок с блестящими, бегающими глазками. Против них сидела молодая девушка в синей юбке и скромной белой блузке. Плечи ее покрывала пестренькая косынка. Девушка тревожно смотрела на обоих мужчин.

— Что вам нужно? — спросила она, наконец, подчеркнуто неприветливым тоном.

Мужчины только посмеивались, продолжая без всякого стеснения разглядывать ее. И их смех и развинченные движения показывали, что оба молодчика были навеселе.

«Никогда не связывайся с пьяными, — вспомнил Жубур одно из отцовских изречений. — Пьяный человек хуже скотины. Нет у него ни стыда, ни совести. Он и сам безобразничает и других за собой тянет».

Самым благоразумным было бы лечь и притвориться спящим или уйти. Жубур не сделал ни того, ни другого. Он привык считать, что настоящий мужчина не оставляет без помощи попавшую в беду женщину. К тому же это приключение могло придать хоть какой-то смысл глупой, ненужной поездке на Взморье.

— У тебя что-то не получается, Понте. Наверно, Штиг... тьфу, старик успел приучить тебя к чересчур галантному обхождению.

— Ну, это мы сейчас увидим, — осклабился Понте. — Барышня, вы разве не видите, как я рассыпаюсь перед вами? Почему вы не улыбнетесь?

Он подсел к девушке и взял ее за подбородок.

— Представь, не напудрена, Абол. Довольно свеженькая девчоночка, только очень злая.

— Сердится, что ты не умеешь за дело взяться, — отозвался толстячок и даже подперся руками в предвкушении увлекательного зрелища. — Да ну тебя, брось дразнить девочку, доставь ты ей удовольствие.

Не раздумывая больше, Жубур вскочил на ноги.

— Эй, вы!.. Если вы ее не оставите в покое... — громко крикнул он и, словно удивившись собственной предприимчивости, уже потише добавил: — Как вам не стыдно!

— Ты там помалкивай, пока не получил в морду, — оглянувшись, процедил сквозь зубы Абол.
— Не лезь под ноги старшим.

Понте, хихикая, обнял за плечи девушку.

— Ну, чего ты ломаешься, крошка... Право, не стоит. Не ты первая, не ты и последняя. Мало разве я таких осчастливил!

В этот момент девушка оглянулась на Жубура. В ее взгляде не было ни отчаяния, ни мольбы, только ненависть и глубокую тревогу увидел в нем Жубур. И все-таки он понял, что девушка видит в нем единственного защитника.

— Помогите! — негромко крикнула она.

Забыв благоразумные наставления отца, забыв о том, что он является агентом посреднического бюро Атауги с ежемесячным окладом в пятьдесят латов, забыв обо всем на свете, Жубур медленно, спокойно — хотя внутри у него все клокотало от бешенства — подошел к Понте, схватил его за плечи, изо всех сил встряхнул и толкнул наземь.

Понте ткнулся носом в песок, но тут же вскочил и бросился на Жубура.

— Ну, получай, шпана! — задыхаясь, прошипел он.

Жубур избежал первого удара, быстро отклонившись в сторону, но тут на помощь Понте подскочил Абол. Вот когда пригодился Жубуру опыт, приобретенный некогда в драках с мальчишками с чужих дворов. С первых же ударов он заставил своих противников попятиться. Правда, и они далеко не были новичками в боксе — он это сразу почувствовал. Вдобавок их было двое, и пока Жубур разделялся с Понте, Абол зашел с тыла и с силой ударил чем-то по шее.

Все поплыло в глазах Жубура...

Когда он очнулся, хулиганов и след простыл. Не видно было и девушки. Шея все еще больно ныла при каждом движении. Одна штанина была разорвана по шву чуть ли не доверху, а когда Жубур поднял пиджак, оба рукава остались на земле.

«Никогда не связывайся с пьяными...» Не зря старик говорил это. Вот и радуйся теперь... Придется просидеть здесь до самой ночи, в таком виде нельзя показываться на глаза людям... Попробовать разве скрепить чем-нибудь штанину...

Но куда же девалась девушка? И как у нее хватило духу оставить его в таком состоянии?

Это неведение огорчало его гораздо сильнее, чем мысль о разорванном костюме. 3

Ему пришлось просидеть в дюнах до самого вечера; только в сумерки он рискнул показаться на улочках Взморья. Штанину Жубур сколол в двух местах обнаруженными в кошельке булавками, а рукава спрятал в карманы пиджака и перебросил его через плечо. Он все еще злился на себя за неудачную поездку, а больше всего — на девушку.

«Как-никак, а я ее вызволил из опасности, — рассуждал Жубур. — Дело не в благодарности, всякий порядочный человек поступил бы так же. Но она-то, она-то — убежала, оставила в беспомощном состоянии. Ведь могла привести в чувство, пожать руку: „Вы мне так помогли... Меня зовут...“ Ага, вон ты куда метишь, голубчик... — Жубур усмехнулся своим мыслям. — Сразу и ее имя захотелось узнать, а заодно и адрес? Так, так. Значит, в понедельник после работы — прямо к портному, а когда он приведет в благопристойный вид костюм, поспешишь к ней с торжественно скромной физиономией... Ну, а потом разыгралась бы одна из бесчисленных вариаций неизбежного шаблонного романа. Не лучше ли ограничиться сувениром?» — и он покорился на разорванные брюки. Но эти скептические резоны не могли успокоить уязвленное самолюбие Жубура. Единственное приключение в жизни — и такой нелепый конец.

У Жубура была хорошая зрительная память. Увидев один раз человека, он мог узнать его через несколько лет. Он попробовал, черту за чертой, воспроизвести облик девушки. Тревожный взгляд («как будто она испугалась не за себя, а за ребенка, такое было у нее выражение, — подумал Жубур»), небольшой решительный ротик, прямой нос, темные сдвинутые брови да еще упавшая на лоб прядка волос. Вот и все. Трудно даже представить, какого она роста, если видел ее только сидящей. Как она крикнула: „Помогите!“ Нет, что ни говори, а хорошо, что все это так получилось. К тому же осенью все равно придется обзаводиться новым костюмом».

Размышляя так, он шагал по одной из узких улочек Взморья, где с трудом могут разъехаться две встречные машины, где даже в солнечные дни стоит полумрак под навесом густой листвы ветвистых старых деревьев. Из садилов доносился шум голосов. На освещенных уже верандах, в беседках дачники пили кофе, играли в пинг-понг или просто болтали. В одном месте пели, в другом патефон играл танго. Пятнистый пойнтер загнал на дерево кошку; кошка злобным, неподвижным взглядом глядела на бесновавшуюся вокруг ствола собаку.

— Эй, Жубур! Это ты?

Жубур остановился и оглянулся на низкую ограду, из-за которой раздался этот громкий оклик. В глубине сада на веранде звенела посуда, громко разговаривали и смеялись. Белая мужская фигура, бесшумно появившаяся из-за кустов сирени, четко обрисовывалась на темном фоне ели.

— Прамниек? — удивленно протянул Жубур.

Они подали друг другу руки поперек ограды.

Эдгар Прамниек, один из самых талантливых художников молодого поколения, был школьным товарищем Жубура. Последний раз они виделись несколько лет тому назад, когда Прамниек окончил Художественную академию, а с тех пор как Жубур обосновался в другом конце города, и вовсе перестали встречаться. Воспоминаний детства было недостаточно, чтобы поддерживать дружбу взрослых людей, а жизненные пути их давно пошли в разные стороны.

— Ну, рассказывай, как живешь, — начал Прамниек. — Все еще учишься или работаешь?

— Да, работаю... в одном посредническом бюро, — неохотно ответил Жубур. — А ты? Наверное, уже успел стать семейным человеком?

— А как же, брат? Недаром старик Саваоф сказал: «Нехорошо быть человеку едину». Э, погоди, погоди... — Прамниек взял обеими руками его голову и повернул правой щекой к свету. — Что это у тебя? Ушибся?

Проведя рукой по щеке, Жубур нащупал корочку запекшейся крови.

— Вот оказия! Давеча я попал в одну историю и даже сам не заметил, что меня разделали до крови...

Жубур достал носовой платок, а Прамниек, удерживая, взял его за руку.

— Погоди, ты где сейчас живешь? Тоже на Взморье?

— Нет, я в городе. Вот на станцию иду.

— Нельзя тебе ехать в таком виде, надо сначала умыться. Ну-ка заходи, Жубур, мы это сейчас устроим. — Прамниек открыл калитку.

— Да у тебя там гости. Еще напугаю их, — медлил Жубур.

— Пустяки. Будешь и ты гостем. Что еще за жеманство...

На скрип калитки с веранды сошла какая-то женщина.

— Эдгар, ты не уходишь?

— Нет, нет, Олюк... Моя жена, — объяснил Прамниек Жубуру. — Не вздумай испугаться, дикарь, девчурка она у меня славная!

— Простите, я и не заметила, что вы здесь вдвоем, — тихо сказала Ольга, увидев Жубура.

— Познакомься, — сказал художник. — Мой школьный товарищ, Жубур. Ну, а это — Олюк, моя домашняя полиция. Диктатор в миниатюре, так сказать. Но я не смею роптать, нет, нет.

Маленькая светловолосая женщина засмеялась.

— Господин Жубур, неужели он всегда был таким болтуном, или это достижение последних лет?

Мягкий, ласковый блеск в глазах Ольги, гордая, озорноватая улыбка Прамниек сильнее всяких слов говорили, что молодожены крепко привязаны друг к другу. Глядя на них, невольно улыбнулся и Жубур.

— А теперь, Олюк, я должен открыть тебе одну тайну, хотя она и бросает тень на моего друга... Но раз он нуждается в помощи, наша святая обязанность... Одним Словом, с ним произошло короткое замыкание, и его нельзя отпустить с расцарапанной физиономией. Ты пока побудь с гостями, а я его умою, причешу и потом представлю обществу.

— Простите, это еще не все, — замялся Жубур. — Едва ли вы решитесь показать меня гостям в таком виде.

Ольга вопросительно посмотрела на него.

— Почему? Там ведь все свои. Просто собрались несколько знакомых отпраздновать день рождения Эдгара.

— Да уж хочешь не хочешь, — решительно сказал Прамниек, — а придется погоревать со мной о минувшей юности.

— Тогда посмотрите, — Жубур развернул перед ними свой пиджак и показал на разорванную штанину, которую до сих пор старался спрятать от Ольги. — Это тоже результат «короткого замыкания».

Ольга тихо ахнула. Прамниек даже присвистнул.

— Ого, дело-то, видать, было довольно серьезное.

— Весьма серьезное, — подтвердил Жубур.

— Будь это годиков двадцать тому назад, мать бы тебя хорошенько выпорола, а теперь делать нечего. Олюк, надеюсь, у тебя найдется иголка с ниткой? Тогда берись за дело и не выпускай его до тех пор, пока он не примет респектабельного вида. А я иду к гостям, не то еще подумают, что мы от них сбежали.

В кухне Жубур первым делом обмыл холодной водой шею и окровавленную щеку. Ему редко случалось бывать в женском обществе, и, оставшись вдвоем с Ольгой, он начал лихорадочно придумывать, о чем бы заговорить с ней. Но, взглянув на ее миловидное личико, в то время как она с ребячески сосредоточенным видом, наморщив светлый лобик, раскладывала на коленях его пиджак, он вдруг почувствовал, что она в самом деле славная девчурка.

Усевшись на кухонный стол и поставив на табурет ногу в разорванной штанине, Жубур стал рассказывать ей о происшествии на дюнах, а Ольга, проворно работая иглой, время от времени вскидывала на него глаза. Через каких-нибудь полчаса она пришила и рукава, заставила Жубура надеть пиджак и несколько раз даже повертела перед собой.

— Кажется, все в порядке, — с довольным видом сказала она, — только старайтесь избегать

резких движений, — и повела его на веранду к гостям.

Заставленный бутылками и посудой стол, вокруг которого сидели гости, был ярко освещен.

Жубур никого здесь не знал, и только одно лицо показалось ему знакомым, хотя он в первый момент не мог припомнить, где его видел. Молодая женщина — худенькая, русоволосая, с большими сумрачными глазами... Впрочем, все выяснилось, когда Ольга подвела его к ней. Это была известная драматическая артистка Мара Вилде. Ну, конечно же, он не раз видел ее на сцене. Здесь же был и ее муж Феликс Вилде — юрисконсульт какого-то пароходства.

Затем Жубура представили другой супружеской паре — таможенному эксперту Освальду Ланке и его жене Эдит — крупной, красивой блондинке с медлительными, почти ленивыми движениями. Жубур немного удивился, когда Ольга сказала, что Эдит ее школьная подруга. «Вот уж не похоже», — подумал он и подошел к соседу Эдит — низенькому господину с румяными щечками, блистающему толстой золотой цепочкой, золотыми зубами и перстнями. Господин Зандарт, несмотря на несколько комическую фамилию[4], оказался личностью довольно примечательной: он был владельцем излюбленного артистическими кругами кафе и беговых конюшен. Сейчас все его внимание было поглощено соседкой: размахивая короткопалыми ручками, он что-то рассказывал, не сводя с нее влажных глаз.

Больше всех здесь понравился Жубуру Андрей Силениек — великан с загорелым лицом и удивительно ясными голубыми глазами, которого Прамниек отрекомендовал как своего двоюродного брата. Силениек разговаривал мало, можно было даже подумать, что он стоял вне круга интересов, связывающих остальных гостей. Но слушал он на редкость внимательно, без тени скуки или безразличия на лице, чуть прищурившись, так что возле глаз собирались добродушные морщинки.

Прамниек остался верен себе: ему уже не терпелось поговорить о случае с Жубуром.

— Появлением моего старого приятеля мы с вами обязаны одному чрезвычайному происшествию, — торжественно начал он, усадив за стол Жубура. — Расскажи-ка нам подробнее, Карл.

Жубур стал рассказывать — безо всякой, впрочем, охоты, чтобы только не заставлять себя упрашивать.

Зандарт заливался смехом в самых неподходящих местах, громко шлепая себя по коленям. Мара Вилде слушала, нахмутив брови.

— Какая мерзость! И это среди бела дня, на Взморье, когда тут на каждом шагу неизвестно для чего торчат полицейские! — не выдержала она. И не то позабывшись, не то желая выразить Жубуру свое сочувствие, она положила ему на плечо руку. Даже на лице ее мужа появилось выражение заинтересованности. Он спросил, как выглядела девушка и оба хулигана; Жубур постарался подробнее описать их наружность.

— Н-да, не совсем похоже на обычных хулиганов, — небрежно заметил Освальд Ланка. — Впрочем, я всегда говорил, что в современном обществе процесс нивелировки заходит все дальше. С каждым днем все труднее становится отличить порядочного человека от проходимца. И мы все меньше интересуемся тем, какое место занимает или должен занимать человек на иерархической лестнице, каково его происхождение, наследственность.

— Чепуха, — перебил его Прамниек. — Происхождение, наследственность... Далеко не все родители повинны в том, что из детей получается черт знает что.

— А воспитание? — спросила Эдит. Держалась она лениво-самоуверенно потому, вероятно, что ни на минуту не забывала о своей красоте. Значительно, почти царственно шелестел

черный шелк ее платья; на розовом пальчике, на высокой груди искрились бриллианты. Зандарт не спускал с нее осоловевших глаз. «Великолепная женщина», — можно было прочесть в этом взгляде.

— Воспитание? — с горячностью подхватил Прамниек. — Пойми, Эдит, в нашу эпоху воспитательная миссия родителей оканчивается в тот день, когда их отпрыск поступает в школу. Там он, во-первых, попадает в общество других детей. Затем его немедленно облачают в форму скаута или мазпулцена[5], и, по указке соответствующих кругов, надежно проинструктированный воспитатель начинает калечить юные души. Подростка на всю жизнь пропитывают шовинистическими предрассудками, на всю жизнь прививают ему презрение ко всем национальностям, кроме собственной. Из опасения, что он, чего доброго, захочет своим умом дойти до решения общественных проблем, эти воспитатели привлекают на помощь кино, бульварную литературу, а затем и студенческие корпорации и всяческие иные организации, которые изо дня в день обучают его закону волчьего права: «Сильный правит миром...», «Не проси, а бери!», «Хватай, что плохо лежит». Что же удивительного, если приличный на вид молодой человек нападает на одинокую девушку: надо же ему куда-то деть избыток сил. Это даже выгодно — пусть затевает драки с мирными людьми, только бы он не начал задумываться со скуки.

— Вы полагаете, что правящие круги даже заинтересованы в воспитании таких молодчиков, что они их поддерживают? — спросил Вилде.

— Так они вам и будут поддерживать открыто! — быстро ответил Прамниек. — Но косвенно для этого делается все. Они рассуждают так: справиться со свиньей легче, чем с человеком.

— Эдгар, ты бы лучше подлил вина в стаканы, — робко глядя на мужа, сказала Ольга. — Неужели вам больше не о чем говорить, как будто нет ничего интереснее!

— Отчего же, это очень интересная тема, — покровительственно заметила Эдит. Феликс Вилде ничего не сказал, — он только осторожно, чтобы не запачкать свои крошечные усики, откусил кусочек бутерброда и стал медленно жевать.

Разговор перескочил на другие темы. Жубур слушал с живым вниманием. Сперва его поразили радикализм суждений, которыми обменивались между собой собеседники, но вскоре он подумал, что спорят они больше по привычке, из потребности почесать языки. Критиковали здесь все на свете: иронически комментировали последние авантюры Гитлера и Муссолини, посмеивались над диктаторскими замашками Ульманиса, над его пристрастием к парадным поездкам по стране, над тем, как он, остановившись на каком-нибудь хуторе, хлебал кислое пахтанье, чтобы продемонстрировать перед журналистами свои патриархальные вкусы. Упоминали и о доходных домах, приобретаемых за последнее время то одним, то другим министром. Но, поделившись какой-нибудь скандальной новостью, рассказчик незаметно озирался по сторонам, понижал голос — не подслушивает ли кто? И все здесь валилось в одну кучу — подхваченная в кафе пикантная сплетня, политический анекдот, мелкие парадоксы. Как белки, прыгающие с дерева на дерево, перескакивали они с темы на тему в поисках новой сенсации или остроты. Зудливый скептицизм, цинизм богемы и безверие звучали в их словах. «Во имя чего они критикуют?» — не раз задавал себе вопрос Жубур, слушая их.

Не принимал участия в разговоре только Силениек. Мара Вилде, чуть-чуть опьяневшая, усталая, под конец тоже замолкла, задумалась и только время от времени поднимала сумрачные глаза на Жубура.

Около полуночи Жубур вспомнил, что ему надо поспешить к последнему поезду. Его проводили немного Прамниек и Силениек. Прамниек уже опьянел и нес околесицу. Силениек был свеж, как и в начале вечера.

— Рад знакомству с вами, — сказал он Жубуру на прощанье. — В городе зайдите как-нибудь ко мне. Побеседуем. — Он назвал свой адрес.

Жубур и обрадовался и удивился тому, что этот человек, такой спокойный, даже медлительный, с первого раза выразил желание узнать его поближе. «Что он во мне увидел? Я ведь почти весь вечер молчал. А может быть, именно поэтому?»

«Интересная публика, — подытожил он впечатления вечера. — Пожалуй, только разношерстная очень». Жубур вспомнил Мару, обращенный на него странный, упорный взгляд. Что он означал? Впрочем, он тут же решил, что преувеличил значение этого взгляда, — у богемы свои манеры, свои нравы. 4

В понедельник Жубур отыскал в отдаленном районе две квартиры, освобождавшиеся через неделю. Но его и на этот раз заткнул за пояс Бунте: какими-то неведомыми путями он напал на новенькую морскую яхту, которую ее владелец, представитель иностранной фирмы, вынужден был продать в двухнедельный срок ввиду внезапного отъезда. Атауга заплатил за яхту четыреста латов, дал объявление в газеты и через неделю продал ее, получив четыреста процентов барыша. Из них сто двадцать латов были вручены Бунте. Он уже давно знал, как поступить с ними, и немедленно осуществил свою мечту. Прежде всего купил брюки гольф, серые шерстяные чулки, коричневые полуботинки на толстой подошве и, чтобы окончательно превратиться в иностранца-туриста, приобрел после недолгих колебаний хорошенькую камышовую тросточку. Не забыв рассовать по карманам свежие номера французских и английских газет, он прохаживался по улицам с тем застывшим, непроницаемым выражением лица, которое, по его мнению, должно было знаменовать высочайшую степень англосаксонского хладнокровия и пренебрежения к такой ничтожной, не заслуживающей даже внимания стране, как Латвия. Находившись, он присаживался где-нибудь на многолюдном бульваре, чтобы продлить удовольствие, подольше понежиться в лучах того дешевого солнышка, которое сияло для него в любопытных взглядах прохожих.

Да, все его принимали за иностранца. Он уже чувствовал себя не агентской сомнительного «бюро», а представителем солидной иностранной фирмы, чуть ли не консулом. Он бы не удивился даже, если бы его сочли путешествующим сыном миллионера из страны небоскребов. «Думайте, пожалуйста. Я и на самом деле кое-что собой представляю». Впрочем, эти фантазии благополучно уживались в нем с практицизмом, что не переставало удивлять Жубура. Не менее удивительным было и то, что Бунте считал свое образование давно законченным, хотя с ним было трудно говорить даже о вещах, известных каждому школьнику. При этом Бунте достаточно было услышать или увидеть в газете иностранное слово, как он пускал его в оборот, не задумываясь над его значением. Он, например, путал слова «прецедент» и «претендент»: в его толковании оба они обозначали государственную должность, соответствующую посту президента. Произнося слово «астрономия», он представлял себе не звездное небо, а украшенную сырами, пирамидами фруктов и жестянками французских сардин витрину гастрономического магазина. Разницу в одной букве он в расчет не принимал. Но эти мелочи не омрачали деловой карьеры Бунте. Нюх у него был безошибочный, и чуть где запахнет выгодным дельцем, он уже тут как тут, а старик Атауга по каждому поводу ставил его в пример другим подчиненным.

— Интересно знать, — с мечтательным видом заговорил однажды с Жубуром Бунте, когда они сидели вдвоем в конторе, — как будет Атауга выплачивать приданое дочери: деньгами или выделит ей часть дома? Как ты думаешь?

— Никогда об этом не думал, — засмеялся Жубур. — Да ты лучше справишься у самого Атауги или у нотариуса, если он уже составил завещание.

— Мне кажется, что делить дом нет никакого расчета... С другой стороны, наличными у него вряд ли столько найдется.

— Да нам-то с тобой что?

— Не знаю, как тебе, а мне надо знать... — и Бунте углубился в какие-то сложные вычисления.

Дело в том, что с некоторых пор в контору все чаще и чаще стала заглядывать под разными предложениями дочь Атауги, веснушчатая, рыженькая Фания.

В семье давно было признано, что природа не наделила ее красотой, что даже при самом снисходительном отношении речь может идти лишь о терпимой наружности. Вероятно, по этой причине комильтоны[6] ее брата — сыновья таких же состоятельных родителей — редко заглядывали в дом Атауги. Всякий раз, когда Фания просовывала в дверь конторы свой веснушчатый носик, Бунте выпячивал грудь и даже в голосе у него появлялись басовые ноты. После одного такого посещения он стал размышлять вслух:

— Старой девой она не захочет остаться. Да и с какой стати, с ее приданым? Если, скажем, сотенка тысяч обеспечена, можно и без красоты обойтись, ладно и так. А?

Глядя на него, Жубур только удивлялся решительности, с какой этот человек подступал к намеченной цели. Теперь он будет терпеливо, шаг за шагом, подходить к ней, как охотник, подкрадывающийся к пугливому зверю, не задумываясь над тем, что все его оружие состоит из брюк гольф и камышовой тросточки. Впрочем, решив приобрести некоторый навык в светских разговорах, Бунте даже прочел несколько романов. Один из них — «Граф Монте-Кристо» — произвел на него такое сильное впечатление, что при встрече с Жубуром Бунте, захлебываясь, начал рассказывать ему содержание книги.

— Я бы не отказался от таких приключений! — возбужденно говорил он. — Кто такой был этот Дантес? Ничего особенного, парень вроде нас с тобой. А вот стал же графом, да еще каким богачом.

— Ну, хорошо, а если бы ты разбогател, то, наверно, женился бы на дочери Атауги? — пошутил Жубур.

— С какой радости? Я бы прямо махнул в Голливуд, выбрал там самую шикарную кинозвезду — Лоретту Юнг или Полу Негри — и женился на ней. Пожил бы с ней, пока не надоело, а потом женился бы на другой. С деньгами и не такое можно делать. Тут мы кое-что понимаем.

Но эти дерзкие мечты не отвлекали его от ближайшей цели. Он прямо краснел от счастья каждый раз, когда Фания бросала ему несколько приветливых слов. Вскоре между ними произошел разговор, который Бунте уже с полной уверенностью зачислил в свой актив.

Яункундзе[7] Фания, — галантно начал Бунте, запасшийся достаточным материалом для светских разговоров, — яункундзе Фания, сегодня ночью я видел вас во сне. Можете себе представить, будто бы мы путешествуем на пятимачтовом паруснике по Патагонскому морю. И будто бы на вас синее бархатное платье... Между прочим, оно вам очень идет.

— А вы не страдали морской болезнью? — с иронизировала Фания, весьма, впрочем, довольная оборотом, какой приняла беседа.

— Что вы! Море было гладкое, вроде Киш-озера в тихие дни. Вы послушайте, что было дальше. Вдруг вы падаете за борт, я — за вами и тут же спасаю вас.

— А как же мое бархатное платье? Оно, наверное, превратилось в тряпку?

— Э, нет, за борт вы свалились в купальном костюме. Есть у вас такой зеленый, с вырезом на спине, а на груди — красные полосочки.

— Господи, откуда вы знаете?

— Знаю вот. Прошлым воскресеньем видел в Дзинтари.

— Странно, что я вас там не заметила.

— Да я был далеко — на дюнах.

— И разглядели оттуда красные полосочки? Они ведь такие узенькие, — безжалостно удивлялась Фания, хотя разговор этот ей нравился все больше и больше.

— У меня был с собой би... Да я и так хорошо вижу, я дальнозоркий. А ведь интересный сон, как вы находите?

— Пожалуй.

— Если бы я был богачом, я бы путешествовал со своей женой по всем морям. Но только чтобы моя жена обязательно походила на вас.

— Это почему же? — Фания вздернула голову.

— Потому что это моя мечта. Да, — твердо продолжал Бунте. — И потом вы такая красавица!

Давно испытанный метод лести и на этот раз оправдал себя. Фания порозовела — и ничего не сказала. Мелкий агент посреднического бюро по крохам копил испытанные приемы и рецепты житейской мудрости и один за другим пускал их в ход. Почему же не повезет ему там, где повезло другим? И он карабкался, локтями пробивая себе путь к заветной цели — к благополучию.

Так текла жизнь в посредническом бюро Атауги. Такими мечтами жил Бунте и ему подобные. Карл Жубур отвергал их мечты. Но и своего пути он еще не нашел. 5

Несколько раз собирался Жубур зайти к Силениеку. Сам не зная почему, он ждал многого от этой встречи и в то же время боялся разочароваться. Наконец, рассердившись на самого себя, он пошел прямо из конторы. Силениек жил на шоссе Свободы, возле моста через Юглу. Квартира его состояла из двух комнатенок, выходивших окнами на улицу, и кухоньки, из окна которой виднелся тесный унылый двор с собачьей конурой и капустными грядками; горизонт замыкала опушка Бикерниецкого леса. Обстановка была самая скромная: рабочий столик у окна, готовая вот-вот обрушиться под тяжестью книг этажерка, в углу за печкой — подобие дивана, сделанного из матраца и низких деревянных козел, да два венских стула. В первой комнате стоял старый платяной шкаф, посередине — круглый стол и четыре камышовых стула, на полу — кадка с разросшимся олеандром, почти заслоняющим своей листвой окно.

— Вот и отлично, — сказал Силениек. — А я как раз свободен до завтрашнего утра. Легко разыскали или дворник помог?

— Я всегда стараюсь обходиться без проводников. — ответил Жубур. — И потом вы в прошлый раз подробно объяснили, как найти вас.

Силениек одобритительно кивнул ему.

Это верно, надо как можно реже справляться у посторонних. — Подойдя к окну, он задернул белую занавеску и, будто в извинение, объяснил: — Так будет удобнее, не люблю, когда заглядывают прохожие с улицы. Присаживайтесь на диван. — Сам он сел на стул у окна.

Жубур видел Силениека второй только раз, причем у Прамниека они обменялись

двумя-тремя незначительными фразами, и все-таки ему казалось, что он давным-давно знает этого высокого плечистого, голубоглазого человека, что он много раз слушал его неторопливую речь, сидя на этом диване.

— Курите? — Силениек протянул Жубуру портсигар, но тот отказался. Тогда Силениек закурил сам. — Хорошего мало, конечно, а бросить трудновато. Приучился на военной службе, с тех пор не могу отвыкнуть.

— Где вы работаете? — спросил Жубур.

Вопрос был самый естественный и обычный, но, задав его, он почувствовал неловкость, словно проявил излишнюю торопливость. Это чувство, впрочем, мгновенно исчезло, когда он увидел спокойную улыбку Силениека. Затянувшись папиросой, он внимательно смотрел на Жубура.

— Сейчас я готовлюсь экстерном к экзаменам. Я учусь. Несколько дней в неделю работаю в авторемонтной мастерской. Летом обычно уезжаю в Видземе, помочь отцу на полевых работах, он у меня крестьянствует. В общем без дела сидеть не приходится.

«А я?» — подумал Жубур. Да, с тех пор как он бросил университет, он часто не знал, куда девать себя, особенно по вечерам. Случайная книга, радиоприемник, одинокие прогулки не могли заполнить его жизнь, удовлетворить жажду настоящего дела.

— На какой факультет думаете? — спросил он, перебирая лежащие на столе учебники физики и математики. — Не на математический?

— Пока еще не решил окончательно, но во всяком случае не на математический. — Силениек помолчал немного и добавил: — Меня больше привлекают общественные науки. Я ведь не мечтаю о карьере кабинетного ученого, я человек практики, дела. А как можно действовать, не зная законов развития общества, не зная, например, политической экономии, не изучив «Капитала»? — И внезапно, без всякого перехода, спросил: — А вы довольны своей работой, удовлетворяет она вас?

— Кого может удовлетворять такая работа? — тихо ответил Жубур.

— Ну, а знаете вы, какой работы вам хочется? Что вам по душе?

— Прежде всего я хочу, чтобы в моей работе был какой-то смысл, — горячо заговорил Жубур, словно в душе у него прорвало плотину, долгое-долгое время сдерживавшую накопившиеся чувства. — Ведь есть же у меня силы, есть знания... хотя и не очень большие, может быть... Главное, есть желание приносить пользу обществу. А тебе на каждом шагу дают понять, что ты пятое колесо в телеге. Ну что, кажется, соблазнительного в моей теперешней работе? И все-таки я каждую минуту могу вылететь из этой конторы, и найдется пропасть желающих занять мое место. Подлая, не достойная человека жизнь! У меня такое чувство, — да и у одного ли у меня? — что пространство, которое я занимаю на земле, на самом деле не мое, что при первом неосторожном шаге меня лишат его. Хотя бы один раз я мог убедиться, что я необходимая частица общества, что оно нуждается во мне. Наоборот. Все время приходится уподоблять себя пробке, которая стремится погрузиться в воду, а ее с непреодолимой силой выталкивает вверх. Вот так и приходишь к сознанию, что ты лишний. Да и ничего удивительного нет, раз в подобном положении оказываются тысячи, миллионы людей — и не только у нас, не в одной Латвии, айв таких странах, как Америка, Англия...

— Лишний... — усмехнулся Силениек. — Нет, вы не лишний. И думать так — величайшее заблуждение, но оно утверждается в сознании миллионов таких людей, как вы и ваши товарищи, теми, кому оно выгодно. Оно создается самим общественным строем, теми, кто охраняет его и старается сохранить его навсегда. — Силениек затянулся в последний раз,

бросил окуроч в пепельницу, прошелся по комнате и подсел к Жубуру на диван. Теперь он заговорил вполголоса:

— Кто же лишний? Те, которые мешают человечеству устроить жизнь лучше, справедливее, тормозят ход истории. Это то меньшинство, которое живет за счет большинства, присваивает создаваемые народом ценности. Существующее устройство общества им выгодно, они идут на все, чтобы сохранить его. Белое они хотят выдать за черное, черное — за белое. Производителю ценностей, человеку труда, на котором держится мир, они вколачивают в голову убеждение, что он был и останется зависимым от них существом, что так уж устроен мир. Вот даже вы — человек думающий, и то поддаетесь этому обману...

— Где же выход, реальный выход? — задумчиво глядя перед собой, будто спрашивая кого-то третьего, заговорил Жубур. — Разве я сам мало думал об этом? Ведь я читал кое-что, недаром же готовился стать экономистом, — он еле заметно улыбнулся. — Но где же сила, способная... изменить этот порядок? Что творится сейчас у нас, в Латвии? А в Германии?

— Выход есть. Есть и сила, которая изменит существующий порядок, эта сила — сам народ. Народ встает на путь борьбы, потому что без борьбы ничего не дается. Господствующее меньшинство понимает, чем это грозит ему, и не останавливается перед самыми отчаянными средствами — только бы повернуть вспять колесо истории. Вы спрашиваете, что творится сейчас в Германии, в мире. Конечно, совсем не случайно в Италии вынырнул Муссолини, а в Германии Гитлер с полчищами мракобесов. Не случайно и то, что пятнадцатого мая тридцать четвертого года Карл Ульманис наступил своим кулачком, выпачканным в навозе сапогом на лицо Латвии. Но все эти попытки господствующих классов отсрочить свой конец бессильны перед законами истории. Разве можно удержать за горизонтом солнце, когда пришел час восхода?

Наступило молчание. Жубур сидел, глубоко задумавшись. Слова Силениека разбудили в нем столько юношеских мечтаний, дремавших долгие годы, столько новых мыслей, что он не мог говорить от волнения. Один лишь вопрос задал он Силениеку:

— Почему вы говорите со мной так откровенно? Почему вы мне доверились?

— Значит, были основания, — улыбнулся Силениек. — Между прочим, в день нашего знакомства ты неплохо показал себя в схватке с двумя негодьями.

Я узнал об этом еще до твоего появления у Прамниека.

— От кого? — удивленно спросил Жубур.

— Об этом поговорим как-нибудь потом. А сейчас расскажи лучше, что ты прочел на своем веку?

И Силениек назвал несколько книг. О некоторых Жубур знал только понаслышке, иные он читал, но это было так давно. Он покраснел: ему вдруг ясно представилась картина духовного прозябания, в котором он прожил последние годы. Силениек вышел из комнаты и через несколько минут вернулся с небольшой, завернутой в газету книгой.

— Вот, прочти.

Это было «Государство и революция» Ленина.

В ту ночь Жубур поздно вернулся домой. 6

В дверь спальни тихонько постучали. Альфред Никур тщательно расправил узел галстука и стал застегивать жилет. Из зеркала на него глядело гладко выбритое белое лицо. За последние четыре года оно чуть-чуть округлилось. Блестящие от помады, черные, как

вороново крыло, волосы и маленькие усики оживляют его, иначе эта белизна казалась бы болезненной. Вот что с животом делать, — его не могут скрыть даже специального покроя жилеты. И в боках стал заметно раздаваться. Ай-ай-ай, просто возмутительно!

Он взял пульверизатор, подставил лицо под одеколонное облачко и только тогда сказал:

— Можно.

В дверь просунулась голова горничной.

— Господин министр, там какой-то человек пришел. Говорит, по вашему приказанию.

— Фамилия? — спросил Никур, продолжая разглядывать себя в зеркало. Узел галстука упорно сбивался набок, под уголок крахмального воротничка, и Никур уже начал нервничать.

Фамилию он не сказал; говорит, господин министр знает. На вид молодой еще, высокого роста.

Никур достал из кармана маленький блокнот, нашел страничку, помеченную текущим числом. «С 19–20 дома. — К. П.», — прочел он и взглянул на часы. Шесть минут восьмого.

— Пусть подождет в приемной.

— Слушаюсь, господин министр.

Горничная бесшумно притворила за собой дверь. Собственно можно бы выйти и сейчас, но это не соответствует сану: министры не бросаются навстречу каждому посетителю. Необходимо выдержать паузу, дать почувствовать дистанцию. За каждым шагом Альфреда Никура следит вся Латвия, газетные столбцы посвящаются подробностям его времяпрепровождения. Когда он того желает, разумеется. Иначе нельзя. Так что пусть подождет. Господин министр занят, он даже дома завален работой.

Впрочем, к восьми надо уже быть у Каулена. Сегодня сверх обычной партии в карты предстоит нечто более заманчивое: Каулен пригласил бывшего консула с молодой женой. Занятная женщина. (Никур познакомился с ней на последнем морском празднике.) Коктейли Каулена быстро ударяют в голову, и весьма вероятно, что консульша сразу станет покладистой.

Никур заговорщицки подмигнул своему отражению в зеркале.

«А позвольте задать вам, Альфред Никур, откровенный вопрос: пользовались ли бы вы таким успехом у женщин, если бы не были членом кабинета, одним из героев пятнадцатого мая, и, к слову сказать, если бы вы не были владельцем двух пятиэтажных домов в тихом, удобном районе и роскошного лимузина? А?»

Он еще раз окинул взглядом свое отражение.

«Вне всяких сомнений, сан министра значит очень много, но и личное обаяние тоже чего-нибудь да стоит. Не скроем, было время, когда вы бегали по вечерам за какой-нибудь замызанной особой с Известковой улицы. Зато теперь женщины сами приходят к вам — и какие женщины! Цвет высшего общества, из лучших семей! Теперь у вас богатый выбор».

Кажется, пауза выдержана, церемониал соблюден. Никур открыл дверь, пересек зал и вошел в кабинет. Окинул взглядом письменный стол, убрал в ящик несколько запечатанных пакетов с надписанными адресами и тогда только приотворил дверь в приемную.

— Прошу.

Вошел довольно молодой, франтоватой наружности человек в сером костюме в полоску. Подбородок у него сбоку был аккуратно залеплен белым пластырем.

— Что это у вас, господин Понте? — насмешливо-соболезнующе покачал головой Никур. — Косметический дефект?

Понте расплылся в улыбке, польщенный вниманием министра.

— Это у меня с воскресенья, ваше превосходительство. Как изволите знать, должность моя сопряжена со множеством обязанностей, и в их числе не последнее место занимает бокс.

— Где же это вас отделали? — сказал министр, показывая на кресло. — Напал кто-нибудь?

— Наоборот, ваше превосходительство, нападающей стороной был я сам, — хихикнул Понте и, дождавшись, когда Никур сел, пристроился на краешке кресла. — Мы с Аболлом должны были выследить на Взморье женщину, которая направлялась на явку с одним из руководителей коммунистической организации. У нас были точные сведения, что она везет весьма ценные материалы, чуть ли не инструкции Центрального Комитета. Господин Штиглиц [8] поручил нам каким угодно способом достать эти материалы...

— Вы их достали? — резко перебил его Никур. Лицо его приняло жесткое выражение: разговор перешел на деловую почву.

— Мы бы их достали, ваше превосходительство. Бумаги были почти в наших руках, если бы к нам не прицепился какой-то идиот. Женщину мы нашли на дюнах; она, видимо, дожидалась условленного часа. Тогда мы притворились пьяными. Я подсел к ней и стал ее ощупывать. Бумаги были спрятаны у нее на груди. Только я изловчился вытащить их, как вдруг подлетает этот молодчик и принимается читать мораль. Но этим дело не кончилось, ваше превосходительство: парень полез драться. Хорошо еще — место безлюдное, а то бы сбежалась публика.

— И вы вдвоем не справились с этим фруктом? Так?

— Ваше превосходительство, у этого фрукта оказались здоровые кулаки, — заторопился Понте. — Но мы его в конце концов уняли. Беда только в том, что за это время женщина скрылась со всеми материалами и мы не могли напасть на ее след.

Никур только звучно сплюнул в большую плевательницу, вытер губы и ничего не выражающим свинцовым взглядом уставился на Понте.

— Больше вам нечего докладывать, господин Понте?

Понте невольно выпрямился в кресле.

— Ваше превосходительство, у меня имеется интересный материал о настроениях среди художников.

— Говорите, — равнодушно проронил Никур. Будто невзначай, он взял карандаш, раскрыл лежавший перед ним блокнот и стал чертить какие-то завитушки. Но Понте знал, что теперь каждое его слово будет записано.

— В то же воскресенье художник Прамниек праздновал день рождения. За пирушкой он весьма непочтительно высказывался о вожде и вообще о нашем государственном строе. Мы давно уже стараемся выяснить, не связан ли он с какой-нибудь подпольной организацией. Впрочем, весьма возможно, что это обычная болтовня недовольного интеллигента. Наш осведомитель рассчитывает в скором времени выяснить этот вопрос, он получил кое-какие дополнительные сведения. Кроме того, могу сообщить вам, ваше превосходительство, что в

числе гостей оказался и тот самый тип, которого мы отколотили на дюнах. Зовут его Карл Жубур.

— Следите за ним. Вполне возможно, что он и должен был получить материалы от той женщины.

Замешательство, изобразившееся на лице Понте, показывало, что эта мысль не приходила ему в голову. «Ну, хватка! Недаром столько лет был шпиком!»

— Совершенно верно, ваше превосходительство. С Жубура мы теперь глаз не спустим.

— И много народу было у Прамниека?

— Восемь человек, считая и его самого с женой.

— Значит, вы говорите, непочтительно отзывался о президенте?

— В самых недопустимых выражениях. Анекдоты, двусмысленные намеки...

— Если мы наложим на Прамниека денежный штраф, не повредит это нашему агенту, не вызовет нежелательных подозрений? — спросил Никур, продолжая чертить в блокноте какие-то фигурки.

— О, будьте покойны, ваше превосходительство, в этих кругах он свой человек и стоит вне всяких подозрений. Он сам такого наговорит, что никто и не подумает.

— Хорошо. Прамниека придется наказать на пятьсот латов. Вам и осведомителю — обычный агентурный процент.

— Благодарю вас, ваше превосходительство. — Понте почтительно нагнул голову. После этого он стал передавать содержание разговоров, подслушанных им за неделю в кафе и трамваях. По большей части это было бессильное брюзжание интеллигентных обывателей. Но во всех этих разговорах больше всего доставалось самому «вождю» и Никуру.

— Редактор Саусум охарактеризовал политику вождя как гигантский блеф и рекорд лицемерия. Так и сказал, ваше превосходительство. И это еще не все. Позор, говорит, латышскому народу, как он еще терпит этих политических шутов! Дальше. Директор средней школы Аузинь в разговоре с учителем истории сказал, что Ульма... что вождь фальсифицирует историю, заказывает историкам костюмы на свою мерку. Он-де не будет удивлен, если в один прекрасный день президент объявит себя королем и прикажет архиепископу Гринбергу возложить на его голову корону. Раз вступил-де на путь узурпации, то пойдет по нему до конца. А вас, ваше превосходительство, будто бы объявят наследным принцем, потому что вождю рассчитывать на потомство не приходится. Тут он намекнул на его... гм-гм... особенности...

Никур чуть заметно усмехнулся. Как ни презирают, как ни ненавидят его враги, а все-таки признают его самой крупной после президента фигурой в Латвии. «Наследный принц... Что же, недурно сказано, право, недурно». Он занес в свой блокнот:

«Наложить штраф на редактора Саусума — 2000 латов».

«Директора средней школы Аузиня — уволить».

Затем поднялся и протянул руку Понте.

— Через неделю, господин Понте, и в это же время. Продолжайте наблюдать за Прамниеком и Жубуром. Завтра зайдите к моему секретарю, он выдаст вам чек на Латвийский банк. До

свидания.

Бывший шпик высшего ранга проводил младшего собрата по профессии до дверей. «Этот далеко пойдет, хотя он еще только начинает карьеру. Все данные налицо. Нет, это недурно сказано — „наследный принц“. Ха-ха-ха! Бедняга президент: приличия ради не мешало бы его поженить. Тогда, может быть, прекратятся разговорчики о его особенностях. А впрочем, что тут плохого? Болтают-то ведь не обо мне. Смеются не надо мной. Надо мной не смеются, меня ненавидят».

Часы показывали без четверти восемь. Никур позвонил в гараж и приказал подать машину.

7

После свидания с Никуром Понте поспешил окончить свой трудовой день. Забежал на полчаса в офицерский клуб, выпил у стойки бутылочку пива и тут же принял двоих осведомителей — капитана и старшего лейтенанта административной службы. Сведения были не особенно интересные, Понте не счел даже нужным братья за блокнот.

Из офицерского клуба он ринулся в ресторан «Эспланада». Снова кружка пива, снова осведомитель.

Следующей станцией был погребок гостиницы «Рим». Там Понте задержался подольше. Официант-осведомитель сообщил любопытные сведения об одном доценте консерватории, который накануне кутил здесь с оперными артистами. Разговор зашел о крупной карточной игре, которая чуть ли не каждый вечер шла у военного министра и успела получить широкую огласку. Доцент высказал предположение, что «вождь» побаивается министра, за которым стояло большинство офицерства, и потому позволяет ему хапать из казны изрядные куши на покрытие проигрышей и пьянки: за кутежами и картами некогда думать о свержении президента и тому подобных вещах, оно и Ульманису спокойнее.

Из погребка Понте пошел в кафе «Опера». Прикрывшись газетой, он курил папиросу за папиросой, отхлебывал из стакана остывший кофе и все прислушивался, прислушивался. Он ничем не брезговал, все ему шло на потребу — и альковные тайны, и слухи о новейших хитроумных методах валютной контрабанды, и болтовня о последних приобретениях «вождя» в Швеции и Швейцарии.

Незадолго до закрытия кафе к Понте подсел молодой немецкий писатель, политический эмигрант Эрих Гартман. Бывший социал-демократ, он еще в 1933 году бежал от преследования гитлеровцев. В Латвии он нашел гостеприимный прием и покровительство в кругах, резиденцией которых был Народный дом на Рыцарской улице[9]. Но для Понте не было тайной, что эта жертва гитлеровского режима, что-то уж слишком быстро овладевшая латышским языком, начала свой скорбный эмигрантский путь с благословения Геббельса и Риббентропа и щедро делилась своими впечатлениями и наблюдениями с немецким послом и Штиглицем.

Понте получил от Гартмана информацию о тайных собраниях бывших депутатов сейма в районе Межа-парка, на которых если и не обсуждали планов государственного переворота, — слишком жидка была эта публика для таких замыслов, — зато президента и Никура буквально смешивали с грязью. Бывшие депутаты, которым «вождь» ежемесячно выплачивал по четыреста латов отступного, ломали головы над составлением петиций правительствам некоторых западноевропейских государств, — петиций, преисполненных сетований по поводу того, что в Латвии нет парламента, что правительство не утверждено народными представителями, — и рекомендаций не поддерживать с таким незаконным правительством дипломатических связей.

— Мерси, дружище, — сказал Понте, выслушав Гартмана. — Если узнаю что-нибудь

новенькое насчет немецких эмигрантов, я тебя не забуду.

Так время от времени они оказывали друг другу услуги, обмениваясь важной информацией. Рука руку моет...

Остаток вечера Понте собирался посвятить развлечениям, решив вознаградить себя за дневные труды. Он взял извозчика и покатил к ночному ресторану «ОУК».

Завсегдатаи ресторана едва начинали собираться. Понте занял свое излюбленное местечко в нише, откуда было удобно обозревать весь зал, оставаясь в то же время не замеченным публикой. В нише помещалось только два столика, и официанты всегда сажали за них посетителей, которыми больше всего интересовался Понте, — художников, писателей, журналистов, офицеров и иностранцев.

Намерения у Понте были самые мирные: побеседовать немного с официантами-осведомителями, выпить традиционную порцию кофе с коньяком, послушать джаз, а в заключение посидеть в отдельном кабинете с какой-нибудь девочкой из бара. Но разве может отдыхать спокойно такая опытная легавая, зачужив дичь? До того ли?

Он было сговорился с полненькой разбитной девицей и заказал один из самых уютных кабинетов, когда в зал ввалилась шумная компания актеров, вокруг которой закружилось, завертелось ночное кабацкое веселье.

Нельзя сказать, чтобы это были большие кутилы. Официанты не ждали от них крупных чаевых, не ждали от них поживы и ресторанные размалеванные красотки. Иногда они приходили сюда со своими закусками, заказывали ровно столько напитков и еды, чтобы получить право на один из больших столов, и танцевали до закрытия ресторана. Они так привыкли жить на виду у людей, что чувствовали себя здесь как дома и на весь зал раздавались их смех, остроты и жаркие споры об искусстве. Только Мара Вилде сидела с рассеянным видом, почти ничего не говорила и много курила.

Среди актеров Понте увидел и одного своего сослуживца, которого в позапрошлом году удалось, не без содействия Никура, устроить в театр.

— Вот что, Сильвия, ты пока займись с кем-нибудь, — сказал он своей даме. — А я через часок буду ждать тебя в кабинете. Тут у меня дело одно есть.

Сильвия из добросовестности надула губы:

— И вечно у тебя так...

Через несколько минут она уже сидела за другим столиком с двумя приезжими оптовиками, так же добросовестно хмурила брови и вскрикивала: «Да неужели?», «Да не может быть!» — слушая их рассказы о разных удивительных происшествиях, случающихся на провинциальных базарах. Профессия ее требовала умения мгновенно приспосабливаться к интересам и вкусам собеседника, быть такой, какой хотел ее видеть очередной знакомый: с весельчаками она сама становилась смешливой болтушкой, с меланхоликами принимала мечтательно-грустное выражение, робеющих новичков ободряла ласковой откровенностью...

— Мой друг Кристап Понте, министерский служака, — отрекомендовал подошедшего к столу шпика приятель-актер.

Появление Понте ни на кого не произвело особенного впечатления; с ним поздоровались, освободили ему место за столом и тотчас возобновили прерванный разговор. Актеры давно привыкли к вторжениям в их компанию никому неведомых личностей. В известной степени им льстил этот повышенный интерес, который простые смертные питают к богеме, а присутствие

какого-нибудь домовладельца, фабриканта, крупного чиновника — вообще человека со средствами — всегда оказывалось на руку, когда надо было расплачиваться по счету. Да и те в накладе не оставались и при случае не забывали щегольнуть перед своими знакомыми:

— Режиссер Н.? Актриса К.? Занятные, доложу вам, люди... Как же, я с ними не раз кутил в «ОУК».

Понте, как того и хотел, очутился рядом с Марой. Он смотрит на нее, она — куда-то в глубину зала.

— Ваш супруг еще не вернулся из Лиепаи? — подобострастно спрашивает Понте.

Мара медленно поворачивается к соседу, рассеянно смотрит на него. «Наверное, кто-нибудь из знакомых Феликса».

— Нет еще. Он там разбирает конфликт с каким-то пароходом.

— Не скучаете без него? — вкрадчиво улыбается Понте.

Мара пожимает плечами и отворачивается.

«Пикантная женщина, хотя, видать, недотрога», — думает Понте.

— Не желаете потанцевать?

— Нет, спасибо, я лучше посмотрю, отдохну. Я очень устала за последнее время. Столько разных ролей... — Она тихонько вздыхает. На эстраду выходят мексиканские танцоры; оркестр играет танго.

«Столько разных ролей, — повторяет про себя Понте. — Ничего, знакомство пригодится на всякий случай. Многого не выудишь, но проверить через нее кое-кого можно». Посидев еще немного за столом, он расплачивается за выпитый кофе с ликером и, перемигнувшись через зал с Сильвией, уходит. Через несколько минут они уже сидят в отдельном кабинете.

— Чего ты так долго охаживал эту бледную графиню? — спрашивает Сильвия. — Вот не знала, что у тебя такой вкус.

— Какой черт вкус — служба это, служба! — потягиваясь, отвечает Понте. — Ну и голова трещит. Давай кутнем как следует, Сильвия. У меня сегодня настроение такое. Поддержишь компанию?

Развалившись на красном плюшевом диване, он лениво обнимает Сильвию.

— Коньяку... Фруктов и шампанского...

— Давай пригласим и Эрну, — просит Сильвия. — Ей, бедняжке, сегодня весь вечер не везет.

— Зови. Я угощаю.

Две женщины, два милостивых ласковых существа, увиваются вокруг него, смотрят ему в рот, когда он говорит, удивляются его ловкости и талантам.

«Эх, родиться бы тебе в Аргентине, Понте! Подвизался бы теперь в Голливуде, среди Грет Гарбо и Рудольфов Валентино... Эх, Понте, Понте!»

В эту ночь он чувствует себя хозяином на жизненном пиру. Стоит это ровным счетом полтора лата. 8

Никур окинул оценивающим взглядом собравшихся и мысленно поморщился: ни одной интересной бабенки. Остановился, чтобы приложиться к ручке хозяйки дома — госпожи Каулен, с остальными здоровался на ходу, направляя направо-налево снисходительно-безразличный взгляд, столько раз увековеченный на газетных фотографиях. При его приближении разом протянулось к нему несколько рук, даже у членов кабинета сгибались спины в глубоком поклоне. Маститый писатель Мелнудрис не спускал с него просветленного взора, и после каждой произнесенной Никуром фразы позвоночник его слегка вздрагивал. Все его существо красноречиво выражало безграничное одобрение: «Да, о да, господин министр! Как это верно, как это глубоко сказано!»

Госпожа Каулен — сухопарая, изнуренная многочисленными недугами женщина, не давала скучать гостям. Как только собрались все приглашенные, она повела их к столу. Первые десять минут раздавался только стук ножей и вилок да откровенное чавканье. Сам Каулен брал по два раза от каждого блюда, воодушевляя своим примером гостей. Его плотная красная шея, широкое, как полная луна, лицо свидетельствовали о неукротимых аппетитах. Почти все присутствующие были родом из зажиточных крестьянских семей, и в их движениях, в манерах сохранилось еще что-то от деревенской тяжеловесности и медлительности; сохранилось даже благоговейное усердие в еде. Точно так же, как это делали их отцы и матери, попав на свадьбу к соседям, в гостях они ели с таким рвением, как будто их единственной целью было насытиться на даровщинку по крайней мере на неделю.

Подавляя легкую отрыжку, автор исторических романов Алкснис обвел маслянистыми глазами стол и заговорил расслабленным голосом:

— Щедрая Латвия, благословенная страна масла и бекона... Млеко и мед струятся по твоим долинам, — только знай не ленись их брать. И, однако, находятся еще злостные элементы, которые бесстыдно вопят о нужде и голоде.

— Демагогами у нас хоть пруд пруди, — подхватил министр Пауга. — Да вот вам пример. По утрам я иногда хожу в министерство пешком. Полезно для здоровья. Вчера иду я мимо Национального театра, вижу, несколько рабочих ремонтируют что-то. Смотрят на меня, видимо узнали. И один прямо вслед мне заорал: «Вон он, кровопийца, шагает! Мы на него целый день за два несчастных лата работаем, а он от жиру лопается!» Это я — кровопийца! Вот как они понимают заботу о благе государства.

— Что ни говорите, господин Никур, — грозя пальчиком, пропела хозяйка, — но вы слишком распустили вожжи, — я это не только вам, я каждый день и мужу твержу то же самое. До чего дело дошло, если каждый оборванец может безнаказанно обругать в глаза министра? Неужели в центральной тюрьме не найдется места для этих крикунов?

— Если бы мы стали обращать внимание на все подобные демонстрации, нам бы пришлось построить еще десять таких тюрем, — хладнокровно ответил Никур.

— Тогда посылайте их на принудительные работы, — наставительно продолжала госпожа Каулен. — Пусть они роют торф, строят дороги. Когда человеку надо работать с утра до ночи, у него не остается времени на болтовню. Иначе нам с вами скоро нельзя будет и на улице показаться.

— Мы так и делаем, голубушка, — сказал Каулен. — Немало этих горлопанов и торф роют и чинят дороги, это куда выгоднее, чем держать их в тюрьмах. Изрядное количество рабочих рук требуется и для крестьянских хозяйств, я разумею крупные хозяйства, владельцы которых айзсарги[10], члены волостных правлений — служат в сберегательных кассах или сельскохозяйственных обществах. Нельзя же с них требовать, чтобы они сами и пахали и косили. А если мы всех недовольных рассуем по тюрьмам, кому же тогда работать? — Каулен притворно недоумевающе развел руками.

Все рассмеялись.

— Дальше. Дети таких вот крепких хозяев со временем тоже станут айзсаргами. Это оплот государства, наша опора. Как же они подготовятся к этой роли, если ничего не будут знать, кроме работы в поле или в хлеву? Нет, без батраков им нельзя. И вождь поступает в высшей степени дальновидно, не позволяя повышать оплату батрацкого труда. Вот вам прожиточный минимум, а больше — ни-ни.

— Тем более, — проблеял нежным тенорком поэт Раса, — тем более, что повышение заработной платы чревато опасными последствиями. Батраки тогда захотели бы давать образование своим детям. И вот представьте себе нашествие этой, прошу прощения у дам, пропахшей навозом интеллигенции.

Мелнудрис на мгновение оторвался от своей тарелки.

— Что там ни говорят, — промямлил он, не переставая жевать, — в государственных учреждениях должны сидеть дети землевладельцев, их и надо учить.

Заговорил Никур, и за столом сразу воцарилась тишина.

— Вы, господа литераторы, давно бы должны были извлечь из этого урок и начать писать романы и разные там поэмы о благотворном значении физического труда. А вам это редко приходит в голову. Нам надо, чтобы хозяин-патриарх был окружен в глазах народа ореолом. Нам надо и в большом и в малом возвышать авторитет хозяина. Каждый работодатель — вождь своих рабочих или служащих. Учите почитать его, любить его сыновней любовью. Заткните рты коммунистам, чтобы нам не слышать больше таких слов, как «кровопийца», «эксплуатация», «борьба», «протест». Пишите о единстве и содружестве всех классов, пишите о том, что мир — благоденствие, вражда — разорение. Древние традиции латышского крестьянского двора должны возродиться в современных условиях. Если мы этого не добьемся, нас будут не только ругать в глаза, нас скоро забросают камнями. В своем кругу мы можем говорить откровенно. Борьба идет ожесточенная, не на жизнь, а на смерть. Рабочие не хотят работать за два лата в день, но, если мы станем платить им больше, у нас не будет капиталов, мы не сможем удовлетворять высшие культурные потребности, которые вытекают из нашего общественного положения. И не забывайте, что они хотят лишиться нас этого положения. Дешевая и послушная рабочая сила — вот основа нашего благополучия.

Алкснис самодовольно улыбнулся.

— Именно этими идеями проникнуты все мои скромные творения...

— Позвольте напомнить вам, господин министр, что последняя моя пьеса, написанная по вашему совету, — перебил его Мелнудрис, — была встречена весьма одобрительно. Ее ставят во всех волостях.

— Знаю, знаю, — остановил его мановением руки Никур. — Недаром же вы получили премию Культурного фонда — и вы и ваша супруга — за сборник стихов. Мы умеем вознаграждать по заслугам.

— Кто же будет отрицать это, ваше превосходительство! — И Мелнудрис так низко нагнул голову, что его сидящие патлы почти коснулись салата. — Но некоторые не могут примириться с тем, что мы с женой каждый год удостоиваемся государственной награды. Если бы еще я не состоял членом комиссии по распределению премий, а то по всем кафе только и разговоров: «Что ни год — или себе, или жене».

— А кого же нам посадить в эту комиссию? — закричал Каулен. — Кого-нибудь из этих зубоскалов и ворчунов? Или из Совдепии выписать?

Подали новое блюдо.

— Что с покупкой дома? — тихо спросил Никур министра Паугу. — Купчую уже подписали?

— Надеюсь еще выторговать тридцать тысяч, — так же тихо ответил Пауга. — Больше двухсот тысяч не стоит давать. Только двадцать квартир, и район отдаленный.

— Советую поспешить, иначе Беньямин из-под носа выхватит. С тех пор как вошел в силу закон о запрещении вывоза валюты, старик не знает, куда деньги девать, и скупает подряд все дома. Мне недавно его сын говорил, что он опять нацеливается на какой-то завидный объект.

— Вот как? Ну, тогда надо поторапливаться.

За пять лет пребывания на посту министра Пауга приобрел только один дом, и тот на имя жены. Он заметно отставал от других членов кабинета, у которых было уже по несколько доходных домов в Риге, были большие имения и дачи, не говоря уж об акциях солидных предприятий. Впрочем, объяснялось это отнюдь не бескорыстием министра, — изрядная доля его доходов уходила на жену-француженку. Одни поездки на Ривьеру чего ему стоили, а там еще бесконечные приемы, парижские туалеты...

Медленно поднимались из-за стола отяжелевшие гости. Дамы удалились в будуар хозяйки — попудриться, обсудить очередные скандальные новости. Алкснис, с нетерпением ожидавший этого момента, чтобы рассказать несколько пикантных анекдотов (в качестве историка он хранил в памяти неистощимый запас их), удобно развалился в глубоком кожаном кресле, закурил сигару — и полился поток скабрезностей, прерываемый только одышливым кашлем, от которого шея романиста становилась совершенно сизой. Особенно восторгался его остроумием Раса, — после каждой непристойности его жиденькое тельце подпрыгивало в кресле, а улыбающееся личико покрывалось сетью мелких морщинок. Один Никур не мог забыть об отсутствии жены консула. «Надо будет позвонить в главное лесничество Радзиню, пусть организует охоту дня на два, на три. Амазоночка не откажется, а мужа можно услатить в кратковременную заграничную командировку».

Мужчины направились к карточному столу. Только Мелнудрис из скупости воздерживался от игры; Раса предпочел провести остаток вечера возле госпожи Пауги. Оба остались довольны друг другом: по крайней мере досыта наговорились на классическом жаргоне парижских кабачков.

Вначале ставки были небольшими, но стоило игрокам войти в азарт, как в банке появились сотенные. Больше всех везло Алкснису. Он загреб один за другим три банка, в общей сложности около шестисот латов, как вдруг начавшийся сердечный припадок заставил его выйти из игры. Впрочем, партнеры давно уже разгадали тайну этих припадков: не так давно Алкснис купил где-то в Видземе большой участок земли и отстраивал на берегу озера уютную дачку.

Никур с Паугой и Кауленом играли до двух часов ночи. Пауга потерял тысячу двести латов, которые целиком достались Никуру. Но и выигрыш не поднял испорченного настроения. Что это за деньги, если один телефонный звонок к какому-нибудь оптовику, ожидавшему крупных неприятностей из-за нескольких тюков контрабандных кружев, приводит к более ощутимым результатам! Нет, он уже пресыщен, интересоваться его могут только солидные дела.

«Наследный принц, наследный принц», — меланхолически мурлыкал он, садясь в машину. 9

В воскресенье Андрей Силениек, встав на заре, вывел за ворота велосипед, прикрепил к его раме небольшую корзиночку, в какие обычно собирают ягоды или грибы, и направился за город по Видземскому шоссе.

Миновав Баложскую корчму, он заметил у обочины девушку с корзинкой в руках и тотчас соскочил с велосипеда.

— Доброе утро. Много боровиков набрали?

— Пока только три, — ответила девушка, пристально взглянув на него, — вы будете четвертым.

— Лесника не заметили? — вполголоса спросил Силениек.

— Минут пятнадцать тому назад прошел один в сторону Ропажей, но он свернул влево от шоссе, — так же тихо ответила девушка.

— Частный?

— Нет, казенный. Старший надзиратель.

— Значит, можно приступать к сбору грибов.

Закуривая папиросу, Силениек незаметно огляделся. Кругом не видно было ни души.

— Я пойду к грибным местам, Айя, а когда подойдет Крам, можешь присоединиться к нему. Мы должны обернуться за час. Скоро здесь начнет шататься разная публика.

— Хорошо, Андрей. — Она кивнула ему вслед.

Силениек перетащил велосипед через канаву и углубился в лес. Ночью прошел дождь, и устилавший землю мох искрился миллионами мельчайших капель. Солнце едва поднялось: торжественно и тихо было в этот час под громадными величавыми соснами. По их красноватым стволам бегали какие-то бойкие серые птички. Выпорхнул из чащи черный дятел, пронесся в неровном полете через вырубку, и птички, мгновенно собравшись в стайку, скрылись вслед за ним.

Силениек вел велосипед, выбирая такие места, где бы он не оставлял следов, а где был влажный песок — нес его на руках. Полной грудью вдыхал он благоуханный воздух соснового бора. Растянуться бы на устланном хвоей, нагретом солнцем скате пригорка, покусывать стебелек метлицы и глядеть, глядеть в густую синеву, на крутые снежно-белые облака, застывшие над макушками сосен. А эти птичьи голоса! С какой силой напоминают они детство — вот такое же утро, поросшие ивняком берега тихой речушки, стадо коров и овец и старого, верного Дуксика, бодро перебирающего кривыми лапами рядом с пастушком Андреем!

Гулко отдался в тишине бора паровозный гудок — хриплый, протяжный. Недалеко, невидимый отсюда за лесом и озером, начинается город — грозная каменная громада, сосредоточившая в себе бессмысленную роскошь и ужасающую нищету, страдания и наслаждения, великие противоречия и великую, упорную борьбу. Там и была она, подлинная, полноценная жизнь, а не здесь, под тихими стройными соснами, не в созерцании кудрявых тучек, а в трудной работе, подготовляющей созидание нового мира. Он — Андрей. Силениек — участник этой работы, где не видно строителей, но время от времени заметны результаты. И многие, — как раз те, которым принадлежат власть, оружие, деньги, — страшатся этой незримой работы больше, чем землетрясения.

У опушки молодой лиственной рощицы Силениека встретил юноша в широких матросских брюках и синей рубашке. В одной руке у него была корзинка, в другой — обыкновенный столовый нож.

— Доброе утро, — поздоровался Силениек. — Много боровиков набрали?

— Пока только три, — быстро ответил парень, глядя в глаза Силениеку. — Вы будете четвертым.

Они пожали друг другу руки и заговорили на «ты».

— Настоящих любителей грибов еще не видно? — спросил Силениек.

— Место не грибное. Если не забредет случайно какая-нибудь парочка, можно здесь остановиться. На всякий случай мы присмотрели еще одно местечко возле озера.

— Ты до конца останешься в дозоре?

— До конца, товарищ.

Юноша показал тропинку, убегаящую вглубь чащи. В этом не было необходимости: месяца три тому назад Силениек провел здесь районную конференцию и хорошо ориентировался в местности.

— Оставайся здесь, я и один дойду.

Пока Силениек пробирался сквозь частую поросль, костюм его промок от скатывающихся с листьев, не успевших высохнуть капель ночного дождя. Зацепившись за ветку, звякнул звонок велосипеда. Силениек достал из кармана платок и обернул им его.

Собрание подпольщиков происходило в лощинке, образованной обращенными друг к другу склонами двух холмов. Место было удобное: ни одна живая душа не могла незаметно проникнуть сюда. В случае опасности участники собрания могли быстро рассыпаться и уйти по трем направлениям, а холмы прикрыли бы их отступление.

В собрании участвовало восемнадцать человек — и мужчины и женщины. Это были металлисты с заводов «Вайрог» и ВЭФ, молодые рабочие из порта, школьный учитель, два железнодорожника, служащий городской управы, студенты. Каждый из них представлял целый партийный коллектив, его душу и мозг. Это были смелые, закаленные люди, до последней капли крови преданные идее освобождения народа. Их жесткие, натруженные руки свидетельствовали о суровой жизненной школе, которая кратчайшим путем приводит к пониманию правды. Но и тех, которые служили в учреждениях или учились, белые воротнички и портфели не могли отгородить от класса, который взрастил их, не могли заставить забыть, что в жилах их течет рабочая и батрацкая кровь. Был здесь и один юноша из зажиточной семьи, в трудных поисках обретший смысл жизни и порвавший с миром хищников и обманщиков.

Открыв собрание, Силениек сделал краткий доклад о текущем моменте.

— Буря вот-вот разразится. Еще не завершилась испанская трагедия, а в воздухе уже снова чувствуется запах пороха. Послушайте по вечерам радио — эфир полон угрожающих криков. Обрюзгший бульдог Муссолини лает с балкона Венецианского дворца об итальянской империи. В Нюрнберге и Мюнхене еще громче раздается истерический вой Гитлера. Империалисты распоясываются. Судетская авантюра[11] — безошибочный признак надвигающейся на Европу войны. Правительства западноевропейских государств уверены, что лавина агрессии минует их и обрушится на Советский Союз. Нам неизвестно, какой маршрут наметил Гитлер, но мы должны знать, что новая мировая война грозит всему человечеству. Народам всего мира предстоят неисчислимы страдания и бедствия. Рабочие и крестьяне будут умирать на фронтах, их жены и дети — гибнуть от голода и лишений, а капиталисты будут считать прибыль и вычислять, сколько времени они могут продолжать войну.

Смешно предполагать, что война минует Латвию, пройдет стороной. Мы находимся на перекрестке дорог. Восточные границы реакционной Европы проходят у Зилупе и Индры[12]. Ульманис и его клика не покладая рук готовятся к войне с Советским Союзом. Фактически они давно уже запродали страну Гитлеру и другим империалистам в качестве удобного плацдарма для грядущей войны.

Сейчас, товарищи, самое время, чтобы полным голосом заговорить с народом. Надо открыть ему глаза, рассеять ядовитый туман лжи, которым отравляют его буржуазная пресса и пропагандистский аппарат Валяй-Берзиня[13]. Мы знаем, что ищейки из охраны с ног сбились от усердия, что тюрьмы переполнены, что на каждой фабрике, в каждом учреждении сидят десятки шпионов. Но всех в тюрьмы не упрятать! Чем больше будет бесноваться правящая клика, тем быстрее будут расти ряды наших борцов. Так за работу, товарищи!

Каждому участнику собрания по отдельности Силениек поручил конкретное задание. Кроме существующей типографии, он решил организовать еще одну — резервную, чтобы в случае провала первой бесперебойно выпускать газету. Для распространения литературы он назначил еще нескольких молодых членов организации и увеличил вдвое число связистов на крупных предприятиях.

Суровые, выстраданные ценой многих благороднейших жизней традиции подполья руководили каждым шагом коммуниста. Излишнее любопытство могло привести к непоправимым бедам, поэтому никто не обижался, если его не информировали о том, что не входило в круг исполняемой им работы.

У каждого участника собрания была своя кличка. Самые испытанные, надежные товарищи только в редких случаях знали друг друга по именам или кто где работал. Иной раз знали, например, что на таком-то заводе есть свой человек, выполняет партийные задания, но известен он был только руководителю организации или Центральному Комитету.

На своей родной земле, среди своего родного народа, лучшие сыны его были окружены сетью ловушек, расставленных слугами господствующей клики, и каждое неосторожное слово, каждый необдуманный шаг грозили их великому, благородному делу. Любой из них с первых шагов своей героической и опасной работы свыкся с мыслью о возможном аресте.

За час все было закончено. Силениек роздал заранее доставленные сюда брошюры и воззвания, и все стали расходиться. Уходили по двое, причем Силениек указывал, кому с кем идти. Это была последняя предосторожность. Если бы на собрании оказался провокатор, он некоторое время — во всяком случае не менее часа — находился бы под контролем своего спутника. За это время остальные участники могли спокойно разойтись по домам.

Силениек посадил на велосипед Айю и покатил к городу. У моста через Юглу Айя села в автобус, направляющийся к центру, а Силениек поехал домой. Уверенно звучал звонок его велосипеда, предупреждая неосторожных пешеходов. На дне корзинки лежало несколько подосиновиков, маслят и лисичек.

Нет, не зря прокатился он в лес за грибами!

Глава вторая

1

— Слышали? — еле переводя дух, выпалил Прамниек и сел за столик между Освальдом Ланкой и Гартманом.

В погребке гостиницы «Рим» было необычно малоллюдно. Посетители, не задерживаясь более пяти минут выпивали кружку пива, закусывали и торопились уйти! Что-то гнало их на улицу, домой, к друзьям, все были чем-то возбуждены.

Эрих Гартман лениво потянулся к пепельнице, стряхнул пепел и удивленно посмотрел на Прамниака. Вид у того был взбудораженный, густые волосы прилипли к влажному лбу; концы галстука выбились из-под старого, испачканного красками пиджака, — очевидно, он выбежал из дому в чем был.

— Вы это про Зандарта спрашиваете? — широко улыбаясь, спросил Ланка. — Да, он у нас вчера выиграл в тотализатор тысячу семьсот латов. Вот угощает теперь друзей, — и он похлопал Зандарта по жирной спине.

Толстяк, не сводя восторженного взгляда с Эдит, самодовольно хохотнул:

— На собственного рысака поставил. Я своих лошадок знаю...

Прамниек возмущенно перебил его:

— Ах, да не о том вы... Неужели вам в самом деле ничего не известно?

Все вопросительно уставились на него. Прамниек говорил охрипшим голосом, как будто у него горло пересохло от жажды:

— Сегодня утром немецкие войска вторглись в Польшу. Мне знакомый из телеграфного агентства звонил, сказал, что ждут речи Гитлера по радио. Сейчас весь вопрос в том, будут ли Англия и Франция выполнять свои обязательства... Чехословакию же бросили в пасть волку, неужели и Польшу предадут? Ну и ну... Официант, кружку пива!

— Значит, вон уже до чего дошло, — несколько театрально закусив губу, протянул Ланка, — свершилось. Заговорили пушки, льется кровь, города превращаются в пепел.

— Ну, полякам достается поделом, — с авторитетным видом сказал Зандарт. — Позарились на чужое, отхватили... как ее... эту самую Тешинскую область. Когда Гитлер прибрал к рукам Чехословакию, он, будьте уверены, знал, что в скором времени заграбастает всю Польшу, потому и не мешал им! Нет, это здорово получилось, ей-богу здорово!

Он хотел еще что-то сказать, но не нашелся, торжествующе оглядел стол и потер руки.

— Господин Зандарт в известной мере прав, — сказал Гартман, насмешливо поглядев на него. — Поляки действительно подавились этим кусочком и оскандалились перед всем миром. Боюсь, что сейчас они ни в ком не вызовут сочувствия.

— Рыдз-Смиглы[14] и Бек[15] — это еще не вся Польша! — ударив кулаком по столу, крикнул Прамниек. — Только сумасшедшие или преступники могли вести такую политику, как они. А отвечать за этих продажных панов придется польскому народу.

— Так вы не считаете Бека польским патриотом? — спросил Гартман.

— Я уверен, что он гитлеровский агент в польском правительстве — ни больше ни меньше. А эта старая рухлядь Мосьцицкий[16] служит для них вывеской.

— Пожалуй, крепковато сказано о главе дружественного государства, — заметил Ланка. — Хотя здесь нет никого из поляков, но вы бы все-таки поосторожнее...

— Через месяц за этого главу никто гроша ломаного не даст, — не унимался Прамниек. — А за свои слова я готов отвечать хоть перед Лигой наций.

— Ну, это еще не так страшно, — засмеялся Гартман. — Кажется, там скоро не перед кем будет отвечать. Невиллю Чемберлену не увильнуть от руки судьбы. Его зонтик не укроет Европу от свинцового дождя, никто не станет искать под ним убежища. И вообще, должен вам признаться, хотя мне и пришлось покинуть из-за Гитлера родину, хотя по его милости мне негде издавать свои книги, но временами я просто восторгаюсь им.

— Ого! — покачал головой Прамниек. — Чем же это вы восторгаетесь? Его жестокостями? Истерическим кривлянием? Проповедью ненависти ко всем народам, потому что они не немцы? Вы что же, значит, тоже думаете, что латыши способны только к физическому труду? Так ведь он, кажется, сказал?

Но Гартмана нимало не смутили язвительные нападки художника.

— Подождите. Я только хотел сказать, что меня поражает его умение добиваться поставленной перед собой цели. У него сверхчеловеческая воля. Обратите внимание, как он действует на массу. И главное — достигает осязаемых результатов. Вообразите себя хотя бы на секунду немцем. Тяжелые, унижительные послевоенные годы... инфляция, репарации, оккупация Саарской области... Какие перспективы на ближайшие тридцать лет были у Германии? Никаких. Теперь посмотрите, что сделал Гитлер... Как же после этого не считать его великим человеком, почти гением, как же не восторгаться им среднему немцу!

— А себя, господин Гартман, вы тоже причисляете к средним немцам? — спросил Прамниек.

Гартман развел руками:

— Если бы это было так, я не сидел бы здесь, а жил бы где-нибудь в Мюнхене, издавал бы большими тиражами по две книги в год и...

— И маршировали бы в строю штурмовиков, — смеясь, закончила Эдит. — Воображаю, какая это тоска — быть женой штурмовика. Ведь ему непременно каждый год подавай ребенка. Не принимайте это на свой счет, господин Гартман, но в общем я терпеть не могу немцев. Такие они надутые, так надоедают разговорами о своей миссии, о своей расе!

— Да, есть этот недостаток у моих соотечественников, и вы это очень остроумно заметили, — любезно согласился Гартман.

— Пожалуй, в конце концов и поверишь, — задумчиво сказал молчавший все время Ланка, — что они завоюют весь мир. Что-то не видно силы, которая могла бы противостоять им. Янки вряд ли сунутся, Англия насквозь прогнила, а русские слишком слабы. Фанерные танки, которые Ворошилов показывает на маневрах, никого не введут в заблуждение. Нет, кто хочет удержаться, тот должен искать опоры в Берлине.

— Ну да, надо идти на поклон к щуке: сделай милость, проглоти меня, коли есть аппетит, — буркнул Прамниек.

Официант принес пиво, и все замолчали, потягивая из кружек холодный, приятно горьковатый напиток.

Гартман встал из-за стола первым и ушел, не дожидаясь остальных.

— Интересный человек, — глядя вслед ему, сказал Ланка. — Притом какая широта взглядов, если он может испытывать гордость за успехи Германии, несмотря на то, что в будущем они грозят ему гибелью. Попадись он в лапы нацистам, они его живо повесят.

— Боже, какие ужасы, — поморщилась Эдит, — право, не довольно ли об этом?

— Когда же вы приедете посмотреть мои конюшни? — вполголоса спросил ее Зандарт. — Я

недавно несколько лошадок купил. Ах, что за лошадки! С вашего позволения хочу одну гнедую кобылу назвать Эдит. Она у меня на будущий год первый приз на дерби получит.

Эдит погрозила ему пальчиком:

— Называйте как хотите, но моим именем не смей! А лошадок я посмотрю с удовольствием.

— Как подвигается ваша картина, дружище? — спросил Ланка Прамниек, который уже несколько минут сидел молча, подперев кулаками щеки.

Прамниек словно расцвел. Угрюмый взгляд его просиял, даже голос стал мягче.

— Да вот натурщица заболела, иначе бы я ее за две недели окончил. У Олюк сложение не то, она больше на девочку походит. Тут нужна женщина высокая, величавая, вроде Эдит.

Эдит только молча взглянула на него — розовая, свежая, нарядная.

В дверях погребка Прамниек распротился с компанией и быстро зашагал домой. У всех прохожих в руках были еще сырые листы газет. Экспедиторы носились на велосипедах от киоска к киоску, подвозя их большими пачками. Весть о войне с быстротой молнии распространилась по городу, все только о ней и говорили. Лишь дети по-прежнему беззаботно играли: строили замки из песка, пускали бумажные кораблики, столпившись у фонтана, да у главного почтамта старый чистильщик сапог кормил хлебными крошками голубей.

«Когда ты образумишься, жестокое, безумное человечество? — думал Прамниек. — У тебя все есть для счастья только бы мирно работать, жить в согласии с интересами общества... Ведь всем хватило бы места под солнцем. А сейчас в Варшаве уже воют сирены воздушной тревоги, пикирующие самолеты бомбят и обстреливают по дорогам толпы женщин и детей, бегущих на восток от гитлеровской армии...»

Придя домой, Прамниек достал из почтового ящика вместе с газетами конверт с извещением, что на него наложен штраф в пятьсот латов за то, что он, художник Эдгар Прамниек, в недопустимых выражениях отзывался о главе государства и порицал существующий государственный порядок.

«Учись держать язык за зубами, дурак, — сказал он, потирая шею. — В стране интенсивного свиноводства скоро проходу не станет от свиней. Интересно знать, кому же это я обязан этим сюрпризом? Кому из приятелей должен показать на дверь?»

Но сколько Прамниек ни ломал голову, ответа на этот вопрос он не нашел. 2

— Тридцать лет работаю в порту, а таких чудес еще не приходилось видеть, — говорил старый Рубенис сыну Юрису, идя утром на работу. — Видать, всю Латвию хотят увезти. Ну и жадность!

Время у них еще было, и они остановились, наблюдая с насмешливым удивлением бесконечный караван фур, грузовиков, фургонов и ручных тележек, который тянулся от спортивной площадки «Унион» до самой Экспортной гавани. Горами громоздились грубо сколоченные ящики, окованные железом лари, старинные сундуки с толстыми железными скобами, обвязанные ремнями чемоданы, брезентовые мешки, узлы с тряпьем... Старые, источенные жучком платяные шкафы, комоды с потускневшими зеркалами, полосатые матрацы, продавленные диваны, обшитые мешковиной гарнитуры старинной стильной мебели, солидные кожаные кресла, старые кухонные столы и табуретки, скатанные ковры, половые щетки, вешалки, птичьи клетки, эмалированные ведра, умывальные тазы и ночные горшки — все, что можно найти и в квартирах богачей и на толкучке, было представлено в

этом пестром обозе.

— Ну и жадность! — повторил за отцом Юрис. Опершись, как на трость, на обернутый брезентовым фартуком крюк, он провожал взглядом все новые и новые подводы и грузовики.

Портовый грузчик, обязанный своим воспитанием не столько начальной школе, сколько десятилетнему рабочему стажу, Юрис, однако, отлично понимал значение этого зрелища. Немцы покидали Латвию, немцы, которые в течение семи веков, с того самого дня, как их предки вторглись в эту страну, не переставали измываться над ее народом.

У старика Рубениса вся спина была исполосована рубцами, — эти рубцы не давали ему забыть о карательных экспедициях 1905 года. Зеленые холмы Латвии еще осквернились развалинами ястребиных гнезд немецких баронов; по улицам древней латышской столицы, никому не уступая дороги, задрав головы, расхаживали белобрысые сопляки, в брюках гольф и белых шерстяных чулках, и их папаши — седые усатые господа в зеленых шляпах с петушиными перьями, прогуливающие надменных супружниц и любимых собачек. И все они громко кричали «хайль» и все поднимали руку, по-фашистски приветствуя при встрече друг друга.

Столетиями они жирели на латышских хлебах и вдруг объявили всему свету, что их отчина по ту сторону Немана. Но, уезжая по зову Гитлера, с надеждой вернуться сюда полными господами, они не гнушались ни ветхими кроватями, служившими приютом для многих поколений клопов, ни измятыми чайниками, — подбирали все до последней веревочки. Оставались, правда, дома, фабрики, земельные участки, но за них обещал щедро расплатиться Ульманис.

Скатертью дорога, по крайней мере воздух чище станет, — приговаривал старик Рубенис. — Эх, жалко, отцу не привелось дожить до этого.

Всю дорогу, идя мимо обоза, Юрис читал немецкие надписи, выведенные на ящиках. Иногда он подталкивал локтем отца, чтобы обратить внимание на какую-нибудь фамилию, изблещившую онемечившегося латыша.

— Гляди, гляди: Катарина Граудинг... Иоганна Пакул... Эрнст Озолинг... и эти туда же! Весь век немцам руки лизали, как же теперь отстать от этой собачьей привычки! Ну, в фатерланде могут лизать сколько влезет. Гитлер им за это обглоданную кость бросит: «Ешь, песик, вот тебе в награду».

— Недаром моряки говорят, что с тонущего корабля крысы бегут, — сказал старик Рубенис.

— Ну, они еще надеются вернуться на насиженные места. Вернуться и опять народ оседлать. Они иначе не могут. Но если уж так случится, тогда нам и подавно жизни не будет. Лучше, кажется, быть негром в Африке.

— Всяк утешается, как умеет... — старый Рубенис выколотил трубочку о ноготь большого пальца и смачно сплюнул. — Радости им, конечно, мало, раз приходится уезжать от латышских колбас и масла. Разве мы не видим, какой бурдой их кормят на пароходах...

— Нет, они на этом не успокоятся, — продолжал Юрис, — сегодня на Польшу напали, а завтра еще что-нибудь придумают.

Дорогу им загораживали несколько репатрирующихся белочулочников и петушиных хвостов. Сбившись в кучку, они оживленно, перебивая друг друга, обсуждали что-то. Юрис, не опуская глаз, шел прямо на них, слегка выдвинув вперед одно плечо и помахивая своим крюком.

— А ну, посторонитесь! Живей, живей! Стоят здесь, как будто всю землю в наследство

получили!

Немцы недоумевающе глядели на плечистую, словно из бронзы вылитую фигуру парня и, встретив его открытый презрительный взгляд, расступились, ворча сквозь зубы.

Большой серый пароход «Гнейзенау» пришвартовался у нового мола, в самом конце гавани. Он точно принес с собой дыхание разыгрывающейся на западе войны. Борта его и высокий капитанский мостик были камуфлированы коричневой и зеленой краской. На верхней палубе, на носу и корме стояли зенитные пулеметы, укрытые брезентом.

На берегу суетились агенты Утага[17], комиссары по репатриации, одетые в военную форму. Десятки мелких «фюреров» — штурмовиков — резкими, лающими голосами выкрикивали приказания. Свастики были у них на рукавах, свастика на германском флаге извивалась от ветра на корме парохода.

«Ну, на меня они не покричат», — подумал Юрис Рубенис.

— Вот потекут теперь чаевые! — радовался какой-то грузчик. — Сами подбегают, просят: «Осторожней мой шкафчик, не разбейте о борт, я заплачу, заплачу!»

— Пошли они к дьяволу со своими чаевыми! — закричал Юрис. — С деревом будем обращаться, как с деревом — это не стекло.

Ровно в восемь часов открыли грузовые люки. Грузчики, разделившись на группы, спустились в трюмы; их сопровождало несколько немцев. Загромыхали подъемные краны и лебедки, завизжали блоки.

— Берегись! — крикнул такелажник, подходя к люку.

Высоко в воздухе плыла платформа с ящиками и тюками. Покачавшись над люком, она стала опускаться и, не дойдя метра на два до дна трюма, остановилась. Множество рук уперлось в нее и стало отводить ее в сторону. Платформа тихо, осторожно поставлена на дно; тяжелый крюк поднят, и грузчики проворно берутся за работу — таскают, волочат, кантуют груз в дальний угол трюма.

Немцы показывали, куда что поставить, и в начале погрузки что-то отмечали на плане трюма, но вещей было так много, что их невозможно было отметить на плане.

— Пока до места дойдет — в кашу превратится, — с довольным видом заметил старик Рубенис, силясь втиснуть ночной столик между двумя ящиками. Столик не входил. Тогда грузчик вскочил на него и подпрыгнул. Столик затрещал, но, наконец, стал на место.

— Берегись! — снова закричали сверху.

Нагруженная платформа, раскачавшись, с силой ударилась о край люка. Весь груз заходил ходуном, а один шкаф и два чемодана соскользнули с платформы и полетели с пятнадцатиметровой высоты в трюм. Шкаф разлетелся в щепки, а у одного чемодана отскочили замки. Из-под обломков грузчики извлекли два бочонка масла и мешок колбасы.

— Ишь, прорвы, — засмеялся старик Рубенис, — на год хотели запастись...

Остальные грузчики обступили раскрывшийся чемодан и с хохотом разглядывали его содержимое. Вещи были самые добротные: кожаный портфель, наполненный золотыми часами и кольцами, два куска тончайшего сукна и ворох отлично выделанных замшевых шкур.

— Беритесь, ребята, за крюки, пока не поздно! — крикнул кто-то. — Золотые часы не каждый

день с неба валятся.

— Не надо мне их дерьма, — сплюнул Юрис, — пусть на зиму засаливают.

Немцы сбились поодаль в кучку, не зная, что делать. Обнаруженные грузчиками вещи не были внесены ни в какую опись, за них не уплатили вывозной пошлины. Конечно, их соотечественник, вздумавший поживиться на счет Латвии, был сам виноват, — не сумел упаковать лучше. Но как бы это пригодилось фюреру и «Великогермании»!

Бочонки с маслом, портфель с золотыми вещами и все остальное подняли с платформой на палубу. Когда на сцену появились таможенники в зеленых фуражках, господа с петушиными хвостами стали горячо объяснять им что-то; начался настоящий базар.

— Ничего, они между собой поладят, — сказал Юрис. — Ворон ворону глаз не выклюет. — Но он заметил, что некоторую толику взыскали и грузчики, прежде чем контрабанда вернулась на палубу.

— Эх, ребята, не туда вы смотрите.

В трюме все росли и росли горы разномастного хлама. И каждый раз, когда на платформе появлялось что-нибудь подозрительное, она раскачивалась чуть посильнее и непременно ударялась о край трюма. И каждый раз из разбитых чемоданов и ящиков вываливалось много интересных вещей. В одном сундуке оказалось огромное количество жестянок с консервами, в другом — целая коллекция всевозможного оружия — револьверы последних образцов, старинные, украшенные драгоценными камнями пистолеты, кинжалы в роскошной оправе, охотничьи ружья.

В одном чемодане было несколько мундиров офицера гвардии царских времен, одеяние капитана латвийского военно-морского флота, френчи командира айзсаргов со всеми знаками различия, а на самом верху — новешенький мундир майора немецкой армии. Тут же, под этой коллекцией, свидетельствовавшей о некоей исторической метаморфозе, в маленькой шкатулочке лежали ордена: царские — Анны и Станислава с мечами, Лачплесиса, айзсарговский крест, орден Трех звезд и еще какие-то значки с немецкими надписями.

— Надо думать, усердный служака, — смеялся Юрис, разглядывая их, — всяким властям успел послужить. Правда, с кем угодно поспорю, что хозяин-то у него один был, какой бы мундир он ни носил. Сам здесь жил, а душой — где-нибудь у Рейна. Оттаскивай, ребята, в сторону, у меня нос нафталинового запаха не терпит. — Ты как хочешь, — сказал он, подходя к отцу в одну из коротких передышек, когда грузчики ждали очередной платформы, — а я завтра на работу не выйду, тошно стало. Они увозят награбленное у нас добро, а мы для них стараемся. Лучше на дрова пойду.

— Ты что, маленький? — ответил отец. — Все равно и без тебя увезут со всеми клопами и жучками-древоточцами. А за десять латов можно и потрудиться. — И он опять притоптывал, встав на вешалку или на зеркальный шкаф: старый квалифицированный грузчик старался использовать каждый кубический сантиметр помещения трюма. Недаром от его трудов уже треснуло несколько зеркал.

Работали сверхурочно, и лишь поздно вечером Юрис с отцом пошли домой. Вереница повозок и машин все еще тянулась к Экспортной гавани. Возчики дремали на козлах и готовы были дремать всю ночь: им платили почасно.

На площадке «Унион» гремела музыка. Штурмовики танцевали с дочками местных немцев рейнлендер; сквозь щели забора глазели на них мальчишки. И везде виднелись подводы, возле которых суетились репатрианты.

— Что-то не нравится мне эта музыка. Это они неспроста, — сказал Юрис. — Придется нам еще поработать кулаками, когда они поползут обратно. — И, встряхнув каштановыми запыленными волосами, уже весело закончил: — Ну что ж, за это дело я возьмусь с удовольствием. 3

Как-то посреди недели Ольга Прамниек приехала с дачи за покупками в Ригу. Набегавшись по магазинам, она на минутку заглянула домой, на улицу Блаумана, и еще в передней услышала телефонный звонок.

— Это ты, Олюк? — услышала она голос Эдит. — Какое счастье, что ты в городе... Умоляю тебя прийти ко мне, сейчас же, сию минуту. По телефону сказать ничего не могу. Ты мне очень, очень нужна.

— Видишь ли, меня ждет на вокзале Эдгар, мы с ним условились... — начала было Ольга. Она не присаживалась с самого утра и еле дышала от усталости.

— Олюк, если бы ты знала, в каком я отчаянии... — тихим, упавшим голосом сказала Эдит. — К кому же мне еще обратиться? Олюк, дружочек!

— Сейчас же прибегу, не волнуйся.

«У нее в самом деле какое-то горе, я сразу и не поняла... ужасная эгоистка! Но что же случилось?» — думала Ольга, сбегая по лестнице.

Эдит она знала с детства, и та даже на школьной скамье удивляла всех своим спокойствием, самоуверенностью. Ей и двенадцати лет не было, а она уже отлично знала себе цену. Она принимала как должное восторженную привязанность Ольги, всегда считавшей себя посредственностью, а всех подруг — умницами или красавицами. Правда, став взрослой, Ольга постепенно начала замечать в Эдит черты себялюбия (на многое ей открыл глаза муж), но по-прежнему дружила с ней и восторгалась ее красотой, умением держать себя, одеваться.

Ольга взяла извозчика и поехала на Виландскую улицу. Дверь ей открыл сам Ланка. У него было такое ледяное выражение лица, что она побоялась заговорить с ним.

— Эдит в гостиной, — сухо сказал он, поклонившись, и, проводив Ольгу до двери, снова вернулся в переднюю.

— Эдит, милочка, что с тобой? — бросаясь к подруге, спросила Ольга.

Эдит сидела на диване, опустив голову, опершись лбом на ладони. Она молча протянула Ольге руки. Лицо у нее побледнело, глаза блестели.

— Что у вас случилось?

— Ах, сейчас все расскажу. Я так устала! — Эдит взяла Ольгу за руку. — Я знаю, как это поразит тебя и всех наших друзей... Мы с Освальдом развелись. Подожди, не перебивай. Мы уже были сегодня в суде, и теперь он мне больше не муж. Вот и все. — Она нервно усмехнулась.

— Разводитеесь? Так, ни с того ни с сего? — Ольга не могла найти слов от удивления. — Но как же это понять? Вы так дружно жили, так любили друг друга... просто уму непостижимо...

Эдит провела рукой по глазам.

— Да, я и сама не могу опомниться. Причина возникла так внезапно...

— Он что... изменил? — шепотом спросила Ольга.

— Да, он изменил. Не мне, конечно, — Эдит надменно улыбнулась, — он изменил родине, Латвии.

— Тут я совсем ничего не понимаю. Как это изменил родине?

— Он уезжает в Германию. Ре-па-три-ируется. Понимаешь? Оказывается, он не считает себя латышом. Наговорил мне, что в Германии у него живут родные, что он связан с ней разными там духовными и кровными узами и тому подобное... Вот теперь скажи мне, Олюк, скажи откровенно, что бы ты сделала, если бы это случилось с Эдгаром?

— Нет, с Эдгаром этого не могло случиться. Ты сама знаешь, как он ненавидит гитлеровскую Германию!

— Да, конечно... хотя и мой... хотя и господин Ланка тоже всегда говорил о немцах с презрением. А вот я узнаю на днях, что он давным-давно зарегистрировался в германском посольстве и внесен в списки. Он мне сказал об этом, когда началось это великое переселение. Думал, что я с ним поеду, и сначала слушать меня не хотел, но я сразу заявила: «Поезжай хоть на край света, если жена для тебя ничего не значит. Раз я родилась латышкой, латышкой и умру. Детей у нас нет, никакие обязательства нас не связывают». Вот что я ему сказала. По-твоему, я правильно поступила, Олюк?

Когда Эдит начала свой рассказ, у нее на глазах навернулись слезы, но постепенно она поборолла нахлынувшее на нее волнение и стала улыбаться.

— Да, ты поступила правильно, — тихо сказала Ольга, — я тебя понимаю. Ты удивительная женщина, Эдит. Скажи мне только одно: неужели Освальд в самом деле немец?

— Ну какой там немец! — Эдит пренебрежительно махнула рукой. — Он приживальщик, как и все прочие, которые прицепляют к своим фамилиям окончания «инг». Если бы ты знала, как я его презираю. Он мне за эти дни до того опротивел, что я дожидаться не могу его отъезда. От прежней любви во мне ничего не осталось. Слава богу, теперь уже не долго ждать. Пароход стоит в гавани, завтра будут отвозить вещи.

«Какой сильный характер! — думала, глядя на нее, Ольга. — Она настоящая героиня. А Эдгар считал ее бесчувственной куклой. Но как ей тяжело сейчас, бедняжке...»

— Мне сейчас пришла в голову славная мысль, — сказала она, обнимая подругу. — Почему бы тебе не пожить немного с нами на даче? Первое время одной тебе будет тяжело, а у нас места хватит.

— Спасибо, Олюк, ты у меня добрая подружка. — Эдит нежно потрепала ее по руке. — Мне и самой пришлось это в голову, но я постеснялась начать разговор... Потом вот еще что: я хочу попросить тебя об одной вещи, только не знаю, согласишься ли ты...

— Чего же меня-то стесняться?

— Видишь ли, у нас сегодня должен произойти раздел имущества. Пришлось вызвать полицию, чтобы обставить это необходимыми формальностями. Нужен еще свидетель с моей стороны. Ужасно неприятная история. Из знакомых звать никого не хотелось, я не могла придумать, как быть...

— Хорошо, я останусь. Но неужели Освальд и здесь показал себя непорядочным человеком? Разве нельзя поделить мирно?

— Он готов драться из-за каждого стула. Впрочем, теперь я могу признаться тебе, что он

всегда был скуповат... ну, да что об этом говорить, раз у меня с ним покончено...

Эдит замурлыкала припев какой-то модной песенки. Эта напускная беззаботность еще сильнее растрогала Ольгу.

— Перестань огорчаться, Эдит, он тебя не стоит.

— Я и не огорчаюсь, Олюк. Но мне никто не запретит презирать его... и ему подобных. Жалкие пресмыкающиеся. — Голос у нее стал хриплым и низким, большие голубые глаза метали искры. — Пусть они поскорее вылетают из Латвии... скоро они увидят, какие блага ждут их в Польше.

— Почему в Польше? Разве он не в Германию уезжает?

— В Германию их не пустят, — с неприятным смешком ответила Эдит. — Их поселят в оккупированной Польше. Там уже поляки каждый день то одному, то другому перерезают горло. Ха-ха-ха! Так им и надо.

Раздался звонок, в передней послышались шаги. Освальд постучал в дверь и приоткрыл ее.

— Пора начинать. Полицейский надзиратель пришел.

Ольге Прамниек пришлось стать свидетельницей довольно неприглядной сцены, продолжавшейся около часа. Она внутренне ежилась, глядя, как два человека, прожившие вместе несколько лет, любившие друг друга, торговались и спорили не хуже базарных торговков из-за каждой скатерти, из-за каждой табуретки.

— Этого я не дам, это мое! — выкрикивала Эдит.

— Эта вещь куплена на мои деньги, — хладнокровно повторял Освальд.

— Тогда можешь брать все, мне ничего не надо...

Но, наблюдая за результатами раздела, Ольга вынуждена была признать, что Эдит напрасно поднимала такой шум: Освальд претендовал лишь на самую незначительную долю имущества; большая часть его — мебель, посуда, серебро — оставалась у Эдит. Заупрямился он только, когда дело дошло до беличьей шубки и чернобурой лисы: эти вещи он во что бы то ни стало хотел взять с собой, хотя сам же подарил их когда-то Эдит.

— Все понятно. Собираешься повезти в подарок какой-нибудь Гретхен? — съязвила Эдит.

— Вам это безразлично теперь, милостивая государыня, — так же язвительно ответил Освальд, и оба замолчали. Полицейский надзиратель потерял терпение:

— На кого же записывать?

— Хорошо, пусть остается у нее, — махнул рукой Ланка.

Наконец, акт был составлен и скреплен подписями. Ольга дождалась ухода полицейского и стала прощаться с подругой.

— Когда ты приедешь? Лучше бы завтра.

— Приеду, если он успеет убраться до вечера. Без меня он может обчистить всю квартиру.

— Мы с Эдгаром будем ждать тебя, — заторопилась Ольга, чтобы не говорить больше на неприятную тему. — С друзьями тебе станет легче.

Ольга ушла. Эдит направилась было в кабинет, но в это время зазвонил телефон. На звонок из соседней комнаты вышел Освальд и вопросительно взглянул на Эдит.

— Ты подойдешь или я?

— Может быть, это к тебе, — сказала Эдит.

Освальд взял трубку.

— Кого? Да, она дома. Кто просит? А, здравствуйте, здравствуйте, господин Зандарт, пожалуйста, сейчас передам ей трубку. — Передавая трубку Эдит, он многозначительно улыбнулся. Она подмигнула ему.

— Господин Зандарт? Добрый день. Как поживают ваши лошадки? Ах, меня ждут? Да, пожалуй, им теперь долго ждать не придется. Кстати, можете меня поздравить: я развелась с мужем... Я шучу? Ну, знаете, это не тема для шуток... Да, совершенно серьезно. Он репатрируется в Германию, а я, как настоящая дочь латышского народа, остаюсь на родине... Удивляет? Вы меня плохо знаете... Да, скоро... Завтра?... Сейчас подумаю... Послезавтра можно будет посмотреть и ваших лошадок. Хорошо, буду ждать вашего звонка. До свиданья. До послезавтра.

Эдит положила трубку и задумчиво уставилась в темный угол передней. Потом упрямо встряхнула головой и улыбнулась.

— Ну что же, я думаю, справлюсь.

Ланка взял ее за руки и посмотрел в глаза.

— Ты должна справиться. — Он вытянулся, точно при команде «смирно». — Этого требует фюрер. Действуй любыми способами, тебе все дозволено.

— Я знаю, милый. — Эдит прильнула головой к плечу Освальда. — Я буду ждать тебя.

— Долго ждать тебе не придется. Я скоро вернусь. — И сразу перешел на шуточный тон: — Но какова сцена с Ольгой? Разыграна безупречно.

— Артистически, — захохотала Эдит. — Бедная дурочка развесила уши, поверила каждому моему слову!

— Они должны поверить, поверить всему, что мы будем говорить. Этого хочет фюрер. 4

Бунте, карапуз Бунте сиял от сознания собственного благополучия. К чему он ни прикладывал за последнее время руки, все ему удавалось. Немецкий Юрьев день[18] для человека с коммерческими задатками оказался на руку. Нельзя сказать, чтобы заработок так прямо с неба и валился, надо было и разнюхать вовремя и побегать, не жалея ног. Бунте целый день носился по городу высунув язык, лазил по лестницам, разыскивал квартиры репатриантов, рылся в грудах вещей, предназначенных на продажу. Не все же немцы тащили за собой весь хлам; некоторые сочли более благоразумным отправиться налегке.

Громоздкие люстры, массивные позолоченные рамы для картин, аквариумы с золотыми рыбками, подержанные мотоциклы — все могло пригодиться, и все это Бунте свозил в подвал к Атауге, где был устроен склад. Обратный капитал предоставил сам хозяин, оговорив законные четыре процента; прибыль, за вычетом накладных расходов, условились делить пополам. В общем по наблюдениям Бунте, Атауга оказался далеко не мелочным человеком, но он подозревал, что немалую роль сыграла здесь и его дочь.

Фания давно уже перестала питать иллюзии относительно своей наружности. Правда, с ее

приданным можно было кое на что надеяться, но Фания трезво рассудила, что особенно высоко забираться не стоит. Характера она была независимого и, решив, что главное — всегда чувствовать себя хозяйкой, обратила свой взор к более скромным сферам. Отец часто похваливал Бунте за его деловитость, но тут прибавилось еще одно обстоятельство. Рассудок рассудком, а когда мужчина смотрит на тебя с немим обожанием, когда он не может скрыть радости при твоём появлении, — тут уж невольно заговорит о своих правах сердце. Фания все реже и реже вышучивала Бунте, а когда он — нечаянно или нет, кто знает, — дотрагивался до её руки, делала вид, что не замечает этого.

Ободренный этими и многими другими признаками, Бунте, наконец, решился на пробный шаг.

— Яункундзе Фания, вы когда-нибудь бывали в Сигулде?

— Ну, конечно, бывала. — Она пожала плечами, но уши у неё вдруг густо покраснели: девушка быстро сообразила, куда он клонит, и в душе уже ответила согласием.

— Я на днях ездил туда по делам. Чудные места! Не поехать ли нам туда в воскресенье? Сходили бы на могилу Турайдской Розы, посмотрели бы с башни на Гаую — оттуда далеко видно.

— А вдруг дождь пойдет?

— Ну что вы, разве там негде укрыться? А пещера Гутмана?

— Нет, я так сразу не могу сказать.

Но Бунте уже понял, что даже проливной дождь не заставит Фанию отказаться от поездки.

Воскресенье они провели в Сигулде: спускались по крутым тропинкам к Гауе, ели мороженое в киоске возле пещеры Гутмана, любовались с нового моста быстрым течением и следили за крупной рыбой, которая резвилась у самой поверхности воды.

На могилу Турайдской Розы Бунте возложил две георгины, а когда они поднялись на башню разрушенного турайдского замка, Фания заявила, что ни за что на свете не уйдет отсюда, — у неё даже сердце замирает при виде такой красоты. Но когда они стали спускаться вниз по узким ступенькам, Фания испытала новое, невыразимо приятное ощущение, опершись на плечо Бунте. Правда, это не было плечо атлета и, оступись она немного — оба они покатались бы вниз, но Фания больше не чувствовала себя никому не интересным, незаметным существом, — рядом с ней был человек, готовый защитить её, стать за неё грудью.

Потом они пошли к излучине Гауи, где на лугу была устроена танцевальная площадка, огороженная свежесрубленными березками. Вот тут уж Бунте блеснул: в каждом па, в каждой фигуре танца сказывалась высокая техника, приобретенная им ценой немалых жертв, когда он проходил курс бальных танцев в школе Каулина. Зато Фания, танцевавшая все время с самым серьезным и даже строгим лицом, большой ловкостью не отличалась.

— Эта фигура у меня еще не очень хорошо получается, сказала она, когда они пошли отдохнуть после танго. — Вы мне её как-нибудь покажете.

— С удовольствием, с большим удовольствием, Фани, — с жаром ответил Бунте.

Так незаметно был сделан следующий шаг к сближению: «Фани» звучало гораздо приятнее, чем официальное «яункундзе Фания».

Фанию все меньше и меньше огорчало, что Бунте был на полголовы ниже её. В конце концов,

если носить каблуки чуть повыше, никто и не заметит разницы в росте. Мать у нее тоже выше отца, а ничего, живут. Да и стоит ли обращать внимание на этот предрассудок, глупый, как все предрассудки!

Домой они возвращались в разных вагонах, по всем правилам приличия: Фания — во втором классе, Бунте — в третьем. Но, сойдя с поезда, они еще с минутку поговорили на перроне.

— Спасибо,

Джеки, я прямо замечательно день провела, — сказала, прощаясь, Фания.

— Раз замечательно, можно и повторить, — заглядывая ей в глаза, ответил Бунте. — Вы мне только скажите, когда, а я в любое время готов.

— Хорошо, Джеки... мы потом поговорим... — улыбнулась она. — Пока.

«А ведь дело на мази! Ах, черт возьми... до чего у нее дошло — Джеки называет».

Бунте уже чистосердечно уверовал в свою любовь к этой девушке. Велика беда — веснушки или там рыжие волосы. Нет, девица — ничего, право, ничего. Да и смешно же домогаться Греты Гарбо, когда у тебя за душой нет ничего, кроме серых брюк гольф.

Совсем иначе складывались обстоятельства для Жубура. В конце июля Атауга вызвал его как-то к себе в кабинет и, предложив сесть, приступил к разговору:

— Вы, вероятно, и сами изволите знать, господин Жубур, что в последнее время работы на трех агентов у меня не хватает. Не подумайте, что я считаю вас плохим работником, совсем нет. Но дела сейчас идут до того плохо, что мне приходится сокращать штат бюро. Вы у меня самый молодой по стажу, — как ни прикидывай, а с вас и придется начать. Унывать вам нечего — человек вы с образованием... что там у вас? А, незаконченное высшее? Ну что же, и это неплохо. Если вам понадобится, могу дать самую лучшую рекомендацию. Ну, все, кажется? Желаю вам всяческих успехов и прочее. До свиданья, господин Жубур, всего лучшего.

Увольнение даже и не очень ошарашило Жубура. Правду говоря, он уже был готов к этому, так ему не везло за последнее время.

На всякий случай он попробовал сунуться в несколько государственных учреждений. Разговор там начинался с долгих расспросов — состоит ли он в айзсаргах, есть ли у его родителей недвижимое имущество, может ли он представить свидетельство о политической благонадежности и так далее. На аттестат об окончании средней школы нигде и смотреть не хотели. Тысячи людей с такими же аттестатами мечтали о самой обыкновенной должности конторщика.

Долго раздумывать не позволяли средства. Жубур бросался из стороны в сторону в поисках места и каждый вечер возвращался домой с тем же, с чем и вышел. В айзсаргах он не состоял. Его родителям принадлежало лишь несколько метров земли на Мартыновском кладбище. Идти в полицию за свидетельством о благонадежности он никогда не собирался, а теперь, после знакомства с Силениеком — и подавно.

Выслать его из города не могли: он был уроженцем Риги, но и возможности существовать не давали. Призрак безработицы распростер над ним свои черные крылья. Тысячи людей коченели, хирели и просто гибли под их сенью.

Оставалось одно из двух: ехать в деревню на полевые работы или на торфоразработки.

Рабочий сезон кончался уже через каких-нибудь полтора месяца; по крайней мере потом можно будет заявить, что честно выполнял указания Управления труда, — может быть, это даст кое-какие права на получение работы в Риге.

Жубур облачился в старый костюм, уложил в маленький чемоданчик бельишко и запер комнату. 5

Более мрачное и безотрадное место трудно было себе представить. Здесь человек даже в самые яркие солнечные дни не видел своей тени — так мертвенно черна была почва. Далеко-далеко тянулась однообразная болотистая равнина, и лишь кое-где подымались над ней карликовые деревца. У самой линии горизонта чуть виднелись серые, смутные очертания крестьянских домов; по другую сторону болота, за шоссе — чахлая березовая рощица.

По сточным канавам медленно текла густая, черная, как деготь, вода, покрытая маслянистыми ржавыми пятнами. И всюду сохли на солнце сложенные в большие и маленькие кучки кирпичи торфа. Высушенный и готовый к отправке торф хранился под четырьмя низкими длинными навесами.

На весь участок был только один экскаватор. Большую часть торфа добывали примитивным путем — при помощи лопат: в Латвии была дешева рабочая сила.

Теперь Карл Жубур целые дни проводил на болоте. В одних трусах, повязав носовым платком голову, он прокладывал в вязкой почве широкую и глубокую борозду. И рядом, и впереди, и позади двигались согнутые голые спины, лоснящиеся от пота. Шуршали лопаты, разбрызгивая во все стороны фонтаны грязи. Люди с ног до головы покрывались этой липкой грязью, она присыхала к телу, отваливалась, а коричневая жижа, стекая с груди и ног, разрисовывала кожу фантастическими узорами.

Работа была несложная и угнетающе однообразная.

«На что мне дан мозг?» — думал Жубур, в сотый и в тысячный раз повторяя одно и то же движение. Нагибался, нажимал ногой на ребро лопаты, отводил назад рукоятку и откидывал в сторону кусок торфа. И опять — нагнуться, нажать на лопату, и опять то же самое.

Руки у него покрылись мозолями, по вечерам отчаянно болели спина и плечо, но потом он привык. В первый день Жубур заработал лишь восемьдесят сантимов. Такое начало его обескуражило. На второй день он уже усвоил несколько простейших приемов, приобрел некоторую сноровку. Постепенно его дневной заработок достиг лата, но больше полутора латов ему не удавалось выгонять даже в самые удачные солнечные дни. Убедившись, что этого предела ему не перешагнуть, Жубур перестал стараться.

Кругом все было до того примитивно и убого, что замораживало в зачатке малейший порыв честолюбия или гордости. Поставив человека на самую нижнюю ступень производственного процесса, общество превратило его жизнь в голое физическое существование; затрата мускульной силы, усталость, потребность в пище и сне — вот и все, и из этого круга для него не было выхода. Один день ничем не отличался от другого, утро не сулило ничего нового. В этом месте чудес не знавали.

Спали рабочие в дощатых бараках, на голых топчанах, едва прикрытых тонким слоем сена. Ржаной хлеб, кипяток и суррогаты жиров составляли всю их пищу. Видавшие виды люди говорили, что в тюрьмах кормили не хуже и там по крайней мере не гоняли с самого утра на тяжелую работу. Свобода? Много ли радости в такой свободе, которая привела их на это болото, приковала к нему цепями безработицы и неизбывной нищеты!

По вечерам рабочие могли читать вчерашние газеты, но то, что происходило за пределами их болота, в большом мире, не имело к ним отношения. Там шла своя жизнь, но им не дано

было участвовать в ней. Они были брошены сюда, чтобы выполнять незначительный заказ той жизни. Ум, знания, индивидуальность здесь не требовались. Здесь нужны были только руки, только определенное количество мускульной силы. И если бы, например, кто-нибудь из рабочих не умел читать, никогда не слышал бы о железных дорогах, об электричестве, здесь, на болоте, он и не заметил бы, чем отличается от остальных людей — не заметили бы этого и другие.

«Вот к чему я готовился, вот для чего я учился, — с невеселой иронией думал Жубур, — вот как они ставят нас на свое место».

Эту мысль он читал на многих лицах. Преобладающим настроением здесь была безнадежность и грустная злоба. Постепенно люди здесь становились похожими друг на друга. Но не каждый обладал хладнокровием рабочей лошади, которая безропотно сносит удары кнута и укусы оводов.

Незадолго до Жубура на торфоразработки приехала молодая девушка, Ария Селис. Весной она окончила среднюю школу и собиралась поступить в университет. Полная самых радужных надежд, пришла она домой с аттестатом зрелости. Ей казалось, что самое трудное у нее позади, что она встала на ноги и может самостоятельно пробивать себе дорогу в жизни. У нее уже был выработан свой план: днем она будет работать, чтобы помочь матери прокормить и воспитать младшую сестренку и брата (отец у них умер), вечером — занятия на медицинском факультете. Через шесть-семь лет она станет врачом, получит интересную, полезную для общества специальность и возьмет на себя все заботы о семье. Но с первых же шагов Ария увидела, что для нее никто не припас места в жизни — даже самого маленького и скромного; ей везде твердили о безработице, о перепроизводстве интеллигенции. Наконец, ее взяли билетершей в кино, а через неделю хозяин вызвал ее к себе на квартиру и деловито, не смущаясь, предложил стать его любовницей. Ария выбежала от него, не помня себя от ужаса и негодования. Это был первый плевок в лицо, полученный ею от жизни.

После этого она сразу согласилась пойти прислужкой в семью одного адвоката. Взбалмошная хозяйка смотрела на нее как на домашнюю скотину и считала себя вправе за двадцать латов в месяц не давать ей ни минуты покоя. Тяжело было девушке выносить ночные горшки, выполнять тысячи унижительных поручений, но она дала себе слово держаться. Худшее было впереди. Хозяйка уехала на несколько недель в Кемери лечиться серными ваннами, а адвокат решил, что на это время ее с успехом может заменить Ария. Он даже заранее объявил цену такой услуги — прибавка жалования и кое-что из гардероба в подарок. Опять ей плюнули в лицо.

После этого Ария очутилась на торфяном болоте, где люди лишались даже собственной тени. Сначала она думала, что закалится, привыкнет к тяжелой и однообразной работе, она докажет, что сможет прожить собственным трудом. Ни грязь, ни мозоли не испугают ее — все это несущественные мелочи, и потом это не навсегда.

Уже через несколько недель Ария затосковала. Взгляд ее потух. Она разучилась улыбаться, избегала разговоров с соседками по бараку и все глубже погружалась в какую-то угрюмую, не оставлявшую ее навязчивую мысль. Однажды утром подруги увидели в углу барака труп повесившейся Арии Селис.

Газеты об этом умолчали.

На рабочих конец ее произвел гнетущее впечатление. Карл Жубур несколько дней ходил с таким чувством, как будто в этой смерти чем-то повинен был и он сам.

«Да, приноравливаться к существующему порядку, терпеть его — значит мириться с судьбой Арии Селис и тысяч подобных ей молодых слабых существ, считать естественной их гибель».

Несколькими днями позже всех взволновал другой такой же случай. Один рабочий уехал на воскресенье в Ригу. Он не вернулся ни в понедельник, ни во вторник. И только в среду вечером кто-то прочел в газете, что возле Баластной дамбы молодой человек, по имени Ян Бридинь, решив покончить с собой, бросился в Даугаву. Причина самоубийства — неудовлетворенность жизнью.

Ян Бридинь и был тот рабочий, который не вернулся на болото.

«Малодушные и неверующие... — думал Жубур. — Вам казалось, что этот подлый порядок незыблем, что он никогда не изменится. Потому и не хватает у вас сил выдержать до конца. Да, жить такой жизнью — без веры в лучшее будущее, в наступление иных времен — невозможно. Но почему вы ограничиваете свой мир пределами собственной личности, почему измеряете все свои цели только собственными силами? Знаю, по себе знаю, что это такое. Нет, одиночество — страшная вещь. Оно принижает человека, делает его жалким, беспомощным. Малейший ветерок валит его с ног. И как прав Силениек — надо раскрыть людям глаза, пусть они видят, что они сильны, что их сотни тысяч, миллионы, что у них одна цель, и надо только понять, в чем она...»

Сам он уже выбрал свой путь и никогда не сойдет с него. Он больше не чувствует себя одиноким.

Жубур роет торф и считает время, оставшееся до дня отъезда. Однажды вечером, возвращаясь с работы в барак, он нагоняет на дороге молодую девушку, она оборачивается, и оба узнают друг друга.

— Добрый вечер, — говорит он и широко улыбается, чуть ли не в первый раз за весь месяц.

Девушка протягивает ему руку.

— Здравствуйте. Оказывается, и вы здесь работаете? Позвольте, наконец, поблагодарить вас, вы меня выручили из большой беды.

Это та самая девушка, которую Жубур видел на дюнах.

У барачников они прощаются, называют друг другу свои имена. Девушку зовут Айя Спаре. На болоте она уже второй месяц, но здесь так много людей и все они становятся так похожи друг на друга из-за этой грязи, что можно за целый сезон не заметить знакомого лица, объясняет она. 6

— И потом мы же еще были незнакомы.

На следующий вечер они встретились на том же месте, но уже не случайно. Жубур с первых слов признался Айе:

— Я ждал вас.

— Вот и хорошо, — без всякого смущения или кокетства ответила она. — Мне и самой хотелось вас встретить. Что вы обычно делаете по вечерам?

— Да почти ничего не делаю. Прочту газету и заваливаюсь спать.

— Наверно, очень устаете за день?

— Теперь уже не так, как в первые дни. Тогда, правда, тяжело было.

— Да, вначале всем тяжело, а потом привыкаешь. Ну, а не жалко вам так легкомысленно растрчивать драгоценное время? Я уверена, что вы спите часов по девять.

— Вы почти угадали. — Жубур улыбнулся, хотя почувствовал себя несколько сконфуженным.
— И мне это вовсе не по вкусу. Но чем прикажете здесь заниматься? На газету достаточно получаса, книг достать негде. Даже поговорить не с кем... Я много раз пробовал сойтись поближе со своими соседями, но все это очень усталые и замкнутые люди.

«Странно, — думал он, глядя на открытое, но серьезное лицо Айи, — она лет на восемь, на десять моложе меня, а я перед ней чувствую себя чуть ли не мальчишкой. Как будто и сам признаю ее право спрашивать или даже оценивать меня...»

— Вот что, — сказала Айя, немного подумав. — Если вы не очень устали, выходите после ужина в рожицу, знаете, за шоссе? Мы там с вами поговорим об одном деле.

— Я приду туда через полчаса.

— Да нет, зачем так спешить... Лучше через час. Раньше я не могу.

В бараке Жубур долго умывался. Потом, надев чистый костюм и наскоро проглотив скучный ужин, собрался уходить.

— Не иначе, как на свидание, — подмигивали друг другу соседи по койке, наблюдая его сборы.

— Да пора уже проветриться немного, — весело ответил Жубур. — А то живешь, как в тюрьме.

— Ничего, дело хорошее. Желаем счастья! — крикнули ему вдогонку несколько голосов.

Он старался угадать, о каком деле будет говорить Айя. «О чем-нибудь серьезном? Немного рановато с незнакомым почти человеком. Или это один предлог, а девушке просто хочется поболтать, отвести душу с товарищем по несчастью. А тут подвернулся такой подходящий повод для дальнейшего знакомства, как эта история на Взморье. Нет, не похоже. Что в ней как раз бросается в глаза с первого взгляда — это прямота, полное неумение или нежелание хитрить, лукавить. Видимо, совсем, совсем незаурядная девушка».

Айя пришла точно в назначенное время. Она тоже приоделась. Жубур сразу узнал синюю юбку и белую блузку — те же, что и тогда, на Взморье. Даже косыночка на шее та же.

Пожалуй, Аня была единственным человеком на болоте, у которого лицо не выражало обычного здесь уныния или покорности судьбе. В ней была та спокойная, ненавязчивая жизнерадостность, которая не нуждается в резких, шумных проявлениях, но тем сильнее оставляемое ею впечатление. В ее присутствии и Жубур почувствовал себя душевно освеженным, уверенным.

— Походим, или вам хочется посидеть? — спросил он.

— Сначала посидим, а потом можно будет прогуляться.

— Пойдемте тогда вон к той срубленной березе.

Айя с сомнением покачала головой.

— Лучше не здесь. — Она повела его на небольшую лужайку, почти у самого шоссе. — Вот сюда.

— Здесь мы будем у всех прохожих и проезжих на виду. Чем это лучше? — удивился Жубур ее выбору.

— Зато и они у нас на виду. Главное, чтобы никто не слышал нашего разговора. И вы запомните на будущее, что никогда не следует заводить разговоры о секретных делах в лесу, там могут подслушать из-за любого куста. — Она улыбнулась. — Вижу, что у вас еще никакого опыта нет.

«Секретные дела?.. О чем это она?» — недоумевал Жубур.

Наконец, они выбрали местечко посуше и присели.

— Вы знакомы с Андреем Силениеком? — спросила Айя.

Жубур молча кивнул в ответ. Теперь он начал догадываться. «Да, тогда ничего странного в ее поведении нет. Вероятно, оба они — и Андрей и Айя — люди одного дела».

— Я его тоже знаю. Уже четыре года знаю. И скажу вам только одно, — горячо сказала Айя, — я ему обязана воспитанием больше, чем отцу с матерью.

— Да, такого человека и я впервые вижу. Как он заставляет людей думать, — вот меня, например. А ведь мы с ним недавно познакомились. Да, как раз в тот же день, что и с вами.

— Я давно уже об этом знаю, мне Силениек и рассказал. Да, он большой человек — таких немного. И вы знаете, надо крепко дорожить его дружбой. Никогда он вас не подведет.

— Как же не дорожить, когда я так мало избалован в этом отношении! Не так много у меня друзей.

— Кто знает, может быть, это и к лучшему. Иные друзья на такую дорогу заведут... А с Силениеком вы можете стать другом сотен и тысяч лучших людей, с которыми у вас будут общий путь и общая судьба.

— Вы тоже с ними?

— Да, и я, — просто, серьезно сказала Айя, глядя в глаза Жубуру. — Друзья Силениека — мои друзья. Но мы называем друг друга по-иному.

— Товарищами?

— Да, товарищами. Хотите и вы стать нашим товарищем?

— Если меня сочтут достойным...

— Мы знаем о вас все, что необходимо знать о новом товарище. Не удивляйтесь, пожалуйста, мы вовсе не так одиноки, как это некоторым кажется. Есть люди, с которыми вы ежедневно встречаетесь, не подозревая о том, что они наши.

— Но ведь я должен что-то делать, работать?

По шоссе загремели колеса повозки. Когда она проехала мимо, Жубур заговорил снова:

— Мне и самому хочется взяться за дело. Вопрос лишь в том — сумею ли я, принесу ли какую-нибудь пользу. Мне ведь еще надо учиться да учиться. Я до сих пор и сам не представлял, как мало знаю, считал себя вполне интеллигентным малым. Понял это лишь только тогда, когда прочел книги, которые мне дал Силениек. А здесь у меня даже нет возможности читать такие книги.

— Вначале вам будут давать несложные поручения. А там видно будет, что вы сможете делать. Только помните, что работу нужно вести в любом месте, в любых условиях и что каждое задание важно, хотя бы оно казалось незначительным, мелким. И потом еще одно. Вы

сами знаете, с каким риском связана наша работа. Вы можете очутиться в тюрьме — такая возможность не исключается. Понимаете вы, как надо держаться в случае провала?

— Я об этом уже много думал. Надо как можно меньше рассказывать, чтобы не выдать своих товарищей.

— Да, ответственность громадная. Мы с вами еще поговорим об этом в другой раз.

Сам того не замечая, Жубур ловил каждое слово Айи. То, что она принадлежала к организации, которая взяла на свои плечи самое великое и благородное дело в мире, заставило его проникнуться уважением к девушке. И он едва решился задать ей один вопрос:

— Неужели и вы попали сюда так же, как и я?

— Нет, не совсем так. Надо было направить сюда кого-нибудь для работы. Выбор пал на меня.

— Да, это другое дело, — задумчиво сказал Жубур. — Меня сюда загнали, а вы пришли по собственной воле. И вы находите возможным работать... в таких условиях?

— А как же иначе? Надеюсь, скоро и вы начнете работать со мной.

Что же предстояло делать Жубуру? На торфоразработках было несколько сот человек, и, как это ни парадоксально, большинство были люди интеллигентных профессий. По отношению к ним бесчеловечность существующего строя проявлялась в самой издевательской форме. Правительственная клика умышленно вела к деклассированию целую общественную группу, последовательными мерами создавая для нее невыносимые условия существования. Нельзя было допустить, чтобы эти люди морально опускались или гибли, подобно Арии Селис или Яну Бридиню. Тлевшие в их сердцах искры недовольства надо было раздуть в мощное пламя борьбы. Многие из них созрели для того, чтобы по-новому осмыслить жизнь. С этими людьми надо было разговаривать, помочь им выйти на верный путь.

Действовать, разумеется, надо было осторожно. Можно было не сомневаться в том, что в каждый барак заслан шпик, который прислушивается к разговорам, следит за настроениями и передает свои наблюдения куда следует. Но каждый такой шпик в конце концов неизменно разоблачал себя; к тому же политическая полиция не имела возможности держать на болоте свои «квалифицированные силы», — они предназначались для более важных мест.

— В вашем бараке есть один тип, Баунис, — предупредила Айя Жубура. — Про него точно известно, что он шпик. У нас в бараке тоже имеется их агент, какая-то девица из Камеры труда. Но, когда надо, мы ее живо обводим вокруг пальца.

Итак Жубуру предстояло познакомиться поближе с людьми, и, если бы он нашел подходящую почву, можно было бы при случае то подбросить листовку, то всунуть в газету что-нибудь из нелегальных брошюр, то проверить кое-кого в небольших, не особенно рискованных по теме беседах. Если не разболтают — в следующий раз можно поговорить смелее. Только так — терпеливо, незаметно, не спеша — можно было готовить кадры будущих бойцов революции.

Ночь уже наступила. Молодой месяц разливал холодный свет над светлым от росы лугом. Вдали чуть поблескивал крест на церковной башне. По шоссе с шумом пронесся грузовик, отбрасывая далеко вперед снопы желтого света.

Айя и Жубур поднялись и медленным шагом направились к рабочему лагерю.

Не все еще спали; из рощи, с луга доносились иногда негромкие голоса: там прогуливался

кое-кто из молодежи.

— Хорошо, что мы не одни, — сказала Айя. — Меньше будут обращать внимания.

Айя немного рассказала и о себе. Ничего необычного в ее биографии не было. Рабочая семья, нужда, ранняя самостоятельность, образование, полученное ценою лишения и жертв всей семьи. Примечательным путем Айя была лишь в одном отношении — она выросла в семье революционеров. И родители и брат — все они, хоть и в разной степени, были участниками борьбы за освобождение народа. Мать последнее время работала на лесопилке, отец — на сплаве. Брат Петер уже четвертый год находился в тюрьме, и до отбытия срока ему осталось целых шесть лет. А ему всего-то было двадцать шесть.

— Вот что, — сказала Айя, когда впереди уже стали вырисовываться серые строения барачков. — Ничего, если я вас буду называть просто Карлом? И потом лучше бы без этого «вы»...

— Идет. Значит, и ты не обидишься, если я буду называть тебя Айей?

— Вот и ладно, — улыбнулась Аня. — Только нам пока нельзя называть друг друга товарищами. Привыкнешь, забудешься, а потом неприятностей не оберешься. Ну, мне сюда сворачивать. Покойной ночи, Карл.

— До свиданья, Айя.

В бараке никто не заметил, когда вернулся Жубур. 7

За неделю они встретились еще два раза. В четверг вечером Айя спросила Жубура, не нужно ли ему привезти что-нибудь из Риги.

— Я завтра еду на свидание к брату в центральную тюрьму. Дома некому пойти отнести передачу: мать эту неделю работает в дневную смену, отец сейчас на сплаве — где-то под Огре.

Жубур попросил привезти общую тетрадь и кое-что из книг.

На другой день Айя чуть свет двинулась в путь: до станции было семь километров, а поезд приходил в восемь часов. В девять она уже была в Риге, а еще через полчаса — в Чиекуркальне, у себя дома, где ее ждала приготовленная матерью корзина с провизией для Петера.

У ворот тюрьмы стояла длинная очередь; Айя заняла в ней место. Большинство лиц она видела здесь много раз; некоторых людей она знала и раньше, с иными познакомилась во время многочасовых стояний в этой очереди. Почти всех их связывала общность судеб, о которой говорилось мало, но которая подразумевалась сама собой.

Были там седые матери, чьи сыновья и дочери томились за этими серыми непроницаемыми стенами. Урывая у себя последний кусок, они каждую пятницу приходили сюда с корзиночками провизии и долгие часы выстаивали у ворот и под летним солнцем и под осенним дождем, и в слякоть и в мороз, поддерживаемые одним чувством, одной мыслью — надо выстоять до конца, дожидаться дня свободы.

Были там и жены с детьми, которые ни разу не видели своих отцов. Иному малышу при слове «отец» представлялось таинственное, сказочное существо — самое сильное, самое умное, лучше всех людей в мире. Богатые боятся его силы, поэтому и заперли его в каменных стенах, за железными решетками, чтобы он не вырвался и не изменил весь мир. Но когда-нибудь отец все равно освободится, и тогда мама не будет больше оставлять их одних, чтобы бежать к чужим людям заработать на хлеб, и у всех детей будут новые ботинки. И все,

все у них будет, когда вернется добрый, сильный и умный отец.

Стояли в очереди и почтенного вида господ и дамы, чьи отпрыски отдыхали в третьем корпусе от утомительных трудов по подделке векселей или каких-нибудь афер. Ярко раскрашенные проститутки, подружки воров и взломщиков, притихшие и степенные, тоже ждали в этой грустной толпе.

Из-за забора доносились свистки паровозов, шум прибывающих и отходящих поездов. Вернулась из города «черная Берта», мрачная закрытая машина, в которой заключенных возили на допрос к следователю.

Айя, поручив одной знакомой присмотреть за корзинкой, попросила сторожа впустить ее в канцелярию.

— Мне надо внести деньги.

Два раза звякнула связка ключей, двое окованных железом ворот распахнулись перед Айей. Она пересекла маленький дворик, и еще раз путь ей преградила дверь с железной решеткой. Спросив, по какому делу она пришла, сторож пустил ее в коридор.

В просторном помещении налево тюремные надзиратели осматривали корзинки с провизией. Караваи хлеба, булки, масло и другие продукты они протыкали металлическими прутьями, разыскивая запрещенные предметы и письма. Один надзиратель был занят проверкой книг, передаваемых заключенным родными и близкими. Прежде чем записать книгу в журнал, он перелистывал ее от начала до конца, осматривал корешок, несколько раз встряхивал, держа вниз обрезом, книги в переплете вообще не принимались, — их можно было пересылать только через издательство.

Деньги для заключенных принимал помощник начальника тюрьмы — вооруженный револьвером мужчина, с черными, закрученными вверх усами и гладко прилизанными волосами с пробором посередине. Каждому подходившему к его столу посетителю он задавал один и тот же вопрос: «Что угодно?» Для него все они были в той или иной степени соучастниками осужденных, и разговаривал он с ними даже не как чиновник с просителями, а как начальник с провинившимися подчиненными. Еще бы, ведь все эти отцы, матери, жены и сестры старались облегчить своим близким тяжесть обрушившейся на них десницы правосудия!

Стоявшая перед столом женщина жаловалась, что ей отказали в приеме передачи.

— Там ничего запрещенного и не было, — не в первый раз прихожу, все порядки знаю. Почему раньше можно было, а теперь нельзя? Поймите, господин начальник, у него большие легкие, он же погибнет без дополнительного питания.

— Вашего мужа оштрафовали за нарушение тюремного устава, — хладнокровно ответил усач. — Один месяц обойдется и без передач. Да вы напрасно волнуетесь, мадам, здесь их кормят неплохо. Да, да, питание прекрасное. Дай бог каждому рабочему такое питание. Следующий!

Следующей была Айя. Она положила на стол десятилатовую бумажку и сказала:

— Петеру Спаре. Четвертый корпус.

Усач строго посмотрел на нее:

— Вы же недавно вносили десять латов.

Усердный служака помнил в лицо каждого посетителя.

— Должны знать, что нельзя так часто. Только разворачиваете этих разбойников. Они бездельничают, живут как у Христа за пазухой, а вы им еще и приплачиваете.

— Не знаю, как они здесь живут, господин помощник начальника, — ответила Айя, стараясь сдерживать себя, но в голосе ее зазвенели нетерпеливые, резкие нотки. — Я делаю то, что разрешено по закону. Петер Спаре — мой родной брат.

— Вот то-то и есть

что разрешается, — брюзгливо протянул усач. — Свыше установленных десяти латов в месяц этим братьям передавать не дозволено.

Позади Айи кто-то фыркнул. Она оглянулась. На кожаном диване полулежал рыжий детина, в такой же точно форме и с теми же знаками различия, что и усач. Это был второй помощник начальника тюрьмы.

— Простой раз я передавала деньги для Ояра Сникера, — стала объяснять Айя усачу. — Вот квитанция, можете сами убедиться.

— Ах, и это ваш брат? — чиновник ощупал ее циничным взглядом. — Сколько же у вас всего братьев? Как их всех по именам?

Айя молчала. Усач перегнулся через стол, сверля ее взглядом, и вдруг рявкнул:

— Из МОПРа[19] получаете!

— Я приехала с торфоразработок, господин помощник, — сказала Айя.

Тот стал выписывать квитанцию, подал ее девушке, а деньги спрятал в стол.

— Следующий!

Айя вышла и заняла свое место в сводчатом проходе между двумя наружными воротами. Через час она сдала передачу и в том же проходе, вместе с другими записавшимися на свидание, стала дожидаться очереди.

Часы показывали половину третьего, когда надзиратель вызвал по фамилии семь человек, в том числе Айю, и повел их еще к каким-то воротам. Усатый чиновник проверил их документы и по одному пропустил во внутренний двор. Зазвенела связка ключей, — посетителей впустили в тесную камеру и снова заперли ее.

Здесь им пришлось прождать минут двадцать пять, пока не вышла предыдущая партия. Это опять-таки был один из предписанных правительством изоциренных способов унижения, посредством которого тюремная администрация морально воздействовала на родных и друзей заключенных. Им тоже не мешает поразмыслить в тесной, запертой на ключ камере о том, что над ними стоит некая сила, готовая усмирить и обезвредить любого непокорного и недовольного... Посиди, потерпи и ты в тюремной камере, если уж так хочется повидаться со своим преступным родственником или другом!

Кончилось и это испытание. Надзиратель отпер дверь и впустил посетителей в помещение, несколько напоминающее операционный зал банка или почты. Оно было разделено пополам перегородкой, поверх которой была натянута до самого потолка металлическая сетка. В перегородке через каждый метр были проделаны окошечки, затянутые такой же сеткой. Только здесь она была двойная, так что посетители видели заключенных лишь на некотором расстоянии. Они не могли даже коснуться друг друга. Взволнованно гладили они металлическую проволоку, еще теплую от прикосновения чьих-то рук.

Заскрежетал замок. За перегородкой послышался топот деревянных башмаков, и в окошках стали появляться бледные лица; воспаленные, блестящие глаза жадно искали близких среди посетителей.

И тут началось нечто трагически-нелепое. Разговаривали одновременно семь-восемь человек, и приходилось повышать голос почти до крика, чтобы быть услышанным. По обе стороны перегородки прохаживались надзиратели, зорко следившие за тем, чтобы в разговорах заключенных и посетителей не мог проскользнуть какой-нибудь тайный смысл, чтобы они не обменялись условными знаками. Заметив что-нибудь подозрительное, надзиратели без всякого предупреждения прерывали свидание и уводили заключенного. Иногда они вмешивались в разговоры, подавали иронические реплики, делали непристойные замечания. Особенно веселил их каждый раз поднимавшийся в зале гам.

— Эх их воют — не хуже, чем на псарне. Недаром говорится: каков зверь — таков и голос.

Айя встала у самого крайнего окошечка: здесь шум голосов раздавался только с одной стороны. Зная по опыту, как быстро пролетают минуты свидания, она уже заранее обдумала, о чем надо поговорить и в какой последовательности, чтобы сказать самое главное. Сквозь разделяющие их частые сетки, от которых рябило в глазах, она посылала Петеру долгую нежную улыбку, нежным влажным взглядом прикинула к его бледному лицу, а пальцы ее любовно поглаживали сетку, будто то были руки ее брата. И он отвечал ей той же проникновенной улыбкой, тем же полным любви взглядом.

— Дома все благополучно, ты за нас не тревожься, родной, — быстро говорила Айя. — Мама здорова, работает все на том же месте, отец ушел с плотами, а я сейчас на торфоразработках. Сегодня внесла в канцелярию деньги. Андрей шлет тебе привет. Он здоров и чувствует себя хорошо. Мама вяжет тебе носки и фуфайку. Ты получил книги? Я послала все, что ты перечислил в письме.

Коротко в двух-трех словах рассказала она обо всех знакомых, которые могли интересовать Петера. И как ни прислушивались к их разговору тюремщики, ей удалось между домашними новостями передать кое-что запретное. А это все были немаловажные сообщения. Надо было сказать о недавнем аресте одного товарища, предупредить коллектив, что в их четвертом корпусе появился провокатор. Петер то взглядом, то кивком подтверждал, что все понял. Когда Айя кончила, стал говорить Петер. Задал ей несколько вопросов о людях, про которых она забыла упомянуть, потом рассказал о себе.

— Не унывай, Айюк, у меня все хорошо. Легкие в порядке, а за нервы и подавно нечего бояться. Привет Андрею и от меня и от всех наших. Пусть он не перенапрягается, чтобы не надорваться. Кому тогда о семье заботиться? Сейчас он остался почти единственным кормильцем.

Айя поняла, что надо немедленно предупредить Силениека о возможности провала. Последнее время в воздухе чувствовалось что-то тревожное, а Андрея нужно было во что бы то ни стало уберечь от ареста — он был единственным руководителем организации, оставшимся на свободе.

— Кончать! — раздался грубый окрик тюремщика.

Оглядываясь назад, отходит Петер от решетки. В дверях он еще раз машет сестре рукой и бросает на нее ласковый взгляд. Она смотрит ему вслед, пока его еще можно видеть сквозь сетку. Смотрит с улыбкой, полной надежды, хотя сердце у нее сжимается от боли.

На обратном пути возле Матвеевского кладбища за ней увязался какой-то подозрительный тип в потертом сером костюме, жокейском картузе и в рубашке с открытым воротом.

— Со свидания, товарищ? — прочувственно, насколько позволял ему осипший голос, спросил он девушку. — Могу оказать содействие, если надо что переслать... Есть знакомый надзиратель.

Айя, не глядя на него, ускорила шаг, но он не отставал. Со стороны это походило на состязание. Наконец, незнакомец схватил Айю за руку.

— Зачем так бежать? Напрасно вы мне не доверяете, я же свой.

— Отстаньте, не то я позову на помощь, — отталкивая его, резко ответила Айя.

— Господи, да разве я пристаю? — сладко заулыбался тип. — Вы вполне можете положиться на меня, раскаиваться не придется, вот увидите. Я бы мог устроить вашего брата в канцелярию или в библиотеку, там ему легче будет. Вот только сговоримся, где нам встретиться.

— Не на таковскую напал! — грубо крикнула Айя.

— А, бывалая!.. — разочарованно свистнул он и повернул обратно.

У железнодорожного переезда Айя села в автобус.

«Вот подлец! — сердито думала она. — И ведь таким удастся иной раз провести какую-нибудь доверчивую душу. Если даже из десяти один клюнет, и то их труды оправдываются. А все же он дурак, — уж если ему известно, кто мой брат, должен бы догадаться, что с такими приемами к Айе Спаре не подъедешь!..»

В центре Айя пересела в другой автобус и направилась к Силениеку. Надо было немедленно поговорить с ним. 8

Жаловаться на судьбу Гуго Зандарту еще не приходилось. Из мелкого провинциального трактирщика он к сорока пяти годам превратился во владельца одного из самых популярных кафе столицы и беговых конюшен.

Среди завсегдатаев кафе были художники, писатели, актеры композиторы, были и тренеры с ипподрома, и биржевые маклеры, и учащаяся молодежь. Всех привлекали сюда умеренные цены, отличный повар, хорошенькие официантки и гостеприимный, разговорчивый хозяин. У Зандарта каждый чувствовал себя как дома.

Вряд ли он достиг бы таких успехов, если бы не его жена Паулина. Ее приданое послужило фундаментом для всех последующих приобретений. Она была не только экономной хозяйкой, но и душой и мозгом всех фамильных начинаний. На ее широкие, прочные плечи ложились все заботы по кафе. С самого утра она уже была на месте — то отдавала распоряжения главному повару, то делала наставления прислуге, то обходила залы, чтобы поздороваться с посетителями; ее рабочий день завершался приемом выручки от кассирши. Супруг ее главным образом занимался разговорами с самыми почетными клиентами, а остальное время проводил на черной бирже или в конюшне на ипподроме.

Несмотря на свою расчетливость, Паулина никогда не отличалась мелочностью, и если Зандарту случалось потратить неизвестно на что сотню — две латов, она не надоедала ему с расспросами. Как-никак, благодаря его общительному, добродушному нраву круг клиентуры все расширялся, а что касается семейной жизни, там все выглядело в высшей степени прилично и благопристойно. Два розовых херувимчика — две девчурки — составляли предмет неусыпных забот обоих родителей. На разных торжествах, на балу прессы, на всех премьерях Гуго Зандарт всегда появлялся под руку со своей супругой. Конечно, пронизательное око Паулины не могло не замечать маленьких увлечений Гуго, но она давно

пришла к выводу, что благоразумнее всего смотреть на них сквозь пальцы. Перебесится, набегается — и опять домой вернется.

Да и сам Зандарт чуть не со слезами умиления говорил всегда о святости домашнего очага. Самым большим удовольствием для Зандарта было показывать своим дочуркам маленьких жеребят. Девочки кормили их сахаром, а потом шли глядеть гордость конюшен — пятилетнего жеребца Альбатроса, удивительно добродушное и милое животное. Завидев девочек, он тихо, ласково ржал, тыкая им в плечи бархатной теплой мордой, а когда ему протягивали сахар, он так деликатно брал его, что даже не касался ладони. Но больше всего девочки радовались, когда им показывали двухгодовалых жеребят, названных их же именами — Расмой и Илгой. Зандарт возлагал на них большие надежды и с нетерпением ждал, когда они подрастут и начнут участвовать в рысистых бегах. Они уже числились в списках участников дерби 1941 года как претенденты на главный приз.

Владельцем конюшен Зандарт сделался не так давно — всего года три, хотя в душе всю жизнь был заядлым лошадиником, и в этой сфере деятельности он проявил такую энергию, что его конюшни скоро заняли одно из первых мест.

Всего у него было около двадцати лошадей, — больше он не держал. По крайней мере половина их участвовала в рысистых бегах. Красою конюшен был знаменитый ганноверский жеребец Регент, в лучшие свои годы стартовавший на первоклассных ипподромах Америки и Европы. Поставленный им за границей рекорд равнялся 1 минуте 16 секундам. Правда, в Риге он ни разу не показал лучшего времени, чем 1 минута 24 секунды, но и этого было достаточно, чтобы числиться одним из главных фаворитов рижского ипподрома.

Один из сыновей Регента — Орлеан — уже стартовал в 1939 году в первой группе, вместе со своим отцом, и обещал со временем побить его рекорд. Пока он показал только 1 минуту 28 секунд, но сам Зандарт и его тренер Эриксон отлично видели, какие возможности таятся в жеребце. Когда-нибудь в будущем, думал Зандарт, когда никто не будет ждать от него чудес и публика перестанет играть на него, — он себя покажет. И тогда Гуго Зандарт положит в карман крупный выигрыш.

Каждое утро он по несколько часов проводил в конюшнях: следил за конюхами, наблюдал за тренировкой, обсуждал с Эриксоном свои планы. Можно было бы сказать, что главная часть его души принадлежала конюшням, если бы ее не оспаривал прекрасный пол. Но и здесь Зандарт проявил себя истым спортсменом: он постоянно рвался к новым рекордам.

За последнее время он все чаще и чаще стал задумываться, каким бы манером одолеть сердце Эдит Ланки. Ее холодные и насмешливые шутки до того обескураживали Зандарта, что иной раз у него руки опускались. Главное — он боялся рисковать: сделаешь неправильный ход — и все пропало. Нащупать бы ее слабую струнку, а так, ухаживать вслепую — нет никакого интереса. Очаровать ее своей наружностью он не надеялся, — сам понимал, какой это слабый козырь.

На всякий случай Зандарт решил терпеливо выжидать и наблюдать: тише едешь — дальше будешь.

Однажды утром Эдит исполнила, наконец, свое обещание, — приехала посмотреть конюшни.

Зандарт, не переставая говорить, водил ее от стойла к стойлу и показывал свои сокровища.

Эриксону заранее было сказано, что гостья подыскивает подходящего рысака, и тот со всей добросовестностью решил помочь хозяину. Пустив в ход запасы профессионального красноречия, он усердно расхваливал самых посредственных лошадей, от которых ничего не ждал.

— Все это страшно интересно, господин Зандарт, — сказала Эдит, когда они выходили из конюшни, — но гораздо интересней посмотреть на них на ипподроме. А я, к стыду своему, должна признаться, ни разу в жизни не была на бегах. Явный пробел в моем воспитании...

Зандарт, захлебываясь от восторга, выразил готовность помочь ей восполнить этот пробел.

— С будущего воскресенья и начнем, чтобы не терять времени. Мой Орлеан будет стартовать в одной группе с Регентом. Смею вас заранее уверить, что ничего подобного вы не видели.

— Ну что ж, — милостиво согласилась Эдит, — можете заехать за мной.

В следующее воскресенье они сидели в одной из лучших, расположенных прямо против финиша лож: Зандарт откупил ее целиком, чтобы избавиться от докучливых соседей.

Пожалуй, никогда еще Эдит не казалась ему такой красивой, как в этот день. Ее роскошные белокурые волосы были завиты по последней, необыкновенно замысловатой моде. Соломенная шляпка с вуалеткой придавала ее розовому лицу до того загадочное выражение, что из соседних лож за ней с вожделением следили десятки взглядов, и это еще больше льстило Зандарту.

Но держалась Эдит еще холоднее, чем обычно. Она деловито расспрашивала Зандарта, — и даже не о лошадях, а о завсегдатаях ипподрома. Какая публика чаще всего бывает на бегах? Да, да, офицеры — это понятно. Как, и видные государственные деятели? И даже дипломаты?

Зандарт вполголоса рассказывал ей о здешних знаменитостях: о проигравшихся домовладельцах, о женах, спускающих в тотализатор весь заработок мужей, о ловких дельцах, каждое воскресенье уносящих с собой по несколько сот латов выигрыша.

Это был сущий Вавилон: мужчины и женщины, старики и молодежь, важные господа и мелкие лавочки — все смешались в одну толпу, обуреваемую одной страстью.

Иностранная речь слышалась здесь вперемежку с латышской; рядом с подносчиками теса из Саркандаугавы, в складчину покупающими билет, в надежде выиграть на облюбованного рысака, можно было увидеть вооруженного моноклем элегантнейшего сотрудника дипломатической миссии. В одной из лож появился секретарь японского посольства — вместе с женой и даже с детьми. Он тоже играл в тотализатор, а в перерыве занимался фотографированием, удивляя публику своим аппаратом: объектив у него был направлен куда-то в сторону, так что трудно было определить, кого фотографируют — не то лошадей, не то зрителей.

Внизу, у беговой дорожки, толпилась самая экспансивная, крикливая публика. Эдит заметила в этой толпе старуху с трубкой в зубах, взглядом знатока окидывавшую каждую лошадь, которую тренеры выводили прогулять перед очередным заездом; старик цыган, облокотившись на перила трибуны, не спускал глаз с рыжего жеребца. В соседней ложе какой-то отчаянный «лотошник» раскладывал на коленях карты, лихорадочно шепча: «Выиграет — не выиграет, выиграет — не выиграет!» Вдруг он сорвался с места, спрятав колоду в карман, и бросился к кассе тотализатора, а через несколько минут вернулся, держа в руках целую пачку билетов.

— Обратите внимание вон на ту караковую кобылу, — сказал Зандарт, прикоснувшись к локтю своей дамы, — из простых, крестьянских лошадей. У нее и родословной-то нет, а поглядите, как она побежит! Как бог, — вот увидите. Она уже оставила позади многих рысаков лучших кровей. Ее хозяин заработал на ней семь тысяч латов и еще тысячи четыре заработает, не меньше! Или вон тот, гнедой жеребец. Прошлой весной его привезли из

Латгалии, прямо из сохи выпрягли. Глядеть не на что было: шерсть длинная, лохматая, везде кости выпирают — сущий одер. А с тех пор он успел отхватить подряд семь первых призов, и теперь его узнать нельзя. В будущем году он определенно будет стартовать в первой группе вместе с иностранцами...

— А как их распределяют по группам? — спросила Эдит. — По рекордам?

— По общей сумме взятых призов. Чем больше заработал рысак, тем выше группа.

Прозвучал гонг к старту. Семь рысаков рванули вперед по беговой дорожке. Две тысячи пар глаз сопровождали каждое их движение. Дух азарта, дух стяжательства владел этой огромной толпой. Почти у каждого в кармане был билет тотализатора, каждый желал победы своему фавориту и поражения остальным лошадям. Всюду слышалось тяжелое, прерывистое дыхание; одни радостно вскрикивали, другие истерически бормотали, третьи молча ерзали на скамьях.

Но напрасно зрители рылись в программах, изучали родословные лошадей и их рекорды, — если за кулисами было решено не допускать к ленточке финиша какого-нибудь рысака и он слишком вырывался вперед, — наездник «подымал его в воздух», и лошадь начинала скакать, капризничать. Требовалось время, чтобы ее успокоить, а за эти секунды или минуты предназначенный в победители рысак вырывался вперед и первым приходил к финишу.

После заезда выигравшие откровенно изъявляли свою радость, проигравшие рвали билеты. Из публики доносились громкие ругательства по адресу наездников, на беговую дорожку летели огрызки яблок, и не одно миловидное личико искажалось от злобы.

— Кто же узнает, что у нее на уме, — вздохнул какой-то неудачник, — лошадь бежит, как ей вздумается.

— Не как вздумается, а как велит наездник, — поправил его другой. — Надо ставить не на лошадь, а на наездника.

В этот день каждый заезд приносил победу Эриксону. Конюшня Зандарта взяла одними премиями тысячу латов; немногим меньше он выиграл в тотализатор. Он был здесь свой человек и знал, на какую лошадь ставить. Лат за латом текли в кассу тотализатора из карманов простачков, которые рассчитывали в своем азарте только на счастье, на чудо. Они кляли и ругали потом весь белый свет, а Зандарт посмеивался.

Беговой день закончился совместной победой Регента и Орлеана. Заезд был действительно интересный. Регент уже в первом круге покрыл восьмидесятиметровый гандикап и затем уже до самого финиша шел голова к голове с Орлеаном, позволяя своему сыну бежать по внутреннему кругу. Орлеан хоть и пришел вторым, но улучшил свое время почти на секунду.

Выслушав поздравления знакомых, коннозаводчиков и тренеров, Зандарт вернулся в ложу.

— Только, чур, не сердиться, госпожа Эдит: я ведь немного схитрил.

— Вот как? — выжидательно улыбнулась она.

— Я решил ничего не говорить вам, а сам все время играл в тотализатор пополам с вами. Ничего, повезло. Если скостить цену билета, то на вашу долю приходится четыреста двадцать латов. Получите-ка.

Эдит колебалась не очень долго. «Четыреста с лишним латов — не пустяк, здесь нет ничего компрометирующего... Все играют в тотализатор...» Она спрятала деньги в сумку и прищурилась.

— Понимаю. Вон вы какой хитрец, оказывается; хотите приучить меня к игре в тотализатор... А вдруг я начну ходить каждое воскресенье?

— И не пожалееете, — зашептал Зандарт, — со мной вы всегда будете в выигрыше.

В этот момент Эдит заметила в проходе рослую фигуру Андрея Силениека. Встретив ее взгляд, он попробовал отвести глаза в сторону, но было уже поздно — Эдит заулыбалась, замахала ему рукой, приглашая в ложу. Он подошел, но лицо его не выражало удовольствия — оно оставалось по-прежнему спокойным.

— А я и не знала, господин Силениек, что вы знаток лошадей, — сказала Эдит, показывая кивком головы на соседнее место (Зандарт кисло улыбнулся при этом). — И часто вы здесь бываете?

— Вы не поверите, может быть, — первый раз в жизни. Улучил вот свободный часок, решил посмотреть, что это такое.

— Ну и как? Понравилось?

Эдит с удовольствием рассматривала его светлое лицо, широкие плечи, большие красивые руки.

«Какой он, наверно, сильный!» — подумала она, и у нее дыхание захватило от приятно тревожного чувства.

— Да, в общем довольно интересно. Сходить стоило, — ответил Силениек, рассеянно глядя по сторонам. И тут же встал. — Вы меня простите, но я должен спешить, меня ждут.

Его привело сюда неотложное дело. — надо было предупредить товарища по партийной организации о готовящейся засаде.

Это ему удалось. А если бы ему сказали, что с этого дня Эдит Ланка стала частенько думать о нем, — он бы только пожал плечами, улыбнулся и тут же забыл об этом.

Глава третья

1

В конце сентября окончился сезон на торфоразработках. Жубур вернулся в Ригу. Надо было немедленно начинать поиски работы. Это было еще труднее, чем летом, когда его уволил Атауга, — в город возвращались с хуторов и со сплава сезонные рабочие, и армия безработных все росла и росла.

Айя оказалась удачливее: ее приняли официанткой в какую-то столовку. Жубур стал ходить туда обедать.

Наконец, ему удалось достать работу. Заболел и уволился один из книгонош издательства Тейкуля, обслуживавший довольно значительный район. Айя сообщила об этом Жубуру и тут же посоветовала сходить в издательство. Работа эта особенных благ не сулила, но по крайней мере дала бы возможность перебиться до весны.

— А залог внести вы сможете? — с первых же слов спросил издатель Жубура. — Внесите сто латов и принимайтесь за работу.

— Разрешите мне внести деньги завтра. Я не знал, что здесь требуется залог, потому ничего

не взял с собой, — сказал Жубур. «Вот где только я их возьму, черт бы вас побрал?» — подумал он при этом.

— Приносите завтра, тогда и о деле поговорим.

Жубур сейчас же пошел к Айе и рассказал о неожиданном затруднении:

— У меня всего-навсего двадцать пять латов. Думал на них прожить до первого заработка.

— Латов десять — пятнадцать и у меня найдется, но этим делу не поможешь. Но мы что-нибудь придумаем. Знаешь, поезжай-ка ты к Андрею, посоветуйся с ним.

Так он и сделал.

У Силениека было условлено с друзьями, что при посещении его квартиры они каждый раз будут приходиться другой дорогой или одетыми по-другому, чтобы их не могли заприметить жители соседних домов. Район фабричный, и, наверное, не один глаз следит здесь за каждым новым лицом.

— Вовремя пришел, — сказал Силениек. Еще пять минут — и ты бы меня не застал.

Жубур в двух словах рассказал о своих затруднениях, извинившись, что побеспокоил его по такому пустяковому делу.

— Поставить человека на ноги — дело не пустяковое — ответил Силениек. — Значит, ты говоришь, есть возможность устроиться книгоношей... — Он прошелся по комнате, сел рядом с Жубуром и хлопнул его по плечу.

— Великолепно, просто великолепно. Обязательно иди на это место, оно для нашей работы пригодится. Черт возьми, как это мне раньше не приходило в голову. Обслуживать клиентуру на дому, доставлять хорошие, полезные книжки... И еще кое-что...

Он посмотрел на Жубура с хитрецей и улыбнулся.

— А ведь и правда, Андрей, — обрадованно закивал Жубур.

— Деньги я тебе достану, приходи вечером часам к одиннадцати или завтра утром пораньше... Только иди через огород, со стороны леса. Что-то мне не нравится один дядя, вон из того дома. Целый день сидит у окна и глазеет на прохожих, да и на мои окна частенько поглядывает. Когда на фабрике кончается смена, он выползает на улицу и прогуливается мимо ворот.

— Может быть, приготовить вексель? — неуверенно спросил Жубур, прощаясь с Силениеком.

Силениек посмотрел на него ласковым и в то же время насмешливым взглядом.

— Эх, дружище... Если бы мы не могли доверить тебе какую-то сотню латов, то как же быть с остальным? А это остальное дороже, чем все Тейкули с их издательствами.

На следующий день Жубур был принят на работу. Ему тут же вручили адреса постоянных подписчиков и клиентов, набили чемодан и портфель книгами, брошюрками, и он двинулся в путь.

С утра до вечера ходил он по назначенному ему району из дома в дом, из квартиры в квартиру, сталкивался с самой разношерстной публикой. Одни встречали его как желанного гостя, другие разговаривали через порог, а в общем ему почти каждый день удавалось

что-нибудь продать. Больше всего он зарабатывал, когда кто-нибудь из клиентов подписывался на многотомные собрания сочинений или серийные издания. Некоторые поручали ему подобрать специальную литературу, найти какую-нибудь иностранную книгу или что-нибудь из полулегальных изданий, которые нельзя было достать в книжных магазинах и газетных киосках.

Нарасхват разбирали клиенты бульварные романы с соблазнительными красавицами на обложках, которыми Тейкуль старался наводнить рынок. Подростки требовали что-нибудь про ковбоев и «Настольную книгу молодоженов», но Жубур старался направить их интересы в другую сторону.

— У меня сейчас ничего подходящего нет, — говорил он обычно. — Вот возьмите лучше «Жизнь животных» Брема.

Так выглядела одна сторона работы Жубура. Другая была сопряжена со многими опасностями. Он стал лучшим связистом организации. Всякий раз, когда надо было срочно передать что-нибудь товарищам, Силениек обращался к Жубуру. Присмотревшись к своим клиентам, действуя с величайшей осмотрительностью, он стал распространять и драгоценные брошюры, отдельные главы «Краткого курса», переписанные на машинке, номера подпольных газет. «Нужно выполнять любую работу», — не раз вспоминал Жубур слова Айи. Жизнь для него приобрела глубокий смысл.

Навсегда остался памятным для него тот зимний вечер. Они сидели втроем у Силениека — Аня, Силениек и Жубур. Было уже поздно, но огня не зажигали. В окно светила луна, у всех троих лица казались бледнее обычного... Говорил Андрей.

— Товарищ Жубур, организация решила принять тебя в партию. Ты станешь членом коммунистической партии — великой героической партии, у колыбели которой стоял величайший сын человечества — Ленин. Мракобесы, реакционеры и плутократы всего мира боятся этой партии — нашей партии. Но как бы ни пытались они в своей ненависти оклеветать ее — коммунистическая партия растет и побеждает. И никакой ложью не очернить ее, ибо коммунисты живут не для себя, а для партии, — это значит, для рабочего класса, для народа, для всего честного, для всего светлого, что существует и зарождается в мире. Нет большей чести, чем быть членом этой партии. Я поручусь за тебя перед организацией. Второе поручительство дает Айя Спаре. Поздравляю тебя, товарищ Жубур, и желаю тебе плодотворной работы в нашем великом боевом строю.

Оба — и Андрей и Айя — пожали руку взволнованному до слез Жубуру.

— Я оправдаю доверие партии, — сказал он. — Вам не придется меня стыдиться. Я связан с вами на жизнь и на смерть. Никакое задание не покажется мне тяжелым или опасным, если его возложит на меня партия.

Так был оформлен прием Жубура в партию. В условиях подполья не существовало таких вещей, как партийный билет, печать и собственноручная подпись на документах. Подписью служило честное слово, а единственным партийным документом — доверие товарищей.

Опять заговорил Силениек:

— Мы в последний раз встречаемся здесь, товарищи. Последнее время за мной ведется явная слежка. Меня выдает высокий рост — он каждому бросается в глаза. По постановлению Центрального Комитета, я перехожу на нелегальное положение и с нынешней ночи переселяюсь на конспиративную квартиру, — стану кротом. Адрес будете знать только вы. Раза два в неделю вы будете по очереди навещать меня и передавать мои указания

товарищам. Через вас же я буду получать и информацию извне. Несколько месяцев я не смогу ходить ни на какие явки, мою работу будут вести другие товарищи.

Айя поняла, что это решение стояло в какой-то связи с предупреждением, которое Петер передал через нее из тюрьмы. Организация не могла терять Силениека, ему надо было остаться на свободе, чтобы руководить начатой работой. Но вокруг него уже кружили провокаторы и шпики. Было очевидно, что охране что-то стало известно, и теперь каждую минуту следовало ждать ареста.

Сначала ушла Айя. В полуотворенные ворота она увидела черную тень человеческой фигуры, падавшую на освещенный луной тротуар. Тихонько вышла Айя через огород к лесу, дошла до поляны и, сделав большой крюк, направилась к автобусной остановке. В центре она сделала пересадку и поехала домой, в Чиекуркалн.

Минут через пятнадцать после Айи вышел и Жубур. Он выбрал ту же дорогу.

В два часа ночи агенты охранного управления и полицейские явились на квартиру Силениека с ордером на обыск и арест. На стук никто не отозвался. Дверь взломали. Силениека там не оказалось. Тогда возле его квартиры устроили засаду и целую неделю ждали его возвращения. День и ночь следили за ней шпики, в надежде на появление кого-нибудь из товарищей Силениека, чтобы установить за ним потом слежку, но никто не появлялся. 2

Кипучая натура Гуго Зандарта не могла довольствоваться незначительными успехами, которых он добился в результате медленной осады. Но не мог же он — черт возьми — в ожидании победы обзаводиться новой любовницей. Дорогие туалеты, украшения, заграничные духи стоили немалых денег, а заботливый муж и отец вовсе не желал подрывать материальные основы семейного благополучия. Но Зандарт давно уже нашел удобный вариант решения этой проблемы.

В районе улицы Валдемара, недалеко от ипподрома, имелась в одном из домов четырехкомнатная квартирка, выходящая окнами на беговые конюшни. Квартира принадлежала почтенной пятидесятилетней вдове Оттилии Скулте. Время от времени Зандарт звонил ей по телефону и справлялся, нет ли чего новенького... Если ответ был положительный, Зандарт немедленно объявлял Паулине, что идет навестить лошадок. Возвращался он иногда в самом приятном расположении духа, а когда и в плохом настроении — в зависимости от того, насколько сумела угодить его вкусам Оттилия Скулте.

С этими вкусами дело обстояло не так уж просто; Зандарт не отличался постоянством. Он искал новых впечатлений, разнообразия типов. Иногда Скулте получала от него конкретный заказ: «Найдите мне такую-то и такую». И усердная хозяйка старалась. Круг ее знакомых был весьма обширен и охватывал различные слои общества, начиная от горничных и кончая законными подругами довольно известных и солидных лиц. Бывало и так, что, пока она впускала в одни двери мужа, из других выходила его жена, хотя еще ни разу не случалось, чтобы в ее уютных апартаментах произошла скандальная встреча какой-нибудь супружеской четы.

Как-то Оттилия Скулте получила от Зандарта новый заказ: «Найдите мне представительную блондинку, выше среднего роста, с хорошим экстерьером, не старше тридцати лет». Бедный донжуан подыскивал женщину, похожую на Эдит Ланку! Спустя неделю Оттилия Скулте позвонила ему в кафе.

— Господин Зандарт? Говорит Скулте. Ваш заказ выполнен. Если желаете, можете прийти сегодня. С двух до шести.

— Весьма вам признателен. Я бы хотел этак через часок.

— Пожалуйста, пожалуйста.

Зандарт заторопился:

— Паулина, меня экстренно вызывают на ипподром. Привезли из Латгалии какую-то трехлетку; говорят, резвая и с хорошим экстерьером. Дай-ка мне деньжат. Вдруг сладимся, может потребоваться задаток.

— Сотни довольно? — флегматично спросила Паулина.

— Хватит, хватит. Говорят, сущее чудо. Родословная в двенадцать поколений.

К Скулте Зандарт всегда ходил пешком: извозчики знали его в лицо; кроме того, всякий старался проникнуть в этот дом как можно незаметнее. И все равно ему каждый раз становилось немного не по себе, пока он ждал на площадке, когда ему отворят дверь.

— Проходите в гостиную, там никого нет, — любезно пригласила Скулте. — Я уже позвонила ей, минут через двадцать придет. На этот раз вы останетесь довольны.

Скулте смотрела на него влажными карими глазами и улыбалась. Когда она улыбалась, становились видны все ее золотые зубы. Зандарта раздражали и эти золотые зубы, и белое, одутловатое от сытой комнатной жизни лицо, и эта улыбка понимания. Он уже заранее знал — сейчас она поведет его в гостиную, усядется напротив со своим вязаньем и начнет нудный разговор про погоду и ревматизмы. Потом раздастся звонок. Скулте побежит мелкими шажками отворять дверь, потом в передней будут долго шушукаться, может быть гостья даже заглянет в замочную скважину, чтобы посмотреть на него...

— Госпожа Скулте, я, пожалуй, немного отдохну. Сегодня много дел было, я устал.

— Пожалуйста, пожалуйста. Когда придет, я ее прямо к вам и пошлю.

Он вошел в самую дальнюю комнату. Там стоял приятный полумрак от спущенных плотных штор. Зандарт подошел к окну, раздвинул шторы. Из-за крыши соседнего гаража виднелись строения беговых конюшен, забор, беговая дорожка, трибуны.

«Латгальская трехлетка, — Зандарт покачал головой. — Паулина, наверно, поверила. Ну, ничего, пускай верит, этак и ей спокойнее».

Звонок. Зандарт присел на краешек дивана. Его вдруг взяла робость. Послышались быстрые, легкие шаги; в дверь постучали.

— Пожалуйста, пожалуйста, — откликнулся он.

— Можно? — спросил тихий женский голос.

— Пожалуйста, — повторил он не оглядываясь.

Женщина вошла в комнату, дверь за ней затворилась. Зандарт решительно поднялся с дивана навстречу вошедшей. Он взглянул на нее и остолбенел — в первую минуту он и сам не знал, от чего — от ужаса или от радости. Перед ним стояла Эдит Ланка.

Это было до того неожиданно, что он не мог прийти в себя. Главное, она ничуть не смутилась, спокойно смотрела ему в лицо и улыбалась.

— Добрый день, господин Зандарт, — ровным, приветливым голосом заговорила она. — Вы меня долго ждали?

— Э-э, я собственно... Здравствуйте, госпожа Эдит... Я... Мне... Я пришел сюда... —

заикаясь и давясь собственными словами, лепетал он.

— Что же вы мне руки не подаете?

— Ох, простите... До того все неожиданно... Сами понимаете...

Он долго тряс ее руку, потом спохватился, торопливо поцеловал и отпустил.

— Такая приятная неожиданность, госпожа Эдит, я прямо опомниться не могу.

— Я это вижу. Но для меня тут нет ничего неожиданного.

— Тем лучше, тем лучше... — поспешил согласиться Зандарт.

«Ей хоть бы что! Дьявол... дьявол, а не женщина...»

— Я знала, что вы будете здесь. Может быть, мы сядем и поговорим?

— Как вам угодно, госпожа Эдит.

Они сели на диван.

Ее выдержка, наконец, подействовала и на Зандарта. Он вытер вспотевший лоб, закурил папиросу и сделал несколько глубоких затяжек.

— Господин Зандарт, скажите мне откровенно, вы ненавидите немцев?

Он не ожидал такого вопроса, но ответил сразу и то, что думал:

— Хорошего я от них не видал. А с тех пор, как они стали уезжать, дела у меня идут лучше и лучше. Они только под ногами у нас мешались.

— Я тоже их ненавижу, — сказала Эдит. — С тех пор как я развелась с мужем, у меня осталось только одно желание — делать против них все, что в моих силах. Я хочу, чтобы они больше никогда не возвращались в Латвию, не могли здесь распоряжаться, как прежде. Согласны вы помогать мне?

— Я? Господи, да такие вещи вовсе не по мне! Я ведь только деловой человек...

— Вот и хорошо, потому-то вы и можете пригодиться. Не думайте, что мы с вами будем действовать вдвоем только. Нас много, и нам надо знать людей, на которых мы можем положиться, когда наступит решающий момент. Нужны люди, которые, как вы, как я, ненавидят немцев и никогда не пойдут за ними. Кроме того, надо знать и тех, кто втайне ожидает их возвращения, ждет прихода германской армии... Ведь рано или поздно Гитлер даст ей приказ двинуться в Латвию. Словом, мы хотим знать и врагов и друзей. У вас много знакомых. И в кафе и на ипподроме вы встречаетесь с самой разнообразной публикой. Если вы захотите, то можете принести большую пользу. Согласны?

Зандарт провел ладонью по голове и задумался.

«Вот те и свидание!.. Куда же это она гнет?..»

— А какая мне будет от этого выгода? — на всякий случай спросил он.

— Неужели в вас нет ни капли честолюбия? Вы дальше своего кафе и конюшен видеть ничего не желаете? Так вот: вас не забудут. Впереди у вас Камера торговли, а может быть — и министерство. Будет же у нас когда-нибудь парламент.

— А это не повредит мне? Вдруг кто-нибудь узнает?

— Знать об этом буду одна я. Ну и еще один человек. Наконец, в чем вас могут обвинить? Ведь вы латыш и будете действовать только из патриотических чувств.

— Это вы правильно. Я латышом родился, латышом и умру, — машинально повторил Зандарт.

— Ну вот. Я тоже латышка. Мы с вами одной крови.

Успокоенный этими доводами, Зандарт, наконец, согласился. А когда Эдит объяснила ему, в чем будут состоять его обязанности, в нем опять пробудились чувства, которые привели его в квартиру Оттилии Скулте.

— Ну, а как же у нас с вами, госпожа Эдит? — жалобно спросил он. — Могу я на что-нибудь надеяться?

— Это будет зависеть от вас, от того, как вы будете работать. Если постараетесь, достанете ценные сведения, не скрою — я буду к вам милостивее.

— И долго придется мне ждать?

— Говорю: все в ваших руках. Темпы зависят от вас.

— Хоть бы какой авансик... — умолял Зандарт.

— Вот ведь какой нетерпеливый! — она засмеялась и, нагнувшись к Зандарту, поцеловала его в щеку. — Ну, и хватит на этот раз!

— Бесчувственная вы женщина, — плакался Зандарт. — Войдите в мое положение.

— Буду помнить о вас, господин Зандарт. А теперь — до свидания.

Эдит ушла. Зандарт уже и сам не знал, как отнестись ко всей этой истории. Не то радоваться надо, не то горевать. Вечером, когда Паулина спросила его про латгальскую трехлетку, он, не обинуясь, ответил:

— Задатка я пока не дал. Лошадь-то с норовом, оказывается. Надо хорошенько присмотреться, а там видно будет. 3

Никогда еще Карл Жубур не жил такой полной, содержательной жизнью. Он странствовал с книжками из квартиры в квартиру, зарабатывая семьдесят, восемьдесят латов в месяц, что при его неприхотливости обеспечивало сравнительно сносное существование. Но это была лишь внешняя, менее важная сторона его жизни. Вторая — незримая, полная опасностей — не приносила материальных выгод, но она доставляла Жубуру глубочайшее моральное удовлетворение. Больше он не стыдился самого себя, не чувствовал себя лишним, бывали даже моменты, когда он испытывал гордость, удачно выполнив какое-нибудь трудное поручение. Теперь он нашел свое место в обществе. «Жить для будущего, отдавать все свои силы борьбе за утверждение правды на всей земле — что может быть благороднее, прекраснее такой судьбы! — думал он, и перед его глазами вставал при этом цельный образ Андрея Силениека. — Вот настоящий человек, вот с кого надо брать пример, если не хочешь прожить бесплодно свой век».

У Силениека вся жизнь заключалась в работе. Каждая его мысль, каждый шаг были устремлены к одной цели. Он и не женился поэтому, думая, что ответственность за судьбу семьи может ослабить сознание ответственности перед партией, а он всегда должен действовать с предельной решительностью и мужеством.

Силениек никогда не думал о себе — ему никогда ничего не требовалось. Месяцами жил он, подобно заключенному, на конспиративной квартире, только по ночам выходя подышать свежим воздухом. О таких вещах, как одежда, еда, сон, он вообще не заботился. Зато когда товарищ попадал в нужду, Силениек отдавал ему последний сантиметр.

Жубур раз в неделю приходил к нему, информировал о работе организации и получал указания для передачи товарищам. В последний раз Жубур засиделся у него дольше обычного; разговор перешел на разыгрывающиеся во всем мире события.

— Развязка приближается как на крыльях, — сказал Силениек. — Капиталистический мир запутался в противоречиях и, точно загнанный волк, ищет выхода... Он ищет выхода в новой мировой войне. Он мечется то в одну, то в другую сторону, пытаясь нащупать самое уязвимое место, откуда можно начать. Гитлер спешит укрепить свои стратегические позиции, а правители других западных государств из кожи вон лезут, чтобы направить агрессию на восток — в сторону Советского Союза. История с Финляндией — не что иное, как провокация крупного масштаба, затеянная с целью скомпрометировать перед всем миром социалистическую державу и втянуть ее в большую войну. Однако сейчас уже стало ясно, что империалисты просчитались.

— Вот именно, — сказал Жубур. — Об этом свидетельствует истощенный вой международный демагогов и провокаторов. Особенно подло ведут себя во всех странах социал-демократы.

— А как же! Чувствуют, что сейчас самый подходящий момент лишний раз доказать свою преданность империалистам. Надеются, что и им перепадет какая-нибудь кость... От усердия они даже не пытаются прикрыться обычными псевдопрогрессивными фразами и с полной откровенностью выражают свою звериную ненависть к Советскому Союзу. Пауль Калнынь[20] проливает слезы над «бедным» Таннером[21] и лапуасскими[22] фашистами — над этими «славными парнями», которые вырезают финками пятиконечные звезды на спинах попавших в плен раненых красноармейцев.

— Непонятно, — задумчиво сказал Жубур, — непонятно, как эти мерзавцы могут воображать, что рабочие не разберутся, не разглядят существа их предательской политики?

— Эх, дорогой друг, а где же это, в какой стране было видано, чтобы меньшевики и им подобные вставали в решающий момент на сторону революционного пролетариата? Для этого им пришлось бы изменить свою природу, свое нутро, перестать быть меньшевиками. Одно можно сказать — если до сих пор малосознательные слои рабочих еще питали какие-то иллюзии насчет социал-демократов, верили, что они способны играть какую-то положительную роль в борьбе за освобождение трудящихся, что они являются прогрессивным элементом, способным выступить на бой с капитализмом, — то сейчас социал-демократы теряют остатки всякого доверия в глазах рабочих и передовой интеллигенции. Каждому здравомыслящему человеку ясно, что они такие же реакционеры, такие же враги трудящихся, как фашисты и прочая братия, — только еще опаснее и вреднее, потому что их реакционность искусно прикрывается красивой фразой. Нынешнее испытание — еще не последнее испытание, Жубур, — придет время, когда весь народ увидит, кто друг, кто враг. Но уже сейчас со многих слетели маски.

— Факт, конечно, положительный.

— Да, и весьма, весьма — особенно для нашей богоспасаемой Латвии, — улыбнулся Силениек. — Уж твердо будем знать, с кем иметь дело... в тот день, когда нам придется взять на себя ответственность за переустройство жизни на нашей земле.

— Выходит так, — улыбнулся за ним и Жубур. — Между прочим, ты знаешь, Андрей, почему исчезло вдруг в рижских магазинах белое полотно?

— Ну как же, слышал, слышал. Ульманис отсылает его в Финляндию, на маскировочные халаты для маннергеймовской[23] армии.

— Говорят, что в последнее время многие айзсарги один за другим уезжают в неизвестном направлении, а оно, надо думать, приводит к тем же лапуасцам.

— Вполне вероятно.

— А как бесится наша буржуазия по поводу размещения советских гарнизонов в Лиепае и Вентспилсе! Охранка задерживает каждого, кто обменяется несколькими словами с красноармейцами. И это у нас называется добрососедскими отношениями. В вокзальном киоске начали продавать «Известия», и что же ты думаешь, — оказывается, достаточно человеку купить эту газету, как за ним начинают следить.

— Да, Жубур, вопрос будет решен радикально, и это время не за горами. Клика Ульманиса зашла слишком далеко, и народ ни на какой компромисс не пойдет. Пора уже, дружище, подумать о кадрах, о людях, которые смогут работать, строить новую жизнь, когда шайка реакционеров будет сметена. Недавно у нас состоялись конспиративные переговоры с некоторыми лидерами социал-демократов. Ну, публика! Они воображают, что мы без их помощи шагу ступить не сможем, что у нас и людей-то нет, которых можно выдвинуть на министерские посты. Думают, что мы так и кинемся просить у них министров. Как же, у них и фраки сохранились, а кое-кто из этих торгашей уже и побывал министром в коалиционных кабинетах. Только зря они так думают — мы вполне обойдемся без их помощи. Есть у нас и министры, хоть и сидят они сейчас в центральной тюрьме или отбывают каторгу в Калнциемских каменоломнях. Наши резервы — это прогрессивная интеллигенция, это народ, в недрах которого зреют новые неизмеримые силы. С ними мы построим наше государство. Вопрос о людях сейчас самый важный вопрос. Я часто думаю об этом и вижу, что надо очень многое сделать...

Весь декабрь Жубур провел в провинции. Он объехал почти всю Латвию, доставляя на места, в областные и уездные организации, директивы Центрального Комитета. Поездка, разумеется, была связана и с издательскими делами. В Резекне у него два раза проверяли документы, но удостоверение книгоноши спасло его от подозрения в неблагонадежности. Эверт, префект лиепайской полиции, два раза заходил в его купе до отхода поезда, оглядывая его с головы до ног, но так и не нашел, к чему придраться. Потом рядом с Жубуром уселся какой-то облезлый субъект и до самой Елгавы приставал с расспросами. Верит ли он в бога? Какие книги у него покупали в Лиепае? Где он работал раньше? Потом сказал, что будто слышал от одного красноармейца, как в Советской России запрягают женщин в соху, что в колхозах жены у всех общие, и тут же спросил Жубура, что он думает на этот счет.

Жубур не дал ему втянуть себя в разговор, сделав вид, что туговат на ухо. В Елгаве этот субъект отстал, но на его место явился другой.

В Риге, на вокзале, Жубура задержали и обыскали. В портфеле и чемодане оказалось только несколько нераспроданных книг и корешки квитанций на подписные издания. Объяснения Жубура удовлетворили полицейского; его отпустили. Возможно, что тут действовала обычная подозрительность охранного управления, но могло быть и так, что им начали интересоваться на основании более веских данных. Жубур поделился своими предположениями с Силениеком.

— Придется некоторое время быть осмотрительнее, — сказал Андрей. — Не исключена возможность, что тебе хотят пришить хвост. Ты недели две не приходи ко мне, пусть одна Айя этим занимается. Если ничего подозрительного не заметишь, можно работать по-прежнему. Но как это здорово получилось у тебя — всю периферию объехал! По крайней

мере, если с нами что и случится, организации будут знать, как действовать дальше.

Жубур зашел в столовую к Аие и передал ей поручение Силениека. Две недели он усердно занимался распространением изданий Тейкуля. За это время он не заметил, чтобы за ним следили. Жубур решил, что обыск на вокзале был чистой случайностью: за последнее время все чаще и чаще обыскивали пассажиров. 4

Таких холодов, как в эту зиму, не помнили и старики. Мороз доходил до сорока градусов и держался по целым неделям, а когда отпускало, начинал идти снег. На улицах Риги, всегда тщательно убиравшихся, лежали сугробы. Трамваи останавливались. Рабочие пешком, по глубокому снегу, отправлялись на фабрики и заводы. В ту зиму гибли и птицы и звери; морозом побило много фруктовых садов.

Бегая целый день по улицам, Жубур отморозил палец на ноге, — его поношенные ботинки были не по такой зиме. Но пересидживать холод в комнате он не мог — Тейкуль и так сердился, что его новинки плохо расходятся. Впрочем, подгоняло его не столько ворчание Тейкуля, сколько желание вовремя выполнить партийные задания. За те две недели, пока он вынужден был отойти от работы, некоторые начинания организации приостановились именно из-за отсутствия связи. Для очередного номера партийной газеты не сумели получить в нужный момент интересный материал, и он вышел бледным. А в эти дни надо было пользоваться всеми возможностями, чтобы разоблачить перед народом мерзости, творимые Ульманисом и его сворой.

Первую половину зимы Жубур проходил в старом демисезонном пальто и шляпе. Когда уже стало невтерпех, он подзанял денег и обзавелся одеждой потеплее, — купил, по совету Силениека, черную барашковую шапку и серый полушубок. В более теплые дни Жубур обходил клиентуру в старом коричневом пальтишке и в шляпе, а полушубком и шапкой пользовался только в сильные морозы или когда отправлялся к Силениеку. Обычно в этом одеянии его не узнавали на улице даже старые знакомые, поэтому Жубур был крайне удивлен, когда однажды его окликнул Феликс Вилде.

Было это поздним вечером; светила луна. Жубур направлялся по одной из узких улочек Задвинья на нелегальную квартиру Силениека. Вилде столкнулся с ним лицом к лицу и сразу остановился.

— Это вы, господин Жубур?

Жубур вздрогнул от неожиданности. Но ему все равно не удалось бы притвориться, что он не принял на свой счет этот оклик, — Вилде с широкой улыбкой протягивал ему руку.

— Добрый вечер, господин Вилде, — сказал он неохотно.

— Ну и нарядились вы! Прямо рождественский дед, узнать даже трудно. С работы?

— Нет, мой рабочий день еще не кончился. Надо забежать еще к нескольким абонентам. Ну и мороз... — сказал Жубур, с намерением показать собеседнику, что долго разговаривать с ним не расположен.

— Что же, мороз отличный, — продолжая улыбаться, ответил Вилде. Он был в теплом пальто с котиковым воротником, в теплых лыжных ботинках и подбитых мехом перчатках.

«Тебе хорошо шутить», — подумал, оглядывая его, Жубур.

— Вы, кажется, работаете в каком-то издательстве?

— Да, у Тейкуля, книгоношей. Днем редко кого застанешь дома — все на работе. Вот и приходится ходить по вечерам. А вы разве в этом районе живете?

— Нет, я заходил по делу к одному коллеге, но не застал его дома. Хочу с полчаса прогуляться, а потом снова наведаться. Слишком неотложное дело... Чего же мы собственно стоим на одном месте? Идемте, я провожу вас немного. Вы ведь в ту сторону шли?

Увиливать не имело смысла, все равно Вилде видел, в каком направлении он шел.

— Да, осталось зайти еще к одному абоненту.

— Почему вас не видно у Прамниека? — шагая рядом с Жубуром, спросил Вилде.

— Я ведь к нему случайно попал тогда, летом. А сейчас я даже не знаю его городского адреса, — рассеянно ответил Жубур, перебирая в голове адреса ближайших абонентов.

«Если не отвяжется, придется зайти к кому-нибудь».

Квартира Силениека была совсем близко, но если бы сейчас рядом с ним шагал даже самый испытанный товарищ, Жубур и тогда не посмел бы идти туда.

У перекрестка Жубур остановился.

— Мне направо, господин Вилде.

— Хорошо, я еще немного пройду с вами. Какая прекрасная ночь! Этот лунный свет, тени на снегу... Завтра, кажется, мороз еще крепче будет. Посмотри на луну, — какие круги.

«Отправлялся бы ты к черту со своим кругами, — сердился про себя Жубур, — и дернуло же его коллегу уйти из дому. Теперь не отвяжешься».

Он решительно повернул на другую сторону улицы, к первому трехэтажному дому. Будь что будет...

— Мне сюда, господин Вилде. Благодарю за компанию.

— Не стоит благодарности, господин Жубур, мне и самому было в высшей степени приятно. Завернули бы как-нибудь ко мне, я живу на Антонинской. — Он назвал номер дома и квартиры. — Приходите. И Мара будет вам рада.

Жубур вошел в подъезд; Вилде медленным шагом двинулся обратно.

«Вот живет человек, не зная забот, — думал Жубур, подымаясь по лестнице, — никто за ним не следит, скрываться ему не надо. Вероятно, доволен и собой, и службой, и квартирой... А все-таки он беднее меня, — никогда ему не узнать тех радостей, которые знаю я...»

Поднявшись на третий этаж, он постоял несколько минут на неосвещенной площадке, потом не спеша стал спускаться обратно. У подъезда он несколько раз оглянул улицу. Везде было тихо, пустынно. Из боязни наскочить на Вилде Жубур покружил еще по окраинным улочкам, свернул на Приморское шоссе и через пять минут ловко проскользнул в небольшой домик, стоявший в глубине сада. Он опоздал на целых полчаса.

— Я уже думал, ты не придешь, — сказал Силениек.

— Чуть было так и не вышло. — Жубур рассказал ему о встрече с Вилде. — Ну и зорек! И видел-то меня всего один раз, у Прамниека. А тут с одного взгляда узнал, да еще в этой шапке, в полушубке.

— Юрист. Такая уж профессия у них, требует умения схватывать характерные черты. В конце концов большой опасности тут не было, хотя в нашем положении осторожность никогда не бывает излишней. Ну, Жубур для тебя опять есть работа. На этой неделе надо провести

собрание. Есть несколько вопросов, которые я не могу решать единолично, надо обсудить их. Вам с Айей придется побегать, чтобы созвать представителей.

— Раз надо — будет сделано.

— После собрания я переменю квартиру, — продолжал Силениек. — Дальше оставаться здесь нельзя. К хозяйке приезжает сестра из Валмиеры. Уже есть новая квартира, не хуже этой.

Жубур пробыл у Силениека не дольше, чем у любого абонента. На другой день он пошел в столовую и за обедом ухитрился передать Айе поручение Силениека. После этого он дня два усердно бегал по квартирам — главным образом по таким, которые не числились в списке абонентов Тейкуля. Айе было легче действовать: нужные люди сами заходили к ней в столовую.

Собрание состоялось в субботу на какой-то частной квартире, в самом центре города. Проводили его под предлогом именин или еще какого-то семейного торжества. Непрерывно играл патефон; включено было и радио. Участники собрания время от времени затягивали приличествующие случаю песни. Дворника щедро угостили пивом и закусками, так что он перестал проявлять интерес к доносившемуся из квартиры шуму. Если бы даже пришел кто-нибудь сверх приглашенных, то вид праздничного стола, уставленного тарелками и водочными бутылками (в них была налита кипяченая вода), мгновенно убедил бы его в том, что здесь справляется вечеринка. Для полноты впечатления несколько женщин облачились в передники.

Собрание было созвано по поводу предполагаемого объединения с левым крылом социал-демократов, которые требовали, чтобы всю их группу автоматически включили в ряды коммунистической партии. Требование это было встречено с возмущением. Во-первых, оно противоречило партийному уставу, по которому каждый новый кандидат или член должен приниматься в индивидуальном порядке. Во-вторых, нельзя было принимать целую группу непроверенных людей, они могли только ослабить крепко спаянный, монолитный партийный коллектив. Дискуссия лишней раз показала Жубуру, как он еще мало знал, сколько ему надо было учиться, чтобы выступать наравне с другими товарищами.

На собрании присутствовал и один из представителей левого крыла социал-демократов. Ему поручили передать единомышленникам решение партийной организации.

Расходились с собрания по двое, по трое. Спутницей Жубура оказалась пожилая женщина, лет пятидесяти по подпольной кличке — Рудис. Пройдя несколько кварталов, Рудис села в трамвай, а Жубур пошел в кино смотреть новый советский фильм.

Все воскресенье Жубур просидел дома за составлением очередного отчета для Тейкуля. В понедельник он, как обычно, пошел обедать в столовую. Айи там не было. Расспрашивать о ней других служащих он не рискнул. Во вторник Айя тоже не показывалась. Не на шутку встревожившись, Жубур поехал к ней на дом.

Старый сплавщик Мартын Спаре встретил его с бесстрастным лицом, посасывая трубку, но в глаза не глядел, а когда Жубур спросил про Айю, он холодно, даже недоброжелательно ответил:

— А вы так и не знаете? Айю взяли. В воскресенье, к вечеру нагрянула полиция, шпики. Обыскали всю, квартиру. Ничего, ясное дело, не нашли, но Айю увели. Больше я ничего не знаю.

Провал был тяжелый. Арестовали почти весь актив организации. Силениека взяли в воскресенье, Рудис — ночью после собрания; накрыты были обе типографии. Из участников

последнего собрания на свободе остались Жубур и один рабочий.

Удар был нанесен в самый ответственный момент — в преддверии решающих боев. Долго и тщательно готовилась к нему охранка.

Надо было начинать все сначала, но как? Что делать без Силениека? Где печатать газету и листовки? Напрасно задавал Жубур эти вопросы самому себе и немногим оставшимся на свободе товарищам, которых он знал. Один он не мог решить их, а товарищи не вдавались с ним ни в какие разговоры. Все были сдержанны, немногословны и ограничивались короткими ответами:

— Что тут скажешь — сработано чисто... Без провокатора не обошлось...

Жубур вдруг понял, что ему не доверяют. Он слишком много знал, был тесно связан с Силениеком и другими арестованными. И теперь те сидели в предварилках охранки, а он свободно разгуливал по рижским улицам. Действительно, странно... Что же удивляться, если товарищи избегают его!

«Меня считают провокатором», — оформилась в голове Жубура страшная мысль. И он тут же понял, что не может доказать свою невиновность. Пока не найдется провокатор, он будет молча нести на своих плечах этот груз подозрений. Но почему же все-таки его не арестовали? Неужели о нем ничего не было известно охранке?

Жубур чувствовал себя, как в непроходимом лесу. Он мог неделями, месяцами, годами искать выхода, не находя его. Но выход надо было найти — сейчас же, немедленно, до начала решающих битв. Иначе он выбудет из боевых рядов, опять станет ненужным, лишним человеком...

«Нет, этому не бывать. Надо найти предателя. Я найду его хоть под землей!» 5

Виновником провала организации мог быть только человек, знающий и Силениека, и Айю, и Жубура. Кто-то из этой тройки считал себя вправе полагаться на него, доверять ему, — иначе откуда бы тот знал столько адресов?

Жубур думал об этом целыми ночами напролет. Силениек, разумеется, стоял вне всяких подозрений. Айя... нет, если бы даже она и осталась на свободе, никому не пришло бы в голову обвинить ее в чем-нибудь. Может быть, хозяйка конспиративных квартир? С квартирой в Задвинье все обстояло благополучно — Силениек как ушел на собрание, так и не возвращался туда. На новой квартире он успел провести только одну ночь, а на следующий вечер его взяли вместе с хозяином — старым коммунистом. Но даже, если предположить худшее — что тот оказался предателем, — все равно многое оставалось непонятным. Он не знал ни адресов типографий, ни адресов двадцати четырех коммунистов, арестованных вместе с Силениеком. Нет, это предположение ничего не объясняет. Провокатором был кто-то другой, человек, обо всем информированный, с широкими связями. Еще более правдоподобным был другой вариант: охранка получила эти адреса не от одного агента, а от целой сети шпииков и в разное время. Скорее всего подручные Штиглица выявляли подпольщиков по одному, но с арестами не спешили, пока не напали на след Силениека.

«Значит, вся суть в том, что провокатором был известный одному Силениеку человек, — рассуждал Жубур. — Тогда понятно, почему меня оставили на свободе. Если бы арестовали и меня, — разоблачить его можно было бы в несколько дней. Для того меня и оставили на свободе, чтобы направить подозрения по ложному пути. Этого неизвестного провокатора знал только Силениек, а меня — очень многие; ясно, что в их глазах я и должен считаться виновником всех арестов. Вот на что рассчитывала охранка. Действительно, тонко сработано».

Было еще одно обстоятельство, осложнявшее все дело: иногда охранка для запутывания следов применяла другой метод. Провокатора арестовывали, сажали в одну камеру с его жертвами, держали там целыми месяцами, пока не отпадали все подозрения.

Может быть, провокатор сейчас сидит рядом с Силениеком и вместе с ним клеймит предателя... Никто не называет его имени, но все думают на него — на Жубура...

При одной этой мысли у Жубура кровь прилиwała к лицу.

«Нет, Андрей, я честно, по мере своих сил, служил нашему общему делу. Я не изменял и не изменю ему.

Если бы ты, друг, мог сказать мне, кто тот человек, которого знал один ты...»

У него мелькнуло даже предположение, что Андрей мог сблизиться с какой-нибудь женщиной из узкого круга своих знакомых и она оказалась предательницей.

Случалось, что провокатор был слишком заметной в обществе фигурой, — тогда фиктивный арест только скомпрометировал бы его. Крупную рыбу даже ненадолго нельзя пускать в садок, — ее чешуя навсегда теряет блеск. Другое дело мелкие шпики...

«Могло быть так, могло быть этак... По-разному могло быть, а ясности все-таки нет. Если бы хоть часок побыть с Силениеком, расспросить его! Сколько времени пройдет, пока наладится связь с тюрьмой... Не раньше, чем окончится предварительное следствие и Силениек увидится с другими заключенными».

А пока Жубуру приходилось ограничиваться лишь теми фактами, которые имелись в его распоряжении. Но он почти ничего не знал.

Однажды Жубур встретился на улице с Марой Вилде. Она сошла с трамвая и торопливо зашагала по тротуару. Увидев Жубура, она остановилась. Ее бледное сосредоточенное лицо озарилось улыбкой.

— Господин Жубур! Какая неожиданная встреча! Вы так старательно скрываетесь от знакомых, что это можно счесть за чудо.

— Я несколько раз уезжал из Риги по делам службы... — начал объяснять Жубур.

— Подождите, — перебила его Мара. — Вы не очень спешите?

— Не очень, — согласился он.

— Тогда зайдемте на минутку к Зандарту. Выпьем по чашке кофе, поболтаем, вы что-нибудь расскажете о себе, я — о себе.

Кафе Зандарта было почти рядом. Жубур оставил чемодан с книгами в гардеробной. В зале они сели за отдельный столик, и вдруг замолчали оба, не зная, с чего начать разговор.

Заговорила Мара:

— Вы не болели, господин Жубур? Летом вы выглядели гораздо лучше.

Жубур машинально провел рукой по подбородку. «Хорошо, что побрился утром».

— Болеть не болел, но в последнее время мне приходится очень мало спать. По ночам я готовлюсь — хочу с будущей осени возобновить занятия в университете.

— В прошлую субботу мы были у Прамниевых. Не хватало только вас с Силениеком, тогда бы собрались все, кто был у них в тот вечер на даче. Мы всё о вас вспоминали. Прамниек очень обижен, говорит, что вы его совсем забыли. Силениека он тоже ругал за то, что тот давно не показывается... По-моему, он очень хороший человек — Силениек, хотя я его мало знаю. Феликс тоже всегда говорит, что он очень умен и талантлив. Он все собирается затащить его к нам. Кстати, зашли бы и вы когда-нибудь. Мы живем в центре, на Антонинской.

— Благодарю вас, — поклонился Жубур, — ваш муж уже приглашал меня.

— Разве вы встречались с Феликсом? Странно, он мне ничего не говорил.

— Встретились мы совершенно случайно, на улице. Это было... это было в прошлую среду, в Задвинье.

— В среду вечером? — переспросила Мара. Чуть подкрашенные брови удивленно приподнялись. — В среду вечером у него было длиннейшее заседание в правлении.

— Он, помнится, говорил, что идет к какому-то сослуживцу. Может быть, в связи с этим заседанием?

— Возможно. Да это и не так важно в конце концов. — Но на лице ее в течение нескольких минут еще оставалось выражение напряженной мысли.

«Кажется, это мои слова ее расстроили. Почему?» — с недоумением подумал Жубур. Он вдруг понял, что в обществе Мары почувствовал себя спокойнее. Острая, щемящая боль, чувство собственной отверженности, не дававшее ему покоя последние дни, чуть утихло. В ее взгляде, в голосе он ощутил дружеское доверие, какую-то душевную поддержку.

Мара была из тех женщин, чья красота открывается не сразу: на улице, в многолюдном обществе она могла остаться и незамеченной, точно всю свою грацию, всю талантливость своей натуры она оставляла для сцены, для любимых ролей. В обществе она не проявляла той ровной, выработанной веселости, которой отличаются светские люди; она могла вдруг надолго задуматься, не отвечать на вопросы окружающих; с людьми, неприятными ей, держалась иногда с презрительным равнодушием. Редко-редко и лишь для немногих расцветала ее душевная прелесть. Вдруг открывалась глубина хмурых глаз; в ее медлительной речи начинали звучать такие искренние грудные ноты, что становилось тепло на душе.

Одного не мог объяснить Жубур: почему она обратила на него внимание, что означает это дружеское участие? Ведь тогда, у Прамниевых, она так доверчиво положила руку на его плечо, так странно смотрела на него... «Что может найти во мне такая женщина? Кто я для нее? С мужем она, кажется, счастлива... Жизнь у нее интересная, богатая впечатлениями. Хотя, как знать? Вилде, возможно, человек незаурядный, но особых симпатий, не вызывает... И потом у него, наверное, вечно дела, заседания... Даже такие, о которых жена ничего не знает... Да, со стороны трудно судить...»

Мару действительно тянуло к Жубуру. Увидев его в первый раз, она поразились какому-то неуловимому сходству его — не то в чертах лица, не то в голосе — с одним человеком, другом ее юности, которого она любила и который погиб при автомобильной катастрофе. Это была старая история, никто о ней уже не вспоминал, да и сама Мара ни с кем об этом не говорила. Она стала известной актрисой, вышла замуж за Феликса Вилде, но первую свою любовь забыть не могла. И вот пришел Жубур и растравил эти дорогие и горькие воспоминания, оживил смутные мечтания ранней юности...

Жубуру она ничего об этом не говорила... Она глядела на него доверчиво-ласковыми глазами и рассказывала — о театре, о новой пьесе, в которой должна играть главную роль, о том, как

она трактует характер героини.

— Премьера в субботу. Мне очень хочется, чтобы вы пришли в театр. Очень хочется. После спектакля поедem прямо к нам, отпразднуем новую роль. Гостей совсем немного будет... Прамниеки, конечно, может быть, еще кто-нибудь. Приходите.

Но Жубур и не отказывался. И не потому даже, что почувствовал симпатию к Маре. Еще в самом начале разговора, когда она несколько раз упомянула Силениека, его озарила вдруг одна мысль. Он слушал Мару, отвечал на ее вопросы, а мысль эта не покидала его, обрастала новыми доводами, предположениями. Неужели он в самом деле нашел путь к разрешению загадки? Неужели существует какая-то связь между нею и окружающими Прамниека людьми?

— Благодарю вас за приглашение, я приду, с удовольствием приду, — сказал он. — И раз уж вы напомнили мне о моих обязанностях, я схожу и к Прамниеку. Дайте мне, пожалуйста, его адрес.

— Записывайте. У меня и номер телефона есть.

Ей было приятно оказать ему хоть самую маленькую услугу.

Жубуру пора было уходить, — он решил немедленно отправиться к Прамниеку. Мара еще осталась посидеть в кафе.

Едва успел Жубур выйти за дверь, как к столику Мары подлетел Зандарт.

— Добрый день, добрый день, госпожа Вилде! Давно смотрю на вас, люблюсь, только не хотелось мешать. Вы были так заняты своим партнером. Ха-ха! — обрадовался он своей шутке. — Между прочим, знакомое лицо, где-то я его как будто видел...

— Конечно, видели. Это Карл Жубур. Помните, летом, в день рождения Прамниека?

— Да-да-да!.. Совершенно правильно: Карл Жубур. Кажется, он еще отчаянно ругал немцев. Верно?

— Право, не помню, господин Зандарт.

— Ну, может, я и напутал. Между прочим, госпожа Вилде, а вы сами-то как? Признаете их?

Действуя с помощью одних и тех же, довольно топорных, приемов, Зандарт бросался теперь навстречу каждому знакомому и старательно выведывал его мнение о немцах. Он так усердствовал, что у него каждый день был готов для Эдит список фамилий, помеченных плюсами или минусами. А некоторые фамилии были снабжены даже двумя плюсами или минусами.

Вечером Мара рассказала мужу о встрече с Жубуром.

— Я его пригласила на премьеру и на ужин. Ты не возражаешь? Он такой славный, симпатичный человек...

— И отлично сделала, что пригласила, — с довольным видом ответил Вилде.

— Он сказал, что вы с ним встретились в прошлую среду.

— Да, я не сказал тебе тогда — как-то из головы вылетело.

— Ведь в среду у вас было заседание правления. Ты еще жаловался, что пять часов просидел и у тебя голова разболелась. А сам, оказывается, был где-то в Задвинье.

Вилде слегка закусил нижнюю губу, потом рассмеялся и потянулся обнять Мару.

— Первый раз за все годы брака я узнаю о том, что ты меня ревнуешь. Ты меня просто радуешь!

— Я вовсе не собираюсь ревновать тебя, — уклоняясь от его объятий, сухо ответила Мара. — По кто тебя вынуждал описывать с такими подробностями это мифическое заседание? Мне просто неприятно попадать в глупое положение. Люди начинают думать, что ты скрываешь какие-то похождения, одурачиваешь меня.

— Не волнуйся, Мара, — начал успокаивать ее Вилде. — Я действительно был в Задвинье, был по служебным делам. По каким — сказать сейчас не могу, да это и неважно. Обещаю тебе не подавать больше поводов к подобным недоразумениям. А главное — я твой верный муж, и если хожу на свидания — то только на деловые... — закончил он иронически-торжественным тоном. 6

В углу мастерской топилась железная печка. Стеклянная крыша была запорошена снегом, но солнца здесь было достаточно.

При входе Жубура натурщица спряталась за ширму.

— Можете одеваться! — крикнул ей Прамниек. — Сегодня больше работать не будем.

— Я тебе помешал? — спросил Жубур.

— Нет, ничего... я уже кончал. Ну, присаживайся, грейся, а я пойду попрошу Ольгу дать нам горячего кофе.

Пока натурщица одевалась, разговор у них не клеился.

С удовольствием осматривал Жубур мастерскую художника. «Какое это счастье, — думал он, — когда человек может целиком отдаться творчеству, вложить все свои способности и силы в любимый труд. Художник, настоящий художник отвечает только перед своей совестью, а в конечном счете — перед своим народом, и тогда в его творениях звучит сама жизнь».

И сам Прамниек, в белой, запачканной красками блузе, с трубкой в зубах, с копной густых волос на голове, с напряженно вглядывающимися в каждый предмет глазами, был очень колоритен.

Последнее время он работал над большим полотном. Везде были разбросаны эскизы голов и фигур, наброски композиций. Тут же стояло несколько занавешенных мольбертов поменьше, с неоконченными холстами.

— Пожалуй, мой замысел многим придется не по вкусу, — рассказывал Прамниек. — Я хочу создать — как бы это выразиться — что-то вроде поэмы о труде. Конечно, не о том труде, который является уделом раба и ведет к деградации человека. Пусть уж этот труд восхваляют и проповедуют интеллигентные прихвостни буржуазии, как это практикуется сейчас у нас. Вот уж стараются! Чего только они не делают, чтобы приукрасить безрадостный труд эксплуатируемых масс! Надеются, что он тогда покажется народу более привлекательным, что народ забудет, на кого работает. Мне все это до того осточертело, что вот я решил показать в красках, в динамике фигур, в самой композиции — другой труд, к которому людей не принуждают палкой, не подгоняют жадность и стяжательство... Свободный, творческий труд, который так же необходим человеку, как воздух и пища. И показать его без сентиментальной утрировки, а таким, каким он должен быть...

— И каким он будет, когда народ станет хозяином страны, — закончил его мысль Жубур.

— Да, когда-нибудь, наверное, наступят такие времена. Может быть, идея моей картины пока еще фантастична и не скоро еще воплотится в жизнь, а может быть, я не так уж namного опережу ее.

— Совсем не namного, — сказал Жубур.

Он внимательно посмотрел на Прамниек, тот на него, и оба многое узнали в это мгновение друг о друге. Жубуру точно дышать легче стало. Он понял, что без обиняков может приступить к разговору, ради которого пришел сюда.

Когда натурщица, наконец, вышла, Жубур спросил:

— Сможем мы поговорить полчаса наедине?

— Готов хоть целый вечер, — весело ответил Прамниек. — Ты у меня такой редкий гость, — когда еще тебя дождешься в другой раз?

— Здесь можно говорить не остерегаясь?

— Вполне. Я пойду скажу, чтобы Олюк никого не впускала.

В эту минуту в мастерскую вошла сама Ольга, держа поднос с кипящим кофейником и чашками. Прамниек тут же достал из шкафика бутылку коньяку. Ольга, очень довольная приходом Жубура, начала было расспрашивать его о делах, но, взглянув мельком на мужа, сразу поняла, что помешала разговору, и сейчас же вышла, воспользовавшись первым попавшимся предлогом. С Жубура она взяла слово, что он останется пообедать с ними.

Прамниек набил трубку и откинулся на спинку кресла.

— Скажи мне откровенно: что собой представляет Феликс Вилде? — начал Жубур. — Ты хорошо его знаешь?

— Как тебе сказать, — медленно ответил Прамниек, глядя вверх, на расплзающееся кольцо дыма. — Познакомился я с ним после женитьбы, через Ольгу. Они ведь с Марой дружат еще с гимназических времен. Точно так же, как и с Эдит... Знакомство это поддерживается главным образом из-за Мары. Сама она — чудеснейший человек, с удивительно верным художественным чутьем. Жаль мне ее иногда становится — есть в ней какой-то Душевный надлом, а супруг ее не всегда это понимает, хотя, видимо, до сих пор влюблен в нее. Что же тебе о нем сказать? Он человек со способностями, быстро все схватывает и с поразительной ловкостью пускает в оборот свои знания. На службе ему везет, — больше того, удивляться приходится, с какой головокружительной быстротой поднимается он вверх, хотя влиятельных дядюшек у него не имеется. Отец его всю жизнь сидит на своем клочке земли — так гектаров в пятьдесят или что-то в этом роде. Есть у него брат агроном, он состоит командиром батальона где-то в айсарговском полку, но Феликс много раз говорил, что особо нежных чувств к нему не питает и редко с ним видится. Сам он часто высказывает весьма радикальные суждения, но я никогда особенно не верил в их искренность. Самолюбия и честолюбия у него хоть отбавляй, больше всего, конечно, он мечтает о блестящей карьере и, если уж говорить по душам, — ради нее на все пойдет. У меня осенью случилась одна неприятность — пришлось заплатить пятьсот латов за свою откровенность. Тогда я, грешным делом, подумал, что это не без его участия произошло. Теперь-то я думаю на Освальда Ланку, — после того как тот отплыл с немцами, всем стало ясно, что это за фрукт. Но все равно, Вилде тоже может оказаться порядочным подлецом. И если бы не Мара — я бы с ним никогда в жизни не стал дело иметь... Теперь скажи, почему он так тебя интересуется?

— Скажу, скажу, только немного погодя. У меня к тебе еще один вопрос. Андрей Силенник на самом деле приходится тебе двоюродным братом?

— Можешь не сомневаться, — улыбнулся Прамниек. — Да погоди, позволь мне отвлечься немного от нашей темы, заодно давай выпьем по рюмочке коньяку. Я, брат, последнее время стал очень часто задумываться над тем, что творится в мире. Ты не слыхал, как сейчас стараются доброжелатели Маннергейма? Оказывается, они издают у нас, под маркой телеграфного агентства, свой бюллетень. Получают его около ста человек: члены кабинета, крупные чиновники, военные чины. Один такой листок попался как-то мне в руки. Ну и разнузданность! С какой бешеной злобой они пишут о Красной Армии! По их описаниям получается, что у финнов очень мало потерь, а Красная Армия почти уничтожена. А главное, они носятся с проектом антисоветского блока всех скандинавских и прибалтийских государств. Под покровительством одной из великих держав, разумеется. Эти фабриканты бекона мечтают о войне с Советским Союзом. Понимаешь, что это значит? Они стараются науськать народ на советские гарнизоны, они лихорадочно производят противотанковые мины, чтобы окружить эти гарнизоны минными полями. Немало мы видели со стороны ульманисовских молодчиков безумных выходов, но тут они решили переступить всяческие границы. Но народ не пойдет на это, в этом я уверен... Ты меня прости, я тебя совсем заговорил. Да, так что ты хотел спросить насчет Силениека?

— Ты хорошо знаешь своего двоюродного брата? Знаешь о его работе?

Прамниек несколько секунд серьезно, почти строго смотрел в глаза Жубуру и тогда только ответил:

— Я знаю лишь то, что мне положено знать. Я считаю его выдающимся человеком.

— Я тоже знаю Силениека и знаю, что мне положено знать, — переходя на шепот, сказал Жубур. — Теперь скажи: когда ты видел его в последний раз?

— Приблизительно месяца три тому назад. Он мне тогда сказал, что уезжает по делам в провинцию.

— Ты с ним дружил?

— Он мне доверял. Ну, очевидно, в определенных границах. О многих вещах мы с ним разговаривали откровенно. Я иногда кое-что рисовал для него. Давал ему краски. Он приносил мне некоторые издания. Скажу, что из всей моей родни это единственный человек, которого я искренне люблю и уважаю. Андрей тоже, кажется, кроме меня, ни с кем не поддерживает родственных отношений.

— Скажи, а Вилде никогда не интересовался Андреем? Не спрашивал тебя о нем? Подумай хорошенько.

Прамниек надолго задумался. По мере того как он погружался в какие-то воспоминания, лицо его становилось все тревожнее. Вдруг он вскочил с кресла.

— Что с Андреем?

— В воскресенье его арестовали.

Прамниек ни о чем больше его не спросил. Он стал быстро прохаживаться из угла в угол, не глядя на Жубура. Потом, решив, видимо, взять себя в руки, круто повернулся и сел на прежнее место.

— Ты думаешь, что это Вилде?

Жубур утвердительно кивнул головой.

— Это очень похоже на правду, как сопоставишь все факты. И подумать только... Это верно.

— Вилде спрашивал меня про Андрея, и не раз. Он даже спрашивал у меня его адрес — это было вскоре после последнего прихода Андрея. Сказал, что какой-то знакомый Андрея разыскивает его. Я было пошел к нему, но оказалось, что Андрей съехал со старой квартиры.

— Андрей перешел тогда на конспиративную квартиру, — объяснил Жубур. — Его еще в то время разыскивали, и он должен был перейти на нелегальное положение.

— Теперь я вспоминаю, что Вилде и тобой интересовался, — продолжал вспоминать Прамниек. Он даже как-то осунулся за несколько минут. — Все спрашивал, почему ты никогда не заходишь, что ты за человек. Один раз, чуть не на прошлой неделе, позвонил по телефону, сказал, что у него есть для тебя подходящее место. Я тогда еще пожалел, что не знаю твоего адреса.

— Подожди, — перебил его Жубур. — А откуда же он узнал, что я работаю в издательстве? На прошлой неделе в среду я встретился с ним в Задвинье. Дело было вечером, я шел к Андрею. Он так пристал ко мне, что я не знал, как от него и отвязаться. А давеча, во время разговора с его женой, вдруг выясняю, что ей он про эту встречу ничего не сказал, что он в тот вечер должен был присутствовать на каком-то заседании. Все это навело меня на подозрения.

— Подлец! Какой подлец! Это он, Жубур, ясно, что это он. Недаром не лежало у меня к нему сердце. Мерзавец! Вот как он делает свою карьеру. Ну, погоди у меня...

— Постой, Эдгар, не горячись, не то еще натворишь глупостей, — строго остановил его Жубур. — Пока еще ничего не доказано, пока у нас с тобой ничего, кроме предположений, не имеется. Скажем, мы уверены даже, что это он, но нам нужны факты. Нужно фактами доказать, что он служит в охранке. И если ты хочешь, чтобы предатель и виновник ареста Андрея был разоблачен, ты должен помочь мне в этом.

— Сделаю все, что в моих силах! — горячо ответил Прамниек. — Готов, кажется, на все пойти ради этого.

— Во-первых, ты ни при ком виду не подавай, что знаешь что-то про Вилде. Ни в коем случае не выказывай при нем своих чувств, держись с ним вежливо, ровно, — словом, по-прежнему.

— Ох, как это трудно! — покачал головой Прамниек. — Мне не терпится в глаза ему плюнуть, а я должен руку пожимать.

— Мало ли что трудно — дело это слишком серьезнее, придется потерпеть. Так вот, слушай. Я приглашен к ним на ужин. В субботу. Вы с Ольгой, кажется, тоже будете?

— Да, мне Олюк говорила, но после того, что мы узнали...

— Надо пойти, Эдгар. Мы просидим у них весь вечер и постараемся его хорошенько прощупать. Я уже начинаю кое-что придумывать, своего рода западню. Если наши предположения верны, он в нее попадет.

— Как ты все успел предусмотреть?

— Видишь ли, для меня это вопрос жизни. Если мне не удастся уличить его в самые ближайшие дни, произойдет ужасное недоразумение... Правду говоря, оно уже произошло.

— Я понимаю тебя, Карл, — мягко сказал Прамниек. — Обещаю сделать все, что ты находишь нужным. Надо найти предателя. Ах, Андрей, Андрей!..

— Это будет лучшее, что мы можем сделать для Андрея. И для его дела. Для народного дела, Эдгар. 7

В субботу вечером Жубур пошел в театр. Переживания последних дней оставили на его лице заметный след, глаза у него ввалились. Но он не чувствовал усталости. Страстное, нетерпеливое желание вернуть доверие товарищей, доверие партии заставляло его мысль работать с поразительной ясностью, заставляло забывать об отдыхе.

Спектакль окончился в половине одиннадцатого. Это была одна из переводных салонных пьес, которыми дирекция обычно пыталась залатать прорехи в бюджете театра. Чего можно было требовать от постановки, состряпанной в две недели? Большинство актеров не успели еще войти в роль и не в состоянии были произнести двух слов без помощи суфлера; режиссеру только в последний момент пришло в голову, что такой-то персонаж требует иного истолкования. Положение спасала только неприязнительность зрителей. Рижскую публику не баловали хорошими постановками, образцов для сравнения у нее не было. Смотрите, что есть, и не обессудьте... А кому не нравится, идите в другое место. А в другом месте было только кино или оперетка, убогое, пошлое искусство ресторанной эстрады; и невзыскательный зритель принимал все, что ему преподносили в виде премьер каждые две недели. И еще спасибо говорил.

Мара, всегда очень вдумчиво работавшая над своими ролями, в этот вечер играла с особенным подъемом. Она сумела вложить в образ героини какие-то собственные черты и показала такую глубину чувств, о которой и не помышлял автор пьесы. Обманутая мужем молодая женщина решает начать борьбу с соперницей. Легкомысленный муж, поняв к концу пьесы, какими душевными качествами обладает его жена, раскаивается и возвращается к домашнему очагу. Довольно незамысловатый, избитый сюжет. Такая же незамысловатая, избитая мораль. Но большинство зрителей находили здесь собственную житейскую мудрость, выраженную приятными, округлыми фразами, и тихонько радовались: «Да, такова жизнь. Слаб человек, но — достоин снисхождения».

После спектакля Жубур разыскал в фойе Прамниеков. С ними были Эдит и Зандарт. Они решили подождать, когда Мара разгримируется и переоденется, чтобы ехать всем вместе. Разговор вертелся вокруг пьесы и игры актеров.

— С каким огнем играла сегодня Мара! Я ее давно-давно такой не видела, — сказала Ольга.
— Но техника здесь ни при чем, Эдит, ты напрасно так думаешь. Мне кажется, она сама испытывает какой-то душевный подъем.

— Вы это правильно сказали, госпожа Ольга, она сегодня играла, как это я хотел сказать... да... очень изящно, — изрек Зандарт: он не таил под спудом светильник своей мудрости.

В дверях показалась Мара с огромной охапкой цветов в руках. Позади шел Вилде.

— Помни уговор, держись ровнее, — шепнул Жубур художнику.

Прамниек только дернул плечом.

В квартире Вилде все было приготовлено к приему гостей. Стол был накрыт. В гостиной топился камин; серый избалованный кот потягивался перед огнем на шкуре белого медведя.

— Прошу прямо к столу, — позвал гостей Вилде.

Усаживались как придется, но Жубур все-таки очутился рядом с хозяином.

— С водки начнем? — подмигнул тот Жубуру. — С морозу ничего не может быть приятнее. — И он стал наливать рюмки.

Чокнулись за успех Мары, потом взялись за тарелки. Вилде налил по второй, и все разом заговорили — смеясь, не слушая друг друга. Громче и больше всех говорил Прамниек, но

политики на этот раз не касался. Зандарт распределял свое внимание поровну между Эдит и закусками. Эдит благосклонно подшучивала над ним: в их отношениях еще не произошло никаких изменений.

Вилде уже наполнил рюмки в третий раз.

— Э, да вы наших порядков не знаете, — с преувеличенным испугом сказал он Жубуру, увидев, что тот поставил на стол почти полную рюмку. — Нет, так нельзя.

— Я не привык много пить, — оправдывался Жубур.

— Тем хуже, вы же не молодая девушка. Церемониться у нас не принято, здесь все люди свои. А в случае чего — мы вас уложим на диванчик, и вы живо придете в себя. Нет, нет, сейчас же выпейте. — Он не успокоился до тех пор, пока Жубур не допил рюмку.

«Хочет напоить — значит, все идет так, как я ожидал, — подумал Жубур. — На этот раз ошибаешься, голубчик, — не проведешь». Чтобы не опьянеть, он решил пить одну водку и старался побольше есть. Взял с блюда несколько самых жирных кусков заливного, намазал хлеб толстым слоем масла — и покосился на Мару. «Вот, наверно, думает, обжора».

Водка лишь слегка ударила ему в голову, он вполне владел собой и старался рассчитывать каждое слово.

— Рекомендую для разнообразия перейти на более легкое, — суетился Вилде, — отличное пиво.

Жубур заговорил через стол с Марой, поблагодарил ее за прекрасную игру. У нее сразу просияли глаза от его слов.

— Да, я сама чувствую, что играла верно. Режиссер сказал, что многие сцены у меня совсем по-другому получились, чем на репетициях. Но это, кажется, не испортило общего впечатления.

— Господа, — громко заговорил Вилде, перебивая все разговоры. — Я хочу показать вам нечто любопытное в своем роде. Давеча, перед уходом в театр, я обнаружил в своем почтовом ящике вот эту штучку. — Он вынул из кармана сложенный вчетверо листок печатной бумаги, развернул его и подал Жубуру. — Вот прочтите, потом дайте Прамниэку.

Пока Жубур читал, Вилде не спускал с него взгляда опытного наблюдателя. Жубур чувствовал этот взгляд, чувствовал, что и остальные выжидательно следят за выражением его лица.

Достаточно было Жубуру взглянуть на листок, и он узнал его. Это была последняя прокламация, вышедшая из-под руки Андрея Силениека, последнее издание разгромленной типографии. Он ее знал наизусть. Это было воззвание ко всем тем, кто еще не определил своего отношения к моменту, когда стоявшая у власти клика готовилась свергнуть латышский народ в кровавую авантюру и сделать его вассалом Гитлера, — но главным образом адресовано оно было интеллигенции: «Народ оценит вас по вашим делам, по вашим поступкам будет он судить вас. Почему вы молчите? Или вы ждете, что и на этот раз другие проложат вам дорогу своим трудом, своими страданиями? А когда борьба решится в нашу пользу, когда победит народ, вы придете за своей долей? Скажите, на какую долю вы сможете тогда рассчитывать?»

И Жубур должен был скрывать чувство гордости за эти смелые, огненные слова, должен был притворяться, что читает их впервые и они не производят на него никакого впечатления.

— Как пишут, а? — наклонясь к Жубуру, вполголоса сказал Вилде, когда тот передал

листовку Прамниеку. — Ведь здорово? Силу, видимо, за собой чувствуют. Они уж начинают требовать, грозить.

— Смело написано, — крутнул головой Жубур. — И язык литературный. По-моему, писал интеллигентный человек. — Он внутренне радовался, что не выдал себя ни единым жестом.

Прамниек буркнул, что такую же листовку он нашел в своем почтовом ящике, но не обратил на нее внимания, и что источник их распространения, наверно, скоро будет обнаружен.

Зато не на шутку разволновался Зандарт.

— Вон они куда хватают! — кричал он, размахивая коротенькими ручками. — За честных граждан принялись! Нет, меня этим не запугаешь! Плевать я хотел на их листки! Публика мое кафе не забывает, лошадки берут призы, — а больше мне ничего не надо... Ни у кого я ничего не отнимал, а своего тоже не отдам. Мое моим и останется.

Листовка, обойдя весь стол, вернулась к Вилде. Он сложил ее и спрятал в карман.

— Что нас ни ждет впереди, а выпить следует, — весело сказал он и стал разливать пиво.

Жубур выдержал с его стороны новый натиск: он пил только водку, решительно отказавшись и от пива и от вина. Чтобы не принуждать хозяина к назойливости, он понемногу стал входить в роль опьяневшего человека: перевирал слова или вдруг умолкал, уставившись бессмысленным взглядом в одну точку. В один из таких моментов, пока Мара и Ольга горячо обсуждали с Прамниekom композицию его новой картины, а Эдит слушала длинный рассказ Зандарта о том, как ему достался Регент, Вилде положил руку на плечо Жубуру и, осторожно кашлянув, начал:

— Мне все-таки кажутся несколько преждевременными подобные заявления коммунистов. В Латвии они едва ли добьются чего-нибудь раньше, чем через пятьдесят лет. Как это ни странно, но большая часть рабочих стоит за Ульманиса. Да, представьте. Конечно, коммунисты делают отчаянные попытки, чтобы лишить его этого ореола, этой популярности, но они избрали неверный путь... Вы со мной согласны?

— Кто их разберет... — равнодушно ответил Жубур. — Надо бы поговорить с кем-нибудь из коммунистов... Не хватало нам еще думать за них... — Он оглянулся на дверь. — Голова кружится... Прилечь немного.

Вилде взял его под руку и вывел из столовой. Вслед за ними встали из-за стола и остальные. Мужчины направились в кабинет пить кофе, Ольга и Эдит сели в гостиной. Мара, выйдя за чем-то в переднюю, столкнулась там с мужем. Она взглянула на него с гневным упреком.

— Феликс, я весь вечер не могу понять твоего поведения. Зачем ты напоил Жубура? Чего ты над ним издеваешься?

Феликс пожал плечами. В его светлых, прозрачных глазах появилось выражение неподдельного изумления.

— Мара, что ты говоришь? Кто над ним издевается? Жубур — милейший парень, я очень доволен его приходом. Ты просто утомлена, дорогая, или раскапризничалась. Ты бы приняла чего-нибудь... — И, не слушая ее, он ушел в кабинет.

Жубур лежал на диване. Вилде подсел к нему.

— Ну, что, легче стало?

Зандарт объявил, что с дамами веселее, и вышел в гостиную. Прамниек, задрав ноги на

спинку кресла, набивал трубку. Жубур вдруг ухватил Вилде за пуговицу пиджака и подмигнул ему.

— Про эти листовки... Ульманису следовало бы поинтересоваться... Мне давеча вдруг пришло в голову... про гараж. — Он широко зевнул, закрыл глаза и повалился на подушку.

— Что? Какой гараж? — нагнувшись к нему, спросил Вилде. Он даже нетерпеливо встряхнул Жубура за плечо.

— Ну, в гараже... — опять забормотал тот, открывая глаза. — По ночам печатают... Там, на Кленовой улице, не то в седьмом, не то в девятом номере... Двор большой. Каждую ночь печатают, чуть стихнет... Утром развозят на тележках большие тюки... А я и не догадывался... Ну печатают и печатают. — Он опять зевнул.

— Интересно. — Вилде опасливо оглянулся на Прамниек, но тот внимательно перелистывал какой-то альбом. — Но как вы-то заметили?

— Очень просто! — запальчиво выкрикнул Жубур и, точно выдохшись от такого усилия, устало зашептал: — У меня там дела с абонентами. Никогда сразу не заплатят, ходишь-ходишь, ловишь-ловишь... И утром и вечером... И всегда печатают... Откуда только они столько бумаги берут?.. Прамниек, это ты написал? — вдруг закричал он художнику, показывая на большой портрет Мары, висевший на стене. — Очень похожа.

— Да, это моя работа... — недоумевающе ответил Прамниек.

— Че-орт, как это у тебя получается... — не успокаивался Жубур. — Трудно, наверно?

— Нельзя сказать, что легко.

— И сколько ты за него получил? Ты же не даром работал? Даром никто не работает. Так ведь? — с какой-то озлобленной наглостью спросил он Вилде.

— Это подарок Ольги к годовщине нашей свадьбы, — любезно объяснил тот. — Портрет действительно удачный.

— Прамниек! — уже не слушая его, опять закричал Жубур. — А когда ты напишешь мой портрет?

— Да я тебе давно предлагал. Приходи позировать.

— Сегодня не могу, — коснеющим языком забормотал Жубур. — Не высижу... Что это у тебя там, Прамниек? Коньяк? Почему не нальешь мне? Я хочу коньячку... Я еще не пил... А квартира уютная. Приятная квартира, приятный хозяин... — Потом он снова повалился на диван и заснул.

Гости просидели еще целый час. Пили кофе и коньяк, слушали по радио музыку. Наконец, Прамниек подошел к Жубуру и стал его расталкивать.

— Едем домой, пора.

— Разве я не дома? — протирая глаза, спросил Жубур.

— Вставай, вставай, Жубур. Повеселились, хватит.

Кое-как добрался он до вешалки, кое-как напялил на себя пальто и стал прощаться с хозяевами.

— Надеюсь, что это не в последний раз, — сказал Вилде, провожавший гостей до подъезда.

— Заходите без приглашений.

— Спасибо, господин Вилде. Мне сначала надо научиться пить. В гостях спать не полагается.

— Какие пустяки! Это со всяким бывает, — успокаивал его хозяин. — В своей компании можно...

Прамниек подозвал извозчика.

— Мы и тебя подвезем, Карл, — тронул он за плечо Жубура.

Когда лошадь пошла рысью, Жубур, сидевший напротив Прамниека, нагнулся к нему:

— Все в порядке, друг, завтра он сам пожелает.

— Куда пожелает?

— Ну, туда... где печатают, — усмехнулся Жубур.

Поняв, о чем идет речь, Прамниек захохотал на всю улицу. Потом задумался и покачал головой.

— Значит, это правда. Какой подлец! Раньше я только строил предположения, а сегодня все стало ясно. Мерзавец!

— О чем это вы там? — сонным голосом спросила Ольга. Она все время дремала, зябко прижавшись к мужу.

— Мы говорим об охоте, — ответил Прамниек. — Карл, оказывается, заядлый охотник. На днях будет участвовать в облаве на серого волка.

Под полозьями визжал снег. Холодно дробился лунный свет в оконных стеклах неосвещенных домов. Ночь была тихая, морозная. 8

Под утро Юрис Рубенис проснулся. Ему показалось, что кто-то скребется в дверь. Он приподнял голову с подушки и стал прислушиваться. Кровать его стояла в углу кухни, за печкой. Голубоватое от луны, затканное искристыми морозными узорами окно освещало каждый предмет в комнате, по-праздничному блестел чисто вымытый с вечера пол. Снова звякнула дверная скоба. Теперь уже нельзя было сомневаться — кто-то стоял в сенях.

Сон как рукой сняло. Одеваясь, Юрис несколько раз окинул тревожным взглядом кухню, накрыл кровать стареньким домотканым одеялом и пошел открывать дверь. Спрашивать, кто пришел, не имело смысла: если это был кто-нибудь из своих, надо было впустить его тихо, не тревожа соседей. А если заявились молодчики с улицы Альберта[24], они все равно найдут способ войти.

Стараясь не шуметь, Юрис повернул ключ в замке и толкнул дверь. Он сразу узнал вошедшего. Это был Жубур.

— Заходи, чего же стоять на пороге, — сказал Юрис.

Пропустив Жубура, он запер дверь. Потом подошел к кровати, сел и сделал знак рукой Жубуру, чтобы тот сел рядом.

Говорили они все время шепотом.

— Ну, рассказывай, в чем дело, чего тебя принесло в такое время? — спросил Юрис.

Жубура ничуть не удивил этот недружелюбный тон. За последнее время так встречали его все товарищи. Но сейчас он уже не испытывал той острой боли, которая раньше не давала ему покоя.

— Мне нужна твоя помощь в одном важном деле, — сказал он. — Кроме тебя, никто здесь не поможет. Дело это имеет касательство к аресту Силениека.

Юрис сделал какое-то движение, будто хотел отодвинуться от него подальше.

— Товарищ Рубенис, — Жубур поднял руку, чтобы заставить себя слушать. — Товарищ Рубенис, я знаю, что многие товарищи мне не доверяют. Я знаю, что они обо мне думают. Это неправда...

— Я ничего не знаю, — замотал головой Рубенис, — но когда случаются подобные вещи, люди хотят понять их. Не бараны же мы...

— Правильно, — подтвердил Жубур, — иначе и быть не может. Но скажи мне, тебе чего больше хочется: чтобы я оказался мерзавцем или честным человеком?

— Сам знаешь, каково это... Небольшое это счастье — терять товарища, да еще в такое время.

— Я не обижаюсь ни на кого из вас, Рубенис. Ваши подозрения не могли направиться по иному пути. А теперь слушай: я нашел шпика, который выследил Силениека, а ты поможешь мне его разоблачить. Вот как было дело...

Юрис недоверчиво покосился на Жубура и пожал плечами.

— Рассказывай. Только имей в виду, что никакие сказки тебе не помогут... Ни черта из этого не получится. Дураков тут нет.

Жубур рассказал все. Рассказал о своих предположениях и догадках, о нечаянной встрече с Феликсом Вилде и встрече с Марой. Он ничего не скрыл. Когда он дошел до разговора с Прамниekom, Юрис одобрительно кивнул головой.

— Прамниека я знаю. Он нам краски давал. Андрей говорил, что парень он хороший, хоть и не совсем еще наш.

Затем Жубур рассказал об ужине у Вилде, о листовке, о том, как его пытались напоить, и о вымышленной истории про гараж. Здесь Юрис не выдержал — хлопнул его по плечу от восхищения.

— Нет, это ты ловко сообразил. Хорошо, что сегодня воскресенье — посмотрю, значит, бесплатный спектакль.

— Думаю, что ты разрешишь остаться и мне. Я ведь почти прямо от Вилде прискакал, боялся, как бы они рано не нагрянули, хотел предупредить.

— А чего же, у окна для всех место найдется.

— Вилде дожидаться не мог, когда мы уйдем. По глазам видно было, как ему не терпелось приняться за дело.

— Прожженный, видать, мерзавец, — сказал Юрис. — Знаешь, что, Жубур? Не мешало бы нам позвать еще кого-нибудь из товарищей, — пусть поглядят на этот балаган. Чем больше свидетелей, тем и для тебя лучше.

— Что верно, то верно, Юрис. Вот только не знаю, как мне быть. Скоро утро, а я при свете не рискну показаться возле вашего дома. Так можно все дело испортить.

— Тебе и не надо выходить — сиди здесь. Я тоже сегодня никуда не пойду. Мы лучше вот что сделаем. Мой старик отправится в Чиекуркалн и скажет Спаре, отцу Айи. Как ты? Ничего, если его позовем?

— Наоборот, его мне больше всех хочется видеть.

— Вот и ладно. Я разбужу старика, чтобы он с первым трамваем выехал. Кто его знает, когда они откроют балаган.

Юрис вошел в комнату, где спали родители. Оттуда доносился сначала разговор вполголоса, потом топот босых ног, — старый Рубенис начал одеваться.

...В кухне на плите жарилась салака. За дверью, в комнате сидели четверо мужчин и прислушивались к возне мамы Рубенис. Только теперь, при дневном свете, Жубур разглядел опрятную бедность рабочего жилища. Старый, грубой работы платяной шкаф, выкрашенный в какой-то буровато-коричневый цвет, комод с потускневшим зеркальцем, в которое нельзя было рассмотреть собственную физиономию, кровать, полированный стол, несколько стульев с плетеными сиденьями. В углу стоял сундучок, какие обычно заводят матросы: старый Рубенис в молодые годы служил во флоте. С печной отдушины свисали связки табачных листьев. Рядом, на лежанке, была и дощечка для резки табака. Тюлевые гардины, прохудившиеся от многократных стирок, полосатый, протертый до дыр половичок, несколько цветочных горшков, фотографии в деревянных рамочках, этажерка с книгами — вот и все богатство Рубенисов, если не считать большого желтого кота, который неотступно ходил за хозяйкой и мяукал, почуяв запах салаки.

Подобные квартирki в одну комнату с кухонькой, подобную бедность, а на первый взгляд и покорность их обитателей, Жубур наблюдал не впервые. Так было везде, где жили рабочие. Он и сам рос в такой же обстановке, не лучше была и его теперешняя комната.

Юрис сидел у окна, не спуская глаз с улицы. Отсюда был виден гараж, двор и часть тротуара. Двор был пуст. В дальнем углу, возле поленницы дров, стояло несколько бочек из-под бензина.

Старый Рубенис рассказывал о своем житье-бытье:

— Прошлым летом в самый штиль проработал я одну неделю у рыбаков береговым. Салака тогда была нипочем. Засолили мы три пуры[25], это выходит — целую бочку. А сейчас — глядь, половины уж как не бывало. Осенью кадку грибов насобирали, ну, жена в Катлаканской волости на копке картофеля была — тоже несколько пур заработала. Вот так только и перебиваемся, а иначе прямо подышать приходится рабочему человеку. А что в порту получаешь — гроши.

— Со всех, со всех сторон жмут, — вторил ему Спаре. — Поленца не дадут с плотов взять. Пусть лучше на берегу гниют, пока в море не унесет в половодье, лишь бы рабочим не досталось. А как им зиму перемочься, это господ хозяев не касается. Вот придет весна — иди на реку, работай до самых холодов, пока мясо с костей не начнет слезать от воды. Заболеешь — пожалуйста, больничная касса выпишет тебе лекарство от живота. А насчет пособия лучше не заговаривай. «У вас, говорят, и сын есть и дочь, обязаны помогать». А какая от них помощь, когда оба в тюрьме сидят? «Пусть, говорят, против власти не встают, пусть ведут себя, как порядочные граждане, тогда и в тюрьмы их не будут сажать». Вот как оно у нас ведется.

— Ну, разве у нас можно правду говорить? — подхватил старый Рубенис. — Наши правители

не могут ее слышать, у них от нее барабанные перепонки полопаются, уши у них нежные. А придется им услышать, — он задумчиво покачал головой. — Придется... Тогда уж некогда будет разбираться, какие у кого уши. На, набивай, Спаре.

Кисет из свиного пузыря перешел к Спаре, и тот своими заскорузлыми пальцами стал медленно набивать трубку. В комнате за клубились синие облака дыма.

— С нашим братом все эти господа хозяева и серые бароны не стесняются, — начал после глубокой затяжки старый Рубенис. — Но русских — боятся, ух, боятся! У нас в порту один стивидор[26]... Стоит ему только услышать про русских, как у него все лицо перекашивается, а глаза вот-вот на лоб вылезут — того и гляди удар хватит. А заговорит когда — господи боже, чего только от него не услышишь! Весь слюной изойдет, что твоя бешеная собака. Ругаться — ругается, а сам, однако, трясется.

— Знает кошка, чье мясо съела, — усмехнулся Юрис. — Больше всего они бесятся потому, что никак им не удастся навязать народу свою ненависть к русским. Как они ни клянут их, а наш народ все равно уважает русских, удивляется их успехам и желает советской власти одного добра.

— Собака лает, ветер носит, — сказал Мартын Спаре. — У нас самые темные люди и те говорят, что, пока Латвия не станет для России доброй соседкой, порядочной жизни не будет. Плохо ли было лет десять тому назад, когда в порту было тесно от советских пароходов? Хватало и хлеба и работы.

— Плохо ли было! — повторил Рубенис.

— Ничего, дайте срок, — сказал Жубур, — и спать в наших портах будут стоять советские суда и всем фабрикам хватит работы.

— Понятно. Надо только сначала дать по шеям всем буржуям и их прихлебателям, — продолжил его мысль Спаре. — Иначе ничего у нас не получится.

— И прогоним, — сказал Юрис, сказал так уверенно, как будто это зависело единственно от его желаний. — Прогоним их в тартарары и заведем в Латвии свой собственный порядок, какой требуется рабочему народу. Тогда русский и латыш подадут друг другу руки, как братья. Ну, а если мы с русским народом будем вместе держаться, нам никакие завистники, никакие живоглоты не будут страшны.

— Что и говорить! — На изборожденном морщинами лице Спаре заиграла улыбка, из-под густых бровей задорно блеснули глаза. — С двумя сотнями миллионов придется по-другому разговаривать. И дай бог, чтобы поскорее наступили эти времена. Если до дела дойдет, я сам в стороне не останусь. Я тоже приложу руку, чтобы скорее покончить с этой лавочкой.

— А ты как думаешь — старик Рубенис спрячется в кусты и будет глазами хлопать? — вскинулся Рубенис. — Будет ждать, когда ему на тарелочке новую жизнь поднесут? Черта с два! Тут придется всему народу взяться!

Рубениете поставила на стол сковороду салаки, полкаравая черного хлеба, печенный в золе картофель.

— Пожалуйста завтракать. Уж не обессудьте, — чем богаты, тем и рады. Присаживайтесь, молодой человек, — она ласково взглянула на Жубура.

Каждый раз, когда Жубур слышал от рабочих обращенные к нему слова «молодой человек», «господин», — ему становилось не по себе, он чувствовал себя каким-то отщепенцем. Своего брата рабочего никто так не называл. Он часто задавал себе вопрос: в чем причина этого

отчуждения? Ведь не в несчастном галстуке и белом воротничке: рабочие и сами надевали их по праздничным дням или по случаю какого-нибудь семейного торжества. Может быть, слишком по-книжному, по-чуждому звучала для них его речь? Но он вообще не старался щеголять изысканностью выражений, не любил употреблять без нужды иностранные слова. И лишь с недавней поры, когда Жубур стал глубже вникать в жизнь, он начал понимать, как воздвигалась эта невидимая, но ощутимая преграда между интеллигентами и рабочими. В наставлениях его отца, так и не дождавшегося лучшей доли, выражалась мечта «вывести в люди» сына, увидеть его в белом воротничке и с портфелем. Но это не была мечта всего народа. Народ хотел не благополучия отдельных сынков, которые, став интеллигентами, часто забывали, кому они обязаны этим благополучием, и переходили в стан врага, — нет, он хотел завоевать счастливое будущее для всех своих сыновей и дочерей...

Скудный завтрак подходил уже к концу, когда Юрис, который не оставлял своего места у окна, махнул рукой Жубуру.

— Иди скорей, взгляни — по-моему, там что-то начинается.

Не спеша, будто прогуливаясь, направлялся к гаражу весьма приличного вида господин в сером полушубке с поднятым меховым воротником, поверх которого виднелись лишь роговые очки. Почти при каждом шаге, но осторожно, еле поворачивая голову, он бросал по сторонам взгляды. Возле гаража господин остановился, вынул портсигар и стал закуривать. В этот момент он повернулся лицом к окну, и Жубур разглядел его.

— Эге, да это мой старинный знакомый. Ведь это тот самый хлюст, с которым я схватился прошлым летом на дюнах. Ну, теперь все ясно.

И точно: сам Кристап Понте во всем своем великолепии прогуливался по Кленовой улице. Что-то слишком долго возился он со спичками, — никак они у него не загорались. Но он не проявил признаков нервозности, — спешить ему, видимо, было некуда. Наконец, Понте удался. Через четверть часа на тротуаре появилась новая фигура. Этот, точно так же, как и Понте, остановился у ворот гаража и точно так же несколько минут безуспешно старался зажечь спичку. Как будто какая-то неведомая сила заставляла их закуривать на этом именно месте. Не так ветрено, что ли, было здесь, или была на то иная причина?

Жубур узнал и этого человека. Это был другой его противник — толстячок Абол.

— Все разыгрывается как по нотам, — посмеивался Юрис. — Сейчас они разнохивают, изучают местность, чтобы знать, как действовать в темноте. А запевалы пока не видно?

— Нет, не видно. Может быть, он вообще не покажется. Для нас самое главное не в этом.

— Верно, конечно, — согласился Юрис. — Главное, что они начали действовать по твоей указке.

Но запевала не утерпел — показался. Перерядившись в полушубок, шапку и высокие охотничьи сапоги, Феликс Вилде совершал утреннюю прогулку в отдаленном от дома районе.

— Он это, он... — пробормотал Жубур. — Хорошенько запомните эту рожу. Полезно знать на будущее.

Мартын Спаре и Рубенис с серьезными и даже торжественными лицами наблюдали за незнакомым господином; осанистой походкой, неторопливо прошелся он по тротуару, но не остановился, — только невзначай будто взглянул на ворота гаража и сбил перчаткой снег с полы полушубка.

— Вот те раз, да я его, оказывается, тоже знаю! — удивленно протянул Юрис. — В

позапрошлом году шестого ноября он меня обыскивал в Экспортной гавани у холодильников. Вздумали они сделать облаву, решили, что перед годовщиной Октябрьской революция наши ребята получают листовки. Шпики оцепили весь район, обыскивали каждого. Вот этот самый господин собственноручно выворотил мои карманы. А там у меня один кусок хлеба был, от обеда остался, — больше он ничего не нашел. Взял, развернул бумагу, осмотрел со всех сторон. Я ему говорю: «Можете взять, я уже пообедал». Вот он разозлился тогда, начал орать, чтобы я попридержал язык, хлеб на землю бросил. Я его и потом часто видел в гавани. Когда приходит какой-нибудь пароход Юргенсона, он уж тут как тут, прямым ходом — к капитану.

— Ничего удивительного: он служит юрисконсульту у Юргенсона, — объяснил Жубур.

— Любопытное насекомое, — покачал головой Юрис, — надо будет знакомых матросов предупредить, чтобы держались настороже. Раз он так любит совать нос куда не следует, от него можно ждать всякой пакости.

Вся эта сцена послужила прологом. Разведкой. Главное действие разыгралось в ночь на понедельник. Рубениете давно легла спать, и мужчины, чтобы не тревожить ее, разговаривали вполголоса. Старики примостились на теплой лежанке и в темноте попыхивали трубочками — благо, далеко от окна, снаружи никто не увидит тлеющего уголька.

Первым заметил движение на улице Юрис. Он тихо подозвал остальных, — начинался спектакль, которого с нетерпением прождали целый день.

Подъехал грузовик. С него соскочили шесть или семь человек и окружили гараж. Среди них легко можно было различить стройную фигуру Вилде; видимо, он и был главным распорядителем. Убедившись, что ворота заперты, замок взломали с помощью отмычек, и вся орава ввалилась во двор. Некоторое время ушло и на возню с дверями гаража. Наконец, открыли и их. Грузовик въехал во двор.

— Жубур, нет, ты только погляди, как они стараются! — давясь от хохота, повторял Юрис. — Ну, теперь до утра будут обнюхивать все углы, весь лом перетряхнут, — там же, кроме ржавого железа, ничего нет.

— Пусть потрудятся, постараются, — поучительно, без тени усмешки, заметил старый Рубенис. — На худой конец хоть мышиный помет найдут. Не с пустыми же руками людям уходить, надо что-то пришить к делу. С них ведь тоже вещественных доказательств требуют.

Все рассмеялись. Долго еще, почти целый час сновали темные фигуры, то исчезая в тени, то появляясь на освещенной луной половине двора. Наконец, все взобрались на грузовик и он выехал на улицу. Появившийся откуда-то сторож запер ворота. Но на улице почти всю ночь можно было наблюдать чью-то тень. Иногда она почти сливалась со стенами домишек. Снова двигалась взад и вперед. Исчезла она лишь под утро.

Когда обыск кончился, Юрис поднялся со стула и молча крепко стиснул руку Жубура. Потом — Мартын Спаре и старый Рубенис. Эти сильные пожатия грубых, потрескавшихся рабочих рук сказали ему больше всяких слов. Теперь снова откроют перед ним свои двери эти простые, сильные духом люди, во всякое время он будет для них желанным гостем. Он снова станет в тесном строю товарищей и пойдет с ними в бой, до конца пройдет с ними по трудному, прекрасному пути борьбы. Вместе на жизнь и на смерть.

— Надо немедля оповестить организацию насчет Вилде, — сказал Юрис, — кончились для него золотые денечки.

В камине потрескивали березовые дрова. Никур достал платок, высморкался и взял карту. Оказался пиковый валет. Метал банк хозяин дома, министр финансов Лусис.

— Ну, теперь держись, — пошутил Каулен, пряча в горсть трефовую восьмерку. — У Лусиса рука цепкая, он со своими латами легко не расстанется.

— Кому же своего не жалко, — философски заметил Пауга.

Лусис благодушно улыбался.

— Разве я кого из вас обижал? Тебя, что ли, Альфред? — он обернулся к Никуру. — Такого обидишь! Ты с одних только домов, наверно, больше получаешь, чем от министерства, включая ассигнования на представительство. А потревожили тебя хоть раз мои инспекторы? Хоть раз сунули носы в твои бухгалтерские книги?

— На это не могу пожаловаться, [Давид. — От смеха глаза Никура почти превратились в щелочки. — Твои инспекторы вполне приличный народ и верят мне на слово. И потом — государство едва ли разбогатеет от наших домов. Ну, что значат десять тысяч латов в таком богатом хозяйстве? Так — ни то ни се. Дай две карты, Давид. По банку.

В банке было пятьдесят латов.

Лусис подбросил Никуру две карты. Никур посмотрел на них равнодушным, ничего не выражающим взглядом, который вырабатывается с годами у опытных картежников, и тут же сделал произвольное движение, точно собрался бросить на стол свои карты, но в последний момент передумал и сказал:

— Мне довольно, бери себе.

На руках у Никура было пятнадцать очков. Но Лусис думал, что он набрал не меньше двадцати, раз ему показалось, что он набрал очко.

У Лусиса на руках был король. Он открыл шестерку и стал считать про себя: десять... Следующей картой был валет, потом опять шестерка. Восемнадцать. При иных обстоятельствах достаточно было бы и этого, по если у Никура было больше, стоило рискнуть. Лусис взял еще карту. Дама бубен.

— Очко! — выкрикнул он и показал карту.

— Тебе сегодня везет, Давид. — Никур сказал это с чуть заметной гримасой.

— Заграничными картами легко играется, — ответил Лусис. — На сколько, Пауга?

— Давай на все.

Лусис обыграл и Паугу. В банке было уже двести латов.

— Ну, Каулен? Сколько ставишь?

— По банку. Зачем стесняться, если другие не стесняются?

— Помни, что за тобой следит министерство финансов, — пошутил Пауга, — даст знать контролю, что Каулен сорит деньгами, и глядь — внеочередная ревизия. Ха-ха!..

— Приказано подождать, — хитро улыбнулся Каулен. — Черта с два, много они меня ревизовали. Когда строили гостиницу в Кемери, нашлась была одна такая умная голова, — решила докопаться, откуда берутся у директоров департаментов и у некоторых начальников отделений собственные дома. Начать — начал, а кончить не дали. С тех пор и носа никто не сует.

— И доходный же объектец была эта гостиница, — вздохнул Лусис, — следовало бы еще года два с ней протянуть. Глядишь, в Риге одним-двумя домиками стало бы больше. Я свою новую дачу успел только подвести под крышу. Пришлось в другом месте, подзанять, пока достроил.

Каулен проиграл двести латов.

— В банке четыреста латов, — объявил Лусис. — На сколько играете, превосходительство?

— На все, превосходительство, — ответил Никур. — Пора бы знать, кажется, привычки Никура.

— Прошу прощения, господин министр, — с комическим поклоном поправился Лусис.

Он обыграл Никура, потом Паугу. В банке было тысяча шестьсот латов. Каулен задумчиво потер лысину.

— Жалко оставлять этому сундуку с казной, но карты — хуже не бывает. Давай на половину.

Каулен набрал очко и разозлился на свою нерешительность.

— Напрасно не пошел по банку. Был бы с выигрышем.

— Смелый там найдет, где робкий потеряет, — нравоучительно заметил Лусис. — Вот карты, превосходительство, твоя очередь.

Никур взял колоду и стал медленно, тщательно тасовать.

Прежде чем возобновить игру, все выпили по рюмке коньяку.

— Славный напиток этот хенеси, — сказал Пауга. — Французы в таких вещах толк знают. Ты пошлину-то по крайней мере заплатил, господин министр?

— Министру финансов платить не к лицу, — веско ответил Лусис. — Мне доставили из отдела контрабанды.

Все они знали друг друга с парламентских времен^[27] или еще раньше. Вместе они состряпали переворот пятнадцатого мая, вместе вершили крупные и мелкие дела и стесняться в своем кругу не привыкли. Здесь, не опасаясь ушей недоброжелателей, они могли распоясаться, обо всем говорить в самых откровенных выражениях. Да и чего бы им было стыдиться, когда они все знали друг о друге — и у кого какие дома и дачи, а главное, каким способом они приобретены; сколько у кого акций таких-то и таких-то компаний; кто где получил взятку и за какие именно услуги. Нет, лицемерить в таком тесном кругу решительно не имело смысла. Они со вкусом похихатывали, рассказывая о каких-нибудь грязных махинациях, наслаждаясь сознанием собственной безнаказанности, собственной власти.

Язык их был так же грубо циничен, как и их дела. Но по части цинизма никто не мог перешибить Лусиса.

— Старик поручил мне придумать несколько новых налогов. Надо сказать, придумывать что-нибудь новое с каждым разом становится все труднее. Мой репертуар почти иссяк. Как-то

я намекнул, что можно бы, не нанося большого ущерба, обложить немного и деревенских кула... тьфу, черт... серых баронов. Они ведь у нас не так уж переобременены по этой части.

— Вот сумасшедший! — вырвалось у Пауги.

— То же самое и старик сказал. Знаете ведь, что с ним делается, когда рассердится. «Подрубать сук, на котором мы свили гнездо!.. Расшатывать основы государства!.. Вы можете взвинчивать цены, можете снижать заработную плату рабочим, но моих земледельцев оставьте в покое!» Так распушил, что я не знал, куда глаза девать.

— И вождь совершенно прав, — холодно, не поддаваясь на его шуточный тон, сказал Никур. — Если бы не крестьяне и не айзсарги, мы бы и месяца не продержались. Рабочие? Они только и глядят, как бы взять нас за горло. Интеллигенция способна лишь хныкать и шмыгать носом. Армия? Но на что годятся офицеры без солдат? Мы-то с вами знаем, что среди солдат много сыновей рабочих. Прижимать рабочих мы пока еще можем, — все равно они нас ненавидят и будут ненавидеть. Ну, а больше там или меньше — значения не имеет. Пусть их и отдуваются. Сейчас любой сапожник или чернорабочий с лесопилки норовит надеть галстук и шляпу. А почему бы им не походить в резиновых тапочках фирмы «Варонис»? [28] Нет, Лусис, из них еще можно кое-что выкачать...

По неписанному закону, когда говорил Никур, остальные молчали. Он не был таким ворчуним и придирой, как «вождь», но его мнения в точности совпадали с мнением Ульманиса. А Лусис, конечно, допустил оплошность, позволив себе пошутить насчет президента. «Вождь» не переносил даже самых невинных шуток.

— Вождь был

вполне прав, — пошел на попятный Лусис. — Я и сам понять не могу, как мне взбрела в голову такая дурацкая идея. Потом-то мне это стало

вполне ясно, и я уже поговорил с его высокопревосходительством. Президент остался

вполне удовлетворен моим последним проектом. Мы немного урежем заработную плату и повысим цены на некоторые товары.

— Вот видишь, Давид, — сказал Никур, и по лицу его снова разлилась благодушная улыбка. — Ну-ка, угости нас шампанским.

Теперь Лусис убедился, что Никур

вполне понял выраженное им в косвенной форме извинение за допущенную бестактность.

— Шампанским? Я только что подумал об этом, превосходительство... — Он нажал кнопку: в дверях мгновенно появился лакей — бывший пароходный стюард. Бутылку шампанского в ведерке со льдом и бокалы поставили на маленький столик.

В промежуток между двумя партиями в карты министры завели разговор об охоте. Самыми заядлыми охотниками были Никур и Лусис. Никур, тот еженедельно проводил два дня то в одном, то в другом лесничестве, не считая официальных охот, после которых газеты подробно оповещали, сколько козуль и зайцев подстрелил каждый из «превосходительств». Но больше всего он любил выезжать на охоту инкогнито, в обществе какой-нибудь красивой дамы. Хотя жена не донимала его ревностью, но положение министра обязывало к соблюдению известных предосторожностей. А кто еще в Латвии так любил распространяться на тему о семейных добродетелях, как не Альфред Никур?

От охотничьих рассказов (они возбуждают аппетит) беседа перекинулась на более игривые сюжеты.

— Помните закрытый сеанс в зале министерства? — с мечтательной улыбкой вспомнил Каулен. — Французский короткометражный фильм... Чего-чего там не было! А наши дамы-то — после первых же кадров одна за другой выскочили из зала.

— Моя — ничего, досмотрела до конца, — не без самодовольства сказал Пауга.

— Она — дело другое: парижанка, — объяснил Никур. — Там к таким вещам больше привыкли. А для латышек это слишком крепко.

— Госпожа Пурвинь, жена директора департамента, тоже досмотрела до конца, — сказал Лусис. — Храбрая дама. Да здравствуют храбрые дамы! Пора бы тебе, Каулен, показать нам еще что-нибудь в этом роде.

— Надо будет сказать киношникам, чтобы достали.

Из кабинета донесся долгий, настойчивый телефонный звонок. Министр финансов подошел к аппарату.

— Ваше высокопревосходительство? Да, слушает Лусис. Да? Понятно, ваше высокопревосходительство. Да, здесь. Прибудем немедленно, ваше высокопревосходительство.

Министры замолчали, прислушиваясь к разговору.

Когда Лусис вернулся, все выжидающе посмотрели на него.

— Никур, президент вызывает нас в замок. Немедленно. Срочное заседание.

— Едем, Давид. Партию закончим завтра вечером. 2

«Высокопревосходительство» принял их в большом кабинете. На первый взгляд комната казалась пустынной и мрачноватой. Большой письменный стол красного дерева, столик с телефонами, расставленные вдоль стен стулья, изображение государственного герба. По обе стороны двери стояли поднесенные в дар президенту модель замка в метр высотой и большой серебряный ларец. Каждая вещь здесь была украшена эмблемой «высокопревосходительства», которая сильно смахивала на герб царствующего дома. Для министров не было тайной, что в одном из залов замка стояло настоящее тронное кресло, а в портретах древних вождей латышских племен обнаруживалось поразительное сходство с «высокопревосходительством»; даже длинные волосы и густые бороды не могли изменить упитанную физиономию земгальского кулака. Приближенные отдавали себе отчет в том, что «высокопревосходительство» подвержен мании величия, и всячески ей потакали. В последнее время его стали величать в официальных обращениях «владельческим и благородным вождем». В глубине души диктатор лелеял мечту о монархии. Стараясь доказать латышскому народу, что в прошлом ему не чужды были монархистские принципы, продажные историки по заказу «высокопревосходительства» тревожили прах веков, дабы извлечь на свет божий легендарных королей Намеев, Ламекинов и Таливалдов. Постепенно сколачивался фундамент для коронования «высокопревосходительства» в латвийские монархи. У него уже был свой герб — ястреб в венке из колосьев, — который с некоторых пор красовался на трехзвездной башне Рижского замка. Правоведы потихоньку обдумывали проект конституционного обоснования этого акта, а архиепископ изучал церемониал коронования. Прецедентов, слава богу, имелось достаточно. Взять хотя бы албанского Ахмед-Зогу[29]. Оставалось только выяснить у литовцев и эстонцев, не захотят ли и они вступить на этот путь. Если бы удалось договориться со Сметоной и Пятсом[30], новый монархический триумvirат получил бы большой вес в Восточной Европе. Романист Алкснис шестой год трудился в поте лица над изображением былой поры расцвета Латвийской колониальной империи — поры, которая могла бы возродиться, если выставить исторически

обоснованные претензии Латвии перед ныне существующими колониальными державами.

«Высокопревосходительство» далеко шагал в своих мечтах: завоевания Муссолини и Гитлера не давали ему покоя. В том же духе воспитывал он и своих министров. Однако будущей национальной аристократии требовалась собственность, и собственность немалая, так что «вождю» приходилось делать вид, что он не замечает слишком стремительных темпов ее обогащения. Доходные дома в Риге, большие имения, дачи, пакеты акций крупных предприятий — это были естественные вехи, отмечавшие узаконенный, общепринятый путь наживы. Взятки?.. Но в этом отношении каждый действовал по своему усмотрению. Недаром «высокопревосходительство» обладал неотъемлемым правом на негласный титул отца коррупции, и вряд ли кому из его окружения было под силу его оспаривать.

Когда собрались все приглашенные, адъютант доложил президенту. С верхнего этажа доносились гулкие, тяжелые шаги. Можно было подумать, что там прогуливался слон.

«Старик не в духе... — подумал Никур, прислушиваясь к этому топоту. — Бурное предстоит совещание».

Он постарался придать своему лицу выражение напряженного внимания, которое неизменно производило впечатление на «высокопревосходительство».

Первым вскочил на ноги Лусис и еще издали поклонился вошедшему. Остальные министры поднялись медленнее и стоя ждали приближения президента. Один лишь заместитель Ульманиса поднялся со стула в тот момент, когда «высокопревосходительство» проходил мимо.

— Добрый вечер, господа министры, добрый вечер, превосходительства! — скороговоркой ответил президент на их приветствия.

Его красное лицо и плотно сжатые губы предвещали грозу. Все переглянулись, точно задавая друг другу вопрос: «Кому из нас влетит первому?»

— Прошу садиться.

Все сели, кроме «высокопревосходительства». Заложив руки за спину, упершись взглядом в пол, большой, грузный человек бежал из одного угла в другой, как будто в поисках потерянной вещи. Раздраженное выражение не сходило с его гладко выбритого лица. Оно все больше наливалось краской, все плотнее сжимались губы. И все-таки он чем-то напоминал раскапризничавшегося, нелепо большого ребенка.

Он круто, с разбегу обернулся к министрам и, ни на кого не глядя, заговорил тонким, визгливым голосом. В уголках губ собиралась слюна, язык то и дело заплетался, — давала себя знать искусственная челюсть.

— Вы видите? Видите, господа, до чего мы дожили, к чему пришли! Красные командиры разгуливают по улицам Лиепай и Вентспилса. В Риге среди бела дня рабочие читают московские газеты. Вы себе представляете — они читают «Известия»! Вы понимаете, что дальше уж идти некуда! Подойдет Первое мая, и эти бунтовщики выйдут на улицы с красными знаменами. Будут петь песни девятьсот пятого года, говорить черт знает какие вещи! А мы, как христосики, — сидим и дожидаемся, когда нам свернут шею!

Он снова забегал по кабинету.

— Когда распределяли посты и портфели, тогда все были легки на подъем. А теперь хотите, чтобы я везде один успеваю? Я один должен за все отвечать? Вы что, так-таки ничего и не получили пятнадцатого мая? В карты играть да на охоту ездить вы у меня все горазды, а

когда пришло время помочь вождю спасти Латвию пятнадцатого мая, так сразу присмирели.

— Ваше высокопревосходительство... — умильно начал было Лусис, но договорить фразу ему не удалось.

— А вы чего, господин Лусис? — взвизгнул «высокопревосходительство». — Вы всегда правы, и вообще вы постоянно умничаете! Присматривали бы лучше за своей женой, чтобы не компрометировала правительство Латвии, а потом бы лезли говорить... И скажите, чтобы впредь она подобных номеров не выкидывала. Иначе двери замка закроются перед ней навсегда.

Никур переглянулся с заместителем, и оба улыбнулись. Случай, так рассердивший президента, произошел здесь же, в замке, на одном из приемов. Стараясь превзойти в изобретательности остальных жен министров и блеснуть перед дипломатами, мадам Лусис и ее приятельница мадам Паута явились на этот прием в сандалиях на босу ногу и в греческих туниках. Старик и тогда еще рвал и метал от ярости. Но случай этот не был забыт дипломатическим корпусом, о чем свидетельствовала сегодняшняя вспышка гнева «высокопревосходительства».

— Подобные недоразумения больше не повторятся, ваше высокопревосходительство... — попытался раскрыть рот Лусис, — у меня был серьезный разговор...

— Я тоже серьезно говорю! — завопил «высокопревосходительство», — я вам не клоун, мне сейчас не до шуток!

— Нет, а интересно в тот раз получилось! — засмеялся своим утробным смехом заместитель. — Все, как по команде, — кто за монокль, кто за пенсне. Папский нунций так и замер посреди зала — не мог глаз оторвать от наших прелестниц.

— Вот-вот. А потом раззвонят по всем газетам Европы! — крикнул «высокопревосходительство». — Вам, превосходительство, молчать бы да молчать сегодня. Это ведь по вашей милости в Лиепае и Вентспилсе находятся сейчас советские гарнизоны.

— То есть как это по моей? — вскакивая со стула, закричал заместитель. — Я не позволю позорить мое имя, я самого черта не побоюсь! Для Латвии я не меньше вашего потрудился! Чем такие вещи выслушивать, я предпочту подать в отставку.

— Подавайте, подавайте! — передразнил его «высокопревосходительство». — Вы уж раз двадцать грозились подать... И все равно вы, вы в этом виноваты. Это я заявляю вам совершенно официально.

— Мне? — выкрикнул заместитель, сжимая кулаки и делая шаг в сторону «высокопревосходительства». — Не испугаете. Не из пугливых. Вы немедленно возьмете свои слова обратно, иначе я не ручаюсь, что не пущу в ход кулаки.

— Ну что же, попробуйте! — поддразнивал его «высокопревосходительство». — Забыли, наверно, чем это кончилось для вас прошлой осенью?

Осенью в этом же кабинете между «высокопревосходительством» и его заместителем произошла самая настоящая потасовка. Но даже министры упоминали о ней шепотом, потому что официальная версия давала совсем иное объяснение синякам, украшавшим в течение некоторого времени физиономию «высокопревосходительства» и его заместителя.

Никур поспешил выступить в роли миротворца.

— Ваше высокопревосходительство, мне кажется, что переживаемый нами тяжелый момент требует от нас единодушия. Мы так дружно основали Латвию, так дружно подготовили

пятнадцатое мая...

— А теперь так же дружно спускаем ее в прорубь! — отрезал президент. — Ну, вы посмотрите на него, — он ткнул пальцем в своего заместителя. — Генерал называется. Не знает, куда ордена вешать. А сам больше двух лет как сунул под сукно план вооружения армии и забыл про него. Я понимаю, можно забыть в гостях зонтик, но как можно забыть план вооружения армии! Если бы министр финансов не доложил мне о неиспользованных кредитах, план пролежал бы там до сих пор. Это что-то ужасное! Мы могли быть готовы к войне еще осенью, могли оказать помощь финнам, а теперь что делать? Вы не министр, а баранья голова, вот вы кто!

Заместитель уселся на свое место.

— Разве я один должен этим ведать? Тогда здесь все бараньи головы.

Совещание началось далеко не дружно. Следующим получил нагоняй министр внутренних дел.

— Безобразия! На каждом шагу листовки, прокламации! — бушевал президент. — Лозунги на всех заборах, даже стены полицейских участков исписаны! Вчера, пока ехал к себе на дачу в Саркандугаву, своими глазами видел на заборах: «Пора уняться, палачи!», «Хватит сосать народную кровь!», «Долой Ульманиса!»... Вы что думаете, большое удовольствие читать эти мерзости? Потом всю ночь не мог заснуть. Фридрихсон^[31] ничего не видит. По городу коммунисты разгуливают, а они забились в свою нору, как барсуки, — и хоть бы что. Нет, слишком мирно живется на улице Альберта. Так мы далеко не уедем. Так нам скоро всем будет крышка.

Очередь дошла до министра иностранных дел.

— При встрече с Гитлером у нас был совсем другой уговор. Он начнет, а мы явимся на толоку. Почему Гитлер так долго прохлаждается? Чего он ждет? У нас нет таких возможностей, чтобы начать первыми. Дай бог справиться со здешними советскими гарнизонами. Вам, господин Мунтер, надо опять съездить в Берлин, поторопить их. Хватит им мудрить, мы больше ждать не можем. Народ с каждым днем становится все беспокойнее и наглее. В воздухе пахнет грозой. Пока Гитлер прособирается, народ может смахнуть нас с лица земли вместе со всей Латвией пятнадцатого мая. Энергичнее, энергичнее, господин Мунтер! Мы ждем от вас решительных действий.

Наконец, «высокопревосходительство» сел. Это означало, что он кончил. Теперь можно было говорить министрам. Один за другим успокаивали они президента. Министр внутренних дел предложил объявить в стране чрезвычайное положение. Запретить хождение по ночам. Строже контролировать поезда и дороги. Предоставить айзсаргам еще более широкие права. Охранному управлению следовало бы отпустить дополнительные средства на усиление агентуры.

Никур обещал мобилизовать аппарат пропаганды и активизировать деятельность Камеры труда. Надо расколоть рабочий класс; на интеллигенцию достаточно прикрикнуть построже — кончилось время шуток.

— Зато айзсарги — вот кто наш надежный оплот, и они должны занять у нас соответствующее положение. Пусть Лусис каким угодно путем изыскивает средства, но у айзсаргов и охранного управления денег должно быть вдосталь. Спокойствия ради к весне следует упрятать в тюрьмы весь подозрительный элемент.

Министр иностранных дел Мунтер обещал составить письмо Гитлеру и условиться с германским послом относительно секретной поездки в Берлин.

В заключение «высокопревосходительство» изрек:

— Надо подготовить народ к войне. Я на этой же неделе скажу по радио речь крестьянам: пусть держат наготове походные мешки и запасаются лишней парой белья. Весьма возможно, что наша решительность подействует и на Гитлера. Медленно, слишком медленно он собирается. Не нравится мне это... Покойной ночи, превосходительства.

Все вышли. «Высокопревосходительство» поднялся на второй этаж и приказал горничной подать молока и пирожных. Через несколько минут на столе появилось блюдо с яблочными и бисквитными пирожными, пышками с кремом и печеньями. Диктатор любил сладенькое.

Поев, он посидел немного возле специального аппарата, предназначенного для подслушивания телефонных разговоров между министрами, помощниками, адъютантами. Потом позвонил секретарю:

— Господин Рудум, я иду спать. Приходите.

Вздрогнуло в сладкой отрыжке могучее брюхо. Снаружи слышались трамвайные звонки, гудки и выхлопы автомобилей. Этот шум раздражал президента. 3

Швейцар министерства чуть рот не разинул от удивления: его превосходительство господин министр собственной персоной прибыл в такое позднее время. Часы показывали четверть одиннадцатого. Еще более неожиданным было его появление для чиновника особых поручений. Когда министр открыл дверь своего кабинета, тот мирно полеживал на диване и перелистывал старый номер журнала «Элеганс». За все годы существования министерства, за все годы пребывания Никура на посту министра это случилось впервые. Чаще двух-трех раз в неделю в министерстве его не видели, никогда он не засиживался позже трех — половины четвертого дня.

Дежурный вскочил с дивана и, не выпуская из рук раскрытого журнала, застыл на месте. Он до того растерялся, что забыл даже отвесить министру поклон.

— Возьмите блокнот и записывайте, — сказал Никур. — Немедленно вызвать ко мне начальника айзсаргов, инспектора полиции, председателя Камеры труда, директоров департаментов безопасности и культуры. Разыщите, где бы они ни были! Сам я тоже буду звонить.

— Слушаюсь, господин министр, — встав навтыяжку, ответил чиновник, щелкнул каблуками, повернулся и вышел. Это был один из айзсарговских офицеров. В министерстве почти все служащие, начиная от директоров и кончая шоферами и машинистками, были айзсарги. Система двойного подчинения связывала их с министром. Но форму носили немногие, и то лишь в официальных случаях.

Сначала Никур позвонил домой. К телефону подошла его жена.

— Это ты, кошечка? Я хочу тебя предупредить, чтобы ты меня не ждала. У меня сейчас начинается совещание. Не знаю, сколько времени оно отнимет. После этого мне придется заняться одной важной операцией. Да, нынешней ночью. По поручению президента. Ложись, кошечка, бай-баиньки. Покойной ночи.

Домашняя жизнь Никура едва ли могла служить образцом для романтиков или любителей семейных идиллий, но приличия он всегда соблюдал. Лет десять тому назад, будучи незаметным офицером-пограничником, он женился на вдове, которая была на несколько лет старше его. Ни красоты, ни богатства за ней не числилось, не было у нее и связей с влиятельными кругами, но вскоре после свадьбы Никур почему-то быстро пошел в гору. Он стал деятелем «Крестьянского союза»[32], а пятнадцатого мая звезда Никура засияла во

всем блеске. Сведущие люди приписывали этот взлет стараниям его жены. Невзрачная, довольная как будто своей судьбой женщина отличалась ненасытным честолюбием, и это честолюбие служило кнутом, который подгонял Никура вверх по ступенькам служебной лестницы. Она умела вовремя подсказать ему новый ход, новую комбинацию, не давая ему успокоиться, задремать. А в выборе средств он щепетильностью не отличался. Еще будучи гимназистом, Никур выдал охранке своих товарищей. Трое юношей и три девушки были арестованы, а Никур благополучно окончил школу и получил должность редактора провинциальной газеты. Затем он несколько лет работал на границе Латвии и Советского Союза — ловил, допрашивал, избивал, а также подготавливал агентуру среди местных жителей.

Детей у Никура не было. «Кошечка» спускала ему любовные похождения, — сама она жила надеждой стать когда-нибудь первой дамой в государстве — мадам президентшей. Никур уже далеко продвинулся по пути к этой почетной и — можно было предполагать — прибыльной должности.

Меньше чем через час удалось собрать всех вызванных к министру лиц. Вот они сидят перед ним — облеченные властью люди, столпы государства. Никур, развалившись, почти полулежа в кресле за письменным столом, сложил на животе руки и благодушно улыбнулся.

У него был совсем иной стиль работы, чем у «высокопревосходительства». Насколько тот был невоздержан и горяч, а временами даже истеричен, настолько Никур был спокоен и ровен в обращении. Он старался даже быть ласковым, но неизменно добивался своего. Только отпетый дурак не замечал, что под его бархатной лапкой скрывались когти тигра. «Обаятельный человек», — говорили о нем в обществе, и Никур старался сохранить за собой эту репутацию. Время от времени он приглашал к себе писателей, художников и журналистов, очаровывал их своей простотой и любезностью, а самых легковверных незаметно впрягал в свою колесницу, превращая в пропагандистов ульманисовского режима. К непокладистым быстро охладевал и пускал в ход все свое влияние, чтобы пресса их замалчивала.

Его ненавидели, его боялись, но никто над ним не смеялся. Никуру только того и надо было.

Он не сразу заговорил о деле. Сначала осведомился у командира айзсаргов, удачен ли был его последний выезд на охоту, поинтересовался, когда, наконец, инспектор полиции устроит выставку своих скульптурных работ, расспросил о здоровье председателя Камеры труда. После этого рассказал несколько свежих анекдотов, над которыми заразительнее всех хохотал командир айзсаргов генерал Праул, и сам не без удовольствия выслушал несколько смешных историй из жизни высшего общества. По этой части больше всех был осведомлен Фридрихсон, но он, к всеобщему сожалению, словоохотливостью не отличался и только отвечал на вопросы.

Самой примечательной фигурой среди собравшихся был инспектор полиции Киселис, подбородок которого украшала весьма картинная черная козлиная бородка. Ежегодно в годовщину смерти Калпака[33] он печатал в газетах воспоминания о нем. В них он неизменно — в который уж раз? — приводил слова полковника: «Балодис, ты остаешься на моем месте». Он был единственным свидетелем, слышавшим эти исторические слова, и хотя многие выражали сомнение в их достоверности, фраза эта обеспечила Киселису виднее место в Латвии пятнадцатого мая и по сию пору еще ежегодно доставляла ему определенный доход во всех редакциях.

Председатель Камеры труда Эгле был той же провокаторской породы, что и Никур, поэтому между ними всегда царил полное понимание. Перед общественностью Эгле фигурировал в качестве фабричного рабочего. Он действительно некогда числился на фабрике мастером, и то лишь до того момента, когда в награду за провал подпольной организации охранка

порекомендовала его на более видный пост. Теперь он во всеоружии своего опыта превращал Камеру труда в шпионский орган правящей клики. Во всяком случае свой хлеб он даром не ел и за усердие был награжден орденом Трех звезд.

— Господа, сегодня я был у президента... — начал, наконец, Никур.

Все замолчали и стали внимательно глядеть на него.

— Президент выразил недовольство по поводу положения в стране и указал, как его исправить. Вот почему вас и собрали здесь. Вам, господин Эгле, придется созвать несколько рабочих собраний и выступить на них. В речах сильней упирайте на то, что только единением и дружной работой можно добиваться улучшения своего положения. Неустанно внушайте им, что правительство никогда еще не было таким сильным, как сейчас, что власти никому потачки давать не будут. Скажите им, — а вы, господин Лабсвир, тоже позаботьтесь, чтобы об этом заговорил весь пропагандистский аппарат, — скажите, что нигде рабочие не живут в таких образцовых условиях, как у нас, что Латвия — это страна молочных рек и кисельных берегов и одни сумасшедшие или негодяи могут требовать повышения заработной платы. Кстати, ее придется несколько урезать, потому что государство должно увеличить расходы на армию. Если же кто выразит недовольство — теми займется господин Фридрихсон. Очень желательно, господин Эгле, чтобы рабочие сами заговорили о снижении заработной платы, сами попросили об этом президента. Я думаю, у вас наберется сотня-другая своих рабочих, с которыми можно будет условиться заранее.

— Отчего не наберется, — отозвался Эгле, — это мы устроим.

— Далее. Господин Киселис, должен вас предупредить, что президент крайне недоволен вами. Даже ему самому при поездках в Саркандаугаву приходится читать дерзкие, возмутительные надписи на заборах. Полиция должна проявлять больше расторопности, чаще устраивать утренние обходы ненадежных участков.

— Они в последнее время пользуются такой стойкой краской, что нет никакой возможности соскоблить ее, — пожаловался Киселис. — Позавчера на железном мосту написали лозунг — пришлось его выжигать.

— Хотите — выжигайте, хотите — соскабливайте, об этом спорить не будем. Ваше дело — заботиться о том, чтобы народ не читал того, что ему читать не полагается.

— Слушаюсь, господин министр.

Плавно, ласково журчал голос Никура, читающего наставления подчиненным. Грубо выкрикнутые президентом в минуту раздражения приказания превращались в конкретную, подробную программу действий. Больше всех были обрадованы Праул и Фридрихсон, узнав о предоставлении им значительных дополнительных ассигнований.

— Будут деньги — можно и поработать, — сказал Фридрихсон. — Коммунистов и так почти не осталось, а; последних мы в несколько недель выловим.

— Им бы давно уже следовало сидеть за решеткой, — сказал Никур. — Не забывайте, что сейчас они находят самую благоприятную почву для своей пропаганды. Каждое слово вызывает в народе отклик. Нельзя ли сделать так, чтобы московские газеты скупались в киоске нашими агентами? Господин Фридрихсон, сговоритесь на этот счет с генералом Праулом. Народу у вас достаточно. С завтрашнего утра ни один номер «Известий» не должен попадать в руки населения.

— Ничего не стоит сделать это, — ответил Праул. — Я буду назначать дежурные группы из рижского полка айзсаргов.

В двенадцатом часу Никур отпустил всех. Он утомился.

«Куда бы теперь съездить?» — раздумывал он, заложив за голову руки и потягиваясь в кресле. Он перебрал в памяти всех своих любовниц.

Ирма Риекстынь — полная шатенка и соломенная вдова... Удивительно, до чего она деловито подходит к самым интимным отношениям... С ней так просто, легко... Каждую мысль по глазам угадывает...

Поэтесса Айна Перле — прелестное улыбчивое создание. Все-то она пронюхает — и кто что делает и кто что думает, а как рассказывает — точно воробушек чирикает. Чувственна, сладка, а иногда чуть-чуть ядовита — настоящий шоколадный змееныш.

Или Гуна Парупе — гордая красивая брюнетка, похожая на цыганскую принцессу... О буря, о пламя, о солнце экватора на берегах Балтики... Вероятно, уже пришла из кафе. Не позвонить ли ей?

Но его опередили. Позвонила актриса Лина Зивтынь.

— Это вы, Альфред? Вы сами? — прощепетала она.

— Да, Линочка, я сам. А откуда вы узнали, что я в министерстве?

— Я ничего не знала. Просто мне захотелось поговорить с вами... Звоню во все концы, где только можно застать вас... потом думаю, дай позвоню в министерство, может быть, дежурный поможет отыскать... И вдруг такая удача — вы здесь...

— Что скажете хорошего, Линочка?

— У меня для вас есть новости, и интересные, но по телефону неудобно. Не зайдете ли ко мне?

— Что, очень соскучились? — улыбнулся Никур.

— Ну да. А вы такой безжалостный, бессердечный, ничуть не лучше других мужчин, — комически жалобно выводил ее голосок. — Ну, когда вы были у меня в последний раз?

— На прошлой неделе.

— И вовсе не на прошлой, а на позапрошлой. Можно умереть с тоски, а вы даже не узнаете.

— Ну, Линочка, не пугайте. Так у вас действительно есть новости?

— Seriously говорю.

— Хорошо, приду. Буду через десять минут.

— Вы просто прелесть, Альфред.

Никур положил трубку. Лучше бы, конечно, к Гуне Парупе, но и Линой нельзя пренебрегать. К тому же она хочет что-то сообщить.

Он надел пальто и уже направился к двери, как снова зазвонил телефон. Никур без всякого удовольствия взял трубку.

— У телефона Никур.

— Сам Никур? Министр? — переспросил звучный мужской голос.

— Конечно. Я же сказал, — начиная раздражаться, ответил Никур.

— Ну, тогда слушай, гадина, — голос в трубке стал грубым, угрожающим. — Слишком долго ты лакаешь народную кровь, пес. Знай, что скоро придет твой конец. Ты будешь висеть в петле, имей это в виду. Если ты опять примешься за рабочих, с тобой будет покончено. Помни теперь, что тебя ждет. От нас ты не уйдешь.

Побагровев от ярости, судорожно сжимая кулаки, слушал Никур. В первый момент у него как будто отнялся язык, а когда он выкрикнул что-то нечленораздельное, там уже положили трубку. Он почувствовал, что бледнеет, что ему становится дурно. Так с ним разговаривали впервые. Он не привык к открытым угрозам.

«Ты будешь висеть в петле». Машинально провел рукой по шее. Как хочется пить... Министр налил воды и залпом выпил весь стакан. В горле по-прежнему было сухо.⁴

Едва Никур вышел на улицу, как из машины выскочил шофер, одетый в летнюю айзсарговскую форму, и услужливо открыл перед ним дверцу. Никур медлил. Зивтынь жила близко, в пяти минутах ходьбы, но после таких угроз действительно лучше всего поехать на машине. Вдруг они выслеживают его где-нибудь возле самого министерства. Подстерегут в темноте... Схватят за горло и прикончат без долгих разговоров... Что тогда скажет Латвия, Европа?.. А если поехать на машине, опять нехорошо. Его лимузин знает вся Рига, враги сразу заметят и будут вести наблюдение за домом... Нет, все это не то, надо что-то другое придумать.

Он сел в машину.

— Домой? — спросил шофер, запуская мотор.

— Нет, Артур, я еще не кончил с делами. Ты... вот что... сделай круг по улицам, а потом остановись на углу Гертрудинской и улицы Свободы. Оттуда я пойду пешком.

Машина тихо переехала перекресток и плавно покатила мимо освещенных витрин магазинов. Ночные сторожа, укутанные в длинные, до пят, тулупы, переступали с ноги на ногу на углах улиц и у ворот домов. Сутулясь и похлопывая озябшими руками, похаживали постовые полицейские. Кое-где еще попадались прохожие. Никуру казалось, что каждый встречный всматривается в его машину. Каждый стоящий на тротуаре человек внушал подозрение. Скверное ощущение. Окна домов глядели на него сотнями темных страшных глаз... Все следят, крадутся за ним тихими шагами, которые не сулят ничего хорошего. В какую сторону ни повернись — навстречу возникает какая-то новая угроза. Он — один, их — тысячи.

«От нас ты не уйдешь...»

Только выйдя из машины, Никур почувствовал некоторое облегчение.

— Подождать, господин министр?

— Нет, не надо. Поезжай в гараж и ложись спать. Я позвоню, когда понадобится машина.

— Покойной ночи, господин министр.

Никур торопливо нырнул в темный переулок. Он зашагал быстро, время от времени оглядываясь. Он слышал эхо собственных шагов, а ему казалось, что кто-то преследует его, почти наступая на пятки.

Ох, как теперь все не просто, — тяжело вздохнул Никур. — Совсем не то, что в былые времена, когда можно было целыми ночами бродить по темным переулкам, выслеживать, подглядывать. Слишком часто появлялись мои фотографии в газетах. Теперь каждый

мальчишка узнает меня в лицо и тычет в бок товарищу: «Смотри, смотри... Никур... министр». У большой популярности тоже имеется своя обратная сторона... Все нервы, нервы... Переутомился ты, Альфред... Надо бы отдохнуть в тихом, укромном уголке, где тебя не знает ни одна живая душа. В Латвии становится жарко, чересчур жарко...

«Ты будешь висеть в петле...» Проклятые! Фридрихсон только хвастается, что все выловлены. Никого он не выловил, старый болтун. Одного поймает, на его месте два новых появятся. Надо будет самому взяться за охранное управление, иначе... Но удастся ли предотвратить? Это как лавина... Сметет на своем пути всех, кто не успеет посторониться. Президент — ограниченный человек, обманывает самого себя, ждет от своих земледельцев чуда. Никакого чуда не будет. Будет ужасающая катастрофа. Это знаю только я да, может быть, Мунтер, но у того на уме другое.

«От нас ты не уйдешь...»

На углу, у самого фонаря, он налетел на какого-то прохожего.

— Надо глядеть глазами... — сердито пробасил тот. — Несется, как очумелый! — Он метнул на Никура яростный взгляд и вдруг весь съежился и залебезил: — Извиняюсь, ваше превосходительство... Я ведь не знал, что вы... Разрешите проводить... В такое позднее время без охраны рискованно.

Никур, выпучив глаза, смотрел на Кристапа Понте.

— Замолчите! — прохрипел он. — И прошу не соваться не в свои дела.

— Извиняюсь, господин министр, — забормотал окончательно сбитый с толку Понте. — Я ведь хотел постараться...

— Ну, хорошо, хорошо... Только отстаньте от меня, наконец.

У Лины Зивтынь была уютная квартира в три комнаты, недалеко от старой Гертрудинской церкви. Обстановку ей подарил Никур. Гостиная была меблирована в «национальном» стиле. Пианино, полосатые шторы, полосатый диван и рядом высокая лампа, буфет, заставленный различными безделушками кустарной работы из дерева и янтаря. Рядом был кабинет. Никур никак не мог постичь, для чего нужен Лине кабинет, когда она даже роли разучивала в спальне перед большим зеркалом; там же на маленьком столике возле широкой кровати карельской березы стоял телефон. Стены всех комнат были увешаны портретами актеров, писателей и государственных деятелей. Среди них бросалась в глаза увеличенная фотография Никура.

Никура сразу обволокла тепличная атмосфера квартиры.

— Вы одна, Линочка? — спросил он на всякий случай.

Она удивленно сдвинула бровки.

— Что за вопрос, Альфред? Я ведь ждала вас.

Лину нельзя было назвать красавицей. Небольшой рост, вздернутый носик, две-три веснушечки на круглой мордочке делали ее похожей на подростка. Словно нарочно подчеркивая это сходство, она шалила и дурачилась, как школьница, — в глазах Никура это придавало ей пикантность. Лина Зивтынь напоминала ему маринованную корюшку[34]. Ей это сравнение нравилось.

Актриса она была посредственная. Держали ее на ролях мальчиков, девочек-подростков и болтливых старушек. Однако в обзорах премьер театральные критики каждый раз упоминали имя Лины Зивтынь вслед за именами главных исполнителей, и каждая газета помещала снимок какой-нибудь сцены с ее участием. Лина знала, кому она этим обязана. Начиная с театрального училища до государственного театра она успела пройти через много рук. Она была уступчива и со своими преподавателями, и с известными артистами, режиссерами, и с театральными критиками. Вершиной ее карьеры был Никур. Вначале между ними были только деловые отношения: Зивтынь информировала его о настроениях актеров — о чем они говорят, как относятся к политике правительства, какие веяния носят среди них. В конце концов Никур нашел, что Лина заслуживает внимания и в прочих отношениях, и с того времени стал сочетать полезное с приятным.

Никур поцеловал Лину в щечку и обнял за плечи. На ней был голубой халатик и домашние туфли без задников. И от халатика и от завитых, рассыпавшихся по плечам волос шёл пряный запах духов.

Продолжая держать ее за плечи, он обошел все комнаты. Все осмотрел. Открыл дверцы шкафа, заглянул во все углы, мимоходом бросил взгляд в кухню и ванную.

— Альфред, что с вами сегодня? — испугалась Зивтынь. — Вы мне больше не верите? Вам, наверно, насплетничали?..

— Успокойтесь, Линочка, — улыбнулся Никур. — Лишняя предосторожность не мешает. Такие времена наступили.

— Да ведь я бы вам сказала, если бы кто был, — вытянув губки, обидчиво возражала она.

— Вы можете и не знать, что кто-то находится в вашей квартире, — объяснил Никур. — Сегодня ни в чем нельзя быть уверенным.

— Вы меня разлюбили, Альфред?

— Не говорите ерунду, Линочка. Ни по отношению к вам, ни по отношению к другим я не изменился ни на волос. Зато другие изменились. В этом все дело.

Осмотр его успокоил. Он еще раз проверил наружную дверь, запер ее на цепочку, потом вернулся в гостиную и сел.

— Теперь рассказывайте ваши новости.

Зивтынь забралась с ногами на диван, прижалась к Никуру и начала рассказывать:

— У нас в театре заведующий осветительной частью очень подозрительный человек. Читает «Известия», а потом рассказывает рабочим, что пишет Москва. Я слышала, как он разговаривал за кулисами с бутафором. Над президентом насмехался — назвал его неприличным словом.

— Каким же именно? Говорите все.

— Он сказал, что этому земгальскому борову не спится по ночам и что это хороший признак. А чтобы заснуть, он будто бы приглашает вас... Я дальше не могу... Он вас тоже неприличным словом назвал... Мне как-то неудобно повторять.

— А я хочу знать, — мало ли что неприлично...

— Он сказал, что вонючий хорек до тех пор рассказывает земгальскому борову сказки, пока тот не захрапит. А потом еще сказал, будто бы вы боитесь народа, — мол, знает кошка, чье

мясо съела.

— Интересно, — бледнея от злости, протянул Никур. — Вам придется заняться этим осветителем. Постарайтесь попасть к нему домой, разузнайте, кто у него бывает, о чем ведут разговоры.

— Хорошо, Альфред, все сделаю. Он мне доверяет, а его жена — моя приятельница.

— Дальше, Линочка, я слушаю.

— Позавчера после спектакля актеры собрались в одной мастерской по пьянствовать. Перепились — дальше некуда!.. Был, между прочим, и писатель Яундалдер.

— Ну и как?

— Вот он, когда подвыпил, стал говорить своему приятелю, актеру Кукуру, что напечатал за границей несколько рассказов, конечно под псевдонимом. Потому, мол, что в Латвии ни одного правдивого слова не позволят напечатать. Говорит, этот носатый черт насел на правду и вот-вот ее придушит. В Латвии, говорит, воздуху не хватает, честным людям дышать нечем. Интеллигенция окончательно задыхается, а шарманка пятнадцатого мая так гнусно фальшивит, что может свести с ума самого терпеливого человека.

— А он не сказал, под каким псевдонимом печатается за границей?

— Нет, не сказал.

— Надо, надо разузнать. И вообще постарайтесь сойтись с ним поближе. Посочувствуйте, вызовите на откровенность. Если ничего не получится, пригласите его на ужин, что ли, вместе с актером... как уж его?

— Кукур. Ладно, я сделаю, Альфред.

— Теперь насчет писателя Калея. Удалось что-нибудь?

— Ох, не знаю, как с ним и быть. Не подпускает. И вообще его трудно вызвать на откровенность. Я и через знакомых пробовала действовать — хотела, чтобы они затащили его ко мне на именины, — не пришел, сослался на дела. Но я все равно знаю, что он враг. Когда при нем заговаривают о политике, он только улыбается или начинает рассказывать глупые анекдоты.

— Калей — самый опасный из них, — сказал Никур. — Его народ уважает. Мы бы давно ему рот заткнули, не хватает только изобличительных материалов. Но унять его надо во что бы то ни стало. И чем раньше, тем лучше. И вам, Линочка, придется основательно подналечь на него. Остальные — так, между прочим. Вы мне Калея, Калея дайте в руки. Если одной трудно справиться, можно подбросить на помощь кого-нибудь из резервов. Только предупредите заранее. Мы не имеем права отдавать его нашим противникам с незапятнанным именем. Я очень рассчитываю на вашу помощь, милая корюшка.

Никур зевнул.

— Пора спать, поздно уже. Завтра у меня уйма работы.

— Во сколько вас разбудить, Альфред?

— В одиннадцать, Линочка.

— Я заведу будильник.

Никуру вдруг показалось, что за дверью кто-то есть.

— Там как будто кто-то ходит, Линочка?

— Да это кот, Альфред. Дворничихин кот. Они его выпускают на ночь, а он ухитряется пробраться на лестницу: там теплее!

— Знает, где лучше, — улыбнулся Никур. — Умный кот.

— Вы у меня тоже умный, — сказала Зивтынь, шутливо ухватив пальчиками кончик его породистого носа. 5

В один из ближайших дней Лина Зивтынь пришла в театр с самого утра, хотя репетиция у нее была назначена на час. Как челнок, сновала она за кулисами — то сунется в одну дверь, то в другую. Иногда зайдет, иногда только приотворит дверь, захохочет смехом балованной девочки и убежит:

— Простите, я ошиблась...

Ошибалась она довольно часто, но никто на нее не сердился, все давно привыкли к ее бесцеремонности. А в этот раз Лина особенно старалась попадаться на глаза всем приятелям и приятельницам: плечи ее впервые за всю жизнь украсила чернобурая лисица. Ясно, что такое событие не могло пройти незамеченным. На каждом шагу ее обступали женщины, ощупывали красивую обновку, наперебой спрашивали цену. И хотя в этом никто не признавался, Зивтынь отлично видела, что ей завидуют. Но она вовсе не думала задирать нос. Наоборот, побывала и в декоративной мастерской, и у парикмахеров; и у портных, даже на кухню забежала — поболтать с судомойками и рабочими.

В буфете Лина встретилась с Марой Вилде. По правде говоря, та тоже могла бы не приходить до вечера, потому что в репетируемой пьесе у нее не было роли. Но актеры так уж устроены, что всегда скучают по своему святилищу, и Мара в этом смысле не была исключением.

Маленький покрашенный ротик Зивтынь на несколько секунд остался полуоткрытым, когда она увидела на плечах у Мары чернобурую лису, такую же, как у нее самой, пожалуй даже чуть-чуть покрасивее. «Хотя на чей вкус», — тут же подумала Лина.

— Марочка, здравствуй! — кинулась она к ней. — Как ты себя чувствуешь, дорогая? Я так рада, что тебе не дали роли в новой пьесе: по крайней мере отдохнешь немного. Ведь что это за жизнь: каждый вечер — спектакль, весь день — репетиции, разве так долго выдержишь? Только что купила? — Она погладила мех с видом знатока. — Какая прекрасная ость! Моя чуть посветлее.

— Подарок мужа, — ответила Мара и тут только обратила внимание на плечи Зивтынь. — Да и ты с такой же обновкой. Подарок?

— Кто же мне станет дарить? — Зивтынь рассмеялась серебристым девичьим смехом. — Пока самой приходится заботиться. Вот когда выйду замуж...

— Сколько ты заплатила? — спросила Мара, зная, что этот вопрос доставит удовольствие тщеславной подруге. — Наверно, не меньше трехсот латов?

— Не помню точно, кажется, что-то в этом роде, — небрежно ответила Зивтынь, — ярлычок я выбросила.

— Вот ты какая, у нас стала, счету деньгам не знаешь, — улыбнулась Мара. — Откуда у тебя такие богатства?

Вопрос был задан без всякого дурного умысла, но Лине послышалась в ее словах насмешка, и она сразу обозлилась. «Ах, со мной вон каким тоном можно разговаривать! Ну еще бы, она — на первых ролях, не знает куда деваться от успехов и воображает, что перед ней все должны отчитываться. Еще чего не хватало! Пусть лучше спросит своего мужа, откуда он деньги берет. Как будто я не знаю. Было время, когда Никур нас чуть ли не вместе принимал». Ей так захотелось побольнее уколоть Мару, что она забыла всякую осторожность.

— Источник у нас, кажется, общий, — сказала она. — Спроси у Феликса, где он деньги получает. Мы с ним в своем роде коллеги. — И, чуть не прыснув со смеху, она отошла от Мары.

Мара сразу почувствовала в ее словах что-то темное, двусмысленное. «Общий источник... коллеги...» Что общего могло быть между Феликсом и Зивтынь? И, однако, она внутренне поверила, что это не глупая шутка, не выдумка легкомысленной девчонки. За последнее время она начала видеть в муже какие-то не замеченные ею раньше черты — лживость, уклончивость. Может быть, толчком для этого послужила история с вымышленным заседанием, может быть — что-то другое. Она опять вспомнила ужин после премьеры, поведение Феликса по отношению к Жубуру. Тогда Мара подумала, что он просто хотел выставить Жубура в смешном виде, что он ревновал ее. А сейчас она вдруг почувствовала, что это было нечто другое, худшее.

Слова Лины навели ее и на другой вопрос: «Сколько мы зарабатываем и как справляемся с расходами?» В доме у них с первого же года брака повелось так, что хозяйством больше занимался Феликс. У Мары очень много времени отнимал театр, к тому же она была рассеянна, и муж не раз шутя упрекал ее в безалаберности. Мара и сама чувствовала, что ей трудно вкладывать душу в домашние дела, и всегда полагалась на мужа. И теперь она впервые задумалась об этой стороне жизни.

Вернувшись домой, она взяла карандаш, бумагу и стала рассчитывать домашний бюджет. Феликс получал триста латов в месяц, сама она — двести пятьдесят. Всего, значит, пятьсот пятьдесят, но из них надо было сколько-то вычесть на налоги. Квартира — сто двадцать латов, зимой еще приходилось добавлять на отопление. Дача. Стол. Платье. Прислуга. Подоходный налог. Покупка мебели. Книги и разные мелкие расходы. За последний месяц, кроме того, Феликс сшил новый фрак, купил несколько акций пароходства, потом эта лиса...

«Мы все время тратим не по средствам», — с недоумением подумала Мара. Но, с другой стороны, покупали они все за наличные, у Феликса в сберегательной кассе лежало несколько тысяч, и он уже начал поговаривать о покупке усадьбы. Значит, были какие-то побочные доходы, о которых она не знала, которые скрывались от нее. Взятки? Контрабанда в компании с моряками?

Мара прибрала исписанный цифрами листок и стала ждать мужа. Вернулся он очень поздно.

— Опять эти несчастные заседания. Одно за другим, — жаловался он за ужином. — А некоторые члены правления, как начнут говорить, никакого удержу не знают.

Мара ничего не ответила.

После ужина Вилде начал было настраивать приемник: ему захотелось послушать музыку.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказала Мара. — Пойдем в кабинет, там удобнее.

— Ну, пойдем, мне все равно где.

В кабинете он закурил сигару, развалился в кресле и подчеркнуто беззаботно спросил:

— Так в чем дело, Мара?

Она нарочно села подальше от мужа, в самом темном углу комнаты. Ей показалось, что Феликс немножко нервничает.

— Феликс, мне хотелось поговорить с тобой о нашем образе жизни. Я вижу, что мы живем не по средствам.

Он даже вынул сигару изо рта и уставился на нее с самым искренним удивлением.

— Вот не ожидал! Ну и чудачка! По-твоему, что же, надо урезывать себя в необходимом? Когда же нам и пожить, как не теперь, пока мы молоды? И кого это касается?

— Нет, Феликс, мы проживаем гораздо больше, чем зарабатываем, ты сам это отлично знаешь.

— Послушай, откуда ты все это взяла? Были бы у нас еще долги, тогда я понимаю. Но если мы живем, не делая долгов, почему же это называется «не по средствам»? Где здесь логика?

— Вот об этом-то я и хотела тебя спросить. Пока я знаю только одно: мы тратим не по доходам. Посмотри сам, что у нас получается.

Она подала Вилде исписанный листок бумаги. Он долго разглядывал столбцы цифр, и усмешка постепенно стала сползать с его лица. Дойдя до конца, он вздохнул и положил листок на письменный стол.

— Ты, милочка, в этих расчетах упустила из виду один существенный пункт, хотя в остальном они сделаны очень толково. Признаться, я даже не ожидал от своей романтической женушки такой практичности.

— Какой пункт? — живо перебила его Мара.

— Сюда не включены мои побочные доходы.

— Побочные доходы? Почему же я о них ничего не знаю?

— Да потому, что ты до сих пор не очень часто изволила интересоваться такими вещами. — Кончик сигары вдруг задрожал в его пальцах, и пепел упал на колени. Вилде ловким щелчком сбил его с брюк.

— А сейчас я хочу знать, откуда берутся эти... доходы.

Вилде надолго задумался. Мара не торопила его с ответом и тоже молча смотрела на него.

— Пожалуй, это будет самое лучшее... — заговорил он, наконец. — За последнее время между нами все чаще возникают недоразумения, даже размолвки. И все это оттого, что ты не все знаешь. Слушай, Мара.

— Да, да, я слушаю.

— Сначала дай мне обещание никому этого не рассказывать. Это серьезная тайна.

— Я вообще редко с кем разговариваю о своих домашних делах, не такая уж это интересная тема.

— Да, я знаю, знаю. Ну, хорошо, раз уж нельзя иначе, придется сказать тебе. Я, Мара, работаю в охранном управлении. Руководжу группой агентов.

— Давно? — машинально спросила Мара. Она вся помертвела от его слов и сама не сознавала, зачем задала этот вопрос.

— Довольно давно. Еще со студенческих времен.

— Значит, еще до знакомства со мной.

— Очевидно, так, милая.

— И много ты у них получаешь?

— Как когда. Во всяком случае больше, чем у Юргенсона.

— Тебе платят за отдельные услуги?

— Да, и за услуги, и, кроме того, я получаю твердый месячный оклад.

— Даже твердый оклад... — повторила Мара. И вдруг, точно очнувшись, она спросила: — Значит, ты из породы провокаторов, из шпииков?

— Нет, Мара, ты что-то путаешь. — спокойно объяснил он. — Я все-таки нечто бо?льшее. Я помогаю искоренять государственных преступников, и у меня есть свои агенты.

— Тогда ты — обер-шпик, капрал, лейтенант... какие там есть еще чины?

— У нас таких званий нет, — сухо ответил Вилде.

Он уже вышел из терпения.

Мара поднялась со стула. Она задыхалась от нестерпимого стыда, она почувствовала себя униженной, опозоренной. С ненавистью смотрела она на мужа.

— Против кого вы со своей компанией боретесь? За что вы получаете эти сребреники? Ведь вы с народом боретесь, вы народ продаете. И как только ты мог пойти на это?

— Ты, милочка, я вижу, ничего не понимаешь, — раздраженно махнул рукой Вилде. — Народ, народ... Ты просто вообразила, что находишься на сцене, повторяешь слова из какой-то страшно эффектной роли. Я человек трезвый, меня красивыми фразами не проймешь. И что таксе народ? При чем он тут? Мы работаем в интересах государства.

— Перестань, пожалуйста. Вы работаете в своих собственных интересах, ради своего кармана, ради вот этой уютной квартиры, — она обвела взглядом комнату. — Ну, скажи, например, за какую услугу ты получил свой последний гонорар?

— Изволь, хотя это, повторяю, большая тайна. Но, может быть, ты поймешь тогда. Благодаря мне не так давно арестовано все руководство коммунистической партии. Мы парализовали ее. Сейчас они сидят без дела и не знают, что предпринять. Как корабль без руля. А ты имей в виду, что этот скромный и симпатичный, как ты говоришь, Жубур тоже из этого лагеря. Относительно этого типа у нас пока не хватает компрометирующих материалов, но со временем мы их соберем.

Мара, не глядя на него, о чем-то сосредоточенно думала. Вдруг она быстрыми шагами вышла в переднюю, сдернула с вешалки черную лису, вернулась в кабинет и швырнула ее через стол мужу.

— Получай обратно. Таких подарков я не принимаю.

Вилде даже позеленел.

— Мара! — выкрикнул он. — Что это, вызов? Эта выходка уже не ко мне относится. Ты уже оскорбляешь наш государственный порядок. Иначе я не могу объяснить...

Мара с язвительной улыбкой посмотрела ему в лицо.

— Беги скорей доносить Штиглицу, глядишь — опять что-нибудь заработаешь. — И она вышла из кабинета.

Вилде долго стоял на месте, сжимая в одной руке хвост чернобурой лисы, в другой — давно потухший окурочек сигары.

— Капризы избалованной дамочки, — прошипел он, наконец. — Ничего, мы все уладим. 6

На сцене Маре приходилось передавать самые многообразные душевные переживания, но в эту бессонную ночь она впервые почувствовала всем своим существом, что такое отчаяние. Разговор с Феликсом звучал у нее в самом мозгу, не давал ни на минуту сомкнуть глаза. В первый момент после признания мужа Мара действовала импульсивно, не размышляя. Она поняла из его слов только одно: Феликс грязный, способный на любую подлость человек, предатель по профессии. И тогда в ней взбунтовалась совесть, голос элементарной честности, знающей только, что существует добро и зло, чернее и белее.

Сейчас, лежа в темноте, она пыталась разобраться в своих мыслях, постигнуть умом, что произошло в ее жизни, решить, что ей делать дальше.

Мара знала, что на ее месте многие женщины из так называемого порядочного общества отнеслись бы к этому иначе, — примирились бы с фактом, пошли бы на компромисс со своей совестью. Одни бы стали искать оправдания в необходимости охранять существующий государственный порядок, уверили бы себя в его справедливости, подчинились доводам мужа. Другие просто сослались бы на печальную необходимость: «Все姆 хочется жить получше, муж пошел на это ради семьи». Много было людей, готовых оправдать любую мерзость, если она шла им самим на пользу.

Ее представления о классовой борьбе, о справедливом общественном устройстве были довольно хаотичны. Мара много, хотя и без всякой системы, читала, играла иногда в хороших пьесах и с искренним подъемом произносила со сцены прекрасные слова о правде, свободе, человечности. Она любила свой народ и хотела, чтобы ему стали доступны все жизненные блага. Ей еще в детстве приходилось слышать от товарищей отца, что богатства господствующих классов, меньшинства, зиждутся на эксплуатации большинства, что нужда и бедность всегда будут сопутствовать трудящимся, пока над ними стоит кучка угнетателей.

Как и многие интеллигенты, может быть больше других, Мара возмущалась ульманисовским режимом. Но в то же время у нее было какое-то упорнее недоверие к политике, к политической борьбе, усвоенное ею в кругу богемы. Правда, Мара не испытывала и обывательского ужаса перед коммунистами, знала, что они близки народу. Услышав от Вилде, кто такой Жубур, Мара не перестала уважать его, потому что считала его хорошим, мужественным человеком, неспособным действовать из корыстных побуждений. И вот таких людей выслеживал, сажал в тюрьмы ее муж...

Мара чуть не застонала от жгучего чувства стыда. Пять лет прожила она бок о бок с предателем и не могла разгадать его. Считала себя порядочной женщиной, говорила со сцены красивые слова. Принимала подарки от заботливого супруга, наслаждалась комфортом в уютной квартирке. Мерзость... мерзость...

Она вспомнила одно поразившее ее зрелище. Несколько лет тому назад она ездила с мужем в Алжир. Однажды она обратила вдруг внимание на то, что белоснежные стены отеля отбрасывают на белый же песок густую тень. Вот и она так — ее считают чистой, красивой,

доброй, но рядом с ней в черной тени копошится грязная тварь.

Как жить дальше?

Мара вышла из рабочей семьи. Отец ее, старик Павулан, до сих пор еще работал за токарным станком на каком-то небольшом заводе. Больших трудов ему стоило в свое время дать дочери среднее образование, но девочка была живая, способная, и старик вытянул — даже театральное училище помог окончить. Тогда в Маре было столько жизнерадостности, столько веры в будущее, самонадеянности даже, что она просто была неспособна вглядываться в окружающую действительность — как будто ей все время било в глаза солнце. И полюбила она в первый раз так же безоглядно, всем своим существом. Но юность кончилась бессмысленной гибелью любимого человека. Тогда она узнала и душевную усталость и равнодушие. Мара решила, что в жизни у нее остался один театр. Через год она познакомилась с Вилде, тогда еще начинающим юристом. Вилде так настойчиво преследовал ее своими ухаживаньями, с таким благоговением говорил о ее таланте, всегда был так внимателен, что она в конце концов согласилась стать его женой.

Многие завидовали их жизни. Да и самой Маре казалось, что все идет, как должно идти. Она по-прежнему целые дни проводила в театре или, запершись в своей комнате, готовила роли, Вилде не мешал ей в этом, а успехами ее гордился больше, чем она сама, был всегда предупредителен и, кажется, все так же дорожил ею. Только за последний год Мара стала иногда ловить себя на чувстве раздражения, когда ей приходилось подолгу разговаривать с ним. Вдруг ей начинало казаться, что это чужой человек, что он не понимает, о чем она говорит, все чаще и чаще выводил ее из терпения его уклончивый скептицизм. И все-таки она могла прожить с ним десять и двадцать лет, если бы не случайный намек Лины Зивтынь, позволивший ей разглядеть грязную гадину.

Но как жить дальше?

Только сейчас ей пришла в голову мысль, что она совсем одинока, что ей не к кому обратиться за поддержкой. Даже и лучшей своей подруге, милой, доброй Ольге, она не посмеет открыть эту позорную тайну — та просто отвернется от нее. Жена шпика!

Нет, надо решать за себя самой. Да и что решать? Разве совесть не подсказала ей выхода с первой минуты? Надо оставить этот дом, уйти от Вилде. Мысль ее несколько раз проделывала один и тот же круг и неизменно возвращалась к этому решению. Но тут перед ней вставал другой вопрос: что сделает Вилде? Мара знала, что легко он с ней не расстанется; если она поставит на своем, будет мстить ей, стараться ужалить как можно больнее. При этом ей снова и снова приходила на память угроза, брошенная им по адресу Жубура. Еще с того ужина она почувствовала, что Феликс — враг Жубура, но сначала объясняла эту враждебность ревностью. Ей казалось, что муж заметил ее смутную, не оформившуюся еще симпатию к Жубуру. Теперь он раскрыл ей подлинную причину. Значит, за ним и за его товарищами следят, хотят упрятать их на долгие годы в тюрьму. И за что? За то, что они борются с вековой несправедливостью. Сейчас главное — предотвратить это ужасное, непоправимое несчастье, предупредить Жубура, иначе она всю жизнь будет чувствовать себя соучастницей этого преступления. Надо скорее, если можно — с утра разыскать Жубура, рассказать ему все, а разговор с Вилде отложить на несколько дней...

Утром Мара вышла из своей комнаты лишь после ухода Вилде. Она быстро оделась и направилась прямо в адресный стол. Два раза заходила она к Жубуру в этот день, и оба раза его не оказалось дома. Вечером она вернулась поздно и опять заперлась в своей комнате до утра. Вилде еще не спал, но и он не вышел из кабинета.

Только на другой день к вечеру Мара застала Жубура. Какой знакомой показалась ей эта тесная, полутемная комнатка! Точно на такой же узкой железной койке с соломенным

матрацем спала она в юности, когда жила дома, у родителей. За таким же вот маленьким столиком, заставленным пузырьками чернил и стопками книг, просиживала она по ночам. Здесь даже плохонький фанерный шкаф казался роскошью. Мара с одного взгляда увидела, как не хватало в этой комнате женских рук: не было ни одного цветочка, ни одной картинки, ковровая дорожка на полу сбилась в кучку. Благо еще, Жубур не курил, иначе спасения не было бы от табачного дыма.

На примусе стоял чайник, на столе лежала развернутая бумажка с кусочком масла и французская булка: Жубур, видимо, собирался закусить после работы.

— Простите, что я без всякого приглашения, — прямо с порога начала Мара. — Но не знала, где еще можно вас увидеть.

Жубур побагровел от смущения, увидев ее.

— Ничего, ничего, проходите, — бормотал он, а сам ринулся к кровати, чтобы прикрыть одеялом заплатанную наволочку. — Простите, ничего не могу вам предложить, кроме этого стула. Только осторожнее, у него одна ножка расшатана.

— Спасибо, я сяду, только вы мен я-то уж не стесняйтесь, — она ободряюще улыбнулась Жубуру. — И скажите сразу: я не оторвала вас от дела?

— Да нет же, нет, я уже свободен, — повторял он, не спуская беспокойного взгляда с проклятого стула. — Все-таки вам бы лучше сесть на кровать, она устойчивее.

Мара поспешила пересесть, чтобы успокоить его.

— Так и правда удобнее. Я, впрочем, зашла на минутку, я очень спешу. Мне нужно сказать вам одну очень важную для вас вещь.

Жубур сидел напротив, упершись подбородком в кулаки, и глядел на Мару серьезными, немигающими глазами. Посещение это так не укладывалось в рамки его повседневной жизни, что он и не пытался угадать его причину. Но он сразу понял, что Мара пришла к нему не по пустяковому поводу.

— То, что я вам скажу, большая тайна... Но я уверена, что вы поймете меня и будете молчать.

Жубур утвердительно кивнул головой.

— Мой муж, Феликс Вилде, работает в охранке, — не опуская глаз, начала Мара. — Я узнала об этом только два дня тому назад. Но это не все... Я узнала, что он ведет за вами слежку, он хочет вас арестовать. Вот поэтому... я и пришла.

Она осеклась, замолчала: ей стало трудно говорить.

Жубур отвел от нее взгляд и долго-долго всматривался в окно, за которым уже сгущались ранние февральские сумерки. Потом он глубоко вздохнул и обернулся к Маре:

— Я знаю это... Мара. Узнал еще в тот вечер, когда был у вас. Но это очень хорошо, что вы мне сказали. Очень хорошо. Я никогда этого не забуду, Мара.

Он не стал спрашивать, что заставило ее сделать этот шаг, не пытался заглянуть ей в душу. Он лишь чувствовал, что его сердце переполняет незнакомая раньше горячая нежность. Жубур взял руку Мары, крепко сжал ее обеими руками и отпустил.

— Хороший вы человек, Мара. И зачем вам жить с таким?..

Не отвечая, глядела она куда-то в пространство. Тихая, печальная, милая. Потом поднялась, подошла к двери и оттуда уже сказала:

— Если вам нужна моя помощь, я с вами. Я хочу помогать вам и вашим друзьям...

— Спасибо, может случиться, что я обращусь к вам, — просто сказал Жубур.

Она ушла. Жубур долго стоял у окна, вглядываясь в синеватую мглу. Низко, над самыми крышами лежали плотные сплошные облака. Но суровая зима была на исходе. В воздухе чувствовалось дыхание близкой весны.

«Добрая, милая Мара, нет тебе счастья».

Дома Мару еще в передней встретил Вилде.

«Ну что же, — подумала она, — сейчас и скажу».

— Я тебя жду, — начал он торопливо, помогая ей раздеться. — Идем в столовую, за ужином поговорим.

— Видишь, Мара, — начал он, когда они сели за стол, — я за эти два дня много думал и в конце концов пришел к выводу, что надо сделать так, как ты хотела.

Мара вопросительно посмотрела на него.

— Сегодня я был у Штиглица, — продолжал Вилле, — и решительно заявил, что больше работать у него не буду. Он сначала и слушать ничего не хотел, но после долгих и довольно неприятных разговоров согласился. Жить нам будет труднее, дружок, я даже не уверен, что мне не грозят неприятности, но не это для меня главное. Я не хочу терять тебя, Мара, а остальное уже не имеет значения.

Он внимательно посмотрел на нее, ожидая, какое впечатление произведут его слова.

Мара слушала, не поднимая глаз со скатерти. Она не сказала Жубуру, что решила уйти от Вилде. Не сказала, сама не зная хорошенько почему: может быть, из тайной гордости, боясь, что он сочтет это решение за результат его воздействия, за ответ на его вопрос. «Пусть он узнает об этом потом», — подумала она тогда.

Решение Вилде застало Мару врасплох. Почему-то ни разу не подумала она о том, что ее слова могут произвести на него такое впечатление. Она не то чтобы была растрогана его поступком, готова была забыть его прошлое... Нет, возврат к прежней, хоть и не слишком горячей привязанности был уже для нее невозможен. Но она сразу подумала, что уходить от Вилде сейчас нельзя. То, что он отказался помогать Штиглицу, облегчило немного ужасную тяжесть, не дававшую ей свободно дышать последние два дня. А если она уйдет от него сейчас? «Да, надо на время остаться». Мара подняла на него глаза.

— Да, конечно... Ты правильно сделал.

«Не напрасно ли я поспешила рассказать о нем Жубуру? — встревожилась она, но тут же твердо ответила сама себе: — Нет, не напрасно. Не будет Феликса, будут другие. А если его и будут опасаться, что ж, он это заслужил».

Со свойственной ему предусмотрительностью Вилде решил как можно реже заговаривать с ней, как можно меньше показываться ей на глаза в течение нескольких дней. Пусть успокоится немного, а там все пойдет по-старому. Он, разумеется, и не подумал уходить из

охранки. Но лишаться домашнего уюта, налаженной семейной жизни, завидной жены он вовсе не собирался.

После памятного объяснения с Марой Вилде выругал себя за безрассудную откровенность и тут же придумал выход:

«Женщины верят какой угодно лжи, лишь бы она им льстила... — философствовал он про себя, прохаживаясь по кабинету. — Они только не любят, когда им изменяют... Какой, бишь, мудрец это сказал?»

Глава пятая

1

Только после настоящей суровой зимы можно по-настоящему почувствовать приход весны, а зима 1939–1940 года так властно пользовалась своими правами, что навсегда осталась памятной для жителей Прибалтики.

В Латвии не было живого существа, которое не ждало бы с нетерпением весны. К посвисту первого скворца, севшего на ветку березы, люди прислушивались с такой нежностью, какой вряд ли когда достаивался представитель этого пернатого племени...

Что принесла весна Жубуру? Новые заботы и новые возможности. Как ни охотились за ним ищейки Штиглица, а он всегда ухитрялся доставлять по назначению нужные книги. Конечно, не пошлые бульварные издания Тейкуля, которые Жубур неизменно таскал в чемодане, — нет, это были творения Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, утолявшие алчущие правды души, ярким светом озарявшие пути грядущей борьбы.

Со времени последнего провала на плечи Жубура легла такая гора обязанностей, что ему не хватало суток. Сами того не замечая, они с Юрисом Рубенисом стали во главе организации. Главное, им удалось, наконец, наладить связь с Силениеком, — правда, случайную, редкую, но время от времени они получали от него драгоценные указания, как работать дальше. И каждый раз оба не переставали удивляться тому, что он, находясь в тюрьме, предвидит ход событий и знает, как надо действовать, гораздо лучше, чем они, оставшиеся на свободе. Воочию убеждался теперь Жубур, какое мощное оружие в руках коммуниста — революционная теория.

Жубур несколько месяцев уже присматривался кое к кому из наборщиков типографии Тейкуля. Там нашлось несколько дельных парней, и в конце зимы заработала новая подпольная типография. Каждую неделю выходил номер газеты или воззвание на животрепещущую тему. Тут главное было в том, чтобы не оставлять рабочих и интеллигенцию без живого слова, суметь вовремя дать им правильный ответ на насущные вопросы, объяснить международную обстановку и положение в стране. Не позволять правительственной клике дезориентировать народные массы в решающий исторический момент.

Организация работала в полную силу. Вновь наладилась связь с ячейками на всех предприятиях. На место арестованных зимой товарищей в строй становились новые люди, и, незримая для посторонних глаз, но для всех ощутимая, работа борцов за новую Латвию не прекращалась. Трудновато только было научить молодежь выдержке, терпению. Она рвалась в бой, часто не считаясь с обстановкой, с необходимостью согласованных действий, а эта горячность могла сыграть на руку врагам.

Товарищи все время получали предупреждения о шпиках и провокаторах, которые кишмя

кишели на каждом шагу. Очень важным по последствиям в этом смысле оказалось разоблачение деятельности Вилде. От него протянулись нити еще к двум-трем провокаторам, орудовавшим среди портовых рабочих и чуть-чуть не затесавшимся в ряды организации. Выявить их удалось уже Юрису Рубенису и его товарищам.

Жизнь стремительно шла вперед. Каждый день нес с собой новые события...

В один из первых теплых дней Жубур встретился на улице с Бунте. Карманы его пиджака по-прежнему оттопыривались от иностранных газет, но в остальном он сильно изменился. Во-первых, одет он был в новый, сшитый у лучшего портного костюм, без всяких следов «последнего крика моды», к которому Бунте всегда питал неодолимую слабость, — разве только ваты в плечах было подложено чуть-чуть больше, чем следовало бы. Ботинки на толстой подошве и каблуках настолько прибавляли ему росту, что его уже нельзя было назвать карапузом. Но глазное — в каждом его движении, в улыбке, в голосе появилась какая-то торжественность.

Жубуру сразу стала понятной причина этого превращения.

— Поздравляю, Джек. Давно? — сказал он, кивнув на обручальное кольцо, украшавшее руку его бывшего сослуживца.

Бунте так и просиял.

— С середины февраля. Да ты разве не читал в газетах?

— Проглядел, наверно.

— Ну как же, наши фотографии напечатали в нескольких газетах. «Еще одна свадьба в кругах нашей интеллигенции», — процитировал он.

— На ком же это ты? — спросил Жубур, чтобы только не молчать. Далекими-далекими казались ему теперь нудные послеобеденные разговоры с Бунте и тогдашние гнетущие мысли о бесцельности собственного существования. «Насколько я изменился за эти немногие месяцы», — с удивлением подумал он.

— Ну, на ком же еще... С прошлого лета эта история тянулась. Не помнишь разве?

— Фания Атауга? — улыбнулся Жубур.

— Она самая. Влюбилась ведь. Ну, думаю, в конце концов чего еще надо? И вот живем. Квартира из четырех комнат. Хорошая мебель, рояль, шестилампный приемник. Устроились ничего. Лето собираемся провести на Взморье.

— А с работой как? Больше, наверно, не охотишься за квартирами?

— Этого еще не хватало! Чего ради тогда бы я женился? Нет, брат, забирай выше. Мне старик все дела по посредничеству передал, я всем бюро теперь заправляю. А как ты поживаешь?

— Торгую книгами у Тейкуля.

— Тоже дело. Но на книгах далеко не уедешь. Жениться надо, Жубур. Только говорю как другу: гляди на приданое. Без этого никак нельзя.

— Надо будет подумать, — засмеялся Жубур.

— Чего тут думать, — загорячился Бунте, — действовать надо, а не думать. Ты уже в летах,

конечно, но еще недурен. Найди подходящую вдову, с домиком, с капиталцем — не откажет. Ну, прощай, старина. Мне надо бежать. Хочу приобрести собачку для Фании. На улице Кришьяна Барона продается щенок — шотландский терьер. Боюсь, как бы не перехватили...

Весеннее солнце, скворцы, новый костюм, рояль... Нет, иначе, как счастливым, Бунте нельзя было назвать.

Правда, счастье ему не с неба свалилось, как можно было бы заключить из его рассказа. Когда Фания поведала родителям о своем романтическом выборе, Атауга чуть не присел от неожиданности и несколько секунд хватал ртом воздух, точно, вытщенная из воды рыба.

— Бунте? Этот карапуз в широких штанах? Фани, дочка, да ты не бредишь ли? Ты бы лучше температуру измерила...

— Папа, может быть, тогда ты сам скажешь, за кого мне выходить замуж? — с ехидным смирением спросила Фания. — Ты же сам все время говорил, что лучшего агента, чем Джек, на свете нет. А теперь он плох стал?

Этот вопрос сбил с толку Атаугу. Он больше не стал умалять достоинств Бунте (ничего не скажешь — шустрый, шустрый малый!), а попробовал направить ее помыслы в другую сторону.

— Неужели ты не могла выбрать в мужа человека с положением? Из своего круга? Неужели в Латвии вывелись образованные и состоятельные люди? — кричал он.

— Я люблю Джека, — упрямо повторяла Фания. — Мне он и без образования и без положения нравится. И вовсе он не плохой.

В самый критический момент Фания увеличила вес своего Джека несколькими слезинками. Соответствующая чашка весов сразу потянула вниз, а тут еще подоспела на помощь мадам Атауга.

— Чего ты ее донимаешь, отец? — раздался ее внушительный голос. — Хочешь, чтобы она старой девой осталась? Или за старика думаешь отдать? Знаю я тебя, ты бы не прочь выдать ее за кого-нибудь из прежних дружков, с которыми бражничал в молодые годы. Об этом лучше и не думай... А этих лоботрясов-корпорантов, с которыми водится Индулис, мне и даром не надо. Бунте ничем не хуже других женихов — вежливый, скромный, от работы не бегаёт. Раз они полюбили друг друга — пусть и поженятся. Тебе же самому легче будет, когда знающий человек будет присматривать за делами. С тебя хватит уж — достаточно на своем веку потрудился.

— Так где же он тогда? — закричал окончательно сбитый со своих позиций Атауга. — Подавайте его сюда, если уж иначе нельзя. Эх, женщины, женщины!

Через месяц была отпразднована свадьба. Брат Фании Индулис демонстративно уехал в этот день к какому-то комильтону в Тукум и возвратился только через неделю. Знакомясь с зятем, Индулис не считал нужным скрывать от него свое пренебрежительное отношение. Первый его разговор с Бунте можно было бы охарактеризовать как единоборство язвительного остроумия и ослиного долготерпения. Конец ему положила Фания: — Поди лучше донимай своих буршей, а в моем доме веди себя повежливей...

Словом, Фания с первых же шагов семейной жизни обнаружила задатки бой-бабы. Во всяком случае шотландский терьер был вполне заслуженным подарком. 2

Юрис Рубенис чувствовал весну не только в природе, — весна была и в его сердце.

Посвистывая, спускался он в трюм парохода и втыкал свой крюк в крепежный лес или в

балки, перекачивал с ребра на ребро, двигал спрессованные кипы льна и связки фанеры.

— Чему ты все радуешься? — спросил его как-то форман[35]. — В лотерею, наверно, выиграл?

— Нет, форман, не в лотерею, — с веселой наглостью ответил Юрис. — У меня богатая тетушка собирается умирать. Вот я и думаю, как наследством распорядиться.

— Откуда же она у тебя взялась? Не в Америке ли объявилась?

— Нет, она в Латвии проживает — и в Риге и в других городах, — везде. У нее есть и заводы, и фабрики, и магазины, и пароходы. Скоро это все будет моим.

— Как же ты думаешь распорядиться своим наследством? — так же шутливо спросил его кто-то из грузчиков. — Придется тебе позвать на подмогу господ, — без них дело не пойдет.

— Пожалуй, на этот раз обойдусь и без них. Своих людей, что ли, не хватит? Взять хоть бы вас, друзья. Работенка для всех найдется! А вот ответь мне на такой вопрос: ты знаешь, почему памятник у киоска с колоннами назван именем Свободы?

— Ну, в честь свободы, наверно?

— Не угадал. Анекдот это старый, по правде говоря, но раз уж ты не слышал — расскажу. Когда ставят памятники? Обычно, когда помрет кто-нибудь из великих людей. Например, был у нас великий поэт Райнис[36] — ему после смерти поставили. Или вот тоже была у нас лет двадцать тому назад свобода. Много лет она болела и хирела, а в 1934 году скончалась. Тут ей и поставили памятник.

— Берегись! — раздается сверху окрик.

Визжат тросы и блоки, громыкает лебедка, сквозь окутывающие палубу облака пара в трюм подаются грузы. Но сегодня тяжелый труд уже не кажется таким утомительным: Юрис прозревает очертания завтрашнего дня. Этот пароход в будущем — его пароход. Все эти богатства, которые подвозятся грузовиками к пристани, скоро будут принадлежать ему. Все, все будет его. Вчерашний бедняк, у которого ничего не было, сегодня он чувствует себя богаче всех в мире. Его день грядет: народ — создатель всех богатств — вновь обретет похищенное у него добро. Старое уже не в силах удержаться, это ясно каждому человеку, читающему газету, слушающему радио. Люди, еще зимой распространявшие выдумки о советских «фанерных» танках, теперь молчат, словно воды в рот набрали. Вместе с линией Маннергейма Красная Армия разрушила бастионы международной лжи, и когда речь заходит о военной мощи Советского Союза, демагогам приходится помалкивать, чтобы не очутиться в смешном положении. Фанерные танки... Фанерные головы у тех, кто этому поверил, а вместо мозгов — опилки.

Народ чувствует рядом с собой присутствие могучего, непоколебимого друга, который не оставит его в часы испытаний, не позволит мракобесам растаптывать самые священные его права. Чаша долготерпения народного переполнилась, народ больше ждать не хочет. Не хочет и не может. Он постепенно выпрямляется во весь свой богатырский рост, грозно глядит в глаза своим угнетателям. Хватит, подлецы, сейчас мы требуем отчета!

— А вот еще анекдот про Ульманиса, слышал? — продолжает шутить с товарищами Юрис. — Приходит он раз на прием к самому Саваофу и заявляет: «Я потомок короля Намея». Бог чин-чином встает с престола, чтобы поздороваться, и только он привстал, как Ульманис — раз на его место. Бог и так, и сяк, и стыдит его, и по-хорошему — только чтобы сошел с престола, а наш Карл и ухом не ведет. Тут его начали уговаривать и ангелы, и апостолы, и ветхозаветные пророки — с Карла все как с гуся вода. Наконец, бог велел позвать апостола

Петра, — может, старик даст совет, как быть. Петр почесал за ухом, подумал немного, подошел к престолу и что-то шепнул Ульманису. И что вы думаете? Карл вскочил как ошпаренный — и без оглядки выскочил из райских ворот. «Что ты ему такое сказал?» — спрашивает бог у Петра. «Я только сказал, что в аду всех фотографируют», — ответил апостол Петр. На небесах все за животы держались от хохота.

Здесь, в трюме, тоже посмеялись: все знали, как любил Ульманис позировать перед фотоаппаратом.

— Лучше бы он там и остался на веки вечные, — говорили грузчики. — Совсем плох стал на старости лет Саваоф, если пускает на небеса всякую шваль.

Так они потешались в свободные минутки, поглядывая, нет ли поблизости формана или еще кого из хозяйских прихлебателей.

Но тут же можно было услышать и более серьезные разговоры:

— Говорят, фабрикант Аун грозился своим рабочим, — пусть, дескать, не радуются раньше времени и на его фабрику не зарятся. Если дело дойдет до больших перемен и крупные предприятия придется передать государству, он камня на камне от нее не оставит. Станки велит разбить, а корпуса взорвет.

— Так же вот грозился и Мелибренцис, — это у которого текстильная фабрика. «Готовую продукцию подпалю, а машины переломаяю. Моя собственность, куда хочу, туда ее и деваю. Вы со мной ничего не поделаете».

— Да, если мы будем глазами хлопать, так оно и случится, — сказал Юрис. — Они рады будут оставить народу одни развалины, довести страну до разрухи. Но уж тут нам, рабочему классу, придется глядеть в оба.

Он понизил голос, и товарищи теснее сдвинулись вокруг него.

— На всех предприятиях сейчас организуются группы самозащиты. На каждой фабрике, в каждом складе и магазине, на электростанциях и на телефонных узлах. Надо, чтобы рабочий глаз все время следил за нынешними хозяевами. Неужели мы им позволим портить наше же добро? Нет, народ должен получить его в целости. Только придется соблюдать строжайшую тайну: если это до хозяйских ушей дойдет, они только хитрее будут действовать.

Такие группы самозащиты стихийно возникали в те дни на многих предприятиях. Задолго до решающих боев рабочий класс встал на страже своего достоинства. И ничто не могло укрыться от зоркого ока этой невидимой, молчаливой стражи.

Юрис Рубенис рос, как росла большая часть портовой молодежи. Едва окончив школу, он уже стал помогать отцу на работе. Семнадцатилетним юношей наравне с другими грузчиками таскал на спине тяжелые кули сахару, муки и соли, задышался от пыли на складах льна. Ловко носился по сходням с тяжело нагруженной углем тачкой. Подобно своим товарищам, он тоже мечтал поплавать по морям, побывать в чужих странах, посмотреть, как люди живут. Но с него хватило одного рейса до бельгийских и французских портов: несмотря на крепкое здоровье, он при малейшем волнении валился с ног от морской болезни. Тогда Юрис решил, что надо крепче держаться за землю.

В тяжелом труде проходили годы. Сейчас, в двадцать семь лет, Юрис давно постиг все тонкости и тайны своей профессии. Он с одинаковой ловкостью справлялся с погрузкой и льна, и угля, и сплавного леса. Вполне освоился он и с работой на складах и на товарной

станции. Несколько зим Юрис пробыл на лесоразработках, а по веснам сплавлял плоты. На сплаве у него и завязалась тесная дружба с Петерем Спаре, а немного спустя и с его сестрой Айей. Первое время ему было просто приятно посидеть с ней, поговорить о людях, о книгах, пойти вдвоем в парк «Аркадию» или в Саркандаугаву, хотя ни он, ни она не были любителями танцулек.

Хотя Айя окончила среднюю школу, считалась интеллигенткой, это не мешало их дружбе. Да и не так велика была между ними разница в развитии. У обоих мировоззрение формировалось на работе в подпольной коммунистической организации, оба они росли под идейным влиянием Силениека. К тому же Юрис много читал, а жизненный опыт, опыт революционной борьбы помогал ему осмысливать прочитанное лучше, чем иному его сверстнику аттестат зрелости. Каждый раз накануне революционных праздников — Первого мая и Октябрьской годовщины — Юрис должен был прятаться у своих друзей, потому что обычно в это время его арестовывали и держали целую неделю в кутузке. Точно такие же меры предосторожности полиция принимала против многих активных рабочих: ведь красные знамена, появлявшиеся на заводских трубах, на крышах высоких зданий, расклеиваемые на стенах плакаты с лозунгами и листовки с воззваниями пуще всего пугали в эти дни охранителей ульманисовских порядков.

Юрис любил Айю. Судьба девушки ни днем, ни ночью не давала ему покоя. Он дышал живительным воздухом весны, а она задыхалась в тюрьме. «Лучше бы я был на ее месте, — часто думал он. — Здесь она делала бы не меньше моего, а я бы легче перенес тамошний режим. Я здоровее, крепче ее».

Он старался как можно чаще бывать в Чиекуркальне, у ее стариков. Последние дни всех троих донимала одна забота: как быть дальше, кто будет носить по пятницам передачу в тюрьму? Старик Спаре должен вот-вот уехать на сплав, а мать могла ходить только раз в две недели, когда работала в ночную смену, — да и то у них поговаривали, что летом вторая смена будет совсем отменена. Старикам трудно было перебиваться на три-четыре лата общего дневного заработка, и не раз уже случалось, что перед уходом Юрис отзывал в сторону мать Айи и всовывал ей в руку десятилатовую бумажку.

— Купите им чего-нибудь, когда пойдете туда... Если в этот раз пустят на свидание, не забудьте и от меня привет передать... Теперь уж им недолго ждать. Об этом мы здесь позаботимся.

В сумерках все предметы в комнате кажутся синеватыми. Или это дымит трубка Мартына Спаре? Они сидят и беседуют вполголоса о приближении весны и новой жизни. Иногда кажется, что и Айя и Петер здесь же сидят на своих обычных местах: один в углу комнаты, другая — у окна. Снова все вместе. Какое это было бы счастье! И оно придет... Должно прийти... В двери Латвии стучится весна! 3

Прамниек решил закончить свою большую картину до наступления лета, поэтому все дневные часы проводил в мастерской. Два-три часа работал с натурщиками, а остальное время — по эскизам и мелким наброскам углем. Он до того втягивался в работу, что Ольге только после усиленных уговоров удавалось вытащить его к вечеру на воздух. Но и во время прогулок он не мог ни говорить, ни думать о чем-нибудь постороннем, мысли его все время возвращались к картине. Заметив в толпе какое-нибудь характерное лицо, он дергал за локоть Ольгу, заставляя смотреть на него. Он мог по часу простаивать на месте, наблюдая за группой рабочих, перешивающих трамвайные рельсы, или у извозчичьей стоянки, глядя на какого-нибудь старичка, мирно дремлющего на козлах в ожидании седоков. Ольга давно привыкла к этому и терпеливо ждала, не надоедая разговорами.

Если кому из друзей хотелось повидаться с Прамниekom, тот должен был сам идти на улицу Блаумана. Чаще других заглядывал сюда редактор Саусум. Его длинные ноги легко взлетали

по бесконечным ступенькам до пятого этажа, — вот только сердце за последнее время стало пошаливать. Зато в мастерской он находил настоящий отдых, отводя душу в долгих разговорах с художником. Прамниек обычно показывал ему на удобное большое кресло, а сам продолжал работать у мольберта — в этом отношении он не делал исключения даже для Саусума.

Что сблизило этих людей? Во-первых, они работали в одной газете. Прамниек сотрудничал у Саусума в отделе искусств, писал о живописи и скульптуре. Кроме того, несколько месяцев тому назад их обоих довольно чувствительно оштрафовали за излишнюю откровенность. И так как охоты к разговорам случай этот у них не отбил, да и поговорить за последнее время находилось о чем, безопаснее всего было отводить душу с проверенным товарищем по несчастью. В редакции, в кафе, в фойе театра нельзя было вымолвить ни слова, не рискуя быть подслушанным. А там опять донос, и опять страдает карман. Тут никакой бюджет не выдержит.

— Слишком уж душно становится, — начинал Саусум. — Иной раз и сам не знаешь, что можно печатать, чего нельзя. Если в газете нет славословий Ульманису и дифирамбов пятнадцатому мая, то никогда не можешь быть уверен, что тебе не влетит от Валяй-Берзиня. Как ни расшаркивайся, как ни ползай на брюхе — им все мало.

— Надо больше писать про солнце, про цветочки, — не оборачиваясь, ответил Прамниек, — или еще о дамских модах, о новом галстуке принца Уэльского... Тема благодарная.

— Да мало ли мы печатаем подобной дряни!.. — Саусум снял роговые очки и долго протирал платком стекла. Как все люди, постоянно носящие очки, без них он казался старше; глаза у него были усталые, веки припухли. — Хочется дать народу что-нибудь посущественнее, над чем можно было бы поразмыслить, донести до него правдивые слова, а тут на тебе... Ведь все честные писатели и журналисты постепенно отходят от нас. Нейтральная тематика давным-давно исчерпана, да ведь и не в ней дело. Писателю хочется говорить с народом откровенно и говорить о самом насущном... Ты знаешь, что происходит с пивом, когда оно переставается в бутылке? Оно закисает и покрывается плесенью. Боюсь, что то же самое произойдет и с нашей творческой интеллигенцией: она скиснет и заплесневеет, если ее будут оттирать от жизненных проблем, заставят пережевывать собственные мысли. Вчера пригласил я к себе в редакцию Калея и попросил его написать статейку о походе студенческой роты, нечто вроде эпизода из времен «становления»[37]. Я знаю, что у Калек каждая копейка на счету: что заработает, то и съест. Вот и хотелось немного помочь. И можешь представить, что он ответил? Он-де не желает деквалифицироваться, ему, видишь ли, про студенческую роту ничего заслуживающего внимания не известно. Отказался, мошенник. И так со многими. И сила есть и талант, а приложить не к чему. В конце концов внутри все перебродит и заплесневеет.

— Не заплесневеет, Саусум. Скоро выскочит эта пробка — да еще с каким треском! Сам-то ты не чувствуешь разве, чем веет в воздухе?

— Чувствую, чувствую. Конечно, что-то должно произойти... Скажи, почему у тебя эти знамена до сих пор не закрашены, когда вся картина уже почти готова?

— Знамена я отделаю в самом конце. Видишь ли, они у меня должны составлять самое яркое пятно в картине. Надо найти соответствующие тона, а пока это трудно сделать.

— Вероятно, это будут красные тона? — хитро улыбнулся Саусум.

— Вполне возможно, — с той же хитрой улыбкой ответил Прамниек, — это видно будет потом.

— Выжидаешь пока? Гм... да... все мы так. Ну, а, по-твоему, красный цвет действительно

окажется для нас самым подходящим? Будет он гармонировать с расцветкой национального букета?

— Смотря на чей вкус... А ты что — боишься, Саусум?

— Я не знаю, Прамниек. Пока я ничего не знаю. Старым я сыт по горло, но вопрос в том, будет ли новое лучше старого. Я не знаю, каким оно будет, и это меня пугает. Ведь не забудь, что мы с тобой латыши, любим свой народ, свою культуру, свои обычаи — словом, все, из чего складывается самобытный облик нации. И я буду любить свой народ до гробовой доски.

— А кто же тебе не велит любить его? — спросил Прамниек. Он на минуту отложил в сторону палитру, чтобы набить трубку. — Назови мне такого человека. Кто же захочет слушать такого выродка?

— Никто тебе так прямо и не будет говорить, но мне кажется, что это новое веяние, этот интернационализм, или как там его, несет с собой какой-то трафарет. Может быть, я романтик-националист. Не из тех, конечно, которые норовят сейчас скроить из национальных костюмов знамя реакции, — ну их к черту! И пусть они водят свои хороводы, пока постолов не растеряют, — я в них участия принимать не стану. Но мне дорог язык моего народа, дорог латышский быт, народные обычаи, пляски и песни в ночь под Янов день[38] с дубовыми венками, с полыхающими смоляными бочками. А у интернационализма нет еще своих обычаев и традиций, он может дать только что-нибудь сшитое на скорую руку, не имеющее связи с прошлым, что-нибудь вроде выращенного в горшке комнатного растения, корни которого никогда не соприкасались с почвой.

— Слушай, Саусум, где ты нахватался такой чепухи? Не исходят ли все эти откровения из министерства общественных дел, не навеяны ли они академическими речами Аушкапа?[39] Тебе бы лучше, чем кому другому, следовало знать, что у них там, на Столбовой улице, специально посажен один предприимчивый специалист на фабрикацию самых нелепых слухов. Говорят, что сам Валяй-Берзинь просматривает каждый его проект, а после утверждения эти слухи распространяют в народе. Ох, боюсь, что ты, сам того не зная, напился из этого зловонного источника. Смотри, Саусум, так можно испортить себе желудок.

— Ну, а ты сам как? Ждешь чего-нибудь от этого... нового? Знаешь, что оно тебе принесет?

Прамниек пожал плечами.

— Я знаю, что тогда мне не придется писать одни натюрморты и голые тела. Искусство выйдет, наконец, из столовых и спален на солнце, на простор. Мои картины больше не будут служить украшением одних гостиных и кабинетов денежных тузов или министерских приемных, где их подбирают в тон к мебели. Пора уж поработать и для народа. Я сознаю, конечно, что ему не натюрморты нужны, — он потребует подлинного содержания, мысли... И я буду думать, буду искать. Вот тогда, Саусум, моя совесть художника будет спокойна. И ты не позволяй себя запугивать огородными пугалами. Почитай советские книги, послушай московское радио, узнай, как там живет народ. Сто народов в одной семье, и каждый сохраняет свое лицо, свои традиции. Нашим ура-националистам, конечно, не очень хочется повалить прогнивший националистический забор, который заслоняет от народа остальной мир. Они боятся, как бы он не заметил тогда тесноты нашего двора. Пескарю и пруд кажется океаном, а себя он мнит самой крупной рыбой в этом океане. Так почему же мы с тобой должны ограничиваться кругозором пескаря? А я вот не желаю прозябать в прудике. Я хочу в море.

Быстро, будто в сердцах, работая кистью, Прамниек оставлял на полотне резкие мазки. Клубы дыма окутывали его буйную шевелюру. Саусум поднялся с кресла, стал прохаживаться по мастерской взад-вперед.

— Если бы знать наверное, что будет... Ведь ты и сам толком ничего не знаешь, Прамниек. Ты все представляешь соответственно собственным желаниям.

— Возможно. Но мне кажется, что осуществление наших желаний в значительной мере зависит от нас самих. А пока что нам и желать-то запрещают. Пока мы должны довольствоваться тем, что нам преподносит клика пятнадцатого мая.

— Но ведь Калей вот не довольствуется этим. О студенческой роте писать не взялся.

— Что уж там говорить, Саусум, все мы только и делаем, что занимаемся болтовней. А это новое придет помимо нас, хотим мы его или не хотим. И не мы его принесем. Другие принесут его на своих сильных плечах. Принесут те, кто борется за это новое. Мы только языки чесать умеем, когда уж очень приспичит. А для честного человека этого маловато.

— Нас с тобой, значит, и честными людьми назвать нельзя?

— Во всяком случае мы могли бы быть почестнее. Может быть, со временем и станем такими. Будущее покажет.

Весеннее солнце пробивалось и сюда. 4

Официально Никур принимал посетителей два раза в неделю, но на практике дело обстояло иначе. Один приемный день выпадал потому, что по пятницам «превосходительство» выезжал на охоту и, следовательно, отсутствовал. Но и по вторникам дело обстояло не легче. Иной провинциал раз по десять приезжал в Ригу и часами сидел в приемной в тщетной надежде, что секретарь вызовет его, наконец, на прием к министру. В известной степени это делалось с умыслом: посетители могли собственными глазами убедиться, что Никур всегда по горло занят работой, что министром быть — дело не простое.

Нет если Никур принимал далеко не каждого встречного-поперечного, зато с теми, кто удостоивался такого внимания, он просиживал по часу и больше. Рассказывал анекдоты, расспрашивал о семье, а мимоходом решал и само дело, лишний раз подкрепив таким образом свою репутацию обаятельного человека. Что еще могло так польстить какой-нибудь учительнице, которая приехала из провинции попросить господина министра пожаловать на торжественный выпуск учеников ее школы, как проявленный им интерес к ее личной жизни? «Есть ли у вас семья? Как здоровье ваших деток? Из какой волости вы родом?» После такого приема она целый год без усталости рассказывала всем своим друзьям и знакомым о том, какой очаровательный человек господин министр, пека это не становилось известным всей округе.

Именно по этим причинам Никуру никогда не удавалось принять более трех-четырёх человек в неделю, хотя в телефонной книге и на дверях его приемной и уведомлялось, что принимает он по вторникам и пятницам от часу до четырех дня. Однако последнее время «превосходительство» стал несколько доступнее, в особенности для приезжих из провинции. Даже секретарь его не взялся бы объяснить причину такого внезапного интереса к этой категории посетителей. Известно было только, что министр не делает ничего без тайного расчета, — был, следовательно, какой-то смысл в приеме всех этих командиров айзсаргов, лесничих и председателей рыбацких обществ.

Зазвонил телефон. Спрашивал голос Гуны Парупе. Никур сделал знак секретарю, что хочет остаться один.

— Ну что у тебя, золотце? Что слышно нового?

— Альфред, милый, я хочу тебя спросить... Правда это, будто нынешнее правительство и ты тоже, милый, долго не продержитесь?

— Кто это тебе рассказывает такие глупости?

— Да все так говорят: И в кафе, и в театре, в трамвае — везде только об этом и шепчутся. Меня даже зло берет — почему все так радуются? Да еще смеются: «Интересно знать, куда удерут самые главные...» Альфред, объясни мне, за что они нас так не любят?

— За что им любить нас? — ответил Никур словами английского короля Эдуарда VII[40]. — Да ты не волнуйся, золотце...

— Значит, правда?

— Лучше отложим этот разговор до вечера. Я к тебе заеду.

Положив трубку, Никур облокотился на поручни кресла. Его одолевали мрачные мысли. «Конец недалек. Скоро придется давать ответ. За все, за все».

«Ты будешь висеть в петле... От нас ты не уйдешь...»

Ни день, ни ночь не давали покоя Никуру эти слова, как будто их выжгли в его мозгу раскаленным железом. Воздвигнутый шесть лет тому назад на лжи и на грубом насилии балаган пятнадцатого мая шатался, трещал и расползался по всем швам, грозя похоронить под развалинами своих строителей. Агенты ежедневно доносили о симптомах распада даже в той прослойке, которая считалась опорой режима. Крупные чиновники, состоятельные люди сломя голову спешили менять фамилии. Министр внутренних дел не успевал подписывать решения об утверждении новоиспеченных латышских фамилий. Так они старались запутать свои следы, изгладить из людской памяти свое прошлое. Как будто Фрейберг, превратившись в Бривкална, становился поэтому иным человеком, с иной биографией.

Многие из тех, которые еще вчера надрывали глотки во здравие Ульманиса и режима пятнадцатого мая, сегодня стыдливо, бочком выбирались через заднюю калитку со двора «вождя», искали знакомства и даже дружбы с пасынками этого режима, в надежде что те при случае замолвят за них доброе словечко. Иные вдруг принимались навещать давно забытых бедных родственников или старых кухарок, пускались с ними на откровенность, жалуясь на притеснения со стороны Никура и прочих. Многие теперь страстно стремились оказаться в числе пострадавших, чтобы запасть пропуском в новую жизнь, о которой у них было весьма смутное представление и которую они боялись и ненавидели.

А какие чувства испытывал сам Никур? Перед самим собой ему незачем было притворяться: животный страх и ненависть к народу, который грозил смахнуть его с вершины власти на свалку истории, не оставляли его ни днем, ни ночью. С ними он засыпал, с ними и просыпался. Страх и ненависть стали основной движущей пружиной его деятельности. Он еще что-то предпринимал, он боролся, стараясь укубить кого только можно. Охранка получила строжайшую директиву: ловить, сажать, никого не щадить. Еще неизвестно, при каких обстоятельствах произойдет их уход. Может быть, они еще хлопнут дверь.

«Черт бы их побрал — всех этих плакс, всех этих Кауленов и Лусисов; впору хоть стой возле них с платочком и вытирай мокрые носы — иначе народу нельзя показывать. А с тех пор как мадам Лусис привиделся дурацкий сон, муж ее окончательно ошалел и чуть ли не каждый день пристает к президенту с просьбами отправить его посланником в одно из балканских государств...» Сон был на редкость глупый. Жене Лусиса показалось, что бунтовщики перерезали ей горло и из него с бульканьем, как из крана, полилась кровь. Проснувшись от ужаса, она испугалась еще сильнее, когда увидела посреди спальни высокую белую фигуру. Это был «его превосходительство» Лусис. Министр финансов накануне здорово кутнул и среди ночи поднялся с кровати, чтобы утолить мучившую его жажду. Журчанье льющейся из графина в стакан воды и вызвало у спящей мадам такие ужасные ассоциации. На другой день она рассказывала сон всем женам министров, те — мужьям, после чего разразилась

сухая эпидемия снов — один кошмарнее другого, и следы ночных переживаний не сходили с лиц «превосходительств» даже днем. Какого же толку можно было ждать от этих людей? Никур сердился, презирал своих коллег, но страх изо дня в день все сильнее овладевал им самим, в особенности когда он оставался один. В обществе он еще держался, с его лица не сходила добродушная улыбка, он старался беспечной шуткой поднять дух своих скисших коллег.

Постучав в дверь, вошел секретарь.

— Ваше превосходительство, там пришла поэтесса Айна Перле. По вашему приглашению. Сказать, чтобы подождала?

— Перле? — Никур стал листать записную книжку. Верно, записана на сегодня, и рядом с фамилией стоит пометка о задании. — Впустить. Остальные могут не ждать. Я сейчас уеду.

Она вошла, откинула на шляпу черную вуалетку и улыбнулась, от чего на щеках ее образовались хорошенькие ямочки.

— Что с моим мальчиком? Почему он такой хмурый?

— Я устал, крошка. Ты ведь знаешь, каковы сейчас у нас дела.

— Ну, вот и улыбнулся и смотреть на тебя приятнее. А то сидит тут один и дуется... Агу-агу...

— Она потрепала его ладошкой по щеке и тут же поцеловала.

На щеке осталось пятнышко кармина. Айна Перле достала платочек и осторожно стерла следы поцелуя. Всегда улыбающаяся, нежная и полная юмора, она напоминала позванивающий и поблескивающий медный бубенчик.

Времени у Никура не оставалось. Он прервал щебетанье маленькой поэтессы:

— Про все эти разговоры в редакциях и кафе побеседуем в следующий раз. Все равно ничего нового в них нет. Брюзжать — брюзжат, а сами трясутся от страха... У меня к тебе дело, Айна.

— Слушаюсь, ваше превосходительство, — ответила она, сооротив наивно-послушную мордочку. — Я к вашим услугам. Надеюсь, ты не пошлешь меня куда-нибудь в глушь?

— Нет, ты по-прежнему остаешься в Риге. У тебя довольно хорошая репутация среди так называемых нейтральных поэтов. В политике ты не замешана. Считаешься представительницей прогрессивной интеллигенции. Короче говоря — в глазах наших врагов ты ничем не скомпрометирована. О нашей связи никто никогда не узнает. Значит, риска никакого.

— Я не совсем понимаю... Чего ты от меня требуешь?

— Коротко и ясно: ты должна приобрести доверие в кругах, близких советскому посольству. Постарайся проникнуть туда, стать там своим человеком. Если будет необходимо — поди в любовницы к какому-нибудь ответственному работнику, тут тебе поможет твоя наружность. Это, так сказать, исходный пункт твоей дальнейшей деятельности. Ясно?

— Ясно, — тихо, деловито ответила Айна. — А если ничего не получится?

— Надо сделать все, чтобы получилось. Так нужно. Когда придет время, мы тебя озолотим. Согласна?

— Разве я могу перечить своему милому мальчику?

— На некоторое время ты перестанешь бывать в министерстве. Я буду навещать тебя дома. Можешь иногда пройтись на мой счет в обществе. А теперь, дружок, тебе пора идти. Не сердись, у меня голова кругом идет от дел. Подумай сама, с чего начинать действовать. Новые времена — новая тактика. До свиданья, крошка.

Когда Айна Перле вышла, Никур велел подать машину.

— Я уезжаю в провинцию, — сказал он секретарю. — Буду звонить. Об этой поездке никому ни слова. Президент знает, где я буду находиться.

Таково было действие весеннего солнца на высшие сферы. 5

Чем богаче содержанием жизнь, тем быстрее созревает человек. Ярким примером этому был Жубур. Случайная встреча с Силениеком, ознаменовавшая решительный поворот в его жизни, пришлась на пору, когда он с особенной остротой осознал всю унижительную бессмысленность существования человека в капиталистическом обществе. То, что многим людям, а раньше и ему самому, казалось результатом личной удачи или неудачи, везения или невезения, приобрело очертания железного закона, действие которого он испытывал и на себе и на большей части окружающих. Возможно, что если бы ему удалось тогда найти штатное место, на котором он мог бы в какой-то мере приложить к делу свои знания и способности и которое обеспечило бы ему сносные условия существования, — возможно, что тогда его на некоторое время перестали бы мучить уродливые противоречия общественного строя. Но, увидев их однажды во всей неприкрашенной наготе, он вряд ли мог бы надолго успокоиться собственным крохотным благополучием.

Он очень болезненно чувствовал свое одиночество и, может быть, поэтому с особенной силой понял, как не случайна эта черта ни в его жизни, ни в жизни других людей. Ходячая житейская мудрость, веками вколачиваемая собственниками и блюстителями собственности в миллионы голов, учившая держаться за свое, думать лишь за себя, всегда давала достаточно богатые плоды. Питаться этой мудростью ни в самых примитивных, ни в самых изысканных ее разновидностях Жубур не хотел, — он достаточно читал и думал, чтобы знать, во что обходится она народу.

Однако при всем критическом отношении к миру, в котором он жил до первой встречи с коммунистом, Жубур в сущности оставался в тупике. И только когда Силениек познакомил его с работами Ленина и Сталина, когда Жубур прочел «Краткий курс», он начал постигать всю мощь революционной теории. Читая сочинения Ленина, «Вопросы ленинизма» Сталина и «Краткий курс», он в сущности впервыезнакомился с историей первой страны, где осуществлялся социализм. То, что он узнавал ранее о Советском Союзе, почти всегда исходило из источников, отравленных откровенной бешеной ненавистью или скрытой недоброжелательностью. А эти книги страница за страницей открывали ему, как воздвигался величественный новый мир, воздвигался героическими усилиями многомиллионного народа, воодушевленного всепобеждающей идеей коммунизма, на необъятных просторах огромного государства, а не в фантазиях утопистов.

В книгах Шолохова, Островского, Алексея Толстого и других советских писателей, которые Жубур прочел за зиму, он увидел, как рождался и строитель этого общества, советский человек, как, преобразуя мир, он преобразовывал свою душу. Теперь и его глаза стали приобретать зоркость. Многие явления, которые он раньше, наблюдая каждый день, считал естественными, вызывали в нем теперь острое возмущение, как будто он встречался с ними впервые.

Жубур был человек цельного характера. Осознав и прочувствовав животворящую правду коммунизма, он раз навсегда избрал себе путь, раз навсегда решил отдать все свои силы, всего себя партии, которая выводила латышский народ на широкий исторический путь. Он

уже не мог существовать иначе, — работа для партии, для народа стала для него жизненной необходимостью, как воздух, как хлеб. В этой работе с каждым днем крепло его мировоззрение. Смутный, неоформленный протест сменили твердые убеждения; стройная теория, опирающаяся на многовековые достижения науки, проверенная всем ходом истории, постепенно становилась оружием и в его руках.

Из исполнителя отдельных несложных поручений Жубур выростал в серьезного партийного работника. Обстановка была трудная: часто ему приходилось срочно принимать важные решения, руководить действиями своих товарищей. Как ему не хватало в такие моменты совета Силениека! Но жизнь требовала немедленных решений, и Жубур скоро понял, что избегать ответственности, ссылаться на свою неопытность было бы постыдным малодушием. Надо было думать о деле, а не о том, что частные ошибки могут уронить тебя в глазах товарищей. Зато необходимость каждый день преодолевать новые, не испытанные еще трудности закаляла его, заставляла расти быстрее.

Жубур еще ни разу не замечал, чтобы за ним велась слежка, хотя и мысли не допускал, особенно после истории с Вилде, что им никто не интересуется. Поэтому всякий раз, выполняя какое-нибудь рискованное задание, он действовал со всеми предосторожностями. Должность книгоноши значительно расширяла для него возможность конспиративной работы, но нельзя же было до бесконечности надеяться на недогадливость Вилде и его подручных. Разве им не могло прийти в голову, что в сумке книгоноши могут оказаться не только издания Тейкуля? «Никогда не следует умахлять сил противника, лучше заранее ждать от него всяких каверз, чтобы быть наготове», — говорил, бывало, Силениек, и Жубур старался не забывать его совета. Конечно, предусмотреть все опасности было невозможно, — вся его работа представляла собой цепь опасностей. Да ведь и грош цена такому подпольщику, который отступает перед риском. Рисковать надо было, но с умом.

В конце апреля с Жубуром произошел случай, показавший ему, что бывают положения, когда, невзирая на громадный риск, на очевидную опасность, приходится идти напролом. Он должен был встретиться с одним приехавшим из Лиепаи товарищем, чтобы передать ему директивы Центрального Комитета для лиепайской организации. Жубур познакомился с ним еще зимой, когда ездил в Лиепаю. Явка была назначена на одиннадцать часов вечера у железнодорожного виадука, между скотобойней и улицей Дунте. В десять часов Жубур вышел из дому и доехал на трамвае до центра. Погода была пасмурная, днем несколько раз принимался накрапывать дождь, и вечер обещал быть темнее обычного. Чтобы запутать на всякий случай следы, Жубур забежал на улицу полковника Бриедиса к одному знакомому и просидел у него чуть ли не целый час. У этого дома было одно незаменимое для конспиратора удобство: из негр можно было проходным двором выйти прямо на Промышленную улицу. Жубур не преминул воспользоваться этим преимуществом. Выйдя на Промышленную улицу, он направился мимо сада Виестура к улице Петерсала. И тут Жубур в первый раз убедился, что к нему «пришился хвост». Он шел по другой стороне улицы, в том же направлении, что и Жубур, лица его нельзя было рассмотреть из-за темноты. Когда Жубур ускорял шаг, тот начинал торопиться, Жубур шел медленнее — тот тоже. Расстояние между ними не уменьшалось и не увеличивалось. Дойдя до конца улицы, Жубур свернул направо, пересек трамвайные пути и медленно пошел по Выгонной дамбе, мимо забора товарной станции, в сторону скотобойни. До места явки оставалось километра два. Метров через сто он оглянулся, незнакомец по-прежнему двигался параллельно ему, как тень, которая не может отделиться от вызвавшего ее предмета.

Впервые Жубуру стало не по себе. «Конечно, — подумал он, — может быть, это просто филер обходит в положенные часы свой район, — заметил подозрительного человека и решил проследить за ним. Но и в этом случае нельзя подойти при нем к лиепайцу. Это все равно, что написать у товарища на лбу: „Обыщите меня — я везу конспиративные материалы“. В поезде его бы немедленно арестовали».

На другой стороне улицы показалась какая-то женская фигура, она шла навстречу. У Жубура сразу отлегло от сердца: очевидно, свидание. И женщина и незнакомец замедлили шаги; вот-вот они остановятся, поздороваются, и тогда можно будет спокойно продолжать свой путь. Но незнакомец не остановился. Он только внимательно оглядел женщину, обернулся еще раз, когда она уже прошла мимо, метнул быстрый взгляд на Жубура и продолжал идти дальше. «Теперь окончательно ясно, что это шпик. Он не отстанет до конца». А товарища надо было встретить во что бы то ни стало — лиепайская организация ждала указаний Центрального Комитета, и другой возможности передать их в ближайшее время не предвиделось. Надо было что-то придумать немедленно, в несколько минут. До виадука Выгонной дамбы оставалось совсем немного, а за ним начиналась бойня. Надо было или немедленно отвязаться от шпики, или изобличить его на месте. У виадука Жубур остановился, сделал вид, что у него развязался шнурок на ботинке, и долго возился, завязывая его. Шпику поневоле пришлось первому пройти под виадуком. Забор, огораживавший треугольником территорию боен, образовывал в этом месте угол. Одна сторона треугольника тянулась от Выгонной дамбы параллельно железнодорожным путям к улице Дунте, другая — вдоль Выгонной дамбы, а третья шла вправо от Конного базара и на расстоянии полукилометра смыкалась с первой под острым углом. «Если шпик пойдет по Выгонной дамбе, я сверну направо, — думал Жубур, развязывая и завязывая шнурок. — Пусть идет вперед и выбирает направление».

Когда он вышел из-под виадука, шпик уже перешел улицу и стоял у угла забора. Заметив, что Жубур идет в его сторону, он медленно двинулся вправо вдоль забора. Жубур уверенным, неторопливым шагом дошел до угла и круто повернул влево. Наконец, тень отделилась от него! Жубур пошел быстрее и шагов через сто оглянулся... Шпик больше его не преследовал.

Теперь, чтобы окончательно отвязаться от шпики, надо было пропустить его вперед, отстать от него. Шпику оставалось пройти вдоль забора около шестисот метров, а Жубуру — почти вдвое большее расстояние. Он шел медленно, давая фору своему противнику. Как бы тот ни медлил, ему все равно пришлось бы достигнуть острого угла треугольника минут на пять раньше Жубура.

Когда Жубур дошел до этого угла, шпик с задумчивым видом подходил к перекрестку. От неожиданности он вздрогнул и стал нервно насвистывать. Свет фонаря позволил Жубуру на мгновение увидеть его лицо. И он узнал франтоватого субъекта, с которым подрался на дюнах и которого не так давно видел на Кленовой улице у старого гаража.

Если бы Понте подозревал, какая опасность угрожала ему в этот раз, он бы не насвистывал, а сунул бы руку в карман, где лежал револьвер. Жубур решил идти напролом. Самое позднее через десять минут он должен встретиться с лиепайцем. Если шпик не уберется с дороги, то... придется разделаться с ним один на один. Удар ладонью по горлу может сбить с ног и атлета. Место было пустынное, и подалее от фонаря можно было сделать это, не производя шума. «Можно ли убить змею, которая готовится ужалить тебя?» И Жубур тут же ответил самому себе: «Да, можно».

Пропустив вперед Понте, Жубур шел за ним шагах в двадцати по узкой извилистой тропинке, протоптанной прохожими. Очевидно, темнота и безлюдье нервировали Понте, — он пошел быстрее, чтобы скорее дойти до следующего фонаря. Но Жубур не отставал. Он почти бежал. Понте оглянулся и пошел еще быстрее. Это уже походило на преследование. Достигнув самого темного места, Жубур заметил налево забор с широко распахнутыми воротами. Во дворе, у самого забора, стояла старая дуплистая ива. Не колеблясь ни секунды, Жубур быстро бросился в ворота и встал за толстый ствол дерева. Оказалось, что он попал на двор лесопилки; поодаль виднелись смутные очертания штабелей теса. Сторожей поблизости не было. Жубур стал наблюдать за Понте. Пройдя еще несколько шагов, тот оглянулся и остановился. Постоял несколько минут, потом нерешительно направился в сторону боен.

«Вот это породистая ищейка, — подумал Жубур, — какая настойчивость!» Понте действительно напоминал потерявшую след собаку. Он шел, все время оглядываясь, рука его сжимала рукоятку револьвера. Жубур дождал еще немного, затем снова вышел на тропинку и пошел прямо к перекрестку, на улицу Дунте. Еще издали он увидел медленно направлявшегося ему навстречу мужчину. Они остановились в тени забора и пожали друг другу руки. Жубур тут же отдал товарищу драгоценные материалы, ради которых десять минут назад мог уничтожить человека, если бы не эти ворота. Жубур знал, что товарищи осудили бы его, но в этот вечер он готов был преступить неписанный закон большевистского подполья, если бы не нашел иного выхода.

Через минуту Жубур и липайский товарищ уже разошлись в разные стороны. Домой Жубур пошел другой дорогой. Теперь он был покоен. Если бы к нему и пристал какой-нибудь субчик с улицы Альберта, он бы и в ус не дул. В кармане у него ничего не было. «Теперь Лиепая себя покажет, — думал он, — и как покажет!» 6

Вилде дал честное слово, что перестал работать в охранке, и Мара ему поверила. Будь положение в стране более спокойным, продли Штиглиц двухнедельный отпуск Вилде до месяца — вполне возможно, что он окончательно заглушил бы ее сомнения; Но, как на грех, именно теперь пришлось мобилизовать весь аппарат охранного управления, и агенты работали круглыми сутками. Смешно было соваться в такой момент к Штиглицу, ссылаться на сложившиеся в семье обстоятельства. Рыжий поднял бы его на смех. Тут государство вот-вот к черту полетит, а он с семейными обстоятельствами!

Феликс старался день и ночь. Группы его агентов из сил выбивались, доставая доказательства для обложения штрафами и для арестов. Более крупными операциями Вилде руководил сам. Небольшой конфуз с облавой на гараж репутации его поколебать не мог. Если там и не оказалось тайной типографии, это еще не означало, что там ее никогда не было. Коммунисты могли заблаговременно перевести ее в другое место.

Редко он возвращался домой раньше десяти часов вечера. Случалось, что его вызывали среди ночи на экстренное совещание к кому-нибудь из директоров пароходства. Мара испытывала в этих случаях двойственное чувство: с одной стороны, ей было легче, когда Вилде не было дома, возле нее, с другой — у нее опять начинали просыпаться подозрения. Но она старалась отгонять их.

Однажды, возвращаясь с репетиции, Мара встретила на улице с Жубуром. Он был не один, подошел к ней на минутку и успел только шепнуть, что два дня тому назад в одной из небольших типографий был произведен обыск, при котором присутствовал ее муж. Больше он ничего не сказал и поспешил проститься.

Только отойдя от него на несколько шагов, Мара поняла, что он сказал, и вспыхнула. «Значит, Феликс и не думал уходить оттуда, а я так сразу и поверила... Поверила, что волк может уйти из волчьей стаи...» Она с новой силой почувствовала свое унижение: осталась жить с ним, чтобы связать ему руки, а он преспокойно обдeldывал свои подлые делишки, наслаждаясь уютом домашнего очага.

Вилде вернулся домой после двенадцати. Мара равнодушно спросила, где он был, и так же равнодушно выслушала его ответ. Но внутри у нее все дрожало от чувства гадливости, когда она встречала его улыбающийся взгляд, слушала искусно придуманные объяснения. Он с таким естественным раздражением вышучивал старика Юргенсона: у него, видите ли, бессонница, а сотрудники должны часами терпеть и выслушивать его болтовню.

Да, Вилде в совершенстве владел искусством лжи. Прожженный, многоопытный подлец.

Объяснение произошло утром, после завтрака. Мара просто, не повышая голоса, сказала:

— Итак, ты продолжаешь работать в охране. Сколько тебе теперь там платят?

— Кто тебе сказал? — быстро спросил он.

— Не ты, конечно. Но я это знаю точно. Можешь не трудиться, не лгать, — я все равно не поверю ни одному слову.

У Вилде на этот раз не хватило выдержки. Он покраснел, замолчал. Но штиглицовская выучка что-нибудь да значила. Он быстро овладел собой.

— Какая ты проницательная женщина, ничего от тебя не скроешь... Ну что же, отпираться бесполезно. Да, я работаю... И я работаю, и все работают, — раздраженно повторил он. — И никто для меня не будет делать исключения.

— Ты же сказал мне, что ушел оттуда. Зачем ты солгал, когда тебя никто об этом не просил...

— Ради тебя, Мара, ради твоего спокойствия. Хотел пощадить... твои предубеждения. Боялся осложнять наши отношения.

— Осложнять отношения? Да всякий нормальный человек удивился бы, как мы еще можем жить вместе.

Вилде от волнения засунул в рот зубочистку, но тут же с досадой отбросил ее.

— Мара, я ведь люблю тебя. Этим все объяснено.

— Какая это любовь! Как совместить любовь с такой грязью, с такой постоянной, систематической ложью?

— Дай мне сказать, дорогая. — Вилде потянулся к ее руке, но Мара резким движением отдернула ее. — Не всегда же я лгу. То, что я тебя люблю, — святая истина, в этом ты не можешь сомневаться. Я горжусь тобой. Я хочу, чтобы ты была самой элегантной дамой в Риге, и все делаю для этого. Разве это не правда?

— Это элегантность уличной девки! — крикнула Мара. — Только те честнее...

— И что у тебя за страсть все преувеличивать! Пора тебе, Мара, научиться понимать политику...

— Твое счастье, что я слишком плохо понимала ее.

— Послушай же меня, наконец, дай мне договорить. Помнишь, я тебе рассказывал, что был у Штиглица. Я действительно был у него и с трудом убедил его дать мне увольнение. Но когда дело дошло до министра внутренних дел, тот наложил вето. Еще и рыжего обругал за то, что согласился на мой уход. Что же мне теперь делать, если министр не отпускает? Хочешь не хочешь, а работать надо.

— Не верю ни одному твоему слову. Никогда больше не поверю, Феликс Вилде.

— Очень жаль. Тогда мне непонятно, как мы будем дальше жить.

— Мне тоже непонятно.

Феликс уже нервничал. Он прошелся по комнате, закурил папиросу и, сделав несколько затяжек, бросил ее в пепельницу. Но он не забыл мимоходом заглянуть в зеркало и поправить галстук.

— Мара, — начал он патетическим тоном, — разве для тебя уже ничего не значат пять лет взаимной любви и счастья? Мы жили одной жизнью...

— Я в твоих делах участия не принимала...

— Я и сейчас думаю только о нашем будущем, — продолжал Вилде, не обращая внимания на замечание Мары. — Сейчас, дружок, не время для ссор и взаимных обвинений. Мы переживаем серьезный момент, чрезвычайно серьезный. Приближается буря... Каждое живое существо ищет надежного убежища. Пора и нам подумать об этом. Сейчас не ссориться надо, а помогать друг другу.

Молчание Мары ободрило Феликса. Он сел и продолжал уже более спокойно, рассудительным тоном:

— Зачем притворяться, что мы ничего не видим и не понимаем: нам грозит беда. Под нами все клокочет, как перед землетрясением. Пока неизвестно, как далеко все это зайдет, но надо готовиться к худшему. Сейчас каждый человек, отдающий себе отчет в происходящем, думает о том, что ему придется отвечать за прошлое, старается устранить из него компрометирующие обстоятельства. В моей жизни не все шло гладко. Сейчас я от души сожалею об этом, и если бы у меня была возможность заново прожить последние десять лет, я бы прожил их по-другому, совсем по-другому... Но так как это невозможно, то помоги мне хоть сейчас начать новую... жизнь. Помоги мне устроить ее по-твоему. Один я ничего не добьюсь, с тобой — всего.

Мара молчала.

— Переменим фамилию, — продолжал Феликс. — Это надо сделать совсем не потому, что я связан с охранным управлением. Об этом не узнает никто. По этой части мы можем смело положиться на Штиглица. Все следы будут замечены. Но вообще с новой фамилией мы будем морально чувствовать себя иначе. Больше ничто не будет напоминать об исковерканном прошлом. Как по-твоему, не принять ли нам твою девичью фамилию? Павулан — это и звучит неплохо. Правда ведь?

— Здесь я с тобой согласна, — ответила Мара. — Фамилия Павуланов ничем не запятнана.

— Значит, так и сделаем? — Феликс счел ее замечание за согласие. — Затем нам следовало бы несколько расширить круг знакомых. Завести новых друзей. Здесь я тоже рассчитываю на твою помощь. Среди твоих знакомых найдется немало прогрессивных людей. С Прамниеками надо встречаться почаще, — последнее время мы что-то совсем не видимся с ними. Само собой разумеется, что мы должны укрепить родственные связи — я говорю о твоих стариках. Давай съездим к ним в воскресенье. Мы, кстати, давно там не были. Я бы ничего не имел против, если бы отец пригласил к обеду кое-кого из своих товарищей рабочих. Расходы мы возьмем на себя. А главное — хорошо бы нам заручиться дружбой с Жубуром. Имей в виду, что если настанут иные времена, он будет играть довольно видную роль. Не мешает пригласить его как-нибудь в гости, такое знакомство всегда пригодится. Знаешь, как крестьяне говорят: хороший хозяин с зимы борону готовит.

— Ты все сказал? — спросила Мара.

— Да... пока все.

— Ну, так запомни раз навсегда: с меня довольно этой жизни. Ты грязный человек, Вилде. Я еще понимаю, если бы ты шел своей дорогой до самого конца, тогда по крайней мере можно было бы сказать, что у тебя есть убеждения. Но ты просто мелкая продажная душонка, готовая угодить каждому, кто захочет тебя купить. Мне тошно смотреть на тебя... Не подходи ко мне... Молчи... Я больше не хочу тебя видеть!..

Через несколько дней высшие круги рижского общества облетела новость: известная актриса Мара Вилде разошлась со своим мужем, талантливым юристом. О причинах развода никто ничего не мог сказать, все только плечами пожимали. Жили как будто дружно, Феликс Вилде везде слыл остроумным, приятным человеком. Вероятно, всему виной какие-нибудь капризы жены. Вот уж неуравновешенная публика все эти актеры, композиторы, художники. Сами не знают, чего хотят. Одним словом — богема.

Причина развода была известна только бывшим супругам. И еще Жубуру. Но все трое молчали. На театральных афишах имя актрисы печатали теперь по-другому: Мара Павулан. 7

Оттилия Скулте проводила до двери господина, по покрою костюма и манерам смахивающего на иностранца, и стала ждать в гостиной, пока к ней не вышла Эдит.

— Наверно, из приезжих? — поинтересовалась сводница. — У нас так не одеваются. Случайно, не англичанин?

— Нет, не англичанин, — ответила Эдит. — Но в Англии он бывал.

Полуденное солнце било в окна. Зеркало отбрасывало сноп ослепительных лучей, и Эдит пришлось его заслонить. Она переставила в прическе шпильки, уложила несколько развившихся локонов и достала из сумочки губную помаду.

— Госпожа Скулте, вы можете позвонить Зандарту. Скажите, что я хочу его видеть. Пусть приезжает обязательно.

— Сейчас?

— Чем скорее, тем лучше. Не могу же я целый день занимать вашу квартиру.

«Сильная женщина», — подумала Скулте, выходя из комнаты. Пока она созванивалась с Зандартом, Эдит занялась своей наружностью. Тщательно подкрасила губы, прошла пуховкой по лицу, чуть-чуть подвела брови. Бедному толстяку готовилась жестокая участь — в этот день он должен был окончательно ошалеть, потерять голову.

— Госпожа Скулте, у вас больше не осталось моего любимого коньяку?

— Есть одна бутылочка, я ее берегу на особо важный случай.

— Ну вот она и понадобилась. Хочу побаловать сегодня Зандарта. Будьте так добры, милая, накройте стол, — только не здесь, а в той, дальней комнате. Рюмочки, шоколадные конфеты, лимон. Что еще? Ну, да вы сами лучше знаете...

Услышав звонок, Эдит ушла в дальнюю комнату и села у окна, закинув ногу на ногу. Ее светлые волосы отливали на солнце золотом, лоснился черный шелк, плотно облежавший ее великолепную фигуру.

Зандарт, запыхавшись, вбежал в комнату.

— Госпожа Эдит, извините, пожалуйста, за маленькое опоздание. Связался с одним коннозаводчиком. Какого он мне двухлетка показал... Уже сейчас, по обычной дороге, — одна минута пятьдесят секунд... Представляете, что будет через два месяца, если его потренирует Эриксон!

— А вам не хочется назвать эту лошадку моим именем? — улыбнулась Эдит.

— Как же... ведь это жеребец.

— Жаль, жаль, Гуго. Сегодня я бы позволила вам.

«Гм... Гуго...» Зандарт не верил своим ушам. Как это надо понимать? Видимо, сегодня можно на что-то рассчитывать. Зандарт даже расчихался от волнения и, не зная, что говорить, только гладил руку Эдит.

Наконец, он нашелся:

— Тогда я назову его Эдием! Эдий и Эдит — ведь это почти одно и то же!

— Лучше назвать его Гуго, — холодно сказала Эдит. — Оба вы не в меру резвы.

— Что-то я ни одного приза не получил за свою резвость, — уныло сострил Зандарт.

— Лучше налейте коньяку, — поспешила перейти на другую тему Эдит. — Знаете, в честь чего эта бутылка? Сегодня исполнилось ровно полгода со дня нашей встречи в этой комнате.

— Да, это в своем роде юбилей, — немного повеселев, ответил Зандарт и стал разливать коньяк.

После этого он достал из кармана очередной список с плюсиками и минусиками и стал подробно его комментировать. Однако вся красная и крупная рыба уже давным-давно была выловлена, оставалась лишь разная мелюзга — ремесленники, мелкие торговцы и служащие. Но Эдит не брезгала и таким товаром: когда-нибудь все пригодится. Спрятав список в сумочку, она принялась усиленно угощать коньяком Зандарта, чтобы в точности исполнить приказание ушедшего недавно иностранца.

— Гуго, — начала она тихо, — пора нам до конца выяснить наши отношения.

— Вот это правильно, — подхватил обрадованный Зандарт, по-своему понявший ее слова. — Давно пора.

— Отлично, Гуго. Оказывается, мы оба пришли к одинаковому выводу. Скажите без утайки: вы бы женились на мне, если бы были свободны?

— Какой может быть разговор? Да я...

— А если я захочу этого? Потребую даже?

Зандарт замялся. Такая мысль не приходила ему в голову. Откровенно говоря, она даже немного остудила его пыл. Он был вполне доволен существующим положением вещей. Как-никак, с семьей он вовсе не собирался расставаться, а молчаливое попустительство Паулины позволяло ему чуть ли не каждые полгода менять любовниц. Вот еще не было печали...

— Для меня это было бы весьма, весьма желательно... — неуклюже начал он, предоставляя Эдит самой судить о степени его желания. — Можете мне поверить...

— Ну, я так и думала, — рассмеялась Эдит, — желательно-то желательно, а разводиться из-за меня вы не хотите. Ну, успокойтесь, успокойтесь, Гуго, я от вас такой жертвы не потребую. («Вот идиот, не может даже скрыть свою радость».)

— Да вы все дразните, — оправдывался Зандарт. — Так уж вам и понадобилось выходить за меня!

Эдит покачала головой.

— Напрасно вы спешите с такими выводами. Другое дело, если вам это не улыбается, если вы не хотите...

— Да господи, — вырвалось у Зандарта, — когда я так говорил? Сами мучаете меня столько времени, за нос водите, а теперь я же и...

— Мучаю? — Эдит вдруг стала задумчивой. — От кого же зависит, чтобы эти мучения кончились? От вас же, только от вас. Если бы вы захотели — хоть сегодня же...

— А что, что для этого нужно?

Эдит достала из сумочки листок бумаги, на котором было написано несколько строк, и подала ему:

— Подпишите вот это — и ваши мучения кончатся.

Зандарт чуть не выхватил у нее этот листок, быстро пробежал его глазами и вдруг сразу изменился в лице.

— Да что же это такое?.. — забормотал он испуганно. — Откуда я мог знать... Я ведь все время думал, что работаю против немцев... Что вы мне тогда говорили...

— Перестаньте волноваться, — остановила его Эдит. — Вы работаете на пользу своему народу. А если при этом немного поможете и Германии — беды большой в том нет. Скоро надо ждать важных перемен. Вот тогда вы и сами поймете, что, работая на Германию, вы сможете быть полезным и своим соотечественникам.

— А если это против моих убеждений? — сделал попытку выкарабкаться Зандарт.

Эдит пренебрежительно махнула рукой.

— Не смешите. Какие у вас могут быть убеждения? Да и на что они вам? У вас есть кошелек с деньгами, есть конюшня, кафе. И еще желание пожить в свое удовольствие. Вот и все ваши убеждения. О таких вещах лучше помалкивайте. И потом, если уж вы заговорили об этом, разрешите напомнить вам, что вы давно связаны с нами. Списки-то кто составлял? Чьей рукой они сделаны? Если их все собрать — получится очаровательная коллекция...

— Да ведь это форменный шантаж! — вскрикнул Зандарт. Ему уже мерещились разные ужасы.

— Перестаньте ломаться, Гуго, подписывайте скорее. Мне это уже надоело, — нетерпеливо сказала Эдит.

Зандарт сразу присмирел.

— А что я тогда должен делать? — покорно спросил он. В этот момент он походил на осужденного, который спрашивает палача, не натрет ли ему петля шею.

— Ничего особенного мы от вас не потребуем. Ваше кафе находится в самом центре, оно пользуется популярностью. Мы хотим получить его в свое распоряжение. Не пугайтесь, — вы по-прежнему останетесь его владельцем, вся прибыль будет идти в ваш карман. От вас хотят только одного — не мешайте нашим действиям. Во-первых, придется уволить нескольких официанток и заменить их другими. На этот счет тоже можете не беспокоиться — мы пришлем вам хорошеньких. Потом надо будет произвести кое-какой ремонт, улучшить акустику и так далее. Все это будут делать наши люди, за наш счет. Вот и все. Как видите, ничего страшного.

— Ну, если так, тогда еще ничего, — облегченно вздохнув, сказал Зандарт. — Только чтобы никто не узнал об этом.

— В этом мы заинтересованы больше вашего.

Эти слова настолько успокоили Зандарта, что он уже начал приходить в игривое настроение.

— А как насчет вашего обещания? Сегодня?

— Ну да, да... Вот ведь Фома неверующий. Зандарт достал вечное перо и медленно вывел подпись, которая сделала его агентом германской разведки.

Глава шестая

1

Кристап Понте так загулял, как будто спешил напоследок испробовать все доступные ему удовольствия. Каждую ночь он проводил в каком-нибудь баре и каждый раз в новой компании. Когда он явился, наконец, в ресторан «ОУК» к своей приятельнице Сильвии, она встретила его горькими упреками:

— Ты не заблудился случайно, Кристап? Тебе, наверно, дали неправильный адрес. Здесь не «Альгамбра» и не «Фокстротдиле»...

— Будет тебе болтать, Сильвия, — устало ухмыльнулся Понте. — Тут работы до черта, а ты еще со своей ревностью. Скажи спасибо, что хоть сегодня вырвался.

— Так я тебе и поверила, — не сдавалась Сильвия. — Приятно, думаешь, каждый вечер проводить с кем попало? А куда деваться, если тебя нет и нет? Камни есть не станешь.

— Ага, ждала все-таки? Ну, ничего, постараемся наверстать. Освобождайся сегодня пораньше — и едем прямо к тебе. Захватим и выпивки и закуски.

— Только ты лучше сам поговори с управляющим, чтобы отпустил.

Понте поговорил с управляющим, и после двенадцати Сильвию отпустили домой. У нее была на Мариинской улице маленькая квартирка, даже с телефоном. Понте первым делом позвонил начальству, доложил о своем местонахождении. Потом он опустил на тахту, посмотрел на Сильвию с многообещающей улыбкой. Сильвия мигом сообразила, в чем дело, и до тех пор ластилась к Понте, пока тот не вынул из кармана маленький футлярчик, повертел его перед глазами Сильвии и тогда только положил ей на колени.

— Это тебе. В полное распоряжение.

В футлярчике оказался довольно крупный рубин на золотой цепочке. Сильвия заахала и побежала к зеркалу.

— С ума сошел... Прямо с ума сошел... Так тебе никакого заработка не хватит, Кристап. Нет, это же настоящий рубин...

— Настоящий, настоящий. Я эрзацев не признаю.

— Какой ты миленок! А все-таки сколько же ты заплатил? Так, для интереса, скажи.

— Ничего не заплатил. Еще мне приплатили. Накрыл одного ювелира на контрабанде, — дальше все понятно: хочешь — по-братски поделимся, хочешь — отсиживай свое... Что ему

еще оставалось? Вот эту штучку я приберегу для тебя, а остальное продал ему же по рыночной цене. Деньжонки всегда пригодятся.

Полтора суток не выходил Понте от Сильвии. Звонок Вилде застал его в разгар похмелья.

— Когда только дадут покой, проклятые! — ворчал он, поднимаясь с постели и продирая глаза. — Дня не могут обойтись.

— Прекращай пьянку и изволь через полчаса быть в министерстве, — услышал он суровый голос. — Будешь сопровождать министра в дальнюю поездку. Я тоже еду.

— Понимаю. Ладно. Сильвия! — крикнул он, кладя трубку. — Сельтерская есть?

За полчаса Понте успел и умыться, и одеться, и даже опохмелиться двумя стаканчиками водки, после чего отправился в министерство. Полуденное июньское солнце размаривало Понте, ему скорее пришелся бы по вкусу пасмурный, прохладный денек. Перед зданием министерства стояли три закрытые машины. Понте знал их все. Новый лимузин — министра. Другая — из штаба айзсаргов, а в третьей Понте не раз и сам ездил с ответственными поручениями.

— Садись сюда! — окликнул его Вилде. Он сидел рядом с шофером. — Не к чему торчать на тротуаре.

Никур вышел из министерства точно в назначенное время. На нем был его обычный охотничий костюм: высокие сапоги, бриджи, жокейский картузик.

Первой тронулась штабная машина, в которую сели несколько айзсарговских офицеров. За ней тронулся лимузин Никура, а Вилде и Понте замыкали этот примечательный кортеж.

«Видно, его превосходительство вздумал съездить на охоту, — решил Понте. — Значит, будет выпивон». Эта перспектива несколько подняла его дух, иначе бы он совсем впал в уныние. Его отчаянно укачивало от быстрой езды, в окно летела пыль столбом, а попробуй поднять стекло — тут же начнет мутить. Так он всю дорогу и мучился со своими переменчивыми настроениями, не обращая внимания на красоты природы.

Машины, не сбавляя хода, неслись вперед, к северу, — туда, где начинались большие леса. На полях еще шла бороньба и сев. Пастухи, оставив на минутку коров и овец, подходили к обочине дороги поглазеть на нарядные, сверкающие лаком машины, мчущиеся по гладкому асфальту. Иные кидали вслед камнями и долго потом смеялись, когда удавалось попасть в колесо. Машины неслись все дальше и дальше, оставляя позади то мост, то старую придорожную корчму, словно пригорюнившись от воспоминаний по минувшим веселым временам. Мелькнул белый столб с надписью «Сигулда», остался в стороне городок Цесис. Еще полчаса сумасшедшей гонки — и машины свернули направо по большаку, пугая крестьянских лошадок, шарахавшихся в стороны при виде такого непонятного явления, как повозка без четырехногого тягача. Крестьяне слезали с телег и держали лошадей под уздцы. Одна женщина даже накинула на голову своей сивки большой платок, чтобы невиданные чудища не напугали ее. Но лошадка не могла устоять на месте, — она брыкалась с громким ржанием, вставала на дыбы, пока телега вместе с молочными бидонами не опрокинулась в канаву.

Машины продолжали мчаться вперед. «Превосходительство» спешил к месту охоты. Только раз Никур велел остановить машину. Посреди поля, вдали от хуторов, перебежал дорогу одичавший черный кот. Спрятавшись в гречихе, он, как черт, поблескивал оттуда зелеными глазами и бил по земле хвостом. «Превосходительство» был суеверен, он не мог пренебречь такой дурной приметой.

— Перегоните его обратно через дорогу! — крикнул он своим спутникам.

Понте, шоферы, офицеры выскочили из машин и по всем правилам обложили залегшего в гречихе зверя. Они промучились с четверть часа, пока не выгнали оттуда кота. Только когда Понте с пронзительным криком метнул в него огромный ком земли, разбойник понял, чего от него хотят, двумя прыжками перемахнул через дорогу и скрылся. Теперь можно было спокойно ехать дальше. Никур взглянул на истоптанную гречиху, но ничего не сказал. Понте и офицеры никак не могли отдышаться от усталости. Только Феликс Вилде, не считавший нужным принимать участие в охоте, усмехался, глядя куда-то в сторону.

Через полчаса машины свернули на неровную лесную дорогу и, взяв самую малую скорость, стали пробираться вглубь старого бора.

Могучие сосны, перегоняя старые темные ели, тянулись к солнцу. Испуганный тетерев перепорхнул через дорогу и скрылся в чаще. Гулкий шум ветра шел по вершинам, а внизу, журча свои песни, тайно крались меж корневищ и кустарников темные воды ручьев в своем неустанном стремлении к Гауе и еще дальше — к морю.

Далеко от опушки, в самой чаще, стоял бревенчатый дом лесника. Навстречу машинам выбежала целая свора собак. Они не уgomонились до тех пор, пока их не загнал в сарайчик лесник — пожилой человек небольшого роста. Он вытянулся в струнку и взял под козырек.

— Здравствуйте, господин Миксит, — подавая ему руку, сказал Никур. — Как, принимаете гостей?

Миксит стукнул каблуками.

— Так точно, господин министр.

Когда он говорил, его черные усы слегка топорщились.

— Господин главный лесничий и господин лесничий прибыли с утра. Разрешите позвать, господин министр?

Но те уже стояли на крыльце, еще издали отвешивая поклоны «превосходительству». Коричневые глазки главного лесничего Радзиня тревожно и вопросительно глядели на министра сквозь стекла роговых очков. Длинная, жидкая фигура его гнулись в поклоне с такой же легкостью, как тростник на ветру. Толстому лесничему Ницману кланяться было труднее, чем его прямому и непосредственному начальству, но при некотором усилии что-то получилось и у него.

Поздоровавшись с ними, Никур приказал поставить машины в сарай, так как уезжать в этот день он не собирался, и все, кроме шоферов, вошли в дом. На стенных часах не было еще и шести.

— Быстро мы доехали, — сказал Никур. 2

В просторной, светлой комнате пахло свежим смолистым деревом. По стенам были развешаны рога убитых во время достопамятных охот лосей и козуль. В углу на толстом еловом суку — большое чучело тетерева с искусно распластанными, будто в полете, крыльями. Самое почетное место занимали оправленные в рамки изречения Ульманиса и его портрет. Над кроватью висели скрещенные двустволки и охотничий рог. Возле простого письменного стола, перед кроватью, накрытой белым пикейным одеялом, лежали шкуры козуль.

После обеда «превосходительство» полежал с полчаса на кровати и только потом начал совещание. Участие в нем приняли оба айзсарговских офицера, Радзинь, Ницман, Вилде,

Понте и Миксит. Понте с первых же слов убедился, что об охоте нет и речи, что никакой охоты не будет, а его давешние приятные мечты были построены на песке.

— Друзья мои, — сказал министр, — мы были вместе в лучшие наши дни, вместе радовались нашим общим удачам. Теперь мы должны сообща встретить неожиданные удары судьбы.

Он сделал паузу, чтобы присутствующие уразумели смысл его вступления.

У обоих лесничих вытянулись лица. Понте слушал с угрюмо сосредоточенным видом. Миксит оставался спокойным и только чуть топорщил свои черные усы. Он не стремился постигнуть все эти господские премудрости. Его дело маленькое: он знает свои обязанности и гордится тем, что министр выбрал его дом для таких важных разговоров, в которых участвуют лишь самые приближенные лица. Если министр задумает устроить охоту, он спустит свору собак и будет трубить в рог, пока не выгонит из чащи крупную дичь. А если Никуру захочется поговорить с надежными людьми, он поставит у двери старшего сына-мазпулцена и велит ему никого не впускать в дом.

— Носы вешать пока еще рано, — продолжал Никур. — Наше дело не проиграно. Мы еще проживем. Но к некоторым нежелательным переменам нам все-таки надо быть готовыми. Вполне возможно, что к власти придут другие люди. Шесть лет мы затыкали им рты. Может случиться так, что теперь они заставят нас молчать, и мы вынуждены будем сойти на нет. На нас будут показывать пальцами, нас будут поднимать на смех, а мы не сможем даже возразить им. Таков уже порядок вещей. Значит ли это, что мы сложим руки и будем спокойно глядеть на них? Никоим образом, друзья мои! Мы должны подготовиться к борьбе. К долгой, кровавой, ожесточенной борьбе. Но в этой борьбе мы должны оставаться невидимыми, чтобы не попасться. Нам надо перейти в подполье. Вещь это довольно сложная. Работая в подполье, надо уметь держать язык за зубами, не болтать, не выдавать себя откровенными разговорами. Придется приспособляться и притворяться — говорить одно, делать другое. Да и само подполье в один день не подготовишь. Это работа тонкая. И так как вождь поручил мне организовать наше подполье, я сейчас и занят этой работой. Теперь вам ясно, для чего мы с вами собрались здесь?

Оба лесничих утвердительно кивнули. Миксит высморкался и ничего не сказал. Если его спросят — он ответит, а не спросят — он все равно свое дело знает.

— Друзья мои, — снова заговорил Никур, — как только это станет необходимым, я сам перейду в подполье и буду руководить вами. Такова воля вождя. Я не могу сказать вам, где именно я буду находиться, но моя резиденция будет здесь, в Латвии. Связисты всегда вовремя доставят вам мои инструкции. Через них же, в случае необходимости, вы сможете обращаться ко мне. Раза два в месяц к вам будут являться вот эти господа, — он показал на айзсарговских офицеров. — С ними можно говорить обо всем. Запомните хорошенько их в лицо, потому что в дальнейшем они каждый раз будут одеты по-другому. И каждый раз будут приходить под новыми фамилиями. Само собой разумеется, что все, о чем мы с вами сейчас говорим, никоим образом не должно выйти за стены этой комнаты.

— Я и жене не скажу, — неожиданно отверз уста Миксит. — Незачем ей знать...

— Совершенно верно, господин Миксит, — одобрительно кивнув ему, сказал Никур.

— Теперь дальше, — продолжал он. — Нам потребуется оружие и боеприпасы. Могу заранее порадовать вас сообщением, что они у нас заготовлены в достаточном количестве. В каждом уезде будет главная база и несколько филиалов. Ваша база готова, господин Радзинь?

Главный лесничий вскочил со стула.

— Так точно, господин министр. Все в порядке. Миксит нашел на островке посреди болота

такое место, что никому не найти. На лошадях туда не подъедешь, часть пути грузы придется переносить на руках.

— Очень хорошо, господин Радзиль. Послезавтра ждите первую машину с оружием. Договоритесь с командиром роты айзсаргов, чтобы заранее отрядил самых надежных людей. А как у вас, господин Ницман? «Зеленая гостиница» готова?

Радзиль снова сел, а Ницман поднялся и доложил:

— Ваше превосходительство, если понадобится, мы уже через неделю сможем принять гостей. Особенных удобств, конечно, не обещаем, но человек тридцать разместить можно. Хорошо бы доставить продовольствие, пока есть время.

— Продовольствие и постельное белье привезут на следующей неделе, — ответил Никур. — Но об этом местечке никому не говорите. Оно у нас приготовлено на крайний случай. Может быть, мне когда-нибудь придется быть в ваших краях, может быть... вождю.

— Понятно, ваше превосходительство. Строили самые проверенные айзсарги, из самых зажиточных крестьян.

— Садитесь, господин Ницман, — сделал ему знак рукой Никур. — Пожалуйста, держитесь свободнее, господа. — Он обернулся к Микситу: — На вас, господин Миксит, мы возлагаем большие надежды. Садитесь, садитесь... Ваш участок — самый отдаленный, и, насколько мне известно, с крестьянами у вас не было никаких неприятностей.

— Да ведь, господин министр, — стал оправдываться Миксит, — им на мой участок незачем заходить, раз он на самом отшибе.

— Правильно, Миксит. Так вот. К вам начнут приходить разные люди. Станут говорить о том, о сем. Но вам придется иметь дело только с теми, кто попросит вас показать дорогу к «зеленой гостинице» или дать ему несколько поленьев дров. Первых вы будете отводить к господину Ницману, вторых — к господину Радзилю, а они сами будут знать, что дальше делать. Если иначе нельзя, тех, кто будет спрашивать про «зеленую гостиницу», можете принять на ночь у себя. Но если кто забредет случайно, того не принимайте, постарайтесь от него отделаться. Когда-нибудь вас щедро наградят за эти услуги...

— Все будет исполнено по вашему приказанию, — Миксит взял под козырек, хотя и был с непокрытой головой.

Никур достал пилочку и стал оттачивать ногти. На мизинце правой руки ноготь так отрос, что стал похож на маленькую лопатку. Он отточил его с особенной тщательностью, потом начал шлифовать о рукав — долго, терпеливо, с выражением глубокой задумчивости. Никто не осмелился прервать течение его мыслей.

Вечером, поговорив по телефону с соседним лесничеством и отпустив Радзиля и Ницмана, Никур остался втроем с Вилде и Понте.

— Вам, Понте, надо немедленно переменить фамилию. В Риге для вас уже заготовлен паспорт на имя Вевера. Министр внутренних дел пошлет вас на какую-нибудь скромную должность в здешнее уездное управление. Держитесь как можно дольше на этом месте. Какая бы власть ни была в Латвии, продолжайте спокойно работать, приспосабливайтесь к новым порядкам, старайтесь заслужить доверие начальства. Если вас захотят повысить — не отказывайтесь. Выполняйте все, что вам прикажут. Но главное — вредите, вредите изо всех сил. Готовьте диверсии, распространяйте злостные слухи, старайтесь мешать каждому начинанию новой власти. Радзиль и Ницман будут держать с вами связь. Они каждый раз будут сообщать, что вам надо делать... Только упаси вас бог показываться в Риге. Ясно?

— Ясно, ваше превосходительство.

Никур посмотрел на Вилде и еле заметно улыбнулся. У Вилде уже с неделю лежал в кармане паспорт на имя Эрнеста Салминя, а в районе Гризынькална для него была приготовлена небольшая конспиративная квартира. Было условлено, что как только обстановка изменится к худшему, он немедленно перейдет в подполье и оттуда будет руководить большой группой диверсантов.

— Как видите, у нас останется довольно солидная база, даже когда нас самих здесь не будет, — сказал Никур, инструктируя несколько дней тому назад Вилде. — По пустякам мы вас тревожить не станем, — только когда понадобится провести какую-нибудь из ряда вон выходящую операцию. В случае необходимости я сам буду связываться с вами и давать указания, но, если в силу каких-либо обстоятельств это не всегда окажется возможным, вы у нас достаточно опытный работник и сможете действовать самостоятельно.

Они переночевали у Миксита и рано утром двинулись дальше. Следующее совещание состоялось в таком же уединенном домике. После обеда они заседали в другом месте, а в воскресенье заехали к одному пастору, и Никур успел проинструктировать его до начала богослужения. На этом закончилась последняя инспекционная поездка Альфреда Никура по провинции. Он остался ею доволен. 3

Президент был похож на затравленного разъяренного кабана. Он то молча усмехался, не разжимая губ, то, не в силах сдержать себя, вскакивал и бегал по кабинету, выпаливая, как пулемет, целую очередь ругательств. Он был озлоблен на весь свет: и за то, что взлелеянный им режим готов был рухнуть, и за то, что Гитлер, увлекшись планами вторжения во Францию, отложил оккупацию Прибалтики на середину лета, хотя все уже было подготовлено к встрече немецкой армии и включению Латвии в состав «Великогермании»; а больше всего потому, что народ, разгадав планы «высокопревосходительства», открыто выражал свое недовольство и ждал спасения с востока. Вся эта политическая игра привела к тому, что карты Ульманиса были раскрыты перед всем миром. И вот — естественный результат: советские танки стоят на восточной границе Латвии. Ясно, что они не будут стоять там месяцами и ждать, когда Гитлер захочет отведать за десертом созревшие в фашистской теплице балтийские фрукты. Игра проиграна. Пришло время сойти с исторической сцены, сойти с позором, окруженному ненавистью и презрением народа.

Уйти президент думал с треском. Устроить варфоломеевскую ночь...[41] Выпустить бунтарскую кровь, оставить одно голое место, чтобы некому было управлять государством... Штаб айзсаргов ждал только приказа. Полиция и часть армии готовы были приняться за дело по знаку, данному свыше. Но это было обоюдоострое оружие. Сегодня развяжешь страсти, а завтра придется расплачиваться, и расплачиваться будут свои же люди, фавориты пятнадцатого мая, надежный оплот режима, золотой фонд контрреволюции. Пришлось президенту, скрежеща зубами, отказаться от этого заманчивого проекта, образумиться.

Лусис и Никур весь день провели в замке. Другие чины приходили и снова уходили, а они пробыли там до поздней ночи, пока не были улажены все дела.

Заслуживало интереса сообщение Лусиса о переводе капиталов за границу и о тайных приобретениях, сделанных некоторыми высокопоставленными лицами в Германии, Швеции и Швейцарии. Благодаря неосмотрительности одного шведского журналиста кое-какие сведения проскользнули в прессу, и теперь об этом говорила вся Рига. Именьице на берегу красивого озера, небольшой замок и гектаров полтора ста земли по ту сторону моря, акции иностранных предприятий и пароходных компаний — что можно придумать лучше этого? «Высокопревосходительство» и не думал ругаться, а, узнав о заграничных приобретениях Никура, Лусиса и Пауги, изрек один из своих глубокомысленных афоризмов:

— Умный человек заботится о своем будущем.

Само собой разумеется, что «высокопревосходительство» тоже позаботился о своем будущем. Было кое-что и у него, но об этом знали лишь несколько человек. Неусыпными трудами на благо латышских кулаков он заслужил и несколько именниц в тех благодатных краях, где зреет виноград, и уютный замок в Альпах, и несколько миллионов в стабильной иностранной валюте. Что же, если его примеру следовали другие? Это только служило доказательством того, что одними иллюзиями не проживешь. Словом, президент с удовольствием выслушал эти приятные сообщения.

В этот день под строжайшим секретом был принят закон о дальнейшем порядке расходования золотого запаса и валютных фондов Латвии. Золото и валютные фонды уже заранее были переведены за границу. Ценою трудов и жертв всего народа почти за два десятка лет было накоплено больше ста миллионов латов. Ульманис считал, что эти деньги принадлежат ему и его клике, а народу до них нет никакого дела. Если они в течение двадцати лет сосали и выжимали из народа кровь и пот, то сейчас, накануне ухода, выкинули номер, достойный любого бандита с большой дороги. Они просто-напросто обчистили его, украли его сбережения.

— Это хорошо, что денежки за границей, — сказал Ульманис. — Они нам еще пригодятся. Кто его знает, сколько времени придется пробыть в эмиграции? А жить на что? А расходы на пропаганду, на представительство?

— Как бы это обосновать юридически? — вопросительно сказал Лусис. — Распорядителю кредитов нужны особые полномочия.

— Ну и заготовляйте эти полномочия, — буркнул президент. — На что же у нас юристы и дипломаты? Пусть придумывают и пишут.

— Но на чье имя, ваше высокопревосходительство? — не успокаивался Лусис. — Не могут быть безличными такие полномочия.

Глаза Ульманиса чуть не вылезли из орбит; он подпрыгнул в кресле и, схватив разрезальный нож, ударил им по столу.

— Кто здесь президент? Кто здесь выше президента? Кто хозяин? Кошель с деньгами должен быть у хозяина!

— Значит... На ваше имя, ваше высокопревосходительство? — спросил Лусис.

— А по-вашему, на чье? — издевался Ульманис. — Разрешите уж и мне узнать.

Лусис беспомощно посмотрел на Никура. Тот деликатно кашлянул и приложил руку к сердцу.

— Ваше высокопревосходительство, само собой разумеется, что кошелек должен быть у хозяина, а хозяином в данном случае являетесь вы. Но иногда... по разным причинам... может получиться так, что хозяин некоторое время будет лишен возможности распоряжаться своим кошельком. Конкретно говоря, не исключена вероятность того, что вашему высокопревосходительству после смены власти придется пробыть некоторое время в Латвии или в другом государстве. Тогда деньги останутся без хозяина и их могут присвоить те, кому они не принадлежат. Простите, я высказываю только свое предположение, которое господин президент вправе принять или отвергнуть, но выход найти необходимо...

— Ну, говорите, говорите скорее, что вы там сочинили... — В голосе Ульманиса Никур уловил нотки недоверия.

— Надо немедленно командировать за границу — кого-нибудь из министров, — сказал он. —

Пусть захватит с собой и семью и все пожитки. Заготовим на его имя доверенность, с той оговоркой, что с момента прибытия за границу самого президента права распорядителя кредитами автоматически переходят к нему. Я надеюсь, что вашему высокопревосходительству нетрудно будет найти среди своих ближайших помощников достаточно верного человека, например господина Лусиса или господина Мунтера... наконец, меня или еще кого-нибудь. Но кто-то из министров уже должен быть за границей.

— Так-так, — с сухим смешком сказал «высокопревосходительство», — всех так и тянет сейчас за границу. Все туда... Кто первый, тот и счастливчик, а мне, значит, оставаться? Со мной будь что будет?

— Я так не думаю, ваше высокопревосходительство... — начал было объяснять Никур, но Ульманис не дал ему договорить:

— Ладно, хватит. Благодарю вас, господин Никур, за предложение. Первую половину его я принимаю, а дальше сделаю по-своему.

Ульманис вскочил с кресла и ударил кулаком по столу.

— До тех пор, пока я буду в Латвии, вы все останетесь на своих местах. Завтра я буду говорить по радио с народом. И я скажу: я остаюсь на своем месте, оставайтесь на своих местах и вы. К вам это тоже относится, господа. Хе-хе... За границу удирать вздумали, когда президент еще в Рижском замке... Мы вместе поедem... Сначала я, потом и вы.

— А как быть с полномочиями? — напомнил Лусис.

— Есть же у нас послы за границей, — ответил Ульманис.

Все замолчали. Лица у многих вытянулись.

— Да, послы. Они тоже входят в состав правительства, и им никуда ехать не надо, они уже за границей, вот мы ими и обойдемся.

— Совершенно верно, — поспешил согласиться Никур. — Можно поручить и кому-нибудь из послов, это одно и то же.

— Надо составить полномочия на имя одного из наших послов, — постепенно успокаиваясь, сказал Ульманис. — Если по тем или иным причинам правительство не будет в состоянии распорядиться размещенными за границей капиталами, то права распорядителя кредитов переходят к кому-нибудь из латвийских полномочных послов и министров за границей. Вы там запишите, что я говорю, Булсон! — крикнул он в сторону директора государственной канцелярии. — Если почему-либо полномочный посол и министр Латвии будет лишен возможности распорядиться кредитами, эти полномочия автоматически передадутся другому послу, находящемуся в другой стране. Вот и все. Пусть ваши специалисты придумают за ночь, как это получше изложить на бумаге, а завтра дайте мне на подпись. С этим вопросом покончено.

Некоторые министры ушли. К президенту вызвали Фридрихсона.

— Выслушивать доклад мне некогда, — предупредил его Ульманис. — Дам вам только кое-какие инструкции.

— Господин президент, я все-таки обязан доложить вам, что Штиглиц скрылся, — сказал Фридрихсон. — Второй день не показывается в управлении, неизвестно, где он находится...

— А списки агентов? — не удержался Никур.

— Они тоже исчезли, ваше превосходительство.

— Тогда все в порядке, — сказал Ульманис, — удрал со всеми списками. Ишь, какой шустрый! Ну, господин Фридрихсон, начинайте жечь дела. Сжечь дотла решительно все, что может скомпрометировать наших людей. Вы там знаете, что у нас имеется в архивах. Оставьте лишь самые безобидные. Сейчас же принимайтесь за работу, но делайте так, чтобы жители города ничего не замечали.

Отпустив Фридрихсона, Ульманис дал подобные же указания военному министру Беркису и министру внутренних дел Вейтману.

В эту ночь запоздалые прохожие видели, как из труб охранного управления, военного министерства и министерства общественных дел повалили густые столбы дыма. Черные хлопья обгорелой бумаги, такие же эфемерные и грязные, как и уходящий режим, носились по ветру и медленно опадали на крыши и на тротуары, быстро исчезая под ногами прохожих. Жители столицы не могли не понять смысла этого зрелища.

Альфред Никур недаром слыл одним на самых умных министров во всем кабинете. И, конечно, он был настолько умен, чтобы первым долгом позаботиться о самом себе, а потом уже об обломках разваливающегося режима. Никур не собирался рисковать голевой. Достаточно с него и организации контрреволюционного подполья. Он расставил на соответствующие места всех этих Понте, Вилде, Радзинеи, Ницманов и Микситов, а они теперь будут действовать вроде заведенного часового механизма. Когда надо будет подкрутить пружину — это можно делать и на расстоянии.

И если он, еще будучи школьником, выдавал своих товарищей, то почему ему нельзя оставить на собственное попечение многочисленных коллег, которые к тому же располагают почти такими же возможностями, как и он сам! Есть и у них свои головы на плечах. «Пусть каждый для себя старается, — решил Никур. — Кто их знает, какие у них там планы, — мне они об этом не рассказывают. С какой же стати мне рассказывать им про свои планы?»

Никур не рассказывал — он действовал. Документ — заграничный паспорт на вымышленную фамилию со всеми необходимыми визами — лежал у него в кармане. Некая сумма, достаточно кругленькая, чтобы привыкший к удобствам экс-министр мог, не зная забот, проводить время в обществе приятной дамы, находилась уже по ту сторону моря. Оставалось только проводить даму.

Никур усадил Гуну Парупе на небольшой белый пароход, который вечером должен был отплыть в Стокгольм. Багаж у Гуны был, пожалуй, великоват для одинокой пассажирки, но на этот счет никто не донимал ее расспросами. Даже самым любопытным деньги заткнули рот раньше, чем они успевали его открыть.

— До свидания в Швеции, — сказал Никур, в последний раз поцеловав Гуну в хорошенькие губки. — Я скоро буду с тобой. Не волнуйся за меня, золотце.

И «золотце» уехало, захватив в многочисленных чемоданах и ящиках награбленное государственное добро. Никур избрал Гуну в качестве единственной спутницы грядущих странствований.

Все было готово и к бегству самого Никура. Адреса его рижской конспиративной квартиры не знал ни один человек. В тайне держал «превосходительство» и предмет своих разговоров с некоторыми прибрежными рыбаками.

А его «кошечке», как он называл жену, даже во сне не снилось, что Альфред может потихоньку, не простившись, оставить ее. 4

День семнадцатого июня был полон солнца, тепла, щедрого цветения. Легкие белые облачка скользили по небу, и так глубока была его синева, что художник взял бы для ее изображения самый густой чистый тон. Ряды деревьев в свежей молодой листве склонялись над городским каналом, заглядевшись в воду, и от их отражений она казалась совсем зеленой.

Вой автомобильных сирен, трамвайные звонки, стук подков о мостовую сливались с голосами людей, щебетом птиц и еле заметным шумом ветра в одну мощную, полнозвучную симфонию.

Но скоро в этом потоке привычных звуков стало слышаться что-то новое. Люди останавливались на тротуарах, внимательно вглядываясь в ту сторону, откуда долетали эти новые, не слышанные раньше звуки. Они становились все ближе, ближе, вот уже они напоминают рокот морских волн. Над звоном металла взмывали людские голоса, сотни, тысячи ликующих голосов.

Они и заставили Эдгара Прамниэка прервать разговор с Саусумом и выглянуть на улицу. Людской поток стремился в сторону Старого города. И на всех лицах лежал отблеск внутреннего радостного волнения.

— Что там происходит? — проговорил он про себя, уже заражаясь этим волнением, этой радостью. — Что-то необычное, праздник какой-то.

— Действительно, похоже на праздник, — сказал Саусум. — Пойдем и мы с ними.

За какую-нибудь минуту кафе опустело. Сам Зандарт, всегда такой болтливый, благодушный, молча, угрюмо глядел вслед расходящейся публике. Он был и возмущен и испуган всеобщей, охватывающей всех людей радостью.

— И вы за ними? — язвительно спросил он Прамниэка. — Бегите, бегите, дело ваше. Только вы вон новые полуботиночки обули, как бы их не разделали в такой толпе, там глядеть на это не будут.

— Почему ты нынче такой сварливый, Гуго? — спросил Прамниэк, направляясь к двери.

— А что же, танцевать мне прикажете? — грубо отрезал Зандарт. — То-то мне радость — русские танки вошли в Ригу!

— Правда? Саусум, как же это мы ничего не знаем? Идем, скорей, скорей!

— Провалиться им со всеми их танками, видеть я их не желаю и никуда не пойду... — у самой двери услышал Прамниэк непривычно тонкий, плачущий голос Зандарта, точно жужжанье навозной мухи в рокоте морского прибоя. Дверь за ними захлопнулась, и они, точно капли, растворились в стремительном людском потоке, движущемся навстречу буре ликования и цветения.

Глаза Прамниэка жадно схватывали неповторимые картины, старались запечатлеть каждое лицо, улыбку, каждое движение. Зеленые стальные гиганты с алыми пятиконечными звездами медленно двигались среди человеческого моря. Всюду видна была зелень, у всех в руках были цветы, охапки цветов. Народ с цветами встречал Красную Армию. Цветы были на шлемах танкистов, на гимнастерках и в руках командиров. Стоило только боевой машине остановиться, как на нее вскарабкивались дети, взбирались на башни, доверчиво держась за руки танкистов. Все говорили отрывистыми, короткими фразами — и все равно понимали друг друга с полуслова, как бывает всегда, когда человек получит, наконец, долгожданную желанную весть и в первые мгновения еще не в силах выразить словами овладевшее им чувство.

Прамниек нетерпеливо дергал за рукав Саусума.

— Видишь? Ты посмотри на все эти лица. Ты еще боишься этой новизны? Разве ты не чувствуешь освежающую, живительную силу этой бури?

Саусум, точно стыдясь своих чувств, старался напустить на себя равнодушный вид.

— Во всяком случае это событие прогрессивного порядка. Да, не хотел бы я быть на месте ульманисовцев. Что же осталось от их хваленого единства? За какой-нибудь час народ изодрал в лохмотья и смел в угол грязную паутину, которую они ткали целых шесть лет.

— Только ли это? — подхватил Прамниек. — А искусственно разжигаемая в течение двадцати лет вражда к Советскому Союзу? Ведь как только народ получил возможность высказать свои подлинные чувства, от нее и следа не осталось. Ты взгляни, Саусум... Так встречают любимого брата, с которым долго были в разлуке, а не врага, не чужого. Только слепые совы из Рижского замка могли вообразить, что они в состоянии навязать народу свою ненависть.

Ветер ерошил густую шевелюру художника. Выпрямившись во весь рост, смотрел он поверх людских голов и улыбался.

В толпе мелькнуло раскрасневшееся лицо Карла Жубура, а рядом с ним еще чье-то, показавшееся Прамниеку знакомым. Да, конечно, это тот самый неразговорчивый рабочий, которого однажды присылал за красками Силениек.

— Жубур! — крикнул Прамниек, махая ему рукой.

Жубур заметил его и что-то сказал соседу. Юрис Рубенис тоже посмотрел на Прамниек, и они оба начали пробираться к нему сквозь толпу. Жубур, как тисками, сжал руку Прамниек и долго не отпускал ее.

— Наконец-то дождались! — громко сказал он. — Наш день наступил, Прамниек. Ведь это и твой день.

Прамниек ответил тихо, но без колебаний:

— Это

наш день, Жубур. Я ждал его целых шесть лет.

Все четверо перезнакомились между собой и еще добрых полчаса вместе шли по улице. Звонко, возбужденно звучали голоса разговаривавших. Такой необычной казалась впервые открывшаяся возможность громко, без опасений, высказывать свои мысли. Больше они не шептались, не понижали голосов, не оглядывались с опаской по сторонам: нет ли поблизости шпика? Теперь пусть он только появится: ему самому придется сторониться людей, прятаться в тень. У змеи были вырваны ядовитые зубы: она могла только шипеть.

На улице показалась открытая машина, в которой обычно Ульманис отправлялся в агитационные поездки по волостям. Он сидел рядом с адъютантом — как-то сразу полинявший, угрюмый, точно воплощение поверженной реакции. Его узнавали, смотрели на него с недоумением. Чего он думал достигнуть своим появлением: омрачить день всеобщего торжества, вогнать клин в ликующую душу народа? Или он домогался мученического венца, чтобы принарядить для истории рушащийся режим насилия?

Напрасно глядел он по сторонам, ожидая приветствия. Он привык ступать по цветам, рассыпаемым перед ним женщинами-айзсаргами и мазпулценами, но сейчас его обрадовал бы пучок полевых цветов, даже один цветок, который он заметил в руках маленькой

девочки, стоявшей на тротуаре.

Ни одна рука не поднялась для приветствия, ни один цветок не упал в машину. Только полицейские, завидев своего кумира, вытягивались и козыряли по привычке. Этого ли он ждал от народа?

— Убирайся в свои Эзерклейши[42], кулак! — не утерпев, крикнул Юрис Рубенис, когда с ним поровнялась машина Ульманиса.

Праздник продолжался. Каждый, кто только мог, оставлял в этот день работу и спешил на улицу, на народ. Никто не помнил о еде; несмотря на жаркое июньское солнце, люди не чувствовали жажды. Время как будто остановилось. По сравнению с зрелищем великого события все остальное казалось незначительным, неинтересным.

— Да здравствует Красная Армия! — стихийно вырвался из тысячи грудей возглас любви и дружбы.

Но кое-где выглядывали позеленевшие от злобы лица, — это были люди вчерашнего дня, бывшие люди. Каждый возглас народного ликования отдавался в их сердцах ударами тяжелого молота. И издыхающая змея сделала еще попытку ужалить. Отряд верховых полицейских с перекошенными от ненависти лицами врезался в ряды демонстрантов, со свистом посыпались направо и налево удары нагаек. Раздались крики женщин и детей. В полицейских полетели булыжники. Они только и ждали этого. Послышались выстрелы, и рижская мостовая окрасилась кровью рабочих.

Город не умолкал. Стальные великаны с пятиконечными звездами медленно двигались по улицам. В воздухе стоял гул моторов — это шли самолеты, эскадрилья за эскадрильей. Еле заметными точками возникали они в синеве, превращаясь в стаи больших птиц, и, сделав круг над городом, опускались на аэродромы.

Униженный

человек поднял голову.5

Двадцать первое июня...

В девять часов утра новые министры, члены Народного правительства, приняли от своих предшественников министерства, подписали в толстых книгах акты приема и сдачи и направились в Рижский замок на первое заседание. Заседание должно было начаться в десять часов, как было условлено накануне, после того как члены нового правительства официально представились президенту.

Но к десяти часам президент еще не закончил своего утреннего туалета. Министрам пришлось ждать. Некоторые начали беспокойно посматривать на часы — опоздание Ульманиса грозило срывом намеченного на этот день плана. Вся Рига уже знала, что на первом заседании Народного правительства первым пунктом повестки дня стоит вопрос об освобождении политических заключенных. С самого раннего утра по всем, улицам текли к пересыльной и центральной тюрьмам потоки людей — родные, близкие и друзья заключенных. Через некоторое время показались организованные колонны рабочих от фабрик и заводов, от целых районов. К назначенному часу улицы Риги были полны демонстрантов.

Ульманис знал, почему с таким нетерпением ждут его министры — поэтому он и не спешил. Пока он будет сдавать кабинет председателю совета министров да пока будет говорить прощальную речь, Народное правительство не начнет заседания. А за это время стотысячные массы могут выйти из терпения, среди них будут пущены заранее

подготовленные слухи, начнутся эксцессы, и весь мир увидит, что новое правительство не в состоянии установить порядок в стране, тем более что айзсаргам и полиции был дан приказ не показываться на улицах, чтобы не раздражать своим видом народ. «Ну, посмотрим, посмотрим, как вы сегодня обойдетесь без полиции и айзсаргов», — усмехался Ульманис.

Наконец, в половине одиннадцатого он вошел в зал заседаний — розовый, улыбающийся, всем своим видом стараясь продемонстрировать отличное настроение. Поздоровавшись с новыми министрами, он попробовал начать с шуток и разговоров о пустяках, отняв еще с четверть часа драгоценного времени. Потом, словно спохватившись, перешел к делам. Официальная часть речи продолжалась минут десять, после чего Ульманис перешел к неофициальной части. Как обычно, он начал с бекона, масла и искусственных удобрений. Затем указал, что большинство новых министров не имеет опыта, поэтому в первое время им придется туго.

К концу первого получаса этой речи Ульманис достиг вершин демагогии.

— Когда вам что-нибудь покажется неясным, когда надо будет подготовить какой-нибудь важный закон, вы можете смело идти ко мне, а я в любое время готов помочь вам. Как-никак, у меня за горбом двадцатилетний опыт государственной деятельности, и мой совет может весьма пригодиться. Сперва все обсудим и взвесим, а потом решим сообща — по-нашему, по-латышки. Не бойтесь меня беспокоить, я готов с удовольствием...

Министры переглядывались, еле сдерживая смех.

— Далее, об этих заключенных и каторжанах... — ничтоже сумняшеся продолжал Ульманис. — Я не знаю, насколько это будет правильно, если мы выпустим их всех на свободу. Но даже если и выпустим, вряд ли следует давать им доступ к государственной службе. Это уже деградированные люди, с психологией арестантов. В них говорит одна ненависть, все их помыслы будут направлены на мщение. Они могут доставить вам крупные неприятности. Давайте им работенку попроще и поменьше. Арестант остается арестантом, за что бы он ни сидел в тюрьме.

И так далее и так далее...

Сходящий со сцены диктатор до конца остался верен себе: он попросту готовил Народному правительству обструкцию. А колонны демонстрантов, толпы народа, заполнявшие улицы до центральной тюрьмы и до станции Брасла, где находилась пересыльная тюрьма, стали проявлять уже признаки беспокойства, тревоги. Кем-то уже были пущены злопыхательские слухи:

— Новое правительство не собирается освобождать политических заключенных!

— Рано мы вышли встречать их!

Ульманис все говорил и готов был проговорить еще битый час. А там потребовалось бы известное время на написание проекта амнистии, затем председателю совета министров предстояло составить официальный документ и дать его на подпись президенту. Тот не преминул бы порассуждать на тему о правомерности закона, прежде чем подписать его, и дотянул бы до самого вечера. Это ведь и было его целью.

Но гордиев узел был разрублен просто. Около двенадцати часов два министра, не дожидаясь конца речи Ульманиса, покинули зал заседаний и поехали в центральную тюрьму. Там, в кабинете начальника тюрьмы, они за какие-нибудь десять минут составили распоряжение об освобождении политических заключенных. Так распахнулись двери камер, и на свободу вышли те, кто в суровой борьбе добывал ее для всего народа.

То был незабываемый, потрясший все сердца момент. На улицах везде были видны, неизвестно даже откуда появившиеся за одну ночь, знамена, плакаты, лозунги. Скромные маленькие знамена свидетельствовали о больших чувствах, одушевлявших народ; неуклюже написанные лозунги говорили голосом титана, потрясшего прогнившее здание насилия.

Уже несколько часов тысячи людей стояли под палящим солнцем у ворот тюрьмы, в ожидании момента, когда они откроются. Многие шли на Матвеевское кладбище, посидеть на поросших метлицей холмиках, у могил борцов 1905 года. По ту сторону улицы тоже были люди, — их руки гладили белый песок, под которым крепким сном спали тысячи жертв белого террора 1918–1919 годов, цвет латышского народа, тысячи героев-мучеников, чьи голоса прозвучали как смелый зов, обращенный к грядущему. Через могилы, через тюремные стены, через десятилетия их юношеские стремления, их чаяния перекликались с великими свершениями сегодняшнего дня.

Отпечаток торжественной, глубокой мысли лег на все лица. Вот она — на глазах рождается новая жизнь. Правда победила. Не напрасны были борьба и жертвы!

В тюремных коридорах звенели связки ключей. Одна за другой распахивались двери. Опустели общие камеры и одиночки, разжимались когти карцеров, возвращая жизни свои жертвы. Всюду слышался стук деревянных башмаков. Коридоры наполнялись заключенными в полосатых халатах, они спешили к выходу, во двор, навстречу июньскому солнцу. Друг обнимал друга, товарищ — боевого товарища. Груз проведенных в тюрьме лет спадал с их плеч, — выпрямляясь во весь рост, выходили они на свободу, готовые к новой борьбе.

Юрис Рубенис как вихрь носился по всем камерам. Со многими он был знаком, но и те, с кем ему никогда не приходилось встречаться, были для него дороже родных братьев. Он всем пожимал руки, со всеми обнимался и целовался, потом бежал дальше, чтобы проверить каждый тайный уголок тюрьмы, чтобы не оставить ни в одном из «гробов» своего человека.

— Где Жубур? — спросил у него Андрей Силениек, когда освобожденные стали выстраиваться на тюремном дворе в колонну.

— Жубура послали к пересыльной тюрьме. Мы с ним, Андрей, три ночи не спали. Пока обежишь весь город, пока сообщишь всем товарищам... Сам ведь знаешь, телефонов и лимузинов у нас пока еще нет.

— Чертовски славные вы ребята, — улыбнулся Андрей. — У нас здесь тоже никто не спал, как только слышали гул самолетов. Сразу угадали, что

наши. Всем стало ясно, что наступил наш час. Но последняя ночь была тяжела... Ох, как тяжела! По тюрьме поползли тревожные слухи. Начальство готовило какую-то пакость. Вдруг собрались увозить неизвестно куда некоторых товарищей. Вполне можно было ждать от них варфоломеевской ночи.

— Мы тоже об этом думали, Андрей. И они действие тельно к чему-то готовились. Тогда мы договорились с командованием Красной Армии, и танки стали у самых важных пунктов для охраны порядка. Ну, здешние гады и струхнули. Ты знаешь, у тюремных ворот тоже стоит танк.

— Знаем, знаем, Юрис! — крикнул, подходя к ним, Петер Спаре и обнял за плечи Рубениса. — Все слышали, как он ночью подошел. Тогда всем ясно стало, что ничего дурного с нами больше не случится. Как там мои старички поживают? Что с Айей?

— Айя сегодня будет освобождена из пересыльной тюрьмы. Жубур приведет ее к нам.

Наконец, колонна выстроилась к выходу. Стояли по четверо, плечом к плечу. Солнце горячо ласкало непокрытые головы. У стен, сбившись в кучу, с тупым смущением смотрели на них тюремщики. Нелегко было постигнуть им значение совершившегося. Людям, которых они вчера еще могли подвергать унижениям и пыткам, сегодня принадлежит мир. Униженные, осужденные вчерашними законами, сегодня они станут обсуждать и издавать новые законы, вместе со всем народом станут творцами будущего своей страны.

В окнах верхних этажей тюремного корпуса, за железными решетками, видны были испитые, угрюмые лица. То были уголовники — воры, фальшивомонетчики, убийцы, которым наступающий день не принес свободы. Жадным, пристальным взглядом смотрели они вниз. Чего бы они не отдали, чтобы выйти за тюремные ворота, в новую жизнь, встать в почетные ряды этой колонны! Глубокие, похожие на стон вздохи вырывались из их грудей. Казалось, что стонала сама тюрьма, что стены ее дрогнули от этого стога.

Таким потрясающим был этот момент, что у Андрея Силениека выступили слезы на глазах. Он махнул рукой начальнику тюрьмы и сказал сдавленным от волнения голосом:

— Я знаю, что заключенные не имеют права стоять у окон. Но смотрите, чтобы сегодня ни один человек не был оштрафован за это нарушение.

Колонна колыхнулась и медленной, тяжелой поступью двинулась к воротам. Когда они распахнулись, когда народ увидел людей в полосатой одежде, тысячеголосый возглас радости и любви поднялся над городом, над кладбищем и песчаными холмами. С кладбища и холмов устремились навстречу колонне новые толпы. Казалось, что ликующий народ разбудил героев, спящих в братских могилах, что он вернул их к солнцу, как вернул он тех, которые только что вышли из большой страшной могилы, где заживо хоронили людей.

До поздней ночи ликовал город. Неиссякаемые потоки людей текли по улицам. Народ на руках нес своих освобожденных героев. Всюду звучали новые напевы новых песен.

Обыватели выглядывали из-за оконных портьер, замирая от робости перед неизвестным. И каждый раз, когда колонна демонстрантов приближалась к Рижскому замку, бывший полновластный диктатор, весь в холодном поту, подбегал к телефону, звонил во все концы, прося о помощи. Демонстрация была только у театра Драмы, а он уже орал в смертельном страхе:

— Помогите! Толпа ломится в ворота!

Но никто не собирался его трогать. В величавом спокойствии шествовал народ по улицам столицы, празднуя этот солнечный день — первый день свободной Латвии.

Конец первой книги

КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая

1

Петеру Спаре не спалось первую ночь после освобождения из тюрьмы. Целый день он ходил по улицам в рядах демонстрантов, и все его существо насквозь пропиталось солнцем и

воздухом свободы. Знакомые с детства улицы, парки, дома, люди — все, все казалось ему сказкой, и Петер Спаре не знал, где же его настоящее место в этом сказочном мире. После четырех лет тюрьмы он был не в состоянии сразу освоиться с мыслью, что больше никто не вправе унижать его, что он волен идти, куда хочет, говорить полным голосом о том, о чем раньше осмеливался только шептать. Свобода! Вот оно, это великое чудо, щедрое летнее солнце, густолиственные липы, обилие цветов... Но это не вчерашняя свобода — понятие чисто физической возможности. Сегодня свобода стала действительностью, распространившейся на всю родину Петера Спаре, на многие, многие тысячи людей, на весь его народ. Ворота тюрьмы распахнулись и для человеческой души — так распрямись же во весь рост и гордо шествуй навстречу новой жизни!

Да, эти мысли опьяняли гораздо сильнее, чем все ароматы цветов. Петер Спаре улыбался всему миру и каждому встречному, и встречные отвечали ему такой же дружеской, радостной улыбкой, словно знали, кто этот человек и о чем он думает, шагая по улицам города.

— Что я теперь должен делать? — спросил он у Силениека, когда тот собрался уходить с демонстрации на первое заседание Центрального Комитета партии. — С чего мне начинать?

Силениек с улыбкой потрепал его по плечу.

— Начни с отдыха, Петер. По крайней мере с неделю попривыкни к новому положению. Ты честно заслужил это.

— Да я не устал, Андрей, — пытался возражать ему Петер. — Как это сидеть без дела, когда у нас такая уйма работы?

— Ничего, еще наработаешься, друг. Работы хватит. А пока набери побольше воздуха в легкие и готовься к старту. Пробег будет дальний.

То же самое твердили Петеру и другие товарищи — Юрис Рубенис, балагур Ояр Сникер. Завела эту песню и Айя. И если бы Петер не знал, как они любили его, он бы разобиделся на них за эту опеку, решил бы, что его хотят отстранить от дела. Заладили одно: отдохнуть, отдохнуть...

Взглянув на какую-то витрину, Петер увидел в зеркале рядом с другими, румяными, покрытыми густым загаром лицами свое лицо — бледное, осунувшееся. Он понял, почему за него так беспокоились, и все-таки не мог представить, как это он будет целую неделю слоняться без дела, есть, спать и умирать от скуки, когда только в напряженной ненасытной работе можно одолеть огромное задание, возложенное на его поколение историей.

Домой он вернулся поздно вечером, и тогда в семье Спаре начался праздник. Отец ходил из угла в угол, посасывая трубочку, и прислушивался к разговорам молодежи. Мать не сводила с Петера глаз и поминутно спрашивала, не нужно ли ему чего-нибудь. И несмотря на то, что вечер был теплый, даже душный, Петер покорно надел вязаный свитер, чтобы доставить матери удовольствие, — ведь она так заботилась о нем. Айя, Юрис, Ояр Сникер и Петер подсели к растворенному окну — и полились взволнованные речи: о будущем, обещавшем им столько нового и прекрасного, и о прошлом, о годах разлуки, о жизни в тюрьме. Петер и Ояр рассказывали, как они ухитрялись выполнять партийные задания под носом у тюремной администрации, о карцерах и одиночках, вспоминали они и верных, надежных друзей, вспоминали и малодушных. Этим разговорам не было бы конца, если бы Ояр вдруг в середине рассказа не свернул на одну из своих обычных историй.

— Между прочим, верьте не верьте, а я сегодня встретил на углу Мельничной и улицы Валдемара своего старого шпика, который спровадил меня в тюрьму. Помните, мы его Гориллой прозвали?

— Длиннорукий такой, с тупым взглядом? — кивнул головой Петер.

— Вот-вот. Сразу узнал меня, паршивец, но сам и виду не подал, то ли по излишней застенчивости, то ли еще почему. «Что это вы так заважничали, дорогой Горилла? — говорю я ему. — Не желаете старых друзей узнавать! Пойдите минуточку, мне вам надо кое-что сказать». Он и ухом не ведет, знай шагает и все по сторонам косится, нельзя ли проскользнуть в какую-нибудь щелку. Наконец, возле каких-то ворот мне удалось схватить его за лапу и остановить. «На что же это похоже, молодой человек, говорю, чего ради мы несемся по улице, словно наперегонки? Никто нам за это не заплатит, а вы ведь ничего не любите делать даром?» Он еще попробовал оскорбиться, а сам дрожит, как иззябший пес. «Что вам угодно, да я вас не знаю, да оставьте меня в покое, а то я буду вынужден...» и так далее. «На улицу Альберта отведешь? Ладно, веди, веди, я ничего не имею против. Вот не знаю только, скажет ли тебе спасибо Фридрихсон, вряд ли он сейчас обрадуется этому. И вообще, уважаемый Горилла, чем переливать из пустого в порожнее, поговорим лучше начистоту. Скажи откровенно, сколько я должен государству?» — «За что?» — Горилла даже глаза вытаращил. «Вот ведь чудак! Все-то ему растолкуй да объясни, словно маленькому. Сколько тебе за меня заплатили? Сотню-то хоть получил?» Не знаю, как это у него вырвалось, но он прямо бухнул: «Сто двадцать латов». Правда, тут же спохватился, покраснел, хотел дать тягу, но из этого ничего у него не вышло.

«Как же быть теперь? — говорю я ему. — Сам ведь понимаешь, что деньги эти как в воду брошены. Я вот опять на свободе и, если на то пошло, стал еще опаснее, чем прежде. Вашему брату надо ждать от меня больших неприятностей. А те сто двадцать латов, что ты получил, придется возратить в государственный банк, как ты думаешь?» Шпик мой только трясется, не до разговоров ему. «Вообще, говорю, в прошлый раз произошло явное недоразумение. Почему это идти в клетку, за решетку, должен был я, а не ты? Сам знаешь, что в зверинцах горилл держат за решеткой, а ты почему-то разгуливаешь по улицам, пугаешь честной народ. Никуда это не годится, дорогой Горилла, тебе пора в клетку, старина, и чем раньше, тем лучше. А в четвертом корпусе их достаточно». Через полчаса я его привел прямо в министерство и передал в надежные руки.

Странно было Петеру лечь в мягкую постель, на чистую, прохладную простыню, после тысячи с лишним ночей, проведенных в тюрьме.

Свежий ароматный воздух вливается в растворенное окно; ни гулкие шаги надзирателя, ни звон связки ключей не доносятся из коридора; нет и дверного глазка, в который заглядывает осточертевшая рожа, проверяя, как ты спишь. Никто больше не осмелится прикрикнуть на тебя. Хочешь — спи, хочешь — мечтай, напевай вполголоса любимую песню, прохаживайся босиком по полутемной комнате. Ты все можешь. Ах, как это прекрасно, как хорошо! Свобода!

Рано утром тихонько приотворяется дверь, и ты вздрагиваешь всем телом, чуть не вскакиваешь с кровати. Нет, это не тюремщик, это твоя мать, тихая, заботливая душа. Ты закрываешь глаза и притворяешься спящим. Осторожно, чтобы не разбудить, она подтыкает одеяло, легко-легко проводит ладонью по твоей стриженной голове, блаженно вздыхает и на цыпочках выходит из комнаты.

Тебе так хорошо, что сердце изнывает от нежности и хочется плакать. Эх, Петер, Петер, разве так можно...

На следующий день он достал из сундука свои вещи: светлый летний костюм, полуботинки, рубашки, галстуки, серый плащ. Мать бережно хранила их все четыре года. Все аккуратно сложено, пересыпано нафталином, остается только проветрить, выгладить и потом... Ну, а потом?

Набродившись вдоволь по улочкам Чиекуркална, наговорившись с друзьями детства и соседями, Петер задумался. Вспомнилась ему последняя весна, проведенная на лесосплаве, апрельское солнце, первая зелень и мерцающие воды. Долгий рабочий день на реке, пахнущие смолой бревна и тихие крестьянские домики на берегу, куда он возвращался по вечерам. И ведь как будто ничего особенного там не было — серые деревянные постройки, фруктовые садики, обнесенные низкими заборами, кругом пашни и покосы, а Петер все вспоминал и вспоминал, — не столько домики, конечно, сколько людей, которые там жили. Была среди них одна... с золотистыми волосами и ясными голубыми глазами. Звали ее Эллой, и Петер обещал ей приехать в гости к Янову дню. С тех пор прошло четыре Яновых дня, а свое обещание он так и не исполнил.

Там ли она сейчас? Ждет ли? Не напрасно ли вспоминает он те дни, оглядывается назад?

Но Петер уже не мог отвязаться от этих воспоминаний, и когда он подумал, что еще не опоздал к пятому Янову дню, что туда всего час езды по железной дороге, ему страстно захотелось очутиться в тех краях, взглянуть, все ли там по-прежнему.

Двадцать третьего июня он сел на поезд и поехал навестить дорогие по воспоминаниям места. И нигде никто не спрашивал его, куда он едет и почему именно теперь. Он был на свободе. 2

Она казалась скорее растерянной, чем удивленной, и в первые минуты оба не знали, как быть, что делать, о чем говорить.

— Значит, ты опять на свободе? — Элла посмотрела на Петера и покраснела.

«Какая ты прелесть, какая красавица!» — думал Петер, глядя на нее.

Давно, больше четырех лет тому назад, они, так же как сейчас, сидели на гладких валунах, с незапамятных времен лежавших на берегу. Так же струилась мимо река, образуя небольшие водовороты там, где излучина берега мешала течению. Только прибрежный кустарник стал гуще как будто и листва казалась темнее, чем в тот раз. И они сами больше не могли говорить и думать по-прежнему. Протекшие годы унесли с собой что-то из прошлого, но и принесли что-то новое. Петер не мог уже так свободно и непринужденно сесть рядом с Эллой на камень, — он боялся потревожить ее нечаянным прикосновением. Былую близость нужно было приобрести заново.

— Да, я опять на свободе, — ответил он. — Как будто совсем недавно расстались.

— Да, кажется, что совсем не так давно, — согласилась Элла.

— А ты... вспоминала обо мне когда-нибудь? — Голос Петера дрогнул. — Не сердилась, что не приехал к Янову дню?

— Сначала, правда, немного обиделась. Ведь я не знала, что ты арестован. Узнала только следующей весной, когда к нам зашли плотовщики. Мне стало стыдно, что я тогда сердилась. Ты ведь был не виноват. Я думала: тебе не было никакого интереса приезжать. Откуда я могла знать?

— Ну, а теперь?

— Ты ведь еще ничего не сказал.

— Тебе хочется, чтобы я сказал?

— Это тебе виднее...

Он подвинулся к ней ближе; она не отстранилась, когда он взял ее руку, она сидела покорная, ожидающая. Приятно было чувствовать рядом мягкое девичье плечо. Какая она была чистая, спокойная и светлая. В кустах возились птицы, а за рекой край неба горел заревом заката. Поскрипывая уключинами, проплыла мимо них лодка. Парень греб, а девушка, перегнувшись через борт, срывала белые и желтые кувшинки. В дальней усадьбе кто-то несмело затянул «Лиго».

Петер подождал, пока лодка не скрылась за поворотом, и сказал:

— Если захочешь, я скажу.

— Я все время жду, когда ты что-нибудь скажешь.

Нет, не могла она знать, что это значит, когда высокие каменные стены суживают твой мир до таких пределов, что в нем даже взгляду некуда устремиться и он, как выпущенная стрела, расширяется о них. Не могла она знать, что это значит, когда холодной зимней ночью, лежа на нарах, ты не в силах заснуть и вызываешь в памяти далекие прекрасные образы, чтобы не чувствовать холода принудительного одиночества. Сейчас лето, тепло, и перед глазами такой простор, что взором не окинуть, а выношенная в тюремных стенах тоска по любимому человеку еще и сейчас отдается в груди. Жизнь еще не успела отогреть его сердце. Если бы Элла могла знать все это, она бы не молчала так долго, не заставляла бы его говорить о вещах, которые надо угадывать с первого взгляда. Она бы поняла, что его душу надо согреть любовью, ободряющим взглядом и ласковыми словами, идущими от сердца, в котором нет ни расчета, ни ледяного спокойствия. Но Элла всего этого знать не могла, и он ни в чем не упрекнул ее. Наоборот — он был бесконечно благодарен ей уже за одно то, что она не встретила его как чужого и после невольно вырвавшегося от смущения «вы» перешла на дружеское «ты». Нет, ее не в чем было упрекнуть. Если бы Элла знала адрес Петера, она бы, конечно, писала ему. А сам он не решался писать ей то тюрьмы: как знать, не скомпрометирует ли девушку перед соседями такое письмо. Теперь это уже не имело никакого значения.

Он вздохнул и покраснел.

— Я все это время думал о тебе.

— Что же ты думал, Петер? — Она опустила глаза и стала царапать землю носком туфли.

— Многое, Элла... О том, как мы познакомились, как я удивился, когда однажды утром увидел свое грязное полотенце выстиранным, а дырявые носки заштопанными.

— Есть о чем говорить... мелочь какая...

— Нет, эта мелочь открыла мне глаза, я с тех пор и стал замечать тебя. Мне казалось, что если ты будешь со мной, я везде буду чувствовать себя как в родном доме. Да мало ли о чем я вспоминал! О том, как ты однажды вечером, у колодца, ударила меня по лапам, когда я хотел тебя поцеловать, и о том, как через неделю я тебя все-таки поцеловал и ты меня больше не била.

— Да ведь это было не у колодца. — Элла еще ниже наклонила голову, чтобы он не заметил, как она вспыхнула.

Петер тоже нагнулся, пытаясь поймать ее взгляд. Но она отвернулась, и ему не удалось заглянуть ей в лицо.

— Да, Элла, произошло это здесь, у реки, и, если я не ошибаюсь, на этом самом месте.

— Вполне возможно, — равнодушно ответила Элла, но Петер отлично понимал, что это одно

притворство. Его натренированное в тюрьме ухо слышало, как быстро и тревожно билось сердце девушки.

— Если хочешь, могу сказать тебе, что я думал и о том времени, когда мы с тобой встретимся и опять будем сидеть на этом камне. Я это предвидел, Элла, все в точности, и боялся только, что это может не сбыться.

— Почему?

— Вдруг бы я тебя не нашел... Вдруг бы ты ушла в другой дом и я бы не мог уже бывать у тебя.

— Да, тогда, конечно. А что ты еще думал?

— Думал, что не плохо будет, если у нас с тобой все опять пойдет по-прежнему... Если в каком-нибудь рижском доме найдется свободный скворешник и в том скворешнике заживут две птицы...

— А ты не передумал? — Она все еще избегала взгляда Петера. — Теперь ведь другие времена... ты, наверно, будешь делать большие дела... не тот интерес будет...

— Я ничего не передумал. Все теперь зависит от тебя. Хочу услышать, что ты скажешь.

— А ты правда думаешь про это... ну, про скворешник и про двух птиц?

— Да, Элла, я для того и приехал, чтобы сказать тебе это.

— Пока я тебе ничего не скажу. — Элла тихонько засмеялась, потом выпрямилась и смело взглянула в глаза Петеру.

Он привлек ее к себе и поцеловал в губы. Наконец-то все стало, как прежде.

— Ты думаешь, когда? — спросила Элла.

— Как только начну работать и обзаведусь кое-чем.

— Да, без мебели нельзя. Нужно купить кровать, шкаф и какой-нибудь стол.

— Правильно, дружок.

— И потом что-нибудь из посуды. У нашего волостного писаря есть чудный столовый сервиз, такой, с золотыми каемочками...

— Да, милая?

— И потом трюмо из светлой карельской березы. А на полочках буфета надо выставить разные рюмочки и бокалы, чтобы маленькие были впереди, а большие позади. Я была у них прошлой осенью на именинах его жены, она нам родственница с маминой стороны. У них стенные часы красивые, в коричневом футляре. Вот бы нам такие.

С реки ползет туман, белой дымкой покрывает луга, и кусты выступают из него, как маленькие островки на середине озера. Где-то во ржи слышится крик дергача, тихо ржут лошади в загоне. Первые бледные звезды слабо мерцают на июньском небе.

— Пора домой, а то люди что-нибудь подумают, — забеспокоилась Элла. — Нам еще надо поговорить с отцом и матерью.

Старый Лиепинь был середняк-двушладник и, чувствовал себя царьком на своих

шестидесяти пурвиетах[43]. Но в этот вечер Петеру не было до него никакого дела. Притихший от счастья, он предоставил Элле рассказывать обо всем самой. За двадцать семь лет своей жизни он ни разу не чувствовал себя так неловко, как в тот момент, когда плотный усатый Лиепинь подошел расцеловаться с ним как с будущим зятем.

— Ну, дай бог, дай бог! Ты хоть коммунист и неизвестно за чем гонишься в жизни, ну, да жизнь, она сама наведет на правильный путь.

Мамаша Лиепинь, кажется, ожидала, что Петер поцелует ей руку, но он не догадался сделать это, и ей пришлось удовольствоваться поцелуем в щеку. После этого они сели за стол. Пиво собственной варки оказалось удачным, да и на закуски в канун праздника Лиго нельзя было жаловаться.

Три дня провел Петер в усадьбе Лиепини. Они с Эллой исходили все окрестные леса, катались на лодке и наговорились обо всем, о чем в таких случаях полагается говорить. За это время он узнал, что без хороших скатертей и оконных гардин нечего и думать о нормальной семейной жизни и что самое важное — это одеть свою невесту, когда ведешь ее к венцу, в белое шелковое платье. Мелочи повседневной жизни тесным кольцом обступили его, но он совсем не обращал на них внимания, не думал, не замечал их, готовый уплатить любую цену за то, что считал своим счастьем. И он действительно чувствовал себя счастливым.

На третий день, к вечеру, Петер уехал в Ригу. На станцию его отвез старый Лиепинь. 3

Выйдя из тюрьмы, Андрей Силениек немедленно взялся за организацию одного из рижских районных партийных комитетов. Сначала все казалось необычным и почти неправдоподобным, если бы не реальность творимого дела. После долгих лет работы в глубоком подполье, после жестоких преследований он не сразу мог свыкнуться с мыслью, что больше не надо прятаться, не надо таить свои дела и пути, что ни один шпик больше не преследует его по пятам. Это походило на пробуждение после долгого, тяжелого сновидения.

Странно было увидеть в первый раз выставленный в газетных киосках номер газеты «Циня» [44]. И здесь, как и во всем, сказала великая скромность большевиков. Газета была чуть побольше форматом, чем во времена подполья, и название было напечатано более жирным шрифтом, но рядом с кричащими заголовками «Яунакас Зиняс» и «Брива Земе» оно казалось незаметным. «Циня» с каждым номером росла и крепла и вскоре смело и уверенно заняла место, которое по праву принадлежало ей в жизни народа. Первое время полицейские чины доносили еще по утрам в министерство, что в киосках свободно продается «Циня», удивленно перешептывались еще по этому поводу растерянные обыватели, но потом перестали, как перестали удивляться легализации коммунистической партии.

Районный комитет разместился в старом деревянном домишке, потому что это было единственное свободное здание в центре города. Никому не приходило в голову, что можно попросить какое-нибудь посредническое бюро или второстепенное учреждение переселиться в более скромное помещение. Привыкнув выполнять свою великую работу и в сумраке подвалов, и на лесных собраниях, и в окраинных улочках, большевики были готовы продолжать ее хоть в сарае. Ни одной шторы не было на окнах районного комитета. Вся меблировка состояла из нескольких старых, расшатанных стульев, двух-трех простых столов, какие можно увидеть в третьеразрядной столовой, телефонного аппарата в комнатке первого секретаря и старого дивана, на котором сидели посетители Силениека, а ночью спал он сам.

На устройство личных дел у Андрея не хватало времени, поэтому он не подыскал себе квартиры, а дневал и ночевал в районном комитете. Обеды и ужины ему приносили из ближней столовки, и он съедал их тут же в кабинете, часто держа в одной руке ложку, а

другой хватая телефонную трубку.

С утра до поздней ночи в районном комитете толпился народ. Приходили за указаниями члены партии и новые активисты. Приходили жители со своими вопросами, нуждами и жалобами, и каждый обиженный, каждый ищущий справедливости и помощи, каждый, кто замечал вокруг какие-нибудь отрицательные явления, теперь знал, что партийный комитет и есть то именно место, где во всем разберутся. Вывеску заменял небольшой красный флаг из простой материи. А если кто еще сомневался в точности адреса, то его сомнения рассеивал рабочий паренек с красной повязкой на рукаве, стоявший у входа.

Спал Андрей не более четырех-пяти часов в сутки. Работников было мало, а охватить надо было все, при этом своими силами, потому что государственный аппарат, учреждения и полиция были плохими помощниками. С первых же дней партийные организации стали пользоваться среди населения огромным авторитетом, и его надо было сохранить, закрепить. Народ верил каждому слову Центрального Комитета, ждал от него ответа на все вопросы, рожденные событиями этого времени. Люди, которые до сих пор имели самое туманное, а иногда и превратное представление о коммунистах, теперь стали искать на страницах «Цини» верного объяснения всех явлений жизни. Кое-где возникали разные слухи, кое-где готовы были вспыхнуть страсти. Народные массы ходили на реку в половодье, грозящую разрушить своим напором все дамбы и плотины, если вовремя не направить в правильное русло ее мощное течение.

Андрей знал, какая огромная ответственность лежит на организации. Смогут ли недавние борцы подполья выполнить все то, что обещали народу? Пойдут ли широкие массы трудящихся с ними до конца, или станут инертными наблюдателями? Настало время доказать, назло всем скептикам и демагогам, что партия способна все охватить и повести страну по верному историческому пути. Не было ни проверенного на деле аппарата государственного управления, ни опытных администраторов, ни профессиональных журналистов, ни многого другого, — но был накопленный партией в течение десятилетий мудрый опыт борьбы, была братская поддержка великого советского народа. Они верили в свои силы, в правоту своего дела — и этим решалось все.

Когда все служащие учреждений кончали работу и отправлялись на Взморье или на футбольный матч, — для строителей нового мира начиналась лишь вторая половина рабочего дня, которая заканчивалась глубокой ночью и часто сливалась с началом следующего дня.

К Силениеку приходили рабочие фабрик, заводов, порта и железной дороги; у него бывали и ученые, и писатели, и художники. Грузчика сменял доцент университета, а солист оперы встречался в дверях его кабинета с матросом. Из учреждений и с предприятий ежедневно звонили товарищи, прося прислать на работу надежных людей. «Давайте литературу, шлите агитаторов, которые бы могли разъяснить все политические вопросы. Давайте, шлите!»

Жизнь была ключом. Гордость переполняла сердце Силениека: семена, посеянные в трудные времена подполья, не упали на каменистую почву. Уже можно было видеть обильные, полные жизненной силы всходы, которые росли и зрели по всей Латвии, в каждом ее уголке. Трудная работа коммунистов не была напрасной. Каждое слово, сказанное сегодня партией, находило отклик во всей стране, в сотнях тысяч сердец, и сотни тысяч людей готовы были претворять его в жизнь.

Прекрасное, неповторимое время! Его можно сравнить с весной, с восторгом юности, со смелым полетом мечты. А смысл этого времени заключался в работе, в самоотдаче, в неустанных усилиях, которым отдавали себя целиком Силениек, Жубур, Айя Спаре, Юрис Рубенис, Петер и многие, многие другие. Все они сейчас стали на работу там, где в них больше нуждались и где они могли принести больше пользы. Но чем бы они ни были заняты,

каждый день они приходили к Силениеку обсуждать сделанное. Ненасытные, восторженные, никогда они не удовлетворялись достигнутым, все им было мало! 4

В эти дни мастерская Эдгара Прамниека была всегда полна людей. Зная, что присутствие посторонних не мешает ему работать, друзья и знакомые довольно бесцеремонно пользовались его гостеприимством. Да и где еще можно было так свободно и приятно поболтать о том, что занимало сейчас помыслы интеллигенции! Ольга заботилась, чтобы всем хватило по чашке душистого кофе, а желающим — и более крепкого напитка. С высоты пятого этажа гости любовались своеобразной панорамой крыш, труб и церковных шпилей на фоне голубого летнего неба. И им казалось, что они поднялись над городскими буднями, над уличной сутолокой, над жизнью, которая кипела внизу. По своей наивности они свысока смотрели на все происходящее. Но это был самообман. Всеми своими мыслями, всем естеством они были связаны с судьбами тех, кто был внизу, и отзвуки большой жизни настигали их в любом месте.

У них часто возникала высокомерная мысль: «толпа и мы». Но достаточно было спуститься на несколько этажей, ступить на землю, и каждый из них становился составной частью той самой «толпы», которую они пытались изобразить как нечто низшее и презренное. Все ее стремления и страсти волновали и их, и единственное, пожалуй, различие состояло в том, что в решительные моменты им не хватало смелости, спаянности и самоотверженности масс.

От взора редактора Саусума не ускользнуло маленькое, но примечательное изменение в большой картине Прамниека: белое знамя в центре полотна наконец-то стало красным. Он не без сарказма заметил:

— Ты думаешь, что красный цвет будет самым стойким?

Прамниек решительно кивнул головой и отступил на несколько шагов от картины.

— А разве тебе, Саусум, не бросается в глаза, насколько это красное пятно оживило картину, осмыслило ее? Ведь ее содержание можно было толковать по-разному, пока знамя не обрело своего настоящего цвета.

— А что, если тебе когда-нибудь вздумается придать картине иной смысл? Если жизнь внесет какие-нибудь изменения в твои взгляды?

— Я верю в народ, — ответил Прамниек. — Народ никогда не ошибается. Слушай, Саусум, неужели ты сам до сих пор не почувствовал, сколько свежести, сколько силы несет наше время? Давно ли ты ныл: «Не о чем писать, опротивело пресмыкаться, льстить деспоту!» А теперь? Теперь ты можешь показывать жизнь такой, какая она есть. Твою газету сейчас даже не узнаешь, так много в ней жизненной правды. Откровенно говоря, ни ты, ни твои сотрудники не умеете даже как следует справиться с новым материалом, но при всем вашем неумении и, может быть, при всем вашем нежелании вы не в состоянии искалечить красоту действительности. Она пробивается сквозь ваш скептицизм, равнодушие, сквозь вашу тенденцию, как прекрасный барельеф проглядывает сквозь скверную штукатурку. Счастливое время для тебя настало, Саусум. Ликовать тебе надо, а не ворчать.

— Не у всех твой темперамент, Эдгар.

— В темпераменте ли дело? Надо верить и понимать. Сначала понять, а потом верить, не зная сомнений.

— А ты веришь?

— Верю, потому что понял, и теперь я счастлив. Где народ, там правда. Иди с народом, и ты

никогда не ошибешься.

Выпрямившись во весь рост, стоял Прамниек посреди мастерской. Саусум видел, что это не поза.

— Ты прямо фанатиком становишься и, кажется, начинаешь заражать своей страстью и меня.

— Ну вот, ты уже и о фанатизме заговорил, — усмехнулся Прамниек. — Старая история. Возьмем, к примеру, русских. Шапку надо снять перед этим народом, потому что он совершил то, что еще ни одной нации не было под силу. Несмотря на исключительно тяжелые исторические условия, русские первыми на нашей планете восстали против сил капитализма и самодержавия, разбили их в пух и прах и построили новый мир. Разве не ясно, что только вдохновенным усилием всего народа можно было создать великое государство справедливости и свободы, которое стало идеалом для всех трудящихся? Да разве могли бы достичь этого фанатики, как русских часто зовут представители так называемой западной цивилизации? Слепой фанатизм — это ведь только накипь или что-то вроде состояния наркоза: как только прекращается его действие, тут тебе и конец искусственно вызванной активности. Нет, дорогой Саусум, фанатики здесь давно бы выдохлись, а у русского народа сила все прибывает, и он черпает ее из ясности своего сознания, из чистых, глубочайших источников мудрости. Пушкин, Толстой, Герцен, Чернышевский, Максим Горький, гениальные музыканты и художники, которых русский народ дал человечеству, величайший мудрец — Ленин... Разве их творчество, их деятельность не являются сконцентрированным выражением духовного богатства и силы этого народа? Не фанатизм, а глубокая мудрость, не кратковременное кипение страстей, а огромная творческая сила, абсолютное сознание своей исторической правоты — вот что делает великим русский народ.

— Да, и притом абсолютная справедливость по отношению к другим народам; если можно так выразиться, чрезвычайно нравственное отношение ко всем остальным нациям, — задумчиво добавил Саусум.

— Вот то-то и есть, — сказал Прамниек. — Помнишь, мы как-то говорили с тобой о судьбах Латвии. Сейчас, мне кажется, все, кому дорого ее будущее, должны понять, что нам необходимо бесконечно многому учиться у русского народа, и только безнадежные тупицы могут отрицать это.

На другой день в мастерской Прамниек появился давно не виданный здесь гость — Гуго Зандарт. Прамниек приподнял брови от удивления, заметив, какую метаморфозу претерпело обличье хозяина кафе. Он уже не в модном светлом костюме, куда девался и перстень с бриллиантом! Теперь он облачился в рабочую темносинюю блузу; ярко-красный галстук облегает его тучную шею, и на голове у него уже не шляпа, а светлая кепка. Словом, Гуго Зандарт начал «пролетаризироваться».

— Долго ты еще намерен обрастать мхом в своей мастерской? — спрашивает он, развалившись в кресле. — Я думал, ты уже давным-давно устроился директором в какой-нибудь музей или там в академию.

— Я художник, Гуго. Кистью тоже можно работать на благо народа.

— Это мы слышали, — машет рукой Зандарт. — Я ведь насчет того, что с твоими связями можно бы получить хлебное местечко. Сейчас самое время действовать, пока другие не разобрали. Сейчас проспешь — потом не наверстаешь.

— А ты уже действуешь? — не сдерживая улыбки, спрашивает Прамниек.

— У меня, как на грех, ни одного знакомого среди властей. Вот если бы ты замолвил за меня

словечко перед Силениеком, тогда что-нибудь да и вышло бы. У меня, слава богу, опыт в хозяйственных делах немалый, большевикам такие люди дозарезу нужны. Опять же человек я прогрессивный, не то, что прочие. Ты сам знаешь... Если бы меня назначили куда-нибудь директором, я бы им показал, как надо работать, как организовать.

— Ну, кто же в этом сомневается, — не переставая улыбаться, говорит Прамниек. — Ты у нас маху не дашь. Только вот беда, Гуго, в таких делах у меня нет ни малейшего влияния на Силениека. Моя рекомендация будет стоить ровным счетом ноль. Тебе уж самому придется поговорить с ним или с кем-нибудь другим.

Зандарт кисло улыбается.

— Самому? Ну, тогда можно заранее сказать, что ничего не получится. У меня вид очень неподходящий... Преждевременное ожирение и тому подобное...

Сославшись на дела, он натягивает на голову кепку, прощается и уходит.

После его ухода Прамниек несколько минут сидит задумавшись, потом качает головой и принимается за работу.

Через полчаса дверь в мастерскую снова распаивается, и на пороге появляется статная фигура Эдит Ланки. Взгляд Прамниека сразу становится веселее: ему всегда приятно видеть красивых людей.

— Когда же ты, наконец, начнешь мне позировать? — шутливо спрашивает он Эдит. — Холст давно уже натянут и загрунтован.

— Вот так, в платье, — хоть сейчас, — так же шутливо отвечает она. — Иначе — ни за что. Что подумают обо мне знакомые? Например, Силениек... Кстати, он бывает у вас? Теперь, наверное, знать не желает старых друзей.

— Ошибаешься, Эдит. Силениек не таков.

— Я бы хотела повидать его, только не в официальной обстановке, а в дружеском кругу. Неужели он все тот же простой, славный Силениек? Власть так портит людей.

— Силениека нельзя испортить. Он не такой человек. Да ты приходи, когда он будет у нас, сама убедишься!

— Тогда позвони, чтобы мне знать заранее.

— Хорошо, позвоню, Эдит.

Больше ей ничего не надо от Прамниека.

— Ты очень мил, Эдгар, — говорит она, прощаясь, — может быть, я все-таки решусь попозировать тебе. 5

В начале июля к Феликсу Вилде, ныне Эрнесту Салминю, пожаловали на конспиративную квартиру гости из деревни — отец и брат Герман, агроном и командир батальона айзсаргов. Хотя посещать Феликса днем на этой окраине, где чуть ли не каждый встречный был большевиком или сочувствующим, было довольно рискованно, — однако старик Вилде не успокоился до тех пор, пока его не повели к сыну. Герман давным-давно догадался сменить айзсарговский мундир на скромный штатский костюм. Зато старика выдавала его наружность: большой, тучный, с красным лицом и крупной бородавкой на подбородке, он уже издали обращал на себя внимание. С большим трудом втиснулся он в удобное кресло и, охая от жары, начал вытирать лысину носовым платком.

— Видали? Вот те и Ульманис со своей мудростью! «Оставайтесь на своих местах, я тоже останусь на своем месте», — брюзгливо заговорил он. — На волостном правлении красный флаг... Полицейский не смеет носу из дому показать... Каждый батрак, каждый голодранец имеет право глаза выцарапать хозяину. При такой жизни долго не выдержишь.

— Ты, отец, плохой политик, — криво улыбнулся Герман, и щека его нервно дернулась. — Приходится приспособляться, быть дипломатом, смотреть дальше своего носа.

— Герман прав, — примирительно заговорил Феликс. — Теперь главное — в умении приспособляться. Надо держать язык за зубами и не показывать, что у тебя на уме.

— Не показывать? — окрысился старик. — Они болтают всякие мерзости, называют тебя живоглотом и кровопийцей, грозятся отобрать половину земли, а ты помалкивай? Какие у них права на мою землю? Вот ты, Феликс, изучал всякие юридические науки, объясни ты мне, на каком основании они могут отобрать у меня землю? Где такой закон?

— А что? Или уже начали?

— Пока еще нет, но разговоры такие ведутся. И до тех пор будут говорить, пока не отберут. Гляди, я тогда потребую с тебя деньги, которые потратил на твое образование.

— А ты думаешь, я со своей юриспруденцией в силах что-нибудь сделать? Право — понятие изменчивое. Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть на вещи. Пока сила была в наших руках, мы определяли

свои права. Теперь распоряжаются

они, и само собой разумеется, что сейчас они определяют все права по своему усмотрению, не спрашивая, нравятся ли нам эти перемены, или нет.

— А нам смотреть? — старик чуть не подпрыгнул в кресле.

— Больше ничего и не остается, — вздохнул Герман. — В общем мы наблюдаем довольно терпеливо. Например, вся эта шумиха, поднятая вокруг айзсаргов. Подумать только, — если бы раньше какая-нибудь газета осмелилась написать что-нибудь в этом роде о нашей организации или даже об отдельном айзсарге, — министр Берзинь мигом прикрыл бы ее. Да мы и сами такой бы скандал подняли, на всю Латвию. Теперь про нас говорят и пишут черт знает что, а мы пикнуть не смеем. Мы, отец, наблюдаем. Сейчас наша главная задача — сидеть тихо и наблюдать.

— С такими задачами у вас скоро все пойдет прахом, — оборвал его старик. — Феликс, дай-ка сигару...

— Сейчас, отец...

Феликс вышел в соседнюю комнату и через минуту вернулся с ящичком контрабандных сигар. Все трое задымили. На столе появилась бутылка коньяку. После нескольких рюмок старик немного успокоился и деловито спросил сына-горожанина:

— Ты тут ближе ко всему, — скажи, что же это на самом деле готовится? Не начать ли припрятывать имущество? Может, разделить усадьбу пополам и записать половину на Германа?

— Без кровопролития, пожалуй, не обойдется? — полувопросительно вставил Герман.

— Откровенно говоря, я и сам не знаю, что и как произойдет, — ответил Феликс. — Режим пятнадцатого мая оставил после себя слишком много компрометирующих фактов. Ненависть

толпы растет с каждым днем, и если ей дадут волю, то не исключен и террор.

— Наши по деревням окончательно растерялись, — заметил Герман. — Иные с перепугу стали хуже тряпки. Сами себя не помнят. Другие нервничают и, если их не успокоить, могут выскочить раньше времени. Что им говорить?

— То же самое с нашей публикой и здесь, в Риге, — ответил Феликс. — Никто ничего не знает, ничего не понимает. И эта неизвестность опасней всего... Мы можем натворить ошибок, которые потом трудно будет исправить. Одним словом, мы растерялись.

— Утешил, нечего сказать, — съязвил старик.

— К сожалению, ничего более веселого сказать не могу, — пожав плечами, ответил Феликс. — Для айзсаргов и вообще для всех наших самое благоразумное — это руководствоваться пока указаниями Никура: спрятать когти, сидеть смиренно и приглядываться. Старайтесь ужиться с новой властью, добивайтесь, хотя бы для виду, компромисса. Надо работать там, где дают, и работать как следует, чтобы нам доверяли. В этой игре первый ход надо предоставить

им. Позже видно будет, какой тактики придерживаться.

— Не очень это легко — работать как следует на своего противника. — Герман состроил гримасу.

— А я разве говорю, что легко? Но ничего не поделаешь, придется. Сейчас кое-кто из наших имеет шансы выдвинуться. На днях одному моему помощнику, наверное, дадут довольно высокую должность. Вы думаете, мы подлаживаемся к большевикам из добрых чувств, потому, что нам хочется сотрудничать с ними? Ничуть. Просто, чем выше должности, которые будут занимать наши люди, тем больше пользы получим и мы. Вот и все. Тебе, Герман, я тоже советую подыскать место посolidнее. Руководство будет знать, для чего ты это делаешь, а если мелюзга начнет шипеть, что ты продался, — это ничего, это только вода на нашу мельницу.

— Да-а, об этом надо подумать.

— А мне что делать? — забеспокоился старик. — Не попытаться ли пролезть в волостные старшины? Или в землемеры?

— Не берись ни за то, ни за другое, — нетерпеливо перебил его Феликс. — Сиди смиренно в своей усадьбе, делай довольное лицо и не возражай новой власти. Тверди одно: ты честный труженик-земледелец, ты понял, что сейчас наступили новые времена, и легко с этим примирился. И у тебя только одно желание: пусть тебе не мешают работать на своей земле, как умеешь. Тогда тебя оставят в покое.

— Да, а если отберут половину земли?

— Землю унести нельзя. Земля останется на месте. Главное, чтобы ты сам оставался на месте.

Они курили сигары, пили коньяк и вели разговоры до позднего вечера. Люди вчерашнего дня... 6

Если бы соседям Жубура вздумалось проследить, когда он уходит и приходит, то сделать это было бы еще трудней, чем раньше. Сумку книгоноши он забросил в угол еще семнадцатого июня, но до конца месяца не был занят на определенной работе, а делал все, что в данный момент требовала обстановка. То он проводил собрание в одном из крупных издательств, то организовывал фабком на какой-нибудь фабрике, то шел по поручению райкома на

юбилейное собрание добровольного пожарного общества и делал доклад о значении великой перемены в жизни народа. Жубур никогда не отказывался от работы, какой бы незначительной она ни казалась. Он привык общаться с самыми различными слоями населения, и это помогало ему быстро угадывать настроения и социальный облик слушателей. Он знал, о чем думают скептики, какие чувства мучают обывателей, о чем мечтают люди, вчера еще власть имущие, и к чему стремится основная сила нового общества — обретший право первородства пролетариат. Переход от бесправия к полному праву был действительно настолько внезапным, что у некоторых неуравновешенных, малосознательных людей могли закружиться головы, но в подавляющем большинстве масса рабочих делала честь своей воспитательнице — коммунистической партии. Рабочий класс не дал разыграться страстям и благодаря своему самообладанию спутал все карты в руках демагогов и провокаторов. В жизни народа происходил один из самых глубоких переворотов за все время его существования, затрагивающий все области его жизни, — подлинная революция. Но внешне не было заметно даже признаков бури, — так уверенно и дисциплинированно протекало великое переустройство. Трудящиеся, сегодня лишь освобожденные от рабского гнета, с таким спокойствием и уверенностью брались за переустройство жизни, что приводили в замешательство врагов. Те со дня на день ждали кровопролития. Но не пролилось ни капли крови. Они ждали взрыва мести, а вместо этого увидели плодотворный творческий труд. Оклеветанный, ославленный как некое чудовище, рабочий класс проявил такую выдержку, такую моральную силу, что враг на время забился в подполье, замышляя втихомолку новые каверзы и провокации.

«Чем лучше я тебя узнаю, тем больше горжусь тобой, мой народ, — думал Жубур. — Старый, прогнивший мир следит за каждым твоим шагом, ждет, что ты оступишься. Но ты не ошибешься. Ты несешь на своих плечах ответственность за честь и славу Латвии».

Как-то, идя по улице, Жубур встретил Мару, которую не видел с самой весны. Времени у обоих было немного, но им хотелось поговорить, и они направились к первой свободной скамье на берегу канала.

— Товарищ Жубур, ты очень плохо выглядишь, — сказала Мара. — Ешь, наверное, когда попало, об отдыхе и совсем не думаешь.

Эти сдержанно-дружеские слова, это обращение на «ты» заставили Жубура покраснеть, как от непривычной ласки. Почти бессознательно взял он руку Мары и нежно сжал в своих пальцах. Таким же легким и нежным пожатием ответила ему Мара. Они улыбнулись друг другу, и обоим стало неловко.

— А ты выглядишь гораздо лучше, чем весной, — быстро заговорил Жубур. — Не скажешь мне адрес твоего врача-чародея?

Мара действительно выглядела гораздо свежее и здоровее, чем раньше. Глаза смотрели бодро, с загорелого лица сошло утомленное, равнодушное выражение.

— Я довольна жизнью, — ответила она, — мне хорошо. Вероятно, этим все и объясняется.

— Я тоже, я тоже, Мара. Но сегодня не время отдыхать. Когда мы крепче станем на ноги, тогда можно будет как-нибудь в субботний вечер съездить и на Взморье, позагорать, побездельничать.

— Есть вовремя можно и сейчас.

— Да, конечно, но я, видимо, принадлежу к разряду неорганизованных.

— Почему же ты не забываешь побриться, поменять воротничок?

— Хорошо, Мара, сдаюсь. Всегда буду помнить великую истину: мы едим, чтобы жить. Ну, ладно, довольно обо мне. Как дела в театре?

— Разные дела, Жубур. Хватает и хорошего и плохого. У нас, например, некоторые знаменитости почему-то вообразили, что сейчас не могут понимать и ценить искусство, что их хотят сдать в архив. Они считают, что им грозит опасность, и принимают позу молчаливого протеста. Есть и такие, которые думают, что все прежние ценности пошли на слом и значение художника определяется не его талантом, а тем, насколько ловко он умеет пользоваться несколькими затверженными фразами. К сожалению, больше всего в этом отношении грешат непризнанные гении. Ведь у нас, артистов, большого самолюбия хоть отбавляй — даже у самого маленького любителя. Вчера он не умел толком произнести на сцене и две фразы, а сегодня требует главную роль. Если театральное руководство ему отказывает, начинается беготня и жалобы, что молодому «дарованию» не дают ходу.

— И много у вас таких... спекулянтов?

— Не то чтобы очень много... двое-трое. Но они создают напряженную атмосферу. Кричат направо и налево, что старых премьеров надо уволить из театра. Прямо проглотить их готовы.

— А что остальные? Весь коллектив театра? Только наблюдает?

— Никому не хочется связываться с ними. Ведь они как действуют? Хвастаются своими связями с руководящими кругами. Грозятся пожаловаться в партийный комитет, намекают, что кое-кому надо ждать неприятностей. Я бы сказала — шантажируют.

— Неужели ты думаешь, что эти мерзавцы могут найти у нас поддержку? — гневно заговорил Жубур. — Мне ведь это знакомо, Мара. Такие жулики появились не только у вас в театре, но и еще кое-где. Люди без таланта, без принципов хотят всеми способами сделать себе карьеру. Но это им не удастся. Уже не одному такому спекулянту основательно намылили шею.

— Ну, а что с ними делать? Они так самоуверенно разговаривают.

— Нужно осадить их как следует. Наша задача — не отвергать, а привлекать все здоровое и честное, все талантливое, потому что подлинное искусство и культура нужны трудящимся больше, чем буржуазии. Пойми, Мара, что коммунисты — люди великих принципов, что они никогда не станут мелочными. Коммунисты могут простить ту или другую человеческую слабость, но требуют честной, полноценной работы. И если ты видишь, что в театре происходит что-то неладное, ты должна помочь нам. Это твоя святая обязанность, если ты не хочешь стоять в стороне от всенародного дела, Мара. Демагогов нечего бояться. Говори им прямо в глаза, кто они такие. Скажи так, чтобы все услышали, а мы тебя поддержим. Только больше смелости и меньше предрассудков, Мара.

— Значит, ты советуешь начинать борьбу? Хорошо. Буду действовать, как ты сказал.

Проводив ее до театра, Жубур пошел прямо в райком, к Силениеку. Андрей внимательно выслушал его.

— Да, пора, пора обратить внимание и на них, — сказал он. — Я завтра же поговорю об этом в Центральном Комитете. Одной Маре Павулан с такой задачей не справиться. Здесь нужен не один человек.

Глава вторая

Райком комсомола, где Айя работала секретарем, находился в центре города, почти на одинаковом расстоянии от пригородов. Может быть, поэтому каждый раз к концу дня в комнату Айи набивалось много людей, не имевших прямого отношения к комсомольским делам. Часто появлялся здесь Юрис Рубенис, работавший правительственным комиссаром при одной из самых больших пароходных компаний. Иногда заходил к сестре и Петер, которого недавно назначили директором лесопильного завода. Но самым частым гостем был инструктор отдела кадров райкома партии — Эрнест Чунда. Он не любил засиживаться за столом в такое богатое событиями время и с утра до вечера носился по городу, из одного учреждения в другое, делая все от него зависящее, чтобы эти посещения не оставались безрезультатными. В партии он состоял с осени 1939 года, но большинство партийцев почти ничего не знали о работе Чунды во времена подполья. Впрочем, судя по тону, каким он говорил о своих отношениях с руководящими партийными работниками, можно было предположить, что биография Эрнеста Чунды богата замечательными, исторического значения событиями. На собраниях и совещаниях он запросто заговаривал с секретарями Центрального Комитета и министрами, обращаясь к ним на «ты», на каждом шагу подчеркивал установившуюся в годы подполья простоту отношений и держался с нарочитым «пролетарским шиком».

Чунде было лет двадцать семь, и если бы он чаще брился и одевался опрятнее, его можно было бы назвать красивым парнем. При встрече с новым человеком он всегда окидывал его недоверчиво-испытующим взглядом. Говорил Чунда всегда очень громко, не обращая внимания, приятно это или неприятно окружающим. Весь его облик, все повадки свидетельствовали о такой вулканической жажде борьбы, о такой решительности, что перед ним растворялись все двери, где бы он ни появлялся.

— Ах, они не желают! — зловеще улыбнулся он, услышав от товарищей о выжидательной политике некоторой части интеллигенции. — Ну-ка, дайте мне поговорить с ними. Я их научу желать.

— Вот мы какие белоручки, оказывается! — закричал он, встретив как-то Юриса Рубениса в воскресном костюме, в галстук и крахмальном воротничке. — Много ты тратишь на крахмал и глажение? Да тебя можно на выставке за деньги показывать как уцелевший пережиток старого мира! Ха-ха-ха!

И он демонстративно сплюнул на тротуар.

У Айи, конечно, Чунда не плевал на пол, был сдержан в выражениях, но здесь его бойкость проявлялась по-иному.

Усевшись по другую сторону простого канцелярского стола, он откидывал голову на высокую спинку стула и барабанил по лбу, уставившись взглядом куда-то в пространство. Потом начинал говорить, стискивая зубы после каждой фразы, чтобы подчеркнуть значительность своих слов.

— Товарищ Спаре, ты слишком цацкаешься с отсталыми элементами, — сурово говорил он. — С такими нечего рассуждать. Раз власть в наших руках, надо не просить, а требовать. Это всегда приводит к действенным результатам.

— Если и приводит, то ненадолго, — спорила Айя. — Разве мы можем приказать зерну, чтобы оно дало колос в один день? Пока оно прорастет да взойдет, нужно время и заботливый уход. Мы растим сознательных людей, воспитываем их. А что пользы от человека, который работает по принуждению, не веря в результат своей работы? В час испытаний он дезертирует или пойдет против нас.

— Пусть попробует! — Чунда стукнул кулаком по столу. — У нас хватит силы справиться со всеми ненадежными.

— Но почему ты всего хочешь достичь одной силой, принуждением? — усмехнулась Айя. — Партия учит нас совсем другому.

— Правда на нашей стороне, поэтому нам позволительно реализовать ее любыми способами. А я всегда стараюсь прийти к цели кратчайшим путем.

Чтобы не отрываться от работы во время посещений Чунды, Айя прибегала к хитрости: она приглашала свою подругу, Руту Залите, из оргинструкторского отдела, на которую решительность и стремительность Чунды производили сильное впечатление. Романтически настроенная девушка с первого взгляда нашла в нем сходство с одним из героев Виктора Гюго, которым она зачитывалась в школе. Рассказы Чунды о том, как он «наводит порядки» на фабриках и в магазинах, как он «вправляет мозги», Рута слушала с почтительным восторгом. Она засыпала Чунду вопросами, и Чунда заливался соловьем. Айя тем временем работала, не поднимая головы.

Но у Чунды были особые основания засиживаться у Айи. Он с удовольствием смотрел на ее ясное красивое лицо, на стройный стан. Ее голос и редкие улыбки заставляли сильнее биться сердце этого «буревестника». Уверенный в успехе, он долго не раздумывал, а пошел к цели, как всегда, кратчайшим путем.

Оставшись как-то наедине с Айей, он решил воспользоваться моментом и приступить к делу.

— Я тебя интересую как мужчина? — спросил он в упор. Даже его мрачный взгляд немного смягчился. Он ободрительно кивнул Айе, давая понять, что она может не стесняться, может высказать так долго скрываемые ею чувства.

Айя вздрогнула от неожиданности и взглянула на Чунду.

— Что за вопрос, товарищ Чунда?

— Вопрос, понятно, частного порядка, но иногда и это важно.

— Ах, частного порядка! Ну, тогда дай мне подумать. До сих пор мне это не приходило в голову.

— Ладно, подумай до завтрашнего вечера. Завтра мы вернемся к этой теме. Только не забудь, это имеет большое значение для нашего будущего.

Он просидел у Айи еще с час, но она рассеянно слушала его красноречивые монологи.

Когда Чунда, наконец, ушел, она облегченно вздохнула. «Так вот почему ты часами просиживал здесь, — оказывается, надеялся пленить своими речами. Вот болтун, вот дурак...»

Вечером Айя рассказала о предложении Чунды Юрису. Тот покраснел, нервно рассмеялся и горячо заговорил о чем-то другом.

В субботу вечером Силениек объявил:

— Чтобы завтра в райкоме не было ни одной живой души, кроме дежурного. А вам всем надо выспаться, потом поехать за город собирать ягоды, грибы, загорать и на это время выкинуть из головы все дела. Завтра последняя возможность для такого отдыха, а потом начнется предвыборная кампания, и ни о чем другом думать не придется.

Эрнест Чунда сообщил о распоряжении Силениека Айе и предложил ей провести воскресенье вместе.

— Человек — животное общественное. Одиночество не доставляет ему никакого удовлетворения.

Но его предложение запоздало: Айя уже уговорилась с Юрисом, что воскресенье они проведут где-нибудь на Киш-озере или в Сигулде.

— Мне надо сначала подумать над твоим вопросом, — сказала она. — К понедельнику я должна решить его для себя.

— Мое присутствие не мешает тебе думать, — возразил Чунда.

— Боюсь, что оно может повлиять на мой ответ. А я это частное дело хочу решить самостоятельно.

— Ну, если так...

Уходя, Чунда встретил в коридоре Руту Залите. Вопросительный взгляд девушки растрогал его, и он, не раздумывая, пригласил ее поехать на Взморье.

Легкий ветерок надувал паруса. Маленькая яхта, как белая птица, скользила по озеру. Они держались дальше от берегов, и им не было дела до остальных яхт и байдарок, которые порхали по всему Киш-озеру, как рой мотыльков. Рука Юриса держала руль, Айя сидела рядом, на корме. При поворотах яхта почти ложилась на борт. Юрис закреплял шкот[45] на другом борту, и они снова могли идти почти час, не заботясь о парусах.

У железнодорожного моста, там, где Киш-озеро соединяется с протоком Милграва, Юрис повернул яхту обратно. Большой серый пароход стоял у причала суперфосфатного завода. Дальше чернели силуэты закопченных угольщиков. Издали нельзя было разобрать названия пароходов, но Юрис безошибочно называл их:

— Это «Сириус» — норвежец, водоизмещением в три тысячи пятьсот тонн. Вот тот, черный, — «Ариадна», а тот, с белой трубой, — наша «Турайда».

— И как ты их различаешь? — удивилась Айя.

— Я на каждом по несколько раз работал, выгружал и нагружал. И потом каждый пароход чем-нибудь отличается по своей конструкции: у одного капитанский мостик выше, у другого ниже, у этого спардек[46] и нет фальшборта[47], у того тонкая и длинная труба, а у иного высоченные мачты. Нет такого судна, которое в точности походило бы на другое. Даже те, которые во время мировой войны строились сериями, и то чем-нибудь отличаются друг от друга. Если хочешь, я тебе перечислю, сколько у этих пароходов шпангоутов[48] в каждом трюме и у кого из капитанов нос красный, у кого синий. Эх, Айя, ведь через мои руки прошло больше трехсот пароходов, а если опросить моего старика, тот им и счету не помнит. Можно сказать, что капли нашего пота разносятся по всем уголкам мира, по всем морям и океанам. Каждое судно увозит с собой часть нашей жизни. И все же нравится мне эта работа.

Айя положила руку на плечо Юриса. Она чувствовала сквозь шелковый рукав своей блузки стальную мускулатуру юноши. Юрис старался не двигаться, чтобы не спугнуть эту чуткую руку, так легко покоившуюся на его плече. Яхта снова отделилась от берега. С тихим журчанием омывала вода бока суденышка, и маленькие водовороты возникали за кормой, где смыкалась разрезанная струя.

Юрис повернул лицо к Айе. Задумчиво, как во сне, глядела она на полосу леса, окаймляющую берега озера. Несколько чаек пролетели над яхтой. Издалека доносилась музыка.

Почувствовав взгляд Юриса, Айя обернулась. Оба улыбнулись, сами не зная чему.

— Правда, хорошо? — заговорила Айя.

Юрис кивнул головой:

— Готов бы так каждое воскресенье... Надо хоть изредка проветривать голову, освобождаться от забот, от всяких споров и треволнений...

— От бессовестных людей, которые знать ничего не желают, кроме собственного благополучия, да еще требуют, чтобы их считали образцом благородства, — продолжила Айя мысль Юриса. — И сколько еще на свете всякой дряни, Юри! Всяких подхалимов, спекулянтов, карьеристов. И сколько еще пройдет времени, пока вырастет прекрасное, морально чистое общество!

— Только не приходи в уныние, Айя, — сказал Юрис. — Никогда не будем забывать, что не ими земля держится. Иногда, правда, с души воротит, глядя, как эти людишки везде суют на первое место свое «я», но это вовсе не значит, что мы должны уступить им.

— Нет, уступать нельзя ни в коем случае. Идти на уступки — значит признавать права эгоиста.

— Ну, некоторая доля эгоизма есть у каждого, — усмехнулся Юрис. — Не знаю, как у тебя, а у меня определенно.

— Ну, ты не очень потакаешь ему.

— Стараюсь, но есть вещи, где без этого нельзя.

— Ну, например?

— Например, нынешняя прогулка по Киш-озеру... Ты, наверное, думаешь, что у меня не было никакой задней мысли? А ведь мне хотелось побыть с тобой на озере... и чтобы с нами никого больше не было.

— А если я тоже этого хотела? — Веселые искорки зажглись в глазах Айи.

— Но это еще не все, — продолжал Юрис. — В тот вечер, когда ты мне рассказала, что Чунда спросил, интересует ли он тебя как мужчина, у меня появились совсем непохвальные мысли.

— Гм... это уже хуже. — Лицо Айи стало серьезным.

— Да, да. Во-первых, мне захотелось набить ему морду за то, что он полез к тебе с такими вопросами.

— А во-вторых? — взгляд Айи ласкал, торопил его, но он этого не видел, потому что смотрел в другую сторону, на синеву озера.

— Во-вторых, я разозлился на самого себя за то, что ничего не говорил тебе до сих пор. Вот почему я пригласил тебя покататься. И я решил, Айя, не подходить к берегу, пока это дело не станет ясным.

— Какое дело? — притворяясь непонимающей, спросила Айя.

Тогда он вздохнул, рассердись на свою нерешительность, и грустно посмотрел Аие в глаза.

— А сама ты не можешь догадаться, обязательно все надо объяснять?

— Я боюсь ошибиться, Юри. Боюсь оказаться самоуверенной.

— Вот и я боюсь, — признался он. — Ты образованнее меня, знаешь больше моего. Может быть, я тебе совсем не подхожу?

Айя поняла, что он больше ничего не в состоянии сказать и нет никакой надобности мучить этого хорошего, славного человека.

— Друг ты мой, любимый, хоть и эгоизма в тебе... — начала она и вдруг, испугавшись своей нежности, спрятала разгоревшееся лицо на плече Юриса.

Он обнял ее. Они долго молчали. Для них теперь все окружающее, весь мир окрасился в новые, яркие цвета, и каждый звук — далекие голоса людей, крики чаек, всплески воды, — все, все находило новый отклик в их сердцах. Мир стал намного прекраснее, богаче. 2

В солнечный июльский день народ Латвии высказал свое решение. Победа блока коммунистов и беспартийных на выборах в Народный сейм была так огромна, что те жалкие два процента, которые стали в оппозицию ко всему народу, испугались своего бессилия и притихли.

Латвия ликовала. Хозяин страны, народ, наконец, твердо стал обеими ногами на своей земле и в первый раз выпрямился во весь рост, заглянул вперед, поверх заборов национальной ограниченности, которыми огораживала его свора угнетателей. Впервые он увидел безграничный простор и новые, неизведанные дали.

Как-то субботним вечером в маленькой квартирке Петера Спаре, на Гертрудинской улице, скромно отпраздновали две свадьбы. Старый Лиепинь ради такого торжества заколол свинью и смолот муки, но сам не поехал, так как кому-нибудь надо было остаться дома, чтобы присмотреть за хозяйством, а мамаша Лиепинь решила этот вопрос в свою пользу.

— Надо взглянуть, как устроились молодые, как там моя Эллочка хозяйничает. А в таких вещах женщина лучше разберется. Ты и в другой раз съездишь.

Взглядом знатока она осмотрела новую квартиру, обследовала все краны и душ в ванной, по нескольку раз отворяла и затворяла окна, проверила, в исправности ли дверные замки. В квартире было пустовато — ничего, кроме самой необходимой мебели и утвари. На окнах не было занавесок, а дорожек хватило только для передней и спальни.

— Так, Эллочка, жить нельзя, — заявила мамаша Лиепинь. — Что это за господская квартира, если в ней нет ни одного ковра? Да и без сервизов разных нельзя...

— Петер всегда говорит, что мы не господа, — пыталась возразить Элла.

— Вот тебе и раз! Он же директор фабрики! Разве такие люди могут жить как-нибудь? Вам придется принимать важных людей и самим ходить в гости. Что же, вы осрамитесь хотите?

Такой решительный подход обеспокоил Эллу. Зная, как мало значения придавал Петер бытовым мелочам, она тоже старалась смотреть на эти вещи глазами мужа. Не всегда она его понимала, не с каждым его мнением была согласна, но впереди была целая жизнь. Со временем, думала она, все сгладится и то, что мать хотела сделать одним рывком, она делает постепенно.

— Мама, у меня к тебе большая просьба, — сказала Элла. — Ты с ним поменьше говори о таких вещах. Дай нам самим подумать об этом.

— О чем вы будете думать, когда жизни еще не знаете? Ну, если не нравится, могу и помолчать.

Самой мамаше Лиепинь многое не нравилось в поведении Эллы и Петера. Что это за пара, если невеста не нарядилась в белое шелковое платье и фату с миртовым венком, а жених в черный фрак? Словно последние батраки — сходили в загс в чем были. Жених не догадался даже обзавестись обручальными кольцами, без которых и свадьба не в свадьбу. Но не только мамашу Лиепинь, — Эллу тоже кольнуло в сердце, когда Петер отказался венчаться в церкви. «Твое дело — верить или не верить в церковные обряды, но один раз мог бы угодить своей любимой, и ничего бы тебе не сделалось». Да, Петер мог поступать по-своему, а Элла все-таки надела на палец обручальное кольцо и за столом нарочно держала руку так, чтобы все его видели. «Пусть только попробуют смеяться! Я тоже не деревянная, у меня тоже есть сердце».

Однако никто и не думал смеяться. Друзья Петера отнеслись к Элле внимательно и нежно, словно к родной. Но Элла никого из них почти не знала, а их разговоры были ей непонятны и неинтересны, — все о политике да о политике, не могут обойтись без этого даже за свадебным столом.

Заметив, что Элла скучает и чувствует себя одинокой, Айя под села к ней и попробовала приободрить ее:

— Это очень хорошие люди, Элла. Когда ты лучше узнаешь их, ты их полюбишь. Все они честно боролись за лучшую жизнь для народа, и им многое пришлось перенести и пережить, но их ничто не сломало. И они вовсе не такие суровые, ты не думай.

— Я и не говорю ничего, — обидчиво ответила Элла, прижимаясь к Петеру. — Мне все равно, было бы гостям весело.

Гости чувствовали себя отлично. Без трафаретных пожеланий, без лишних тостов, они веселились с детской искренностью и непосредственностью. Воспоминания Ояра Сникера о проделках со шпиками во времена подполья и тюрьмы на этот раз сопровождались неумолкаемыми взрывами смеха. Он рассказывал, как однажды четыре часа водил за собой шпику по пригородам Риги. В этом рассказе немаловажную роль играл возбуждавший подозрения шпики таинственный сверток, который нес с собой Ояр. Он в лицах показывал, как, догнав его, шпики заставил, наконец, показать, что было в этом свертке.

— Разворачивает он газету, а у самого пальцы дрожат от нетерпения. Но как только увидел содержимое свертка, весь побагровел от ярости и ну орать на меня.

— Что у тебя там было? — хохоча до слез, спросил Силениек.

— Говяжьки кости. Как раз перед тем зашел в мясную, собирался сварить суп. «Господин охранник, — говорю ему самым спокойным тоном, — у моего соседа есть собака, замечательный песик, думал было угостить его, но, если желаете, могу эти косточки уступить вам».

Все смеялись, одна мамаша Лиепинь ни с того ни с сего обиделась:

— Вы хоть ради такого дня поговорили бы о чем-нибудь другом. Все собаки да кости... лучше-то ничего не нашли...

— Как не найти, — постарался исправить положение Ояр Сникер. — На столе всего полно —

и еды и питья. Мы можем обидеть хозяйку, если не воздадим должное ее трудам. А выпить сегодня можно без риска, раз товарищ Крам нас не видит.

— При чем тут Крам? — спросил Юрис, и Ояру снова пришлось рассказывать.

— Все вы, конечно, знаете Крама, секретаря нашей парторганизации. В предвыборную кампанию нас обоих командировали в Цесисский уезд. Остановились мы у одного партийца, учителя средней школы, и как раз подоспели на именины его жены. Особенного торжества не было, просто пригласили на ужин нескольких друзей. На столе была бутылка ликера собственного приготовления и кувшин пива. Когда Крам увидел это, сейчас же отозвал меня в сторонку и говорит: «Ты можешь оставаться, а мне, секретарю парторганизации, неудобно смотреть, как члены партии потребляют спиртные напитки. Пока вы здесь будете угощаться, я схожу в партийный комитет поговорить о кадрах». Так до поздней ночи и не возвращался, чтобы его трезвым глазам не пришлось наблюдать мирские удовольствия.

— Он уж такой, — подтвердил Силениек. — Не станем ему навязывать радостей жизни, если они ему так противны.

— Осушим за них по стакану! — закричал Сникер. — Только не говорите Краму, что это уже третий за вечер.

Они пели прекрасные, полные грусти и дерзновения песни политкаторжан, с жаром говорили о своих рабочих планах.

Элла Спаре украдкой разглядывала свое обручальное кольцо. Ей было скучно, точно она слушала разговор на чужом языке. Она не понимала, как это можно восторгаться политикой. Ее рассеянный взгляд часто останавливался на пустом углу между дверью и окном: хорошо бы туда поставить маленький столик с цветочным горшком.

— Не расстраивайся, дочка, — шептала мамаша Лиепинь и погладила под столом руку Эллы.
— Понемногу все устроится.

После свадьбы будни сразу вступили в свои права. Петер чуть ли не круглые сутки проводил на заводе. Мало времени оставалось у него для молодой жены, и Элла старалась заполнить чем-нибудь часы одиночества. В магазинах, булочных и мясных лавках она постепенно перезнакомилась с соседками — женами служащих и торговцев, стала ходить к ним в гости. У них было о чем поговорить — о рукоделиях, о портнихах, о дачах на Взморье. Дни проходили в чтении романов Курт-Малер, в разглядывании модных журналов и разных сплетнях, которыми был насыщен воздух обывательских квартир.

Не сойдясь с друзьями Петера, Элла нашла себе иную среду, где ее понимали и она понимала других. 3

Однажды утром к Айе пришла просто одетая пожилая женщина. Ее грустный, сосредоточенный взгляд сразу привлекал к ней внимание, и, хотя в комнате было уже несколько посетителей, Айя прежде всего обратилась к этой женщине:

— Вы ко мне, товарищ?

— Да, к вам. — Женщина еще плотнее сжала губы не то от упрямства, не то по привычке подавлять какую-то внутреннюю застарелую боль. — Я подожду, когда вы освободитесь. Может, мне пока выйти?

— Да нет, нет, оставайтесь здесь, — ответила Айя. — Присядьте, пожалуйста.

Женщина взяла предложенный Айей стул и села в углу комнаты. Пока Айя разговаривала с другими, женщина сидела молча, сложив на коленях свои красные с потрескавшейся кожей

руки. Когда, наконец, все ушли, она сама подошла к столу.

— Меня зовут Анна Селис, — начала женщина. — Я слышала, что вы знали мою дочь Арию. Она... умерла на торфяных болотах прошлым летом...

Айя сразу же вспомнила месяцы работы на торфяных болотах, вспомнила молодую хрупкую девушку, которая покончила самоубийством, и сердце ее сжалось. Она поднялась, обошла письменный стол и протянула женщине обе руки.

— Я помню... все помню, товарищ Селис. Бедная, милая девочка... Еще бы один годик перетерпеть, выдержать — и какая прекрасная жизнь началась бы для нее!

Губы Анны Селис дрогнули, но она сдержалась, и лицо ее снова стало спокойным, только в больших карих глазах стояла такая скорбь, что перед ней умолкали все слова сочувствия. Айя усадила ее на стул и гладила по плечу, ожидая, когда она заговорит сама.

— Я сама все время об этом думаю, — начала Анна Селис, — ведь так немного оставалось ждать. Не надо было мне отпускать ее от себя. Как-нибудь перебились бы. Но она ведь какая, — ей все хотелось помочь мне, зарабатывать самой и учиться дальше. Ничего не поделаешь, не всем дается счастье. Я вот думаю: уже лучше бы она была дурнушкой, может быть ей больше повезло бы в жизни... Столько она настрадалась из-за своей красоты. Да что теперь говорить! Все равно ничего не исправишь. Я вот пришла к вам с большой просьбой...

— Говорите, не стесняйтесь. Я сделаю все, что можно. Скажите, кстати, где вы работаете?

— Стираю белье и раза два в неделю хожу убирать квартиры. Да я не потому пришла, для меня это дело привычное. Тут другое. У меня еще двое детей есть. Ингриде весной исполнилось семнадцать лет, она уже окончила вечернюю школу. Сыну Иманту скоро будет пятнадцать. Хочется ему очень поступить в техникум или в мореходное училище. Товарищ Спаре, милая, я все время думаю, что мне надо жить для них... чтобы им не выпала такая судьба, как Арии. Я много слышу о вас. Молодежь вас любит и уважает. Вот я и прошу вас заняться моими детьми и немножечко помочь им. Только немножечко... много ведь им не надо. Они у меня от работы не отлынивают, стыдиться за них не придется. Я и пришла к вам поговорить.

— Меня это ничуть не затруднит, товарищ Селис, — ответила Айя. — Наоборот, я очень довольна, что вы обратились сюда, в райком, мы все сообща позаботимся о них. Если можно, пришлите их сегодня же. Я буду здесь до позднего вечера.

Айя разговорилась с ней о прежней ее жизни.

«Откуда у этой простой женщины бралось мужество своими силами вырастить троих детей и дать им образование?» — думала она. Оказалось, что Анна Селис окончила уездную школу и могла бы выполнять более легкую работу, но как она могла соперничать с громадной армией безработных интеллигентов? Пока не выросли дети, нужно было искать такую работу, которая позволяла бы оставаться дома, — присматривать за ними было некому. Вот так и обходилась: сама за корытом белья, а дети топили плиту и вертелись возле матери. И она забывала под их щебетанье все тяготы своей трудной, однообразной жизни.

— А теперь, — сказала Айя, — они уже не маленькие, и вам никто не помешает взять более подходящую работу.

— Я об этом как-то не думала.

— Тогда давайте подумаем вместе.

В тот же день к Айе пришли Ингрида и Имант. Простой, ласковый тон Айи быстро расположил

их к ней, и они доверчиво рассказывали о своих планах. Имант все время твердил о своей любви к морю, к дальним путешествиям, его любимым писателем был Джек Лондон.

— Если бы можно было попасть на парусник и походить по всем морям, лучше ничего не придумаешь. Но только никто меня не возьмет. А без практики в мореходное училище не попадешь. Мать хочет, чтобы я учился на механика и оставался на берегу, а разве я могу прожить так всю жизнь?

— Никто тебя к такой жизни не принудит, Имант, — смеясь, сказала Айя. — Я думаю, что на судно ты попадешь, если только сам не передумаешь. Поучись еще с год на суше, к тому времени у нас станет больше судов, и я помогу тебе стать матросом.

Ингрида была хрупкая, нежная девочка, очень похожая на свою погибшую сестру. Из разговора с ней Айя увидела, что она много читала и много думала над прочитанным. В школе у них проходили английский, но мать научила ее с Имантом русскому языку, хотя из школьных программ он был изъят. Ингрида прочла в оригинале «Как закалялась сталь» Островского, и высокие, мужественные образы советской молодежи глубоко запали в ее сердце. Требовательным, не омраченным сомнениями взглядом смотрела она на жизнь; все люди, все явления казались ей определившимися, законченными — или очень хорошими, или очень плохими. Она была полна детской мечтательности, но в то же время была способна целиком отдать себя какому-нибудь избранному благородному делу и быть верной ему до конца. С сосредоточенной нежностью рассказывала она о погибшей сестре: ей казалось, что своей жизнью она должна продолжить незавершенную жизнь Арии.

— Я хочу сделать то, что не успела сделать Ария... — призналась она.

У нее были большие карие, как у матери, глаза и светлые волосы. Доверчиво и в то же время застенчиво улыбаясь, смотрела она на Айю.

«Какая цельная, чистая душа», — думала, глядя на нее, Айя.

Ингриду приняли в комсомол, и благодаря заботам Аии она устроилась на работу в райком. Имант стал пионером и поступил рассыльным в редакцию газеты. Никогда Айе не пришлось жалеть, что она помогла им стать на ноги и показала верный путь. 4

На следующее утро после закрытия первой сессии Народного сейма Прамниек зашел в кафе Зандарта. Завидев художника, тот живо подсел к нему и закидал вопросами:

— Ты был на заседании сейма? Ну, как? Правда, что все проголосовали за вступление в Советский Союз? Значит, у нас будет новая конституция? Так, так. Теперь как же, у меня все национализируют или что-нибудь оставят?

Прамниек был еще полон вчерашними впечатлениями и готов был делиться ими с первым встречным.

— За свою жизнь я перевидал много людей, наблюдал их при разных обстоятельствах и могу сказать, какова разница между искренней, неподдельной радостью и игрою самого искусного актера. Но мне еще никогда не случалось видеть такой единодушной, такой непосредственной радости, как вчера, когда все услышали предложение о вступлении в Советский Союз и установлении советской власти в Латвии. Надо было видеть, Гуго, какая буря ликования пронеслась по залу. Мне показалось, что вокруг стало светлее от блеска человеческих глаз. Честное слово, я не сентиментален, но у меня сердце забилося и на глазах выступили слезы. И не только у меня. Я видел людей с суровыми, точно из камня высеченными лицами, и они плакали от волнения. А какая грандиозная демонстрация выросла на улицах за несколько минут, как только народу стало известно решение сейма! Видел?

Зандарт отломил кусочек спички и долго ковырял в зубах.

— Ко мне приехали гости из деревни. Мне не до демонстрации было, — равнодушно ответил он.

— Ты много потерял, старик, — не замечая, какое впечатление оказывают его слова на Зандарта, продолжал Прамниек. — Это был не просто поток людей, это походило на весеннюю бурю. Знаешь, как это бывает в мае. Деревья гнутся, по Даугаве ходят волны, а на душе легко и весело. Подставляешь лицо ветру и отдаешься его порывам. И когда начинает лить теплый дождь, ты только улыбаешься от счастья, — будет богатое лето, урожайный год. Вот что я чувствовал вчера.

— Я ревматик, Прамниек, и до смерти боюсь дождя.

— Барсук ты, Гуго. В такой день сидеть в своей норе! Жалко мне тебя, старикан, ничего ты не понимаешь.

— Благодарю за сочувствие. Мы уж как-нибудь... Может, выпьем по рюмочке ликеру?

— Нет, спасибо. Сегодня мне хочется поработать. Пока еще свежи впечатления, надо набросать несколько эскизов.

— Нет ли у тебя чего-нибудь готового? Ну, такого, из современной жизни? Я бы с удовольствием купил. Вон ту картинку с цветочками можно повесить дома, в столовой, а на ее место что-нибудь подходящее, в нынешнем духе...

— Пока у меня нет ничего подходящего, но я тебя не забуду.

— Буду ждать, Эдгар, хотя мне, пожалуй, не стоит больше думать о покупках. Если кафе национализуют, то заберут и все картины. Как ты думаешь, не начать ли понемногу кое-что ликвидировать? Можно устроить так, что они получают пустое помещение. Мебель, посуду, ковры и прочее я могу распродать поштучно. Кое-что отправлю в деревню, кое-что расую по знакомым. Если положение изменится, будет с чего начать хозяйство. С другой стороны, это опасно, служащие донесут, тогда не оберешься неприятностей. Знаешь что, — вырвалось у Зандарта, как будто его озарила новая мысль, хотя вчера вечером он несколько раз обсуждал ее с Паулиной, — а не сделать ли нам так: все оставить на месте и миновать национализации? Вам, художникам, будет нужен клуб. Мне рассказывали, что в Москве есть клубы и у художников и у писателей. Если я свое кафе передам в ваше распоряжение, перепишу со всем, что в нем находится, на ваш союз, тогда можно будет спасти его от национализации. Вы ведь не откажетесь принять меня заведующим клубом или хозяйством? Паулина будет заниматься кухней. Тогда все будут довольны. Жаловаться на обслуживание художникам не придется, и у меня душа будет спокойна. Как ты на это посмотришь?

— И тонкая же ты бестия, Гуго! Если бы мне не было известно, что художники действительно нуждаются в клубе и что ты напрасно рассчитываешь на перемену политической погоды, я бы просто обругал тебя.

— Но раз ты знаешь, что художникам нужен клуб и времена больше меняться не будут?.. — Зандарт вопросительно смотрел на Прамниека.

— Да, именно поэтому я думаю, что твое предложение надо обсудить. Я понимаю, что ты делаешь это с целью обмануть государство, но важен результат, а не твои намерения.

— Не будешь же ты корить меня за то, что я с тобой разоткровенничался? — улыбнулся Зандарт. — Я ведь могу и по-другому сказать, так, что никто не придерется. Например, так: «Настоящее предприятие расцвело по той причине, что его изо дня в день посещали

художники и тому подобная публика. Вы, художники, оставили немало денежек в кафе, и если я передам его в ваше распоряжение, то поступлю по справедливости».

Другой бы все так и расписал, а я сказал, как думал, по-честному, по-простецки, ничего плохого у меня на уме не было.

— Я подумаю о твоём предложении, Гуго. Поговорю в правлении.

— Пускай забирают, мне не жалко! — хлопая себя по коленям, кричал Зандарт. — Только поскорее бы, иначе другая организация из-под носа выхватит, а у вас все-таки больше прав на это предприятие. Мне хочется, чтобы оно обязательно попало в ваши руки.

Когда Прамниек ушел, Гуго поспешил передать разговор с художником Паулине. Оба решили, что поступили весьма умно и успех можно считать обеспеченным.

Глава третья

1

В предвыборную кампанию Чунда по заданию райкома уехал с агитбригадой в один из курземских уездов и пробыл там три недели.

Вернувшись, он встретился на улице с Ояром Спикером.

— Куда путь держишь? — крикнул Чунда.

— В райком, к Силениеку.

— Мне туда же, пойдем вместе.

Дорогой он рассказал про свою командировку:

— За двадцать дней я провел шестьдесят предвыборных собраний — по два в каждой волости. На каждом собрании выступал лично. Крестьяне и рабочие прямо на руках носили и в каждой волости просили остаться у них руководителем. В уюме меня хотели даже взять вторым секретарем. По пропаганде и сельскому хозяйству.

— Да ведь ты в сельском хозяйстве ни уха ни рыла не понимаешь, — недоверчиво засмеялся Ояр. — Ты по крайней мере научился хоть разговаривать с крестьянами?.

— Во-первых, в сельском хозяйстве я понимаю ровно в три раза больше тебя...

— Это еще не очень много, потому что я в нем ничего не смыслю. Трижды ноль — все равно нулем и останется.

— Во-вторых, совсем не обязательно знать, когда они сеют, жнут и чем посыпают землю, — не сдавался Чунда. — С людьми надо только уметь разговаривать. А говорить можно о чем угодно — о ценах на мясо, об абиссинском негусе, о зубной боли и домотканых простынях.

— Ты об этом и говорил с ними?

— А то что же? Когда человек много говорит, другие думают, что он все знает. Тут надо быть немного психологом, в этом секрет популярности.

— О чем с подростками, о том и с седыми стариками, — усмехнулся Ояр. — Как патефонная пластинка — запустил, и пускай поет?

— Во всяком случае мне после каждого выступления аплодировали, — обиделся, наконец, Чунда.

— Это от радости, что наконец-то кончил. Послушай, Чунда... — Ояр остановился и оглядел его с ног до головы. — Что у тебя за вид? Борода небритая, рубашка грязная, на брюках сальные пятна. Скажи, ты и перед народом так выступал?

— Уж не воображаешь ли ты, что я перед каждым собранием надеваю фрак?

— Почему ты всегда ходишь таким неряхой? Что ты этим хочешь доказать?

— В уставе ни слова не сказано про то, как одеваться члену партии.

— Ах, будет тебе! Надо, друг, доказывать свою принадлежность к рабочему классу примерной работой, а не демонстрацией неряшливости. Все равно никто не поверит, что тебе нечего надеть, некогда побриться. Дам я тебе добрый совет...

— Можешь засолить впрок свои советы! А если тебе нравится светское общество, чего же ты ищешь в партии? Иди к корпорантам, поступи официантом в ночной ресторан, они тоже ходят в смокингах.

— Если ты явишься в таком виде к Силениеку, он с тобой и разговаривать не захочет. Окажет, что ты компрометируешь своим видом звание члена партии. Ведь вся рижская организация над тобой смеется!

— И ты тоже? — угрожающе спросил Чунда.

— Ясно. Почему и мне не смеяться?

— Ладно, Сникер, насчет этого мы еще поговорим на бюро райкома. Я сумею укоротить твой длинный язык, ты у меня ржать перестанешь!

— А я научу тебя каждый день мыть рожу. Жалко, что не побыл с нами в тюрьме, там бы ты у нас научился.

Они шли некоторое время, не глядя друг на друга. Ояру, наконец, надоело это молчание, он улыбнулся и заговорил примирительным тоном:

— Ну, не обижайся на меня, а привести себя в порядок все-таки надо, иначе ни одна девушка не захочет на тебя смотреть.

— О, на этот счет не беспокойся, Сникер, — присвистнул Чунда. — Я на недостаток внимания пожаловаться не могу. Сообщу тебе даже, что через несколько недель ты будешь присутствовать на моей свадьбе, если, конечно, я тебя приглашу.

— Наверно, какая-нибудь овечка, если согласилась выйти за такого неряху.

— Ты ее знаешь не хуже меня, — победоносно улыбнулся Чунда. — Я подозреваю, что ты и сам весьма не прочь бы на ней жениться.

— А можно узнать ее имя?

— Айя Спаре.

Ояр остановился и с изумлением посмотрел на Чунду.

— Айя Спаре? Секретарь райкома комсомола? — переспросил он.

— Так точно. Айя Спаре — моя будущая жена.

— Та самая Айя Спаре, которая только что вышла замуж и теперь косит фамилию Рубенис?
— Ояр не только не постарался смягчить силу удара, но еще и поддразнил оторопевшего Чунду. — Зайдем по дороге в райком комсомола, ты сможешь самолично ее поздравить.

Чунда побледнел, потом густо покраснел и, ничего не сказав, прибавил шагу. Ояр не отставал от него.

— Почему ты так расстраиваешься, Эрнест? С твоими способностями и феноменальным успехом у женщин ты можешь взять реванш в два дня. Женись на другой. Желающих ведь хватит.

— В конце концов хорошо сделала, что вышла замуж, — сказал Чунда. — Как она вешалась мне на шею! Теперь хоть покой найду, смогу выбрать девушку по вкусу. Юрис Рубенис... Ха-ха-ха, вот так победа!

Хотя они намеревались идти к Силениеку, но, дойдя до райкома комсомола, остановились и протянули друг другу руки.

— Мне на минуту к комсомольцам, — сказал Ояр.

— Мне тоже, — ответил Чунда.

— Если ты думаешь, что я собираюсь передать Айе наш разговор, то ошибаешься. Ты не беспокойся, я об этом ни одному человеку не скажу.

— Попробуй расскажи. Тогда заговорю и я, но только на бюро райкома, — пригрозил Чунда.

— За клевету на члена партии можно кое-что заработать на бюро.

— Опять на бюро. — Ояр махнул рукой га, не обращая больше внимания на Чунду, стал подниматься на второй этаж.

У комнаты Руты Залите он остановился, чтобы поправить съехавший набок галстук. Эрнесту Чунде поправлять было нечего, и он стремительно распахнул дверь.

Завидев долго отсутствовавшего гостя, Рута покраснела и торопливо пригладила свои золотистые волосы.

Когда Ояр вошел в комнату, Чунда уже сидел на подоконнике и болтал ногами. Обросшее щетиной лицо его выразило искреннее удивление.

— Что вам, товарищ Сникер? — спросил он. — Кабинет товарища Спаре находится в другом конце коридора.

Стараясь не глядеть на него, Ояр поздоровался с Рутой. Но ощущение неловкости, овладевшее им при входе, не проходило, он чувствовал себя выбитым из колеи. Чего здесь надо Чунде... у маленькой милой Руты, о которой Ояр Сникер часто думал еще в тюрьме?

Он сел против Руты, закурил папироску и попробовал шутить:

— Что бы ты сказала, Рута, если бы нас с Чундой послали в пионерский лагерь? Меня можно трубачом, а Чунда сошел бы за громкоговоритель.

— Ты бы вполне мог заменить фазана в зоологическом саду, — сухо заметил Чунда. — Галстук у тебя уже есть, осталось обзавестись только пестрым хохолком, а это тебе смастерит из перьев какой-нибудь парикмахер.

«Мы как петухи...» — подумал Ояр, и ему стало стыдно. Он попытался еще пошутить, но все так же неудачно.

Почему-то при встрече с Рутой Ояр терял способность говорить о серьезном и переходил на свои уленшпигелевские шутки[49]. Руте нравились умные люди, умные разговоры, а Чунда умел пустить пыль в глаза.

У Ояра это не получалось. Какая-то мальчишеская застенчивость, которая не могла пройти и за годы тюрьмы, заставляла его скрывать свои чувства и заветные мысли под личиной шутника и озорника. Многие поэтому считали его легкомысленным человеком, ветрогоном. Может быть, и Рута так думала? Но изменить свой характер — дело не легкое.

Посидев немного и поняв, что он лишний, Ояр попрощался и вышел. Теперь Чунда мог без помехи рассказывать о своих успехах в уезде. Небритый, неряшливо одетый, он казался Руте олицетворением первобытной силы. Золотые искорки сверкали в глазах девушки. 2

Дня через два Ояр Сникер получил от Чунды записку:

«Будь другом, зайди сегодня в три часа ко мне, в райком. Необходимо сообщить кое-что важное. Буду ждать. В случае неявки прошу сообщить до половины третьего.

Эрнест Чунда. Август 1940 г.».

Ояр скомкал записку, хотел бросить в корзину, но передумал и спрятал в карман.

— Если не пойду, подумает, что обиделся... завидую... — Выдумает еще черт знает что. Но что ему от меня нужно? Может, вздумал подшутить? Ничего, пусть попробует, а я в долгу не останусь.

В половине третьего Ояр запер письменный стол и вышел на улицу. Времени было достаточно, и он посидел немного на берегу канала. По недвижной глади воды, которая казалась темно-зеленой от тени склонившихся над ней деревьев, скользили байдарки. Два белых лебедя кружили против Ояра. Временами они останавливались и застывали на месте, словно позируя перед прохожими, или погружали клювы и длинные шеи в воду, что-то разыскивая там, и потом долго отряхивались. Когда из-за поворота показывалась лодка, они подплывали ближе к берегу, ожидая, когда она проедет мимо, и потом снова принимались за свое мирное занятие, единственной целью которого было утоление голода.

«Какая простая, безмятежная жизнь, — думал Ояр. — Поест, выкупаться, раз в году вывести лебедят и дожждаться следующей весны, чтобы повторить все сначала. А ты?»

Он перебирал в памяти события своей жизни. Детство без родителей, проведенное в приюте, потом работа на фабрике... Учеба по ночам и полная опасностей работа подпольщика, хождение по лезвию ножа. Один неосторожный шаг — и ты пропал. Затем тюрьма, долгие годы в одиночках и общих камерах, мечты о великой победе, которая перестроит жизнь снизу доверху.

Теперь это в прошлом. Теперь можно работать, можно претворять мечту в действительность. У него много прекрасных товарищей, а вот личная жизнь как-то не получилась. Небольшая комнатка окнами во двор, железная кровать, стол у окна и старая полка с новыми книгами. Есть еще одна фотография, групповой снимок, сохранившийся с дотюремных времен. Фотограф разместил группу так, что рядом с Ояром оказалась молоденькая комсомолка Рута Залите. Все они улыбались, им казалось смешным позировать перед фотографом; и улыбка Руты была солнышком, которое годами согревало Ояра Сникера.

Теперь... эх, зачем об этом раздумывать? Теперь появился Эрнест Чунда, с которым он

заводит иронические споры в присутствии девушки. Два петуха дерутся! Догадывается ли Рута, понимает ли она? И, если понимает, что она думает про Ояра, когда возле нее нет Чунды?

Часы показывали без пяти минут три. Он встал и направился в райком. Ровно в три он входил к Чунде.

— Хвалю за аккуратность.

Ояр, не отвечая, смотрел на Чунду и Руту, стоявшую у окна. Чунду в первый момент он даже не узнал. Новый бостоновый костюм, белый воротничок, галстук в полоску. Из кармана пиджака выглядывал клетчатый платок, на ногах черные лакированные ботинки. А главное, какой-нибудь час тому назад Чунда побывал в парикмахерской: подбородок гладко выбрит, волосы подстрижены.

Парикмахер приложил руку и к волосам Руты. И не только к волосам. Брови и ресницы ее стали несколько темнее, от чего взгляд казался каким-то чужим. На ней было нарядное светло-зеленое шелковое платье и новые туфли.

— Можно узнать, что все это значит? — спросил Ояр.

— Мы с Рутой решили пожениться, — ответил Чунда. — В половине четвертого нам надо быть в загсе, хотим попросить тебя проводить нас. Нужен один свидетель.

«Только без волнений и без шуточек, — сказал себе Ояр. — Они не должны догадаться о твоих чувствах».

Усилием воли он заставил себя изобразить на лице приятное удивление и протянуть Руте руку.

— Разрешите пожелать тебе большого, большого счастья... И тебе тоже, Эрнест. Как это вы незаметно, никто даже не догадывался.

— Что, скажешь — неосновательно сработано? — смеялся Чунда. — Если хочешь знать, то и сейчас еще никто ничего не подозревает. Ты первый узнаешь.

— А родители Руты?

— Мы решили сказать им об этом потом. Преподнести приятный сюрприз.

Но по глазам Руты Ояр увидел, что Чунда ошибается. Ояр улыбнулся через силу.

Всю дорогу до загса, куда они поехали на извозчике, он шутил не переставая. Добродушно подсмеивался над Чундой, сказал, что теперь ему трудно будет дышать — сороковой номер воротничка слишком тесен для его шеи. Но Чунда был в благодушном настроении и только похихатывал:

— Это только на сегодня. Завтра я всю эту ерунду заброшу в комод и отдышусь.

После регистрации брака Ояр немедленно попрощался с новобрачными.

— Мне надо быть в половине пятого на работе. У меня совещание с директорами фабрик.

— Тогда приходи после совещания, хорошо? — настаивал Чунда. — Посидим у родителей Руты, пообедаем.

— Правда, приходи хоть попозже, — пыталась уговорить его Рута. — Мы будем ждать.

Но Ояр чувствовал, что это говорится только из вежливости.

— Если смогу вырваться, приду. Но вы все-таки с обедом не задерживайтесь, начинайте без меня.

Новобрачные взяли извозчика и уехали. Ояр проводил их взглядом до поворота, вздохнул и перешел на другую сторону улицы. Больше он не улыбался.

У него мелькнула мысль, что надо послать Руте цветов. Он зашел в цветочный магазин, купил целую охапку красных и белых роз и велел сейчас же отослать их на квартиру Руты, а сам направился в райком, к Силениеку.

— У меня к тебе большая просьба, Андрей, — решительно начал он. — Помоги мне уехать куда-нибудь из Риги. Все равно куда.

— С чего это ты? — Силениек с хитрой улыбкой взглянул на него. — Все стараются попасть в Ригу, а ты вздумал бежать? Неприятности?

— Мне здесь тяжело оставаться. Согласен на любую работу, какую укажет партия. Только чтобы это было подальше от Риги.

— Если это так необходимо, к помогу, — сказал Силениек. — Переговорю в отделе кадров ЦК.

Он поднялся со стула, подошел к Ояру и серьезно посмотрел ему в лицо.

— Наверно, что-нибудь, связанное с личной жизнью?

Ояр молча кивнул головой.

— Значит, верно угадал. Но ты духом не падай! Это у тебя пройдет, забудется. Не забудутся только плоды нашей работы, — ты всегда это помни.

Через несколько дней Ояр Сникер уехал в Лиепаяу. Он уехал, не простившись ни с Рутой, ни с другими товарищами, и те только после узнали о его отъезде. Никого это не удивило. Партия посылала своих членов туда, где они были больше всего нужны. 3

Джек Бунте не мог пожаловаться на новые времена. Если раньше его тесть с трудом выносил зятя — бывшего агента, то сейчас Бунте стал служить своего рода щитом, которым можно было кое-что прикрывать. Старик все время внимательно следил, с какой стороны дует ветер. Еще не был принят закон о национализации крупных домовладений, торговых и промышленных предприятий, а ему уже стало ясно, что скоро придется расстаться со своим пятиэтажным домом. Такая перспектива не могла его обрадовать, но он был достаточно умен, чтобы не показывать своих чувств.

— Мы люди прогрессивные, — говорил он при каждом удобном случае. — Посредническая контора только формально носит мое имя, на самом деле это кооператив, и все служащие работают в нем на равных началах, получают определенный процент от прибылей. Дом? Ну что дом... Если кто думает, что я видел от него много пользы, то ошибается. Еле-еле натягиваешь на ремонт и амортизацию. Пожалуйста, посмотрите акты подоходного налога: средний служащий — и тот зарабатывает больше моего, а у меня, не забывайте, работает вся семья.

Самым серьезным свидетельством прогрессивных убеждений семьи Атауги служило замужество Фании. Не каждый домовладелец выдаст свою дочь за простого бедного юношу, у которого только и имущества, что на нем самом. Естественно, что Атаугу интересовали не доходы, не образование, не общественное положение, а только демократический облик

Джека Бунте и его принадлежность к честному рабочему классу. Сын рабочего, он вошел в зажиточную трудолюбивую семью и воочию убедился, что глухой стены, которая отгораживала бы буржуазию от рабочих, вовсе не существует. Все зависит от самих людей, насколько они честны или нечестны, прогрессивны или реакционны их убеждения. В семье Атауги, например, царили самые современные политические взгляды. Если бы старик Атауга был сторонником Ульманиса, разве он не вступил бы в организацию айзсаргов или «Крестьянский союз»? Мундир айзсарга сидел бы на нем не хуже, чем на его соседях. Нет, он достиг зажиточности лишь благодаря своему трудолюбию и бережливости, и его не беспокоило наступление новых времен. О нет, он был вполне лоялен по отношению к советской власти.

Однако он заблаговременно произвел некоторые важные перемены в своем имущественном положении. В начале июля он продал Джеку Бунте занимаемую им квартиру в четыре комнаты. Другая такая же квартира была продана Индулису, а третью приобрел дворник, прослуживший в доме много лет. В это же время мадам Атауга поступила на службу к своему мужу в качестве управляющей домом и стала получать жалованье. Индулис стал шофером такси и купил у отца новую четырехместную машину. Никто не интересовался, почему он никогда не появлялся на стоянке, а обслуживал только узкий круг клиентов, ближайших родственников и знакомых дам, которых он и раньше катал в этой же машине.

Когда надо было послать куда-нибудь представителя от семьи, на первый план выдвигали Бунте. Он ходил по учреждениям, навещал старых товарищей, участвовал в демонстрациях, сидел на собраниях. Для этих целей из гардероба извлекался самый поношенный костюм, и Бунте торжественно облачался в него, словно в боевые доспехи, не забыв прикрепить к лацкану пиджака красную пятиконечную звездочку. «Мы люди рабочие», — повторял он через каждые два слова.

— Истинная находка такой зятек! — радовался старик.

— Говори мне спасибо, это я настояла на свадьбе, — напомнила жена. — Ты сначала не хотел.

— Как я мог предвидеть? — оправдывался муж. — И зачем нам спорить о прошлом? Все хорошо, что хорошо кончается. Так ведь, старушка?

Теперь Бунте во всякое время запросто заходил в квартиру тестя, не опасаясь ни его брезгливых гримас, ни очередного столкновения с Индулисом. Называли его теперь все не иначе, как «милый Джек».

Что касается Индулиса, то спесь с него сошла еще в июньские дни, и только гордость не позволяла сразу стать на товарищескую ногу с зятем.

Но однажды вечером лед был сломан. Фания только глаза раскрыла от удивления, когда в дверях ее квартиры показался Индулис. Студент лениво улыбнулся сестре и протянул зятю два пальца.

— Как поживаешь, Джек? — спросил он.

— Ничего, дышать можно, — ответил Бунте. И хотя он немало вытерпел от Индулиса, эта фамильярность ему польстила. Все-таки приятнее, когда близкие родственники живут с тобой в дружбе и не смеются над каждым твоим словом.

Бунте повесил пальто Индулиса и повел его в гостиную. Ему хотелось показать свое радушие, и он обратился к жене:

— Может быть... закусить чего-нибудь?

— Спасибо. Я собственно на минутку и притом только что поел. Мне надо поговорить с Джеком по одному дельцу.

Фания ушла в спальню и больше к ним не выходила. Последнее время она готовила потихоньку приданое новому гражданину, который должен был появиться на свет в конце года.

Оставшись вдвоем с Бунте, Индулис немедля заговорил о деле:

— Ты знаком с неким Жубуром? Он был у моего старика агентом.

— Точно. Зачем он тебе?

— Во время ликвидации корпораций он был одним из главных. Мне с ним пришлось несколько раз столкнуться. Сейчас, говорят, у него большие связи с руководством большевистской партии. Если это верно, ты как старый товарищ мог бы сказать на него некоторое влияние. Как вы с ним? Ничего?

— Ничего. Можно сказать, приятелями были.

— Ты не откажешься оказать мне одну маленькую услугу? — Прищуренные глаза Индулиса испытующе уставились на Бунте.

— Ну что же, — слегка улыбнулся Бунте. «Ага, теперь за помощью обращаешься». Сейчас он готов был взять на себя самую неприятную обязанность, чтобы доказать свое могущество. — Разве я когда-нибудь отказывал?

— Да кто же это говорит? Видишь ли, с тех пор как наш дом национализирован, жить приходится на один заработок. Старик ничем особенно помочь мне не может, а мне хочется кончить университет. Остается одно — искать подходящую работу. На днях я узнал, что в порту есть хорошее вакантное место — в пассажирском отделе таможни. Но там требуют рекомендации. Вот если ты поговоришь с Жубуром и он даст ее, меня примут без возражений. Я знаю английский язык и немецкий, а это как раз то, что им нужно.

— Поговорить я могу, — важно согласился Бунте.

— Только смотри, не проболтайся, что я сам прошусь на это место, — предупредил Индулис. — Ты лучше окажи, что мне его предлагают и что эта рекомендация — одна формальность. Если ты поможешь, тебе всегда будет хорошо, какие бы времена ни наступили. Мы сумеем оценить твою услугу. Ты понял?

Бунте кивнул головой:

— Я что-нибудь сделаю.

— О-кей! Вообще имело бы смысл тебе сойтись с ним поближе. У тебя ведь, наверно, найдутся еще какие-нибудь друзья. Возобнови знакомство с ними, если они стоят у власти. Стань активистом, согласишься, чтобы тебя куда-нибудь выбрали, а если бы тебе удалось вступить в партию, мы бы тебя озолотили. Ты понимаешь? Нужно заручиться их доверием. Кому доверяют, у того больше возможности.

— А если придут другие времена? Тогда как?

— Речь идет именно о том, чтобы эти времена приблизить. Ничто не приходит само собой. Если мы будем подгрызать только извне, толку из этого не выйдет. Надо пролезть внутрь, в самую сердцевину, и начать действовать оттуда. Понял?

— Понять-то я понял, только знаешь что... — Бунте строго посмотрел на Индулиса. — Я постараюсь помочь, сделать все, что вам нужно, но при одном условии.

— Ну?

— Ты должен обещать, что не заваришь каши, пока времена не переменятся, иначе у меня голова с плеч долой и мы все пропали.

— Неужели ты думаешь, что я желаю своим близким гибели? — Индулис начал раздражаться. — Не молокосос же я! Знаю, что можно и когда. Нет, Джек, насчет этого будь покоен.

— Хорошо, хорошо, завтра начинаю разыскивать Жубура.

— Да, старикан, начинай завтра же. И вот еще что — до поры до времени Фании об этих делах ни слова. Сам понимаешь, женщине в ее положении нужен покой.

— Ладно, это уж моя забота, — пообещал Бунте. 4

Когда Бунте узнал, наконец, где работает Жубур, и появился у него в кабинете, представления его о могуществе прежнего сослуживца живо рассеялись. Маленькая комнатка была обставлена так скромно, что у Джека всю почтительность как рукой сняло. Ни роскошного стола, ни массивного письменного прибора, а старый стул, на котором сидел Жубур, вовсе не подходил для важной персоны. Еще большее разочарование испытал Бунте, когда узнал, что в учреждении (это был районный исполком) Жубур не играет главной роли, а руководит лишь отделом культуры и народного образования. Какой пользы можно ждать от человека, который и себя-то не сумел устроить толком?

— Слышал, что ты большевиком стал, — сказал Бунте, осматривая Жубура так внимательно, как будто надеялся обнаружить признаки его принадлежности к какой-то необычайной породе людей. Но Жубур ничуть не изменился — тот же костюм, тот же голос, та же добродушная, чуть насмешливая улыбка.

— Как живется, Жубур? Старых друзей не забыл? Или это нехорошо, что я тебя беспокою?

— Не говори глупостей, Джек, — ответил Жубур. — Хорошо сделал, что вздумал навестить. Где ты теперь работаешь?

— В том-то и дело, что сейчас стал безработным. Бюро Атауги ликвидировали. Перестали в нас нуждаться. Предложили было место в одном комиссионном магазине. Самым главным, понимаешь? Но мне хочется заняться чем-нибудь посущественней. Копаться в барахле, словно на свете больше ничего и нет... Сам еще заплесневеешь среди старого хлама.

— А ты что-нибудь присмотрел?

— Кое-что есть на примете, да вряд ли там выйдет. Например, государственным комиссаром в каком-нибудь национализированном предприятии;

— Ну, а конкретно?

— Армейский экономический магазин...

— Нет, там тебе будет тяжело. Слишком универсальное предприятие. Старые зубры обведут тебя вокруг пальца, потом сам не будешь знать, как выпутаться.

— Если нельзя в экономическом, то в каком-нибудь большом ювелирном магазине.

— А ты что-нибудь смыслишь в драгоценностях?

— Как не смыслю? Разве мало приходилось посредничать и иметь дело с золотыми часами, с перстнями, с драгоценными камнями?

— Почему тебя не интересует более живое дело? — помолчав, сказал Жубур. — Я бы тебе посоветовал даже поначалу за большими должностями не гнаться. Возьми что-нибудь поскромнее. Если справишься, тебя не забудут. Советская власть дает каждому честному человеку возможность выдвинуться, показать свои способности.

— Хотелось бы зарабатывать побольше, — вздохнул Бунте. — Не забывай, что у меня теперь семья на шее. Маленькая должность меня не прокормит. У меня хоть и нет специальности, а в снабжении и хозяйстве я кое-что смыслю. Как-никак, бюро Атауги чему-нибудь да научило...

— Это верно. Ну, а как нравится тебе советский строй?

— Я за него стою и буду стоять. Что и говорить... Совсем другая жизнь настала. Богачам теперь крышка.

— Старик Атауга теперь, наверное, плачется? Дом национализировали, бюро ликвидировали, не над кем больше командовать, некого эксплуатировать.

— Мой тесть неглупый старик. Он понимает, что иначе нельзя, и на стенку не лезет. Если бы все вели себя, как Атауга, у нас была бы тишь да гладь.

— Скажите, какой передовой, — засмеялся Жубур.

— Ты понимаешь, Жубур, оказалось, не такой уж он был богач, как мы с тобой думали. Дом приобрел в рассрочку под банковскую ссуду. Сын вот у него сейчас ищет работу, иначе не удастся закончить образование. Ему предлагают какую-то небольшую должность в пассажирском отделе таможни, благо языки он знает. Он почти согласился, но там нужна рекомендация какого-нибудь известного работника. Ты за него не замолвишь словцо? Мальчишка совсем переменялся. Так и рвется работать. Да и в конституции написано, что все имеют право на труд.

Жубур задумался. Великие времена вызывают перемены не только в жизни народов, но и в отдельных людях. Что можно потерять, дав бывшему корпоранту возможность проявить себя на полезной работе? Работа покажет, что он за человек.

— Хорошо, Джек, я созвонюсь с таможенным управлением, — сказал Жубур. — Пусть наведается через несколько дней.

— Весьма благодарен, ты об этом никогда не пожалеешь.

Относительно самого Бунте договорились, что ему лучше всего пойти на работу в какое-нибудь домоуправление.

— А теперь вот что, друг — сказал Жубур. — Человек ты молодой и должен понять, что тебе еще многого не хватает. Для того чтобы стать полезным членом советского общества, надо учиться. Не теряй зря времени, учись. Сейчас мы все учимся.

— И ты учишься?

— Да, возобновил занятия в университете. И работаю и учусь. Другой возможности у меня нет.

— Трудно так — и работать и учиться. Послушай, Жубур. Мне, конечно, тоже не хочется стоять в стороне в такое, можно сказать, великое время. Я бы с удовольствием вступил в партию... Как ты думаешь, могу я надеяться?

— Желание похвальное, Джек. Но ведь партия предъявляет к своим членам очень высокие требования. Мне кажется, что тебе еще очень рано говорить об этом. Ты и вне партии можешь стать ценным членом советского общества. Покажи себя на работе, поучись и подумай.

Бунте стал управляющим несколькими домами в одном из центральных районов Риги. Он надеялся на другое, но, решив, что с Жубура больше взять нечего, удовлетворился для начала и этим. Главное, Индулис Атауга получил место в таможне. А через несколько месяцев можно будет возобновить разговор о вступлении в партию. 5

Инженер Риекстынь приказал секретарше не впускать к нему посетителей, пока он сам не скажет.

— А если будут звонить? Соединять? — спросила секретарша.

— Только с наркомом или с его заместителем, — всем остальным отвечайте, что я выехал по важному делу и неизвестно, когда вернусь. Поняли?

— Поняла, товарищ Риекстынь.

— Теперь идите и больше меня не беспокойте. Мне нужно готовить важный доклад правительству.

Когда секретарша вышла! Риекстынь развалился в кресле и закурил. Рассеянно просмотрел газеты, перелистал московские журналы и пренебрежительно отодвинул их в сторону. Эта литература его не интересовала. Пусть читают, кому нравится.

В газетах его интересовали только статьи, сообщающие о неполадках в хозяйственной жизни. Их он прочитывал с удовольствием, а самые любопытные, по его мнению, места подчеркивал красным карандашом. Он записывал для памяти фамилии руководителей предприятий, которых больше всего критиковали. Его имя в газетах еще не появлялось. «Этого никогда и не случится, — думал Риекстынь, — потому что я сумею показать себя в выгодном свете даже в таких случаях, когда другие проваливаются».

К середине июля, следуя совету Феликса Вилде и выполняя директиву штаба контрреволюционной организации, малозаметный ранее инженер Риекстынь устроился заместителем директора в одном из департаментов. Спасать старого директора не было смысла — во времена Ульманиса он слишком скомпрометировал себя взяточничеством и разными махинациями. Два месяца Риекстынь старательно работал, помогая наркому реорганизовать министерство в наркомат. Когда же департаменты реорганизовались в управления, Риекстыня назначили заместителем начальника одного такого управления. Он был осведомлен почти обо всем, что происходило или готовилось в наркомате. С его мнением считались, его предложения почти всегда принимались без изменений.

Два месяца Риекстынь работал усердно и даже хорошо. Почему? А потому, что это был организационный период и остановить его все равно не было возможности. За это время Риекстынь постарался показать себя с лучшей стороны, завоевать полное доверие.

К середине сентября, когда стадия организации закончилась, акции Риекстыня стояли высоко. Он был вне всяких подозрений и уже надеялся занять должность начальника управления, так как теперешний его начальник не справлялся с своими обязанностями.

Тогда Феликс Вилде дал своему подручному новые директивы. Наблюдая за мероприятиями советской власти, Вилде пришел к выводу, что режим не очень суровый и большевики снисходительно относятся к бывшим своим противникам. Они оставили в покое многих из бывших крупных чиновников и даже предоставляли им ответственные посты. Они сдерживали экстремистов, брали под защиту некоторых старых деятелей культуры, в надежде постепенно перевоспитать их, сделать советскими людьми. Аграрная реформа, проводимая в деревне, была терпима: старым хозяевам оставляли по тридцать гектаров земли. Если им дать действовать так несколько лет, они, чего доброго, перестроят жизнь на социалистический лад и обойдутся без применения крайних средств, — такова, очевидно, их цель.

Но разве это допустимо? Создаваемое в течение двадцати лет представление о коммунистах как о некоем пугале быстро рассеивалось, и в сознании народа укоренялось новое, противоположное представление. Вилде казалось, что мягкий режим является выражением слабости коммунистов: как только им придется столкнуться с сопротивлением, тотчас окажется, что они не смогут справиться, — начнется хаос, замешательство и, главное, спокойное течение политической жизни станет мутным. Вот чего было нужно Феликсу Вилде и его единомышленникам.

— Довольно работать на них, — сказал он Риекстыню. — Пришло время действовать в нашу пользу.

Риекстынь тут же изменил стиль работы. Он больше не засиживался до позднего вечера в наркомате, а ровно в шесть часов вечера исчезал — до следующего утра.

— Публику надо выводить из терпения, — поучал его Вилде. — Ни один вопрос, даже самый пустяковый и ясный, не надо разрешать сразу. «Придите послезавтра. Зайдите через неделю. Нам надо взвесить, согласовать, проверить некоторые факты...» И когда все будет взвешено и проверено, скажите, что разрешение вопроса не входит в вашу компетенцию. Пусть посетитель пойдет туда-то и туда-то. Посылайте его от Понтия к Пилату. Создавайте заколдованный круг, из которого нельзя выбраться. Тогда население начнет думать, что большевики не умеют и не хотят работать. При каждом удобном случае каждый новый закон надо истолковывать шиворот-навыворот и применять в ущерб интересам населения. На каждом шагу нужно показывать, что теперь все хуже, чем было раньше. Когда население начнет жаловаться на несправедливости, говорить, что народ опять обижают, вы пожимайте плечами и отвечайте: «Ничего не поделаешь, таков закон. Мы выполняем то, что нам приказывают. Если вам не нравится, идите жалуйтесь правительству». Одним словом, пусть расцветает махровый бюрократизм. Тормозить, саботировать, вредить на каждом шагу, но только так, чтобы к вам нельзя было придраться. В случае неудачи надо отговариваться и оправдываться незнанием советских порядков.

Вот почему теперь Риекстынь запирался в своем кабинете, не принимал ни одного посетителя, не разрешал соединять с ним по телефону и коротал время, рисуя в блокноте обезьянок и чертиков. Если начальство направляло ему на заключение какое-нибудь дело, он неделями держал его в столе и на все напоминания отвечал, что вопрос слишком сложен и требует детального изучения дополнительных материалов. Предложения, реализация которых шла бы на пользу советскому строю, на благо народу, Риекстынь критиковал и отводил, подкрепляя свои возражения множеством фактов, статистическими данными и статьями закона. Наоборот, любое не продуманное до конца предложение, принятие которого приводило бы к путанице и недовольству, горячо им поддерживалось.

Начались пожары. Горели лесопилки, склады, загорались фабрики. Но всегда это происходило «по непредвиденным причинам»...

Когда проводилась реорганизация системы оплаты труда, наркомат поручил Риекстыню

подготовить этот вопрос, но он тормозил тарификацию, путал категории и всеми силами старался оттянуть введение сдельной оплаты на предприятиях. Рабочие не знали, сколько им причитается за выполненную работу. Все преимущества новой системы прогрессивной оплаты труда остались на бумаге, в столе заместителя начальника управления. Даже когда заместитель наркома выразил недовольство такой затяжкой, Риекстынь продолжал гнуть свое:

— Вы хотите, чтобы я напутал в таком важном вопросе? Его надо изучить во всех подробностях. Если мы установим для какой-нибудь категории слишком высокие расценки, потом уже этого не исправить. Как мы объясним рабочим, что завышенные расценки установлены по ошибке и что их надо снизить на несколько рублей? Получится политический скандал.

Он всегда ссылался на политическую сторону дела.

Материалы попадали в тресты с большим запозданием, но и там, случалось, сидел такой же Риекстынь или Вилде, и бюрократическая карусель вертелась снова.

Спекулируя на терпимости советской власти, контрреволюционное подполье зашевелилось.

Глава четвертая

1

Старый Вилде поднялся с первыми петухами. На дворе было еще темно; мелкий дождик шуршал по оконным стеклам. Накинув на себя что попало, лишь бы не рассмешить людей, хозяин, по своему обыкновению, пошел будить батраков. В сених его догнала жена.

— Слышь, старик, куда ты?

— Куда, куда, — пробурчал он. — Людей будить. До свету, что ли, им дрыхнуть.

— Ты в своем уме, отец? Кого будить-то? Пургайлис и Бумбиер теперь ведь сами хозяева, ты над ними не властен.

Точно пелена спала с глаз Вилде, и он вспомнил, что все теперь по-другому, не так, как было еще месяц, неделю и даже несколько дней тому назад. Хозяин затворил дверь, вернулся в комнату, повесил на крюк пиджак и, надувшись, как индюк, присел на край кровати.

— Ложись, отец, поспи, — уговаривала его жена. — Девочек я сама разбужу и с коровами управлюсь. Тебе после всех огорчений надо отдохнуть.

Вилде молчал. Не в его привычках было отвечать на расспросы, когда он был не в духе. Вилдиене посуетилась еще немного, поглядывая с опаской на мужа, и вышла. В кухне началась приглушенная возня. Стучали коромысла, звенели подойники. Дворовые собаки перебрехивались с соседскими.

Оставшись один, Вилде застонал от злости. Вот бы сраму было, если бы он постучался к батракам! Пургайлис не упустил бы случая посмеяться: «Перепутали адрес, гражданин Вилде, не вчерашний ли день здесь ищите? К вашему сведению, здесь живет новый хозяин, Пургайлис, ха-ха-ха!»

«Погоди, я те еще покажу! — грозитя мысленно Вилде. — Долго ты не просидишь на этих десяти гектарах. Как прусака ошпарю... В бараний рог согну».

Несколько дней тому назад в усадьбе Вилдес произвели раздел земли: отрезали двадцать гектаров. Нельзя сказать, чтобы отошли лучшие участки, если не считать надел Бумбиера. Землемер оказался человеком сговорчивым. До обеда, пока отмеряли десять гектаров Бумбиеру, ставили межевые знаки, поговорить с ним не удалось. Председатель землеустроительной комиссии ни на шаг не отходил от землемера и во все вмешивался. Поэтому Бумбиеру и достались две пурвиеты самой лучшей огородной земли и семь пурвиет пашни, да и под сенокос отвели хороший участок, у самой реки, только потому, что он примыкал к его наделу. Бывший батрак теперь не смел взглянуть в глаза своему прежнему хозяину, как будто в чем-то провинился перед ним.

Но после обеда все пошло как по маслу. Этому в значительной мере содействовала хозяйка, позаботившаяся о вкусном обеде и сладких, крепких напитках. Вилде с веселым лицом угощал членов комиссии, уговаривая их подкрепиться как следует, чтобы после обеда закончить работу. Он сам разливал по большим рюмкам напитки, оказывая больше всего внимания председателю комиссии. Устав от обильного обеда, председатель прилег отдохнуть, и Вилде смог поговорить наедине с землемером, а тот был старинный знакомый, перед которым притворяться не приходилось.

— Слушай, Рудум, ты что это, хочешь меня вконец разорить? — начал Вилде. — Словно не нашел участков похуже. Уж очень у тебя зловредная цепь: при каждом броске — лучший участок долой. Так ты намеришь мне дорогу прямо в богадельню.

— Что я могу поделывать? — развел руками землемер, кивнув на спящего председателя. — Глаз не спускает с меня. Если не послушаюсь, пожалуется в уезд...

— Ну, сейчас-то он тебе не помешает. Пока спит, можешь отмерить другому новохозяину. Когда проснется, дай подписать готовый акт.

Землемер был не из новичков.

— Еще наживешь неприятностей... начнет срамить на собраниях. А им только на зуб попадись — такое начнется...

— Ты погоди, Рудум, — вкрадчиво зашептал Вилде. — У меня с весны откармливаются восемь поросят. Выбирай любого. Сам и отвезу, скажи только когда.

— Ну, тогда быстрее за работу... пока спит, — заторопился землемер. — Надо сказать, чтобы не будили.

И пока председатель отдыхал, землемер с Вилде и остальными работниками за несколько часов успели отмерить второй надел — для Пургайлуса. Владением его стала голая залежь, клочок заболоченной земли, поросший ольшаником, и самый плохой участок луга — одни пни. Молодой батрак, работавший в усадьбе только второй год, конечно, не мог претендовать на такую же землю, какая досталась Бумбиеру: тот ведь пробатрачил здесь полжизни. Ничего не поделаешь, что справедливо, то справедливо.

— Уж лучше, Ян, совсем откажись, — всхлипывала жена Пургайлуса (он был женат с весны). — На что тебе болото, что с него получишь? Пусть они им подавятся.

— Не расстраивайся, Марта, — успокаивал еб муж, — я сейчас председателя позову.

— Не велено будить, — напомнил землемер Рудум. — Да вы напрасно спорите. Мы все делаем по инструкции, а там сказано, что землю надо отрезать по возможности так, чтобы не было чересполосицы. Если не верите, сходите в волость, прочтите. Можете отказаться, но я не уверен, дадут ли вам что в другом месте. Желающих получить землю много.

— Почему вы не нарезали мне пахотную рядом с Бумбиером? — Пургайлис даже покраснел.

— Очень глубоко вклинивается в участок соседа, — стал объяснять Рудум. — В землемерной практике это не принято.

— Что ты орешь, Пургайлис? — вмешался в разговор старый Вилде. — Приложи только руки, и через пять лет твоя земля будет не хуже моей. Хочешь, чтобы мы, старики, лезли в это болото? А что тогда молодые будут делать? Ха-ха-ха! — смеялся он в лицо Пургайлису. Большой живот его дрожал, как студень, маленькие глазки хитро щурились от смеха.

— Видно, ворон ворону глаз не выклюет. — Пургайлис сплюнул и кивнул жене: — Пойдем, Марта, нечего с ними разговаривать.

— Не годится ругать орган советской власти, — покачал головой землемер.

— Советской власти? — Пургайлис посмотрел на Рудума с презрительной усмешкой так, что землемеру стало не по себе. — Я-то знаю, что такое советская власть. Это моя власть, я за нее жизнь положу, если понадобится! А вы... вы проходимцы, вы как камень на дороге встаете под ноги советской власти, пока вас не отшвырнут в канаву...

У председателя с похмелья разболелась голова, и объяснить с ним не удалось. Рассеянно слушая Рудума, он подписал акт и предложил остальным сделать то же. Когда Пургайлис начал спорить, он вяло ответил ему:

— Не торгуйся, дружок, — как еще заживешь! Всем угодить я все равно не могу. Всегда кто-нибудь будет недоволен.

Едва комиссия уехала, как на хозяйскую половину проскользнул, с картузом подмышкой, Бумбиер. Низенький, тощенький, с седоватой всклокоченной бородкой, он походил на нищего, и это сходство еще усиливалось, когда он начинал говорить тягучим голосом попрошайки:

— Вы только не обижайтесь, хозяин. Разве я что просил у них? Сами навязали, прямо силком: «Тебе полагается, ты батрак, и так далее... Бери, раз дают». Я ведь не гонялся за этими хорошими участками. С меня хватило бы и одной пурвиеты где-нибудь на краю поля, картошку посадить. На что мне столько земли?

Вилде для виду сделал сердитое лицо:

— Что вам со мной разговаривать? Теперь ваша власть. Делите мою шкуру, как вздумаете.

Вышколенному за долгие годы батраку становилось прямо не по себе, когда на него сердился хозяин.

— Погодите, хозяин, я кое-что придумал. Кабы вы выслушали... Разве нельзя сделать так: пусть эти тридцать пурвиет будут записаны на меня, а мы оставим все как было. Вам лучше знать, что делать с урожаем. Я буду работать, как прежде работал, и знать про это никто не будет.

— Гм... — сразу подобрев, промычал Вилде. — Я подумаю.

— И налогов меньше платить придется. Пусть их приходят, проверяют.

— Совесть у тебя как-никак имеется, Бумбиер, — сказал хозяин. — Но, гляди, держи язык за зубами. Никто не должен знать, что мы того... На работы я тебя больше посылать не буду. Если что надо спросить, приходи ко мне сам, лишь бы люди ничего не знали.

Тяжело было хозяину первые дни, — даже прикрикнуть не на кого. К домику батраков ему и

подходить не хотелось, таким вызывающим и смелым взглядом встречал его Пургайлис. Только когда на дороге попался Бумбиер и вблизи не было людей, хозяин мог отвести душу: «Поди сгреби картофельную ботву, наколи дров... Почини изгородь возле хлева... Что я, каждую малость должен показывать?»

Когда удавалось хорошенько пробрать Бумбиера, у Вилде сразу легчало на сердце. В общем-то ничего почти не изменилось. Из-за десяти гектаров не стоило расстраиваться, и если папаша Вилде весь багровел при встречах с Пургайлисом и долго косился ему вслед, то потому лишь, что были затронуты его права собственника. Затронут принцип. Кулацкое сердце Вилде не могло ни забыть, ни простить. Нет, он никогда не простит Пургайлису. 2

Старый Вилде не мог уснуть. До его слуха доносился каждый шорох со двора, звук шагов, хлопанье дверей, drobный стук дождевых капель в оконные стекла. Тревожные мысли пронеслись в его голове. Как унять расходившееся сердце, когда видишь, что с тобой поступают несправедливо, а ты не смеешь ответить на это, как хотелось бы! Грудь распирает от накопившейся злобы, и такая она едкая, горькая, что готов схватить всех их за горло и трясти, до тех пор трясти, пока они не упадут перед тобой! И чтобы все это видели! Но нет, надо терпеть, молчать и делать веселое лицо, ибо сила не на твоей стороне.

Долго так не выдержишь. От одной мысли, что это останется навсегда, — десять лет жизни долой.

Герман тоже хорош... заделался уездным агрономом, исполняет все, что велят большевики. Будто и не воспитывался на традициях крепкой крестьянской семьи, будто и не он был строгим командиром айзсаргов, будто он не знает, как покрикивать на всю эту мелкоту. «Для того ли я учил тебя, Герман, чтобы теперь мне одному пришлось отстаивать честь семьи, честь сословия? Мякотелыми вы стали, расчетливыми людишками, всего боитесь. А я вот не боюсь. Я все сделаю, и вы еще у меня поучитесь. Это я говорю, простой мужик Екаб Вилде. Я с ними повоюю, они еще узнают, какие у меня когти!»

— Эмма, Эмм... — Вилде приотворил дверь в кухню и тихо позвал жену. — Собери чего-нибудь на скорую руку.

— Куда опять? — спросила жена.

— У меня дела в волостном правлении. Надо съездить пораньше, пока народу меньше. Там ведь теперь всегда полным-полно этих гнид.

Он выпил кружку цикорного кофе, съел пару яиц, потом обул новые сапоги, надел брезентовый балахон, чтобы не промокнуть в дороге. До волостного правления было около двух километров, но хозяину не пристало идти пешком. Бумбиер запряг выездную лошадь и помог Вилде усесться в рессорную бричку. Всю дорогу Вилде заставлял лошадь идти легкой рысью. Когда красивая лакированная бричка въехала во двор волостного правления, предутренние сумерки еще не рассеялись и писарь Каупинь, выглянув в окно, не сразу узнал прибывшего. Он вышел на крыльцо и крикнул:

— Кто так рано пожаловал?

Вилде оставил лошадь у коновязи и пошел к дому. Низенький, толстый, с бычьей, в складках, шеей и маленькими черными усиками, Каупинь стоял на крыльце, словно страж, охраняющий границы волости. Узнав Вилде, он сразу стал любезнее:

— Господин Вилде? Что это в такую рань поднялись? Мы только что начинаем шевелиться. Не случилось ли чего?

— Доброе утро, господин писарь, — поздоровался с ним Вилде. — Надо с вами кое о чем

поговорить. Позже, когда съедется народ, к вам не подступишься.

— Заходите, — пригласил Каупинь. — В доме, правда, еще не убрано, но если уж так рано приехали в гости, не обессудьте. Хе-хе-хе!

Мадам Каупинь торопливо приглаживала раскосматившиеся волосы и виновато улыбалась:

— А мы только что со сна... Проходите в залу... Я сейчас...

В кухне на плите шипело сало. По запаху Вилде определил, что к завтраку пекут оладьи. Каупинь был большим любителем покушать.

— Только не подумайте, что я приехал к завтраку, — засмеялся он. — Подкрепился дома как следует. Если вы сами не завтракали, — закусывайте, я подожду.

— Ну, как же это можно, — возражал Каупинь, но есть ему очень хотелось, и, предвидя, что разговор с Вилде затянется, он решил позавтракать, а то, глядишь, еще кто-нибудь нагрянет. — Пойдемте, покушайте с нами.

— Спасибо, господин Каупинь, — категорически отказался Вилде. — Человек не скотина.

— Вот какой несговорчивый...

Вилде присел на диван и стал ждать. Дневной свет постепенно брал верх над электрическим.

«Все за счет волости», — завистливо подумал Вилде, глядя на горевшую электрическую лампочку. Немного погодя его мысли снова вернулись к этому. Он поднялся, выключил свет — и сразу как-то легче на душе стало.

Чего Каупиню не хватает? Живет в тепле, работа костей не ломит, получает твердое жалованье. А сколько еще побочных доходов за составление прошений, за всякие услуги... Пятнадцать лет тому назад, когда поступил сюда, кожа да кости был. Маленький, плюгавый, вьюном вертелся за своей конторкой. Теперь у него и брюшко, и красные щеки, и за душой кое-что есть. Уже восьмой год, как приобрел на выкуп усадьбу, и теперь, поди, рассчитался. И хорошо, что он сам хозяин, лучше знает, чью сторону держать, с кем идти заодно. За это время сменилось много волостных старшин, чуть не дюжина, а Каупинь сидит прочно, он словно камень, крепко вмурованный в фундамент волости. Пусть приходит какая угодно власть — он останется на месте, без него ни туда ни сюда. Волостные старшины только вывеска, их дело подписывать бумаги и прикладывать печать. Настоящим хозяином волости всегда был Каупинь и остался им посеичас. Ни одно постановление, ни один документ не изготавливается без его ведома и участия, и, чего бы ни добивался волостной старшина, выходило всегда так, как хотел Каупинь. Взять хотя бы Эллера — бедняка-хибарочника, которого недавно выбрали в председатели волисполкома. Сначала вздумал было брыкаться, в точности как необъезженный конь. Каупинь сперва отошел в сторону, — пусть-де побрыкается, — и на целый месяц погасит светильник своей мудрости, пока Эллер не понял, что без писаря ничего не сделать. И вот Каупинь держит его в руках, того самого красного Эллера, который ни одному хозяину дохнуть не давал. Озолотить надо такого человека — право, он того стоит.

Писарь, икая, вошел в комнату. Его встретила утренняя трель канарейки. Каупинь подошел к клетке, почмокал губами.

— Ну, Янцит, как поживаешь? Кушать хочется, кушать? Надо заработать, Янцит. Просвисти еще разочек свою песенку, тогда покормят. Тью-тью...

И пташка свистала, заливалась восторженным щебетом. Пухлое лицо Каупиня расплылось в

улыбке:

— Молодец, Янцит!

Потом он присел рядом с Вилде на диван.

— Так в чем дело, господин Вилде?

— Все насчет хозяйства. Какой я теперь хозяин? Тридцать гектаров, вместе со всеми болотами и напаханной залежью. Лучших участков лишился.

— Гм-да, — хмыкнул Каупинь. — Я вот тоже не знаю, как быть с усадьбой. Батраков и батрачек теперь держать нельзя, сейчас же зачислят в эксплуататоры. Надо будет из Курземе стариков вызвать, пускай хозяйничают. И жене придется работать. Иначе разделят и насажают всякой братвы.

— А у меня разделили и братва уже сидит, — вздохнул Вилде. — И бог его знает, удастся ли когда их выдворить.

— Поживем — увидим, — усмехнулся Каупинь. — Ничто не вечно под луной.

— Нет, что вечно, то вечно, но когда еще мы этого вечного дождемся? Работы на волость, подводы, налоги... как их выполнять, когда землю отнимают? И почему мне одному отдуваться, когда нас теперь трое хозяев?

— Почему одному? — Каупинь побарабанил растопыренными веером пальцами по своему округлому мягкому колену. — Три хозяина, три исполнителя. Так и разложим.

— А вы уже об этом подумали? — оживился Вилде. — А Эллер что?

— А что Эллеру говорить? Когда будем производить разверстку, уговорим его съездить в уездный исполком согласовать разные вопросы, а за это время подпишем с заместителем распоряжение. Заместитель свой человек, с ним столкнуться можно.

— Еще о чем хотел вас попросить, господин Каупинь. Ваше слово ведь решает. Нельзя ли сделать так, чтобы ремонт дальнего участка дороги пришелся на долю Пургайлиса? Он настоящий коммунист... пусть погнет спину, тогда увидит, как сладко быть хозяином... У него и лошадь уже есть.

— Это можно.

— И если какая дальняя поездка... скажем, на эти самые лесоразработки, тоже надо будет послать Пургайлиса. Если уж Советы ему так милы, пускай потрудится для своей власти.

— Дельно оказано, господин Вилде, я учту.

— По закону я уже староват, чтобы меня гонять на общественные работы, — продолжал Вилде. — И у жены года вышли. Так что с нас взятки гладки. Бумбиер совестливый человек, его надо пожалеть, а Пургайлису только подваливайте, господин Каупинь. Чем больше, тем лучше.

— Хе-хе-хе! Чем больше, тем лучше... — захохотал Каупинь.

— Ха-ха-ха! Пусть ему достанется за его сердечную любовь к большевикам, — рассмеялся и Вилде.

Они поняли друг друга. Понизив голос, поговорили и о других делах, намечая планы саботажа. Неизвестно, до чего бы они договорились, если бы их хитроумные измышления не

прервала мадам Каупинь, просунувшая в дверь голову:

— Приехали двое господ из уезда: агроном Вилде и заместитель председателя Вевер. Что им сказать?

— Ко мне? — спросил Каупинь.

— Вевер тебя спрашивал.

— Тогда пусть заходят. Удивительно, как мы заговорились, даже не слышали, как подъехали.

Каупинь застегнул пиджак и встал с дивана. 3

С агрономом Германом Вилде Каупинь был уже знаком. Здороваясь с ним, волостной писарь фамильярно улыбнулся:

— Опять в наши края пожаловали? Это хорошо. Родную волость забывать не следует.

Заместителя председателя уездного исполкома он видел впервые и не знал, как с ним держаться. Лицо серьезное, даже суровое, тон начальственный. Начищенные до лоска сапоги Вевера сильно облипли грязью, брюки галифе и карманы туристского полупальто были так набиты, что это округляло его стройную фигуру. Старая лиса Каупинь угодливо поклонился и пожал ему руку.

— Здравствуйте, товарищ Вевер... Прошу садиться. Может, выпьете горячего кофейку?

— Благодарю вас, гражданин Каупинь, — сухо вато, но вежливо ответил Вевер. — От горячего кофе не откажусь.

Он скользнул подозрительным взглядом по старому Вилде, который и не подумал встать, чтобы поздороваться с ним.

Поймав вопросительный взгляд Вевера, Герман поспешил представить:

— Это мой отец, я уже говорил тебе.

— А-а, рад познакомиться, господин Вилде, — улыбнулся Вевер и сам подошел к нему. — Мы с вашим сыном давно знаем друг друга, и я довольно много слышал про вас. Как дела с молотью? Не потребуются ли толочане, когда пиво будете пить?

После таких слов ни Каупинь, ни старый Вилде не могли понять, что собой представляет Вевер. Почему он одного называет гражданином, другого господином? Не издевается ли? Вопросительно посматривали они на Германа, но тот только посмеивался и делал таинственное лицо. Наконец, как бы поняв, что такое положение долго продолжаться не может, агроном спросил:

— Можно здесь поговорить по душам? Лишних ушей нет?

— Не беспокойтесь, — ответил Каупинь. — Моя жена не из любопытных, а если что и услышит, не проболтается. А будем говорить потише, тогда и она ничего не услышит.

Герман Вилде продолжал, понизив голос:

— Господин Вевер из наших. С ним можно говорить так же откровенно, как и со мной. Но боже вас упаси проговориться кому-нибудь.

Отчужденность и натянутость, царившие в начале разговора, исчезли, словно по мановению руки. Каупинь стал еще более угодливым, но теперь его угодливость была вполне искренней.

Старый Вилде с почтительной симпатией поглядывал на Вевера. А тот плутовато улыбался, как после удачно сыгранной шутки. Все почувствовали себя привольнее.

— Какими судьбами попали в наши края? — спросил старый Вилде сына.

— Дела, отче. Мы с господином Вевером проверяем по заданию уездного исполкома, как проходит земельная реформа. Много ли новохозяев появилось, как они себя чувствуют, сколько кулаков разорено. Как видите, задание интересное.

— Третий день в дороге, — добавил Вевер.

— Как же вы, на лошадях? — спросил Каупинь.

— У нас мотоцикл с прицепом, — объяснил Вевер.

А Герман добавил:

— Мой... из полка. Хотели отобрать для милиции, а я отдал господину Веверу. Таким только образом и удалось спасти.

— Вы, наверно, захотите поговорить с председателем землеустроительной комиссии? — спросил Каупинь.

— Сначала с вами, — сказал Вевер. — Вы ведь секретарем в этой комиссии?

— Стало быть, я, господин Вевер. Председатель ходит с землемером по усадьбам. Не знаю даже, где его найти.

— Он нам и не особенно нужен, — махнул рукой Вевер. — Искать его не будем. На этот раз если гора не идет к Магомету, то Магомет тоже не пойдет к горе. Ха-ха-ха!

Мадам Каупинь внесла кофе и сливки. Поставив на стол белые чашки с золотыми каемочками, она тут же исчезла. Почтенная компания, не теряя времени, принялась за кофе. Вполне понятно, что центром ее стал Вевер, но объяснялось это не его служебным положением, хотя в уезде он был заместителем председателя исполкома, видным работником, официальным лицом. Каупинь и его единомышленник видели в нем

своего главаря. Старый Вилде, и тот внимательно глядел на гостя и глубокомысленно покачивал головой после каждого замечания Вевера.

Герман Вилде был единственным человеком в уезде, который знал, что Вевер раньше назывался Кристапом Понте, но об этом он не сказал даже отцу.

По указке бывшего начальства, Понте в начале лета перебрался в уездный город и поступил на работу в один из отделов. Он очень скоро обратил на себя внимание. Неутомимый, расторопный, он с одного взгляда угадывал мысли начальства, никогда не отказывался от длительных и утомительных поездок по волостям. К моменту установления советской власти Понте был уже на хорошем счету, и ему предложили пост заместителя председателя уездного исполкома. Вначале он, правда, отказывался, отговариваясь тем, что ему не хватает опыта («слишком высокая должность, нельзя ли что-нибудь поменьше»), но после настойчивых просьб дал себя уговорить и взялся с таким увлечением за работу, что за короткое время стал правой рукой председателя. Ему доверяли, его уважали.

Понемногу Понте стал вредить на свой страх и риск; характер не позволял ему пропустить удобный случай. Однажды, когда пожарную машину сдали в ремонт, а руководство добровольного пожарного общества уехало на собрание, наступил самый подходящий момент для пожара на элеваторе. Он сгорел дотла... Как-то председатель велел ему

познакомиться с уездным архивом, и Кристап Понте обнаружил там много материалов, компрометирующих бывших волостных старшин, писарей и отдельных хозяев, по чьим доносам преследовали, увольняли с работы и арестовывали прогрессивно настроенных учителей и служащих. Он постарался, чтобы эти бумаги не попали в руки коммунистов, а имена и адреса доносчиков записал в памятную книжку. Вот почему он мог с улыбкой, глядя в глаза, обращаться к своим собеседникам: «В позапрошлом году вам не нравилось, что учитель Гредзен похвально отзывался при учениках о Советском Союзе. Вы сразу оке донесли об этом. Значит, вам и сейчас не по душе начинания советской власти».

Уличенные в первый момент терялись и краснели, но, сообразив, что говорится все это не в укор, неловко улыбались и готовы были подтвердить свою приверженность прежним идеалам новой подрывной работой.

Понте накачивал их. Он-де получил указания свыше. Пришло время взяться за дело, понемногу выпускать когти. Земельную реформу, где только возможно, надо проводить в таком искаленном виде, чтобы вызвать недовольство и злобу у новоселов, и запугивать их разными слухами — пусть не хватают землю, не наускаивают на старых хозяев.

Все распоряжения советской власти, внушал он, надо выполнять формально и не спеша. Чем тише — тем лучше. Надо не перечить, а жалить, кусать и грызть, где только возможно. Предприятия и магазины, подлежащие национализации, надо очищать от товаров и оборудования. Пускай получают голые стены.

Ловкий, опытный, матерый вредитель, Кристап Понте инструктировал своих сообщников и внушал им уверенность, что не все еще потеряно. «Надо надеяться и перетерпеть, друзья, мы еще заживем в свое удовольствие».

Проинструктировав Каупиня и старого Вилде, выслушав рассказ писаря о том, как проходит земельная реформа в волости, Герман и Понте сели на мотоцикл и двинулись дальше. Работы в эту горячую пору было много.

— Мы свой хлебец даром не едим, — сказал Понте, когда мотоцикл тронулся. — Почему бы нам не позволить себе небольшое развлечение? Поедем к Микситу, Герман. Давно я не охотился.

— Вот это кстати, — согласился агроном.

Брызги грязи разлетались во все стороны. Собаки с лаем выбегали на дорогу, а они неслись все быстрее и быстрее, словно спасаясь от своей судьбы... или несясь ей навстречу. 4

С того времени, как в доме Миксита произошло знаменательное совещание с участием министра Никура, в лесника вселился дух гордыни. Теперь он еще выше закручивал кончики усов, а взгляд у него стал как у ястреба, который высматривает с верхушки дерева добычу. Понятно, что особе, которая участвовала в секретнейших государственных делах, не терпелось доказать свою принадлежность к высшим государственным сферам. Неплохо бы получить в полное распоряжение целый полк солдат и прислуги, которыми можно было бы командовать. А здесь, в лесу, много не покомандуешь. Жена, дети, молоденькая прислуга-латгалка и несколько охотничьих собак — неподходящий материал для подобных демонстраций. Но Миксит не вешал головы. Чтобы он сам стал рубить дрова, носить воду в конюшню, — нет, до таких дел он не снисходил.

— Жена, вычистила мои охотничьи сапоги? — кричал он, вставая с постели. — Где они? Давай их сюда!

— Что ты меня гоняешь! — возмущалась Микситиене. — Я у тебя не на побегушках. Барин какой, не может себе сапоги почистить...

— У меня важные дела, — отвечал «государственный деятель». — Если я стану заниматься всякими пустяками, главные дела останутся в загоне.

— Пошел бы лучше навоз вывез на поле. Коровник до того полон, что скоро зайти нельзя будет.

После таких замечаний Миксит отказывался от дальнейших требований, — нет пророка в своем отечестве.

Прислуга Ядвига после первой же агрессивной попытки со стороны хозяина собрала в узелок свои вещи.

— У вас жить стало невмоготу.

Хорошо еще, что хозяйке удалось уговорить обиженную девушку.

— А ты его не слушай, Ядвига. Он ведь в последнее время такой полоумный стал, словно белены объелся.

Микситу оставалось только одно — муштровывать собак. Собаку можно свистнуть, стегнуть плетью, ей можно приказывать, на нее можно покричать. Несчастные создания, боязливо поджавшие хвосты, смиренно повизгивали и лизали руку своему повелителю.

Одним словом, в Микситах наступали новые времена. Новые времена наступили и для всей страны, но Микситу до этого не было дела. Советская власть дальше опушки леса не проникала. О дремучий бор, как о каменную стену, разбивались все свежие ветры, не тревожа это царство безмолвия, где, подобно маленькому королю, расхаживал Миксит. Отправляясь в обход своего участка, он мог полным голосом ругать большевиков и советскую власть, никто не слышал его. Откуда взялась эта вражда, чем его обидела советская власть — этого он не знал и сам.

По указанию Никура, Миксит несколько раз в неделю проверял тайные базы. В «зеленой гостинице» уже находилось с полдюжины пансионеров — один директор департамента, два высших айзсарговских чина и несколько тузов из охранного управления. Они смертельно скучали и заставляли доставать им то газеты, то еще что-нибудь. Особенно донимал директор департамента, который испытывал постоянную тоску по горячительным напиткам. Чтобы всем угодить, Микситу приходилось побегать, но это доставляло ему удовольствие, тем более что ему уже кое-что перепало, а впереди была самая главная награда.

Неделя не проходила без того, чтобы в лесу не появлялся поздний одинокий путник.

— Не укажете ли дорогу в «зеленую гостиницу»? — спрашивал один.

— Мне нужно несколько поленьев дров, — говорил другой.

Миксит предлагал им ночлег, а рано утром отводил их к лесничему Ницману или к главному лесничему Радзину.

Это была легкая и приятная работа. Но в тот день, когда Миксит услышал тарыхтение приближающегося мотоцикла, ему стало не по себе.

Наверное, милиция... И чего им здесь надо? Как бы не пронюхали про «зеленую гостиницу».

Вскинув на плечо двустволку, он вышел на дорогу встретить мотоцикл. «Если милиция, лучше встретить подальше от дому, подальше от лишних глаз и ушей».

Из-за поворота дороги показался мотоцикл с прицепом. Приблизившись к Миксту, он убавил

ход и остановился.

— Здравствуйте, господин Миксит, — весело приветствовал его Понте. — Гостей не ждали?

— Хм... Добрый день, — сдержанно ответил Миксит. — Откуда мне знать, что вы за гости!

Понте снял большие защитные очки.

— Мы хотим попасть в «зеленую гостиницу» и получить несколько поленьев дров. Можете вы нам помочь?

Миксит быстро сдернул с головы форменную фуражку и приветствовал прибывших глубоким поклоном.

— Милости прошу, уважаемые господа. Чем могу услужить? Прямо в «зеленую гостиницу» или немного отдохнете у меня?

Понте слез с мотоцикла. За ним и Герман Вилде выбрался из прицепа и стал прохаживаться, разминая затекшие ноги. От быстрой езды обоих изрядно растрясло.

— Немного закусить не мешало бы, — сказал Вилде.

— Познакомьтесь, господин Миксит, — заспешил Понте. — Это главный уездный агроном, господин Вилде. Меня вы, наверное, помните?

— Как не помнить, — ответил Миксит. — Еще когда здесь был в последний раз господин Никур...

— Ну вот, значит, старые знакомые.

— Обед приготовить?

— Особенного ничего не надо, — сказал Понте. — Закуску мы с собой прихватили. Разве по чашке горячего кофе или молока.

— Как же не подкрепиться после такого пути? — удивился лесник.

— Вечером, господин Миксит. Мы намерены походить с ружьем. Вы нам разрешите застрелить козулю?

— Почему бы нет? — улыбнулся Миксит. — Хорошим людям можно разрешить. С собаками или как?

— Без собак, дорогой Миксит, — ответил Понте. — Поменьше шума.

— Тогда я вас проведу к старой вырубке. Там можно устроить настоящую бойню.

В этот день в доме лесника все шло, как в доброе старое время, когда сюда приезжали на охоту важные господа. Миксит командовал женой и прислугой, мальчишкам велел смыть грязь с мотоцикла. В кухне на плите шипело сало, а в гостиной звенели стаканчики. Пили, конечно, не молоко, а напитки покрепче. Миксит угощался вместе с гостями и за обедом рассказал Понте все, что тому нужно было узнать.

— Передайте от меня привет господам Ницману и Радзину. Если кто из них поедет в уездный город, пусть обязательно заходит ко мне, есть серьезный разговор.

— Где же вас искать?

— В уездном исполкоме. Спросят заместителя председателя Вевера. Это я и есть. Чему вы удивляетесь, Миксит? Разве мы не можем занимать ответственные посты?

— Я, право, и не знал, что вы... — Миксит заерзал на стуле.

— Большевик? Ха-ха-ха! — смеялся Понте. — Такой же большевик, как и вы, Миксит. Ни на волос больше. Умным надо быть, милый друг. Без ума и хитрости в нынешнее время далеко не уедешь. Посмотрите на господина Вилде. Он командовал батальоном айзсаргов, а сейчас главный агроном уезда. Разве мы его порицаем за это? Наоборот. Хорошо, что и у нас есть люди с весом. Если большевики захотят назначить вас лесничим, не вздумайте отказываться, господин Миксит. От всего сердца рекомендую соглашаться на любую должность.

После обеда они часа три побродили с ружьем. Каждый застрелил по самцу козули и по несколько ворон, но тех даже с земли не подняли. Вечером в Микситах шло веселье. Вдали от любопытных взоров Понте мог отвести душу и дать нервам отдых от постоянного напряжения. Наговорившись вдоволь с лесником и агрономом и слегка охмелев от выпитого, Понте разошелся: захотелось дать простор и тайным порывам.

— Миксит, что это за женщина? Молоденькая, круглолицая.

— Это моя работница Ядвига.

— Где она спит? Можно к ней прийти ночью? Шума не подымет?

— Не знаю, как...

— Какой же ты хозяин, если не знаешь своей дворни! Плохой ты хозяин. На твоём месте я бы давно к ней подъехал.

— Я ведь женатый, — смиренно ответил Миксит.

— Действовать надо так, чтобы жена не узнала. Вот увидишь, как я попробую.

Понте действительно попробовал. Но тщетно стучался он в дверь Ядвиговой каморки, тщетно ласковыми словами пытался убедить девушку, что для нее большая честь принять в объятия такого видного деятеля, как Кристап Вевер. Дверь не отворилась, а в ответ послышалась угроза:

— Я сейчас буду кричать. Если вы не дадите мне спать, завтра же пойду жаловаться в милицию.

Тогда Понте попытался обратить все в шутку и уныло вернулся к хозяевам. Ему оказали великую честь — он спал на той же кровати, на которой отдыхал в свое время министр Никуру. По своему положению Понте уже приближался к Никуру, вот только у женщин он еще не пользовался таким успехом, как министр. «Вызвать, что ли, из Риги Сильвию? — засыпая, думал Понте. — Давно бы пора это сделать. Так жить невыносимо». 5

Субботним вечером в конце октября Петер Спаре поехал со своей молодой женой навестить ее стариков. Осенняя распутица кончилась. Твердая подмерзшая земля звенела под ногами. В том месте, где дорога сворачивала от шоссе к Лиепиням, Петер и Элла вышли из машины и пошли пешком. Петер с наслаждением вдыхал прохладный осенний воздух. Слышались крики запоздалых перелетных птиц; откуда-то доносился гул молотилки. Одинокими казались двое крестьян, копавших картофель. У лип и берез листва почти облетела, только на некоторых деревьях еще трепетали последние пожелтевшие листья.

И свежестью и печалью веяло от этой осенней картины. Петеру стало грустно. Он задумчиво шагал по дороге, уступив Элле пешеходную тропинку. Странно, но им не о чем было

говорить. Когда до усадьбы Лиепини осталось шагов сто, Элла остановилась, схватила за руку Петера и умоляюще посмотрела на него.

— Петер...

— Что, милая? — тихо отозвался он.

— Прошу тебя, не надо быть таким грустным,

они подумают, что мы поссорились. Можно ведь о чем-нибудь поговорить...

— Хорошо, постараюсь быть веселее, — ответил Петер. — Хотя ты сама знаешь, что все в порядке. Просто я немного устал.

Это была правда. В последнее время Петер слишком уставал от работы, от недосыпания, а главное — от той безысходной пустоты, которую он чувствовал в отношениях с Эллой. Оба они чувствовали ее, но каждый переживал по-своему. Главное, им не о чем было говорить друг с другом. Когда Элла передавала мужу разговоры приятельниц-соседак, Петер старался слушать, но слова ее не доходили до его сознания. Когда же Петер рассказывал о своем заводе или пробовал обсуждать с нею политические события, скучающий взгляд Эллы показывал, что она не понимает его. Тогда они умолкали, и каждый думал о своем. Так становилось даже легче. Однако отсутствие духовного общения давало себя знать все сильнее и сильнее.

Возможно, что эта неслаженность была временной; жизнь их еще не вошла в колею, они еще не приноровились друг к другу. А может быть, это было уже непоправимо? Понимая, что семейная жизнь складывается плохо, оба старались скрыть это от посторонних глаз, но это не всегда удавалось.

Залаяла собака, но, узнав своих, сразу умолкла. Пестрый кот спрятался под крылечком. Многочисленными, только ей одной понятными приветствиями встречала родная усадьба Эллу. И странно: все привычное, обыденное, начиная от колодезного ворота и кончая старым жерновом перед сенями, казалось ей теперь удивительно милым. Приятен был даже запах вареной кормовой свеклы, который доносился из кухни.

Радости стариков не было границ. Мамаша Лиепинь от растерянности не знала даже, за что приняться.

— Садитесь, дети, я сейчас... Ах, где же у меня голова! Заходите же в дом. Эллочка, пальто вешай сюда... Сегодня у нас баня топится. Может, попаритесь? Нет, нет, сначала поужинаем. Что же ты смотришь, отец, тащи скорее пиво и ветчину. Или погоди, неси только пиво, за ветчиной я сама схожу. Ты ведь и не знаешь, какой кусок лучше.

Оживление, возня, суматоха. Наконец, все было готово. Они вчетвером сели за стол. Аппетитные ломти ветчины были разложены по тарелкам. От блюда с горохом шел пар. Однако пиво собственного приготовления, как его ни хвалили, не хотело пениться и отдавало чем-то кислым.

Чем-то кислым отдавали в тот вечер и разговоры. Когда семейные новости иссякли, старый Лиепинь перешел к общественным проблемам:

— Ты только подумай, Петер, у нашего соседа Лиепниека сорок пурвиет отрезали. А земля какая, хоть на хлеб вместо масла мажь! И кому же она досталась — хибарочнику Закису, у которого куча детей.

— Закису? — негодуяще повторила Элла. — Это который круглый год работал по усадьбам?

— Этому самому. Теперь хвастается, что следующей весной не придется гнуть спину за других. Пусть, мол, в сенокос на него не рассчитывают, теперь он сам хозяин, — пренебрежительно посмеиваясь, продолжал старик.

— Право, жалко, такое прекрасное хозяйство разорили, — вздохнула мамаша Лиепинь.

— Петер, разве это правильно? — обратилась к мужу Элла.

— Сколько еще осталось земли у Лиепниека? — спросил Петер.

— Сколько закон разрешает — девяносто пурвиет, — ответил Лиепинь. — Такая усадьба... Машины... Четыре лошади... Круглый год работали два батрака и две девки. Разве в Латвии не осталось уже необработанной земли? Обязательно надо сажать на готовенькое? Ведь этому самому Закису можно было отвести какую-нибудь вырубку или край болота. Пусть потрудится, постарается, тогда ему эта земля еще милее станет, да и государству выгода. Чужими трудами пользоваться — хитрость небольшая.

— Да Закис проработал на этой земле всю свою жизнь, — возразил Петер. — Пока у него своей земли не было, он обрабатывал чужую. За это время он бы и вырубку превратил в пашню.

— Повезло, прямо повезло человеку, — сказала мамаша Лиепинь. — Может, он бы здесь и не получил ничего, если бы не выстроил свою хибарку рядом с усадьбой Лиепниека.

— Ну, и девяносто пурвиет тоже не мало, — заговорил опять Петер. — Лиепниеку впору с ними справиться.

— Да ведь хозяйство-то разорили и у нас одним соседом больше стало, — не унимался Лиепинь. — С должности волостного старшины Лиепниека тоже сняли, а чем он был плох? Я по крайней мере жаловаться не могу. А что дальше будет, когда эта голытьба начнет править, — один господь ведает.

У самого Лиепиня земли не отрезали, и должностей он не занимал, но всегда старался тянуться за крупными хозяевами, во всем брал с них пример.

Во время ужина Петер испытывал тягостное чувство. На правах родственника тесть ворчал на каждое начинание советской власти, всюду он видел непорядки, все ему не нравилось. Глумясь, рассказывал он, как в волостном исполкоме проводили первый митинг новохозяев и подняли красный флаг.

— Первым делом они сожгли портрет Ульманиса. Ну зачем это нужно? И зачем понадобился арест полицейского надзирателя? Такой ласковый и вежливый человек. Бывало, каждый раз, как встретит меня, всегда здоровается: «Как поживаете, господин Лиепинь?»

— Наверно, что-нибудь натворил, — сказал Петер. — Зря никого не арестуют.

— Ну, один раз человек поймал помощника учителя с воззваниями и под Первое мая подкараулил мальчишек, — они подымали на сосну красный флаг. Стоило ли за это арестовывать?

— Действительно, какие безжалостные, — поддержала отца Элла. — Если за такие мелочи начнут мстить, то все порядочные люди от вас отвернутся.

— С этим помощником учителя я два года просидел в одной камере, — стараясь говорить спокойно, начал Петер, но срывающийся голос выдавал его волнение. — А этих ребят в полицейском участке высекали нагайками до потери сознания, потому что они не признавались, откуда взяли красный флаг.

— А почему тогда не признались? — простодушно удивлялась Элла. — Признались бы, и никто бы их не тронул.

— Тогда ведь такие времена были, — объясняла мамаша Лиепинь. — Тогда иначе и нельзя было.

Петер понимал, что говорить с этими людьми бесполезно. Многие годы уйдут на переделку их сознания. Замкнулись они в своей старой толстой скорлупе и на все смотрят глазами прошлого. Очувтившись в кругу семьи, Элла тоже почувствовала себя хозяйской дочкой. По правде говоря, она и в городе жила настроениями отцовской усадьбы, и эти настроения мешали ей понять ту правду, за которую боролся ее муж, которой он отдал себя целиком.

Так прошел вечер, так прошло и следующее утро. После завтрака мамаша Лиепинь с Эллой сели в рессорную тележку и поехали в церковь.

— Не подумай, Петер, что я туда за чем-нибудь... — оправдывалась Элла. — Мне только хочется повидаться с подругами.

Когда женщины уехали, Петер оделся и пошел побродить. «Куда, к каким людям ты попал? — спрашивал он себя. — И они еще считают себя правыми? Ох...» Он жадно вдыхал свежий воздух. За стенами душевых комнат, за стенами усадьбы Лиепиней, где из всех углов вставали тени прошлого, он почувствовал себя лучше. Подавленное настроение постепенно рассеивалось. 6

Хибарка была сколочена из горбылей, бракованных полусгнивших досок, расколотых жердей — и больше походила на дровяной сарай. Односкатная пологая крыша, жестяная труба, два крохотных оконца, низкая дверь, в которую можно было войти только нагнувшись. С одной стороны к хибарке примыкала небольшая пристройка из материалов попроще. Там находилось главное богатство Индрика Закиса: лошадь, корова и подросший поросенок.

За постройкой сразу начинался кустарник. Небольшой ручеек журчал в ольшанике, неся к реке свои прозрачные воды. Русло ручейка в одном месте образовало колдобину, где новохозяева черпали питьевую воду, — колодец еще не был вырыт. На одинокой березе, украшавшей это бедное поселение, была прилажена новая скворешня, но обитатели ее уже улетели и только вороны и воробьи оглашали воздух карканьем и чириканьем.

— Заходи, — предложил Закис Петеру Спаре после недолгого разговора во дворе. — Здесь еще простудишься. Придется мне отвечать за твоё здоровье.

Закис был стройный, сухощавый человек средних лет. По случаю воскресенья подбородок его был гладко выбрит; густые каштановые усы не отличались цветом от огрубевшего под ветром и солнцем лица. Какие у него были руки — большие, огрубевшие, с сильными узловатыми пальцами, привыкшие управлять всякими орудиями, начиная от рукоятки плуга и кончая багром плотовщика и киркой камнелома. Когда-то Петер Спаре целое лето проработал с ним на сплаве, там они и познакомились.

— Все сам построил? — спросил он новохозяина.

— А то кто же, — ответил Закис. Белые крепкие зубы его блеснули под усами. — Куда ни глянь — все сделано своими руками, но мне ведь помогает мое войско — слышишь, возятся! Только самого главного помощника нет, пошел учиться на лейтенанта в пехотное училище. Я так считаю: если уж мальчишке хочется стать военным, чего же держать его — пусть учится.

Жена Закиса, на лице которой тяжелая работа давно вытравивала румянец, неприязненно взглянула на мужа, когда тот ввел в маленькую кухню гостя. Таков уж женский нрав, — не радуют гости, если они приходят не вовремя, когда в доме еще не прибрано. Зато у детей

появление Петера вызвало живейшую радость. Младший еще не вполне доверял своим ножонкам и держался за материн подол. Все они с напряженным вниманием уставились на незнакомца и серьезно, будто выполняя трудную работу, поздоровались с ним за руку. Младший после этого проковылял до ближайшего угла и залился смехом.

— Сколько же у тебя их? — спросил Петер, с улыбкой оглядывая детей.

— Тут четверо, а двое уже выпорхнули из гнезда, — ответил Закис. — Один в военном училище, а старшая работает в Риге и будущей зимой кончает вечернюю среднюю школу. Как видишь, господь бог не поскупился на новые побеги для дерева нашего рода. Что ты все вздыхаешь, мать? — обернулся он к жене. — Это Петер Спаре, мой старый товарищ, из породы сплавщиков. Как же, вместе лес сплавляли, а потом Ульманис посадил его в тюрьму за то, что он господам неприятности причинял.

После такого представления лицо Закиене прояснилось, и она перестала стесняться неприглядности своего жилья.

В комнате было столько всякого скарба, что для людей уже не оставалось места. Старая деревянная кровать занимала угол за платяным шкафом, на котором созревали громадные тыквы. Две детские кровати стояли у наружной стены, у окна — маленький столик с письменными принадлежностями и книгами. Посередине комнаты — круглый стол, дальше старый сундук — свидетель юных дней Закиене. Насколько можно было при такой тесноте соблюсти чистоту и порядок, настолько они и соблюдались. Пахло землей и плесенью.

— Долго ты еще будешь жить в этой хибарке? — спросил Петер Закиса.

— Пока не отстрою дома на горе. Лес мне уже отпустили, будущей зимой надо срубить и вывезти. Так годика за два и кончу. А разве моя хибарка хуже батрацкого помещения у какого-нибудь кулака, где живут в куче по две-три семьи? Здесь я живу по крайней мере как хочу, и никто меня не тревожит.

— Это верно, Закис, — согласился Петер. — Лучше жить в такой хибарке, чем в батрацкой у кулака. Но долго с постройкой дома ты не тяни. Детишки растут быстро, каждому нужно свое местечко.

— Ну, теперь горевать нечего, — все лето буду работать на себя. Землю мне нарезали неплохую. Если приложить немного труда, не только сами сыты будем, можно будет кое-что и на рынок свезти.

— Скажи, за что это тебя так ненавидят соседи? — с улыбкой обратился к нему Петер. — Наверно, насолил им?

— Что тут поделаешь, когда они такие важные, хозяин на хозяине, ни одного бедняка. Неприятно ведь, когда голодранец затесывается в такую компанию? Спеться-то и не удастся. Но еще хуже, если голодранец не желает пресмыкаться перед ними, не ползает на брюхе. Тот самый Лиепниек, от чьей земли мне нарезали... разве я не знаю, откуда взялась эта земля? У самого двое сыновей и дочь, но никто никогда не видел, чтобы они когда-нибудь брались за плуг или за косу. Круглый год живут в Риге, служат в учреждениях, как полагается хозяйским детям. А в Лиепниках батрачат латгальцы и поляки. В сенокос и во время уборки приглашают еще нашего брата, хибарочников. Те и скосят, и уберут, и обмолят. Как ты думаешь, приятно Лиепниeku, что какой-то Закис живет у него под носом и не бежит к нему по первому свисту, а готов лучше в лес идти деревья валить или бревна сплавлять, чем гнуть спину на его полях? Вот это их и берет за живое.

— Мне тоже так кажется, — улыбнулся Петер.

— Иной раз Лиепник предлежит моим мальчишкам наняться к нему в пастухи или в полубатраки, а я говорю: пускай немного подождет, потому что нам выгоднее поехать втроем на лесоразработки или заниматься дома кустарным ремеслом — плести корзины, делать бураки или собирать ягоды. От таких слов у хозяина, бывало, глаза становятся, как у злой лошади. Как только нас не обзывали — и лодырями и бродягами, и все же мои дети у него в пастухах не ходили, а за лето зарабатывали больше, чем его пастухи. А уж глумились-то, когда я своих старших послал в Ригу учиться. Подумайте только — хибарочник Закис учит своих детей! У самого целых штанов нет, а он детей в школу посылает! Тут уж от злости и зависти кулацкое сердце чуть не лопнуло.

— Ясно, с чего у них желчь разливается, — рассмеялся Петер, с удовольствием слушавший этого простого, прямодушного человека. — Ты у них как бельмо на глазу.

— Да так уж получается. Но им все же удалось позлорадствовать на мой счет. В тридцать седьмом году, в канун Первого мая, мой Аугуст, вот который сейчас в военном училище, вывесил с одним парнишкой на верхушке сосны у самого шоссе красный флаг. Полицейский надзиратель их подкараулил и арестовал. Зверски избил и все допрашивал, от кого получили флаг, а те ни слова. Да, тогда, верно, богатеи вволю посмеялись и порадовались, что наконец-то Закису попало. Ну и что же? А флаг этот я сам из Риги привез и совсем не жалею, что так сделал. Жалко только Аугуста — пришлось ему вытерпеть зверскую порку.

— Да, вот полицейского надзирателя недавно арестовали, а моя теща проливает слезы о хорошем человеке, — помрачнев, сказал Петер. — Не могу понять, чего этим старикам нужно. Никто их не трогает, ничего у них не отнимают, а они все время хнычут и стонут.

— Уцепились они за полы богатеев и больше ничего не видят, — сердито буркнул Закис. — Не могут отстать, а те и тянут их за собой. Разве со временем поуменьют. А ты не слышал, как прошлой весной на меня мамаша Лиепинь рассердилась?

— За что это?

— Из-за сущих пустяков. Надо сказать, теща твоя большая ханжа. Ни одной службы не пропустит, для нее во всем свете нет большей мудрости, чем пасторские проповеди... А я прошлой весной из одного озорства заколол в страстную пятницу бычка. Мамаша Лиепинь раззвонила об этом по всей волости. Потом пастор в пасхальной проповеди так меня проклинал, что, будь в его словах хоть щепотка пороху, крыша на церкви бы подпрыгнула. Лиепиниене после этого все лето от меня отворачивалась. Вот такие-то мои дела с соседями.

— Ну, теперь тебе на них наплевать. Ты самостоятельным стал.

— Теперь что, — у Закиса даже глаза заблестели, — теперь я встану на ноги. Только бы как-нибудь до нового урожая перебиться, а там в Закисах начнется иная жизнь. Ведь ты понимаешь, что это значит, когда человек сам себе хозяин, когда больше никто не смеет ни ругать тебя, ни гонять, как собачонку... когда твои дети могут смело смотреть в глаза всему миру, — ведь он теперь принадлежит им, и никому не удастся их ограбить. Пускай теперь Лиепник и остальные богатеи поломают головы, подумают, как получить урожай со своей земли, когда самим приходится погнуть спину. Ведь латгальцы и поляки тоже не захотят больше поливать своим потом их поля. Оттого-то они так и злобствуют. Я-то со своей землей управлюсь, а вот как они управятся! Право, хорошие времена настали, Петер. Хорошие и справедливые. Советская власть всех наделяет по заслугам.

Они вышли в поле и обошли все хозяйство Закиса. Закиене с детьми тоже пошла за ними. Отрадно было Петеру слушать, как вся семья строила планы на будущее: «Вон там мы посеем рожь, здесь картофель, а в той стороне будет выгон для телят. А новый дом будет стоять на пригорке, окнами на солнышко».

Петер отдыхал душой среди этих людей. Гнетущей духоты, которую он ощущал все время в доме тестя, как не бывало. Он снова увидел на деле правоту своего класса, он был горд, что участвовал в его борьбе и победе.

По дороге домой Элла рассказывала, что слышала в церкви:

— Новым председателем волостного исполкома все недовольны. Добраться до него невозможно. Старый Лиепник повез было ему кусок окорока и попросил освобождения от работ по ремонту моста, а председатель взял и послал его с этим окороком к милиционеру да еще велел составить протокол за то, что хотел дать взятку. И что это за люди...

— Правильно сделал, — ответил Петер. — Я бы тоже так поступил.

Элла растерялась от такого ответа и надолго замолчала. А Петер с довольной улыбкой глядел в окошко машины.

Вид мелькавших мимо осенних полей больше его не угнетал. Это была его земля, его — жизнь входила здесь в силу. Он радовался и гордился этим.

— Раньше все — же больше порядка было... — попыталась еще раз начать разговор Элла, но Петер не отвечал.

Глава пятая

1

За несколько дней до годовщины Октябрьской революции к директору лесопильного завода Петеру Спаре зашел один из старожилов сушильного цеха, Мауринь.

— Мне бы надо поговорить с вами, товарищ директор, — сказал седой старик, комкая в руках побелевший от древесной пыли картуз. На правой руке у него не хватало двух пальцев, остальные были с изуродованными ногтями, как и у многих рабочих, долго работавших на лесопилках.

— Так говори, Мауринь, — сказал Петер, отодвигая в сторону папку с делами. С лесопилки долетал скрежещущий шум машин. Шнррр-шнррр-шнррр — ворчали пилы, вгрызаясь острыми зубьями в древесину. Из окна директорского кабинета видно было все предприятие, начиная от запани, где разбирали плоты, и кончая складом готовых изделий, где подносчики укладывали доски в высокие штабеля. — Какое у тебя дело?

Мауринь неловко переступил с ноги на ногу и выразительно покосился поверх очков на бракеровщика Апсита, который сидел у окна.

— Я лучше попозже зайду, товарищ директор, когда вы свободнее будете. Мне надо... насчет семейных дел...

— Подожди тогда, мы сейчас кончаем. — Петер поговорил еще несколько минут с Апситом об ассортименте, который предстояло выпускать в ближайшее время, потом отпустил его и снова обратился к Мауриню: — Ну, садись, рассказывай, какие у тебя семейные дела.

Старый Мауринь положил картуз на подоконник и оглянулся на дверь кабинета, хотя она была затворена. Потом он перегнулся через весь стол и заговорил полусшепотом:

— Хочу рассказать тебе, Петер, об одной находке. Сегодня после обеденного перерыва в сушильном цехе увидел. Я никому еще не говорил... Тебе лучше знать, как с этим

поступить... Короче говоря, в углу сушилки, между досками, я нашел пятилитровый бидон керосина. Что тут можно подумать?

— Любопытно. Октябрьские праздники не за горами, и какой-то «доброжелатель» хочет преподнести нам подарок.

— Да, хорошенький подарочек, — загудел Мауринь. — Подумай только, ведь если бы сушилка загорелась, то за полчаса весь завод бы запылал. Никаким пожарным не потушить. Надо думать, что и в других цехах припрятаны такие

подарки...

— Вполне вероятно, что так

они и сделали, — согласился Петер.

— Что теперь делать, Петер? Убрать этот бидон?

Петер задумался на несколько секунд, потом тихо сказал:

— Нет, убирать его не следует. Когда они увидят, что мы нашли посудину, то другую спрячут так, что мы и не заметим. Может быть, уже и запрятали. Бидон сам собой загореться не может, — надо кому-то прийти и что-то сделать, чтобы керосин воспламенился. Если мы будем не смыкая глаз следить за всеми цехами и отделениями, то лиса попадет к нам в капкан. Важно не только предупредить пожар, но и разоблачить этих негодяев, чтобы обезвредить их навсегда.

— Верно говоришь, директор, — согласился Мауринь. — Иначе они своего добьются.

— Мы вот что сделаем: тебе надо будет потихоньку перелить керосин в какое-нибудь старое ведро, а в бидон налей чистой водицы. После этого поставь бидон на прежнее место и сообрази, как за этим местом присматривать. Только чтобы никто не заметил.

— Там, между штабелями, большие прогалы, свободно может человек спрятаться.

— А ты согласишься сторожить ночью?

— Что ж, если надо...

— Тогда оставайся на ночь в сушилке. А сейчас походи и замени керосин водой. Никому ничего не говори. Я сам обойду цехи и поговорю с кем надо.

Мауринь ушел. Петер поднялся и подошел к окну. Он любил стоять здесь в свободные минуты, наблюдать знакомую картину. Плотовщики разбирали плоты и подгоняли бревна к спуску; подростки осматривали каждое бревно и вытаскивали гвозди и скобы. Длинные, отполированные руками багры блестели на солнце; розовели разгоревшиеся на ветру лица рабочих. Петер знал свой завод до мелочи, и технологический процесс был ему известен от начала до конца. Может быть, поэтому у него все так и спорилось. Его нельзя было обмануть, и ему никогда не приходилось обращаться за советом к старым специалистам. Технорук, инженер Валодзе, которому раньше принадлежало некоторое количество акций завода, вначале попробовал было кое в чем повлиять на директора, но, быстро убедившись, что его не проведешь, бросил свои попытки и стал работать хорошо. Нет, сейчас жаловаться на Валодзе не приходилось.

Неприятные «случаи» бывали и раньше, но с помощью старых подпольных товарищей, заводских рабочих, Петер до сих пор успешно предотвращал их. Какой-то негодяй устроился на работу у летков, по которым тащили вверх бревна к лесопильным рамам, и выводил из

стройка пилы. После четвертого случая его поймали, и с тех пор на этом участке все шло хорошо. Другой вредитель, работавший на строгальном станке, готовился взорвать его, что вывело бы завод из строя на длительное время.

Сейчас их всех разоблачили, но враг не успокоился. Классовая борьба становилась напряженнее с каждым днем, и вот враги народа собираются спалить завод — один из самых крупных лесопильных заводов Латвии, оснащенный по последнему слову техники. Ох, как бы они позлорадствовали!

«Ну, поглядим, кто из нас будет смеяться, а кто плакать», — подумал Петер. Он вышел из конторы и прошелся по всем цехам, останавливаясь на несколько минут поговорить то с одним, то с другим надежным проверенным рабочим, с которым в свое время вместе работал или был знаком по подполью.

— В сушилке обнаружена посуда с керосином. Враги что-то готовят к празднику. Хорошенько проверьте, нет ли чего и у вас.

Директор шел дальше, а рабочие незаметно осматривали все закоулки.

Всюду стоял запах древесины. Всюду видны были стружки и древесная пыль. Путь от запани до высоких штабелей теса и досок был длинным и сложным. Каждое бревно, пока оно не превращалось в готовую продукцию, несколько раз попадало под зубья пилы, много раз его касались рабочие руки. Его измеряли, распиливали, переворачивали, везли и переносили, пока, наконец, окончательно взвешенное и испытанное, разделанное по ассортименту, оно не попадало на склады. Тес и доски уходили одной дорогой — к большим штабелям; горбыли — в другое место; распиленные на короткие чурбачки обрезки складывались в поленницы, а мелочь попадала в топки заводских котлов. В конце концов ни одна щепочка не пропадала зря.

У лесной пристани стояли баржи в ожидании готовой продукции. Шпалы снова спускались в воду, из них собирали плоты, чтобы направить к пароходу, ожидающему их в каком-нибудь углу гавани. Часть досок проходила через сушилку в строгальный цех и дальше, в отделение ящичных дощечек.

В тот день бидоны с керосином нашли еще в двух местах. Рабочие, как было условлено, заменяли керосин водой, а посуду оставляли на прежнем месте. После этого они ни днем, ни ночью не спускали глаз с бидонов, продолжая незаметно поиски и в других закоулках. Кое-что обнаружили и на складе, кое-что нашли и в рабочем клубе. Намерения врага были ясны: вызвать очаги пожара одновременно во многих местах. Откуда бы ни дул ветер, он должен был погнать пламя на завод.

Сославшись на то, что для проверки хода социалистического соревнования ему необходимо все время оставаться на заводе, Петер Спаре проводил на работе круглые сутки. Спал он в кабинете на диване. Туда же ему приносили из столовой еду. Бесперывно визжали пилы и гудели строгальные станки, горы досок и теса подымались все выше, а зоркие глаза напряженно вглядывались в темноту. 2

Технорук завода, инженер Валодзе, был большой педант. Бывало, при старых хозяевах, он каждый день обходил завод, заглядывал в каждый цех и проверял, все ли в порядке. Не было такой мелочи, которой бы он не заметил. Халатности и разгильдяйства Валодзе не переносил. Незавернутый кран, из которого капала вода, оставленный не на месте инструмент действовали ему на нервы. Он не кричал, не ругался, но каждый раз вносил какие-то заметки в свою записную книжечку. На другой день эти заметки доводились до сведения виновника, а в дни получки их действие довольно чувствительно отзывалось на его бюджете. До национализации завода рабочие часто поговаривали о том, какими способами Валодзе зарабатывает свое жалованье. Теперь, конечно, он стал намного терпеливее, но все

понимали, что особой любви к новым хозяевам он не питает.

Шестого ноября, когда работу на заводе приостановили до утра девятого ноября, Валодзе произвел свой обычный инспекторский осмотр. Он начал его с самого дальнего конца, со склада. Подозвав ночного сторожа, Валодзе обошел с ним большие штабеля досок и теса. Его расстроил лежавший на земле обрезок доски. Он подобрал его и прислонил к штабелю, потом тщательно вытер руки «концом», который оторвал от большого пучка, лежавшего в наружном кармане его рабочего халата. Чистоплотность Валодзе могла послужить темой для анекдотов. Десятки раз в течение дня он мыл руки, а проходя по цехам, всегда брал с собой пучок концов.

Вытерев руки и бросив конец возле штабеля, Валодзе пошел дальше.

Сушилка была заперта. Валодзе позвал сторожа и велел открыть двери. Включив свет, он обошел уложенные ряды досок, внимательно ко всему присматриваясь, выискивая, к чему бы придраться. Он заглядывал во все углы, но все было в образцовом порядке. Там, где был спрятан бидон с горючим, он опять вытер руки и бросил грязный конец на пол.

Так он обошел все предприятие, заставляя сторожей и задержавшихся начальников цехов сопровождать его.

— Глядите! — ядовито восклицал инженер, если находил какой-нибудь непорядок. — На что это похоже? К празднику надо так прибрать, чтобы самому приятно было. А это что? Все только и думают, как бы поскорей уйти домой.

И снова он что-нибудь подбирал, клал на место, потом вытирал руки концами и, словно невзначай, ронял их на пол, и всегда поблизости от бидона. В конторе он бросил последний комок концов в корзину для бумаги, снял рабочий халат, обмахнул пыль с ботинок и надел серое, в полоску, демисезонное пальто. Пожелав дежурному счастливых праздников, технорук уехал домой.

Часы показывали половину седьмого.

Как только Валодзе уехал, к Петеру Спаре начали приходить один за другим рабочие, несшие в этот день по цехам секретную вахту. Каждый из них приносил с собой пучок концов.

— Ну и рассеянный же у нас товарищ инженер, — сказал старый Мауринь, — ругает непорядки, а сам накидал везде вот таких махров. Как раз возле бидона, Петер.

— Очень любопытно, Мауринь. А ты в том месте пол вытер?

— Ножом выскреб, ни одной пылинки не оставил.

— Отлично. Этот пучок положи во дворе рядом с сырыми горбылями. Для предосторожности надо подложить под него лист жести. Посмотрим, что из этого выйдет.

Из других цехов и отделений люди приходили с такими же пучками. Их клали на тот же лист, возле горбылей. Получилась изрядная кучка. Все пучки издавали какой-то странный запах.

Петер с несколькими рабочими обошел весь завод. Он расспрашивал ночных сторожей и начальников цехов и постепенно, шаг за шагом, проделал тот же путь, который до него совершил Валодзе. В тот вечер Петер проявил, пожалуй, еще больше педантизма, чем его технорук, — он не пропустил ни одного конца, хотя бы тот валялся в самом темном углу.

— Чистота прежде всего. На что это похоже? К празднику все должно блестеть и сиять...

Когда уж сам директор так ополчился на эти концы, старый сторож склада готовых изделий

тоже побряхтел, искал и, наконец, достал такой же конец из-под штабеля теса, после чего торжественно вручил его начальству. Кто знает, может пригодиться. Петер Спаре и не подумал над ним посмеяться.

Вернувшись в контору, Петер позвонил в Наркомвнудел.

Вскоре на завод приехало несколько сотрудников наркомата.

В полночь концы, пропитанные химическим составом, воспламенились. Они горели сильным, ярким пламенем. Вспыхнули и сложенные рядом сырые горбыли, а лист жести накалился докрасна.

— Что бы осталось от завода, загорись эти концы возле бидонов с керосином! — возмущенно повторял Петер.

Угрюмые лица и сверкающие ненавистью глаза рабочих красноречивее слов говорили, что, попадись им сейчас в руки инженер Валодзе, живым бы он не ушел.

— «Если мне не досталось, то пусть не достанется и советской власти», — так он, наверное, рассчитывал! — гневно крикнул какой-то рабочий. — Только не выгорело. Смеяться будем мы, а ты еще повизжишь, паршивый пес.

— Сегодня мы с ним так поговорим, что до конца жизни будет помнить.

В это время в окне конторы блеснул отсвет пламени.

— Рано еще радоваться, товарищи! — крикнул старый Мауринь. — Берите скорей огнетушители, и надо проверить, не тлеет ли еще где-нибудь. Он эти махорки по всем углам разбросал!..

Загоревшуюся корзину для бумаги удалось легко потушить, но в это время загорелось в шкафу, где хранились халаты служащих и технического персонала. Горел рабочий халат технорука.

— Вынесите его, пусть сгорит, — сказал Петер, но работники Наркомвнудела заявили, что халат надо сохранить. Огонь затушили, а остатки халата бережно завернули в газету и отнесли в машину.

Бригада рабочих еще раз обошла все цехи, отделения и склады. Теперь можно было отправляться домой отдохнуть, встретить праздник, который после этой ночи стал для них вдвое дороже.

Усилив на всякий случай сторожевые посты, Петер отпустил домой остальных рабочих, а сам отправился с работниками Наркомвнудела на квартиру к Валодзе.

Он испытывал глубокую, неизмеримую радость. Спасены огромные ценности, у врага выбит ядовитый зуб, а главное — завод будет работать.

Когда все кончилось и Валодзе, продолжавший разыгрывать оскорбленную невинность, был взят под надежную охрану, на востоке уже занималась заря. На фасадах домов полыхали красные флаги. Начинался день, впервые свободно празднуемый в Латвии, день Великой Революции.

— Куда теперь? — спросил шофер.

— Домой... куда же еще, — ответил Петер. Голос его внезапно потерял звучность, в глазах потух живей блеск. 3

— Когда тебя ждать домой? — каждое утро спрашивала Элла, прощаясь с мужем.

— Не знаю, дорогая, трудно сказать. Позвоню около четырех, — отвечал он.

Завтракали они вместе, но ужинать часто приходилось врозь. В доме отца Эллы привыкла к устоявшемуся порядку: вставали там в установленное время, ложились — тоже, и никакое событие не могло нарушить этот порядок. А если Петер один вечер придет в десять, другой — после полуночи, а случается, и под утро, то как тут приспособиться? Элла ждала до десяти, потом ужинала и ложилась спать.

Осенью Петер поступил на курсы по подготовке в высшие учебные заведения и каждый вечер проводил несколько часов в аудиториях. И он и его товарищи жадно набрасывались на открывавшиеся им знания, стараясь в несколько месяцев наверстать упущенное за многие годы. Среди них Петер был далеко не самый старший, да и знал он не меньше других. Некоторые предметы он прошел в годы тюрьмы, в ему достаточно было систематизировать свои знания, чтобы потом, в университете, успешно усваивать специальные курсы. Труднее всего давалась математика, но тут ему помогали Айя и Жубур. Вот почему в директорском портфеле вместе с деловыми бумагами всегда лежало несколько учебников и тетрадей.

Учился Петер рьяно, не отступая, жертвуя ночным отдыхом. Где не успевал за рабочую неделю, наверстывал в воскресенье. Как хорошо, что после выхода из тюрьмы он был несколько месяцев на легкой работе и набрался достаточно сил. Этой зарядки должно хватить до следующей весны, а тогда снова можно подправить здоровье.

Нельзя сказать, чтобы с Петером или с его товарищами кто-нибудь нянчился. Большинство преподавателей подготовительных курсов были работники старой школы, которая готовила резервы буржуазной интеллигенции. Многим из них еретической казалась сама мысль о подготовке в ударном порядке пролетарской интеллигенции, о выращивании научных кадров социалистического общества. Иной профессор формально прочтет лекцию, формально объяснит новый материал и спешит дальше, ничуть не интересуясь, насколько слушатели восприняли материал.

Ничего не поделаешь: и здесь продолжалась борьба двух миров. Молодая сила не хотела сдаваться: «Как ни изворачивайтесь, а мы свое все равно возьмем!» Тайный саботаж старых педагогов только подзадоривал ее.

Раз в неделю Петер участвовал в заседаниях райисполкома. Председателем был Юрис Рубенис, и Петер иногда помогал ему разрешить какой-нибудь запутанный вопрос. Практика ответственного работника была еще невелика, по каждому поводу за советом не побежишь. Но они всегда старались опираться на испытанную мудрость партии, которая безошибочно привела рабочий класс к победе.

Во время национализации случалось, что кому-нибудь вдруг бросался в глаза особнячок на краю города, принадлежащий какому-нибудь специалисту, инженеру или врачу. Формально, принимая во внимание размеры жилой площади, объект можно было национализировать — и нетерпеливые на этом настаивали, — но политически и экономически это ничего не давало. Надо было стать выше мелочных интересов и решать по существу. Зачем из-за нескольких лишних квадратных метров превращать в «пострадавшего» полезного для советского общества специалиста? Надо было понимать, что советская власть мерит не на метры и не на копейки.

В то же время надо было держать ухо востро и с теми, кто всячески старался обойти советский закон, укрывая от народа похищенные ценности. Росло количество артелей и кооперативов. С каждым днем все больше собственников производили раздел имущества. Крупная собственность делилась на десять и больше частей. Тут уж не помогали никакие трюки подпольных адвокатов, — народ должен был получить то, что завоевал.

Эта работа растила людей. Каждое решение по такому запутанному вопросу было проверкой ясности их классового сознания, испытанием их политической зрелости. Иной раз, когда им удавалось предотвратить вовремя серьезную ошибку, Петер и Юрис чувствовали себя так, как будто успешно выдержали экзамен по трудному предмету.

После заседания — обычно это бывало поздней ночью — Юрис звонил к Айе.

— Мы только что кончили. А ты не думаешь кончать?

— Я ждала твоего звонка, чтобы вместе пойти домой, — отзывалась Айя.

У райкома комсомола они поджидали Айю и втроем шли по улицам города, замершего на несколько часов. Они полной грудью вдыхали прохладный ночной воздух, рано выпавший снег мягко поскрипывал под ногами, а над городом сияли крупные зимние звезды.

Когда они подходили к квартире Рубенисов, Айя говорила:

— Подымись с нами, Петер. Поужинаем вместе, тогда тебе не придется беспокоить Эллу.

— Верно, Петер, — подтверждал Юрис. — Поболтаем с полчаса.

Они поднимались на четвертый этаж, и пока Айя хозяйничала в кухне, Петер с Юрисом обменивались дневными впечатлениями или просто отдыхали. Растянувшись на диване, Петер прислушивался к шагам сестры, наблюдал согласную жизнь маленькой семьи, и хорошо становилось у него на душе. «Как они оба — и Айя и Юрис — понимают друг друга с полуслова, с одного взгляда. Что дорого и близко одному, никогда не будет пустяком для другого. Они одинаково смотрят на мир, у них одни желания и цели. Прекрасная, полноценная жизнь. А я?»

Айя, кажется, начинала понимать, что у Петера не все благополучно, и старалась окружить его вниманием, которого ему так не хватало дома. Она не расспрашивала его, не пыталась проникнуть ему в душу с любопытством, которое так больно ранит каждого человека. Ее сестринская нежность была естественна и чиста.

Будь у нее немного больше времени, Айя попробовала бы ближе сойтись с Эллой, вывести ее из круга узких обывательских интересов. Но Элла в присутствии Айи всегда становилась обидчивой, настороженной и жалась в угол.

Обычно Айя провожала Петера до самого подъезда и, прощаясь, будто нечаянно гладила по плечу. Долго смотрела она, как он удалялся по улице, едва освещенной сиянием зимних звезд. Ей было жаль брата.

Чем ближе подходил Петер к своему дому, тем тяжелее становилось у него на душе. Не хотелось расставаться с холодной ночью, свежее дыхание которой ласкало ему лицо.

Долго звучал звонок. Заспанные глаза Эллы недоверчиво глядели на него.

— Ужин я поставила в духовку. Наверно, все высохло.

— Ничего, дружок. Ложись спать... я поем.

Петер ковырял вилкой в тарелке, делая вид, что ест, потом садился за письменный стол и занимался несколько часов.

Так проходили дни... недели и месяцы.

— У тебя в голове одна работа, — обижалась Элла. — К жене никакого интереса. Тебе,

видно, нужна только кухарка. 4

Кафе было переполнено. На первый взгляд здесь ничто не изменилось. За столиками сидела та же публика и так же, как раньше, пила кофе, курила, читала газеты, болтала и скучала. Только более внимательный наблюдатель мог заметить, что смелее в громче разговаривали теперь те посетители, которые до семнадцатого июня были самыми молчаливыми; другие же сидели с непроницаемыми лицами и больше прислушивались, чем говорили сами, хотя раньше их голоса звучали громко и уверенно. Только Гуго Зандарт прочно стоял на своем месте, массивный, незыблемый, как сама жизнь. Он любезно улыбался посетителям; тех, кто поизвестней, приветствовал несколькими угодливыми фразами, а к самым почетным даже подсаживался на несколько минут.

Что же в действительности изменилось? Кафе называлось клубом, а владелец его служил в союзе художников. Заведующей клубом числилась Паулина Зандарт, муж по собственной охоте помогал ей, когда позволяли дела. А дел у него было не меньше, чем прежде. Черная биржа, ипподром, гостеприимные апартаменты Оттилии Скулте отнимали уйму времени, а Зандарт не привык пренебрегать своими обязанностями.

Теперь ему принадлежали только три лошади. Остальных он заблаговременно передал в собственность тренеру Эриксону и наездникам. Это совсем не значило, что он не мог больше вмешиваться в дела конюшни, не мог ворчать, если что-нибудь было ему не по вкусу. Вероятно, по привычке наездники слушались его по-прежнему, а по воскресеньям, после состязаний, они приходили к бывшему хозяину и рассчитывались с ним за полученные призы. Разница состояла в том, что прибыль наездников теперь возросла, так как Зандарт великодушно уменьшил свою часть.

Усадьбу с конным заводом Гуго переписал на брата, который хозяйничал там уже седьмой год, но право распоряжаться всеми делами опять осталось за Зандартом. Сила привычки такова, что ее нельзя стряхнуть одним нотариальным актом; кроме того, Гуго Зандарт вовсе не стремился сбросить со своих плеч бремя прежних забот. Он походил на того рыбопромышленника, который, не желая отдаляться от родной стихии, сидел в одном из павильонов центрального рынка, получал твердый оклад и сам отвечивал покупателям окуней, сырть и другую рыбу.

Квартира Оттилии Скулте была тем раем, где уставший Гуго отдыхал от забот и волнений. Если Зандарту удавалось получить новые сведения, Эдит Ланка доставляла ему очередные радости. Когда агентурных сведений не поступало, он удовлетворялся каким-нибудь заурядным созданием. Привлекательность этих походов теперь возросла еще больше, так как их надо было скрывать не только от законной жены, но и от всех людей, — советская власть объявила жестокую войну всем этим тайным притонам, и некоторые сводницы уже сидели за решеткой. Одним словом, перемены в жизни страны основательно задели Зандарта, и сердце его было преисполнено злобой и ненавистью. Поэтому ему было особенно приятно, когда в кафе заходил кто-нибудь из знакомых, ущемленных не меньше его.

— Господин Мелнудрис, что же это вы больше ничего не пишете? Честное слово, давно не читал ни одной вашей строки.

Бывший придворный писатель Ульманиса, ежегодный лауреат Культурного фонда, оглядел зал, устало улыбнулся и вздохнул:

— Что я теперь? Теперь требуется иная мудрость. Ни один редактор не желает печатать мои вещи.

— Ай-ай-ай, — вздохнул Зандарт. — Но вы ведь что-нибудь пишете? Что не годится сегодня, пригодится в будущем.

— Вы правы. Для меня не писать — значит не жить.

— Точь-в-точь как я. Если бы мне пришлось отказаться от любимого дела, от кафе и ипподрома, я был бы конченный человек. Рыба нуждается в воде, господин Мелнудрис[50].

— А волку нужен лес, — многозначительно добавил Мелнудрис.

Захлебываясь, хихикая, они шепотком передавали друг другу клеветнические сплетни о новой власти, о коммунистах. Они наслаждались мечтами о мести, о политическом реванше, — иначе они не могли представить свое дальнейшее существование. Конечно, такому господину, как Мелнудрис, было гораздо труднее свыкнуться с мыслью, что он бездарность, литературный халтурщик, чем жить мечтой о возврате прежних времен.

— Конечно, я пишу, — сказал он, откидывая назад длинные седеющие волосы, придававшие ему артистический вид. — И, насколько мне известно, из наших никто не прохлаждается. Алкснис скоро кончит новую книгу, но издателям он ее предлагать не собирается. Поэтам легче. Стихотворение можно перепечатать на машинке и пустить по рукам. А что делать со своей рукописью романисту?

— А нельзя ли... издать за границей? — намекнул Зандарт.

— Кто ее там будет читать? Сначала надо перевести, а много ли у нас переводчиков?

— Я думаю, в Германии с удовольствием издадут несколько полезных книг. Особенно если написать про большевиков и красных комиссаров.

— Без поддержки ничего не добьешься, — недоверчиво покачал головой Мелнудрис.

— Я разужнаю, если вы ничего не имеете против. Ведь это же грех — зарывать такой талант в землю. Можно напечатать под чужим именем. Никто не узнает.

— А стиль? Автора узнают по стилю с первой же страницы... — Мелнудрис был непоколебимо уверен, что обладает каким-то стилем.

— Стиль можно немного того... изменить.

— Гм... да... Это, пожалуй, можно.

Вдруг Зандарт встал и еще издали поклонился Прамниеку, который входил в зал.

— Подумайте о том, что я сказал, господин Мелнудрис. Я разужнаю, — возможно, что и выйдет.

Радушно улыбаясь, Зандарт пошел навстречу Прамниеку.

— Здравствуй, Эдгар. Почему ты никогда не приведешь с собою Ольгу? У меня для вас всегда наготове лучший уголок у окна.

— Очень мило с твоей стороны. А ты все не худеешь? Вот увидишь, когда-нибудь умрешь от разрыва сердца, и мне придется провожать тебя на кладбище.

— А почему ты не поправляешься, Эдгар? Твои картины теперь в моде... Говорят, ты хорошо научился работать красной краской? Новый стиль — так, что ли?

— Перестань повторять, как попугай, чужие слова. Дай лучше чашку горячего кофе, согреться с мороза.

— Да, на дворе мороз изрядный. Если не отпустит, в следующее воскресенье на ипподроме

опять посыплются рекорды. Я думаю записать Регента на новогодние соревнования. Как по-твоему, стоит?

— Стоит, стоит, Гуго. Только скажи, какое ты велишь ему занять место, чтобы знать, на какую лошадь ставить.

— Это я тебе перед стартом скажу. 5

Индулис Атауга взволнованно шагал из угла в угол, заложив руки за спину, и говорил. При этом он смотрел на пол и только иногда нервно и быстро поворачивал голову вбок, не глядя на собеседника. Он был похож на актера, разучивающего роль.

Старый Атауга с пасмурным лицом сидел в кресле. Казалось, он думает о чем-то своем, не слушая сына, давая ему возможность наговориться. Такая у него была манера. Но Индулис отлично изучил своего отца. Первые полчаса тот зевал и рассеянно смотрел по сторонам, обращая внимание на что угодно, только не на сына. Потом он начал барабанить по столу короткими толстыми пальцами, привыкшими считать деньги, и Индулис понял, что старика проняло и теперь он обдумывает услышанное, а может быть, и свой собственный ответ. Теперь надо действовать, не давать ему соскользнуть обратно, в состояние безразличия. Как только он произнесет первое слово, хотя бы это был односложный звук, похожий на мычание животного, тогда все будет в порядке, тогда можно спорить, убеждать, объяснять, доказывать. Тяжелее всего бороться с молчанием, когда не знаешь мыслей другого человека. Может быть, он давно уже убежден, согласен с тобой, и ты ломишься в открытую дверь, а может быть, он готов отвергнуть все твои предложения и только зря дразнит, наслаждается гласом вопиющего в пустыне.

А дело слишком серьезно. Нельзя выпускать старика, не добившись от него ответа.

— Пойми, отец, что меня заставляют говорить с тобой исключительно родственные чувства. Как я могу допустить, чтобы на политическую арену выступил чужой человек, первый встречный? Не думай, что у нас не хватает людей. Нам достаточно кликнуть, и сразу отзовется сотня желающих. Я не хочу, чтобы благодарность досталась первым попавшимся людям. Впоследствии придется делить с ними завоеванное. Я хочу, чтобы мой родной отец стал министром в правительстве, которое мы сформируем после изгнания большевиков. Ты меня понял?

— Хм... — единственный звук слетел с губ старого Атауга, и даже не с губ, а через нос, так как рта он по-прежнему не раскрывал. Но это «хм» означало, что старик все понял и ждет, что будет сказано дальше.

Индулис продолжал:

— Именно министром. И в этом нет ничего невероятного. Чем ты хуже других? Разве у тебя нет практического опыта, нет здравого смысла, политической интуиции? Я готов заявить кому угодно, что всего этого у тебя в избытке и тебе предстоит сделаться одной из самых импозантных фигур в кабинете. Только не позволяй другим вытащить у тебя из-под носа этот кусок. Выпрямись во весь рост, покажи в решающий момент свои убеждения. Потом ты можешь сколько угодно божиться и доказывать свою преданность, — никто тебе не поверит. А сейчас ты достигнешь всего ценой одного благородного жеста.

Кресло закрипело. Старый Атауга повернулся, посмотрел на сына. Индулис остановился, внимательно глядя на отца. Наступил решающий момент.

— Насчет министерства... — спокойно, бесстрастно даже начал старый Атауга. — Какое же министерство вы мне дадите?

— Какое сам захочешь. — Индулис сделал широкий жест в знак готовности положить к ногам отца весь мир. — Ты сам можешь выбрать.

— Только не иностранных дел. У меня с этими языками что-то не получается.

— Конечно, конечно, — согласился Индулис. — За это возьмется кто-нибудь другой. Тебе больше подойдут торговля или финансы. Или государственный контроль? Это очень прибыльное дело. Все захотят жить с тобой в ладу.

— Нет, тогда лучше торговлю. В торговле я больше понимаю. Помнится, у министра там замечательный кабинет, — я раз побывал. Тут же рядом туалетная и, кажется, ванна.

— О какой ты ерунде думаешь! У тебя будут дела поважнее. Может быть, тебя назначат заместителем министра-президента, тогда ты станешь вторым лицом в правительстве. Я смогу гордиться таким отцом. Как только кончу учебу — решено! — по уши уйду в политику. Вы меня назначите послом в какую-нибудь интересную страну... во Францию, в Италию. Поможете сыну пробить дорогу, ваше превосходительство?

— Придется помочь, — улыбнулся старый Атауга, — раз он у меня такой молодец.

— А разве нет?

Они шутили, но радужные планы всерьез завладели всеми их помыслами. Старый Атауга, правда, когда-то сам подумывал о таких вещах, но дальше председателя Камеры торговли он не метил. Пророчество Индулиса окрылило его честолюбие. Старый делец воспарял в своем воображении все выше и выше — до самых высоких слоев стратосферы.

— Хм-да, это не плохо, — за все эти вечные хлопоты. Только выйдет ли? У других языки проворнее. Они меня перекричат, они постараются занять лучшие места. Оставят какой-нибудь департаментишко, например, или должность городского головы.

— Не беспокойся, отец. Тогда мы спросим этих крикунов: «Где вы были, когда мы расчищали эту землю?»

— Верно, Индул. Пусть скажут, где они тогда пропадали.

Старый Атауга еще некоторое время витал в стратосфере, потом, спустившись на землю, задал практический вопрос:

— Сколько же вы просите за это?

— Нужды у нас большие. Кое-кого из наших мы отправляем за границу. Каждому надо не меньше ста долларов. С пустыми: руками их на пароход не посадишь.

— Вот зачем ты устроился в таможню? Из-за пассажиров?

— До сих пор я только разведывал обстановку, а сейчас как раз пришло время отправить нескольких человек.

— А если не удастся?

— Удастся, отец. Все обдуманно до последней мелочи, все учтено. «Ретина» — самый подходящий пароход для этой цели.

— Надо поглядеть, много ли у меня этих долларов.

— Годятся и другие деньги. Люди, которых мы держим в Латвии на конспиративном положении, нуждаются в рублях. Потом расходы по руководству... ты ведь понимаешь? В

нашей усадьбе можно устроить одну из главных баз. Будущей весной придется перевести штаб в пашу дачу на Взморье. Пусть пропишутся как дачники, никто же не запрещает сдавать лишние комнаты. Ты, отец, не бойся, они сумеют устроиться так, что никто ничего не подумает. Может быть, и Джек к тому времени проберется в партию. Надо ему поторопиться с этим. У нас была бы великолепная вывеска.

— С Жубуром у него ничего не получилось. Сейчас пытается протиснуться с другой стороны. Не так-то это легко. Никто не хочет за него поручиться.

— Ну, если бы он был немного настойчивей, его дело с вступлением в партию давно было бы в шляпе, — рассердился Индулис. — Мещанин так и останется мещанином. Хотеть — хочет, а рискнуть боится. Разве так чего-нибудь достигнешь?

— Нельзя сказать, чтобы Джек не рисковал, — возразил старый Атауга. — Квартирами он довольно удачно спекулирует. Если поймают, шутить с ним не станут.

— В этом-то и беда, что дальше спекуляции он ничего не видит. Дайте ему на чем-нибудь спекулировать, кое-что приобрести, кое-что сбыть, — а больше ему ничего не надо. Я бы с его биографическими данными давно был комиссаром.

— Не у всех, Индулис, твоя сноровка.

— Фания тоже... — кипятился Индулис. — Как появился ребенок, все на свете забыла. Мы все думали, что Бунте будет плясать под ее дудку... Вот тебе и дудка! Никто не дудит, никто не пляшет, а нам с тобой приходится тянуть весь этот воз.

— Зато мы больше получим.

— Получить-то получим, но лучше, если и другие немного приложат руки. Почему мы одни должны быть неграми?

— Ты же сам сказал, что мы эту землю расчищаем.

— Правильно, правильно. Значит, договорились, отец. Ты согласен финансировать нашу организацию?

— Уговорил. На хороших процентах согласен. Теперь только сами держите слово.

— Ты будешь министром, отец, — торжественно проговорил Индулис. — Это я тебе обещаю от имени организации.

Так бывший домовладелец Атауга стал участником контрреволюционного заговора.

Получив от отца первый взнос, Индулис три четверти суммы сдал кассиру организации, а остальные деньги без малейших колебаний положил в свой карман. Уговорить старика было не легко, такой труд чего-нибудь да стоил. Теперь можно позвонить приятельнице из ресторана «Максим — Трокадеро».

«Что-то скажет девчурка о викенде[51] на Балтэзере?»

Не застав приятельницы, Индулис ничуть не расстроился. Разве на свете нет больше женщин?

Он набрал другой номер, и через несколько секунд до его слуха донесся нежный, вкрадчивый голосок маленькой поэтессы Айны Перле.

— Айна? У тебя нет желания, деточка, проехаться по свежему воздуху? Прокатиться по

красивым местам, чтобы подкрепить твое вдохновение. Согласна? Ты сама прелесть, моя маленькая, моя великая поэтесса. Буду ждать тебя у подъезда. 6

Были времена, когда Айна Перле и не глядела на таких поклонников, как Индулис Атауга. Он довольствовался тем, что встречался с ней в обществе и мог кое-когда сделать комплимент ее поэтическому таланту. В ту пору сердцем ее владел гордый лев, его превосходительство Альфред Никур. Он умел любить и повелевать, и, хотя Айна знала, что в обширном сердце Никура ей принадлежит лишь маленький уголок, — и тот в порядке аренды, — ей льстило внимание государственного деятеля. Это внимание обладало и чисто материальным весом. Разве иначе она добилась бы премии Культурного фонда? Разве расточали бы ей любезности самые известные редакторы?

Индулис Атауга был довольно отчаянный водитель, но, зная его удачливость, Айна Перле спокойно наслаждалась быстрой ездой, — глядя на бегущие мимо заснеженные сосны и дымящие трубы крестьянских домов. Как мираж, промелькнули встречный воз с сеном, кучка идущих из школы детей, вышедшая на опушку леса козуля. Западная сторона небосвода окрасилась пламенным багрянцем, предвещая ветер, в роще завели свой спор вороны стаи, которые не могли прийти к согласию в выборе верхушки березы для ночлега.

Как замороженная, Айна коснулась рукой локтя Индулиса. Он взглянул на нее, улыбнулся и снова стал смотреть вперед, на несущуюся навстречу ленту дороги. Но мысли Айны были заняты прошлым. Она думала о последнем разговоре с Никуром. «Мы тебя озолотим, если ты сделаешь то-то и то-то». Где сейчас Никур и где обещанное золото? Донесся как-то невнятный слух из-за моря, из Скандинавии, где он отдыхал от государственных трудов, набирался сил для дальнейшей борьбы, от которой еще не отказался. Разумеется, он там не один, — какое-нибудь смазливое создание радуется, наверно, своей близостью неугомонное сердце этого ветреника. «Ей близость, а мне одни обещания, да и те он едва ли сдержит, раз полученное задание еще не выполнено. Ах, это совсем не таксе легкое задание...» Нельзя сказать, чтобы Айна Перле не старалась. Еще весной, в ожидании перемен, она пробовала сблизиться то с одним, то с другим из завтрашних государственных деятелей, но ее чарующие улыбки на них не действовали. Они вежливо выслушивали ее, вежливо улыбались ее радикальным высказываниям, так же вежливо провожали до дверей и больше не приглашали. Ее женские чары действовали на них не больше, чем на слепых. Многообещающие жесты Айны оставались без отклика. Деревяшки какие-то, а не люди! Может быть, им что-нибудь известно? Иначе почему же во время переворота ей не удалось подняться на гребень общественной волны? Два раза она пыталась достичь вершины, стать политической фигурой, и оба раза в самый решающий момент что-то невидимое, но непреодолимое преграждало ей путь.

Ее стихи печатались в газетах и журналах, иногда ей давали возможность выступить по радио, — но ведь это только литература. Обещание, данное Альфреду Никуру, осталось невыполненным. За что же он озолотит ее?

Убедившись, что игрою в любовь большевиков не пронять, Айна перестроила свои планы и попыталась осаждать крепость с другой стороны. Чтобы обратить на себя внимание, она старалась активно участвовать в каждом культурном начинании. Приглашали ее, нет ли, но она бывала на всех собраниях писателей и художников: на совещаниях о подготовке к декаде латышского искусства в Москве, на дискуссиях о проблемах культуры — и везде аккуратно брала слово. Таким образом ей удавалось попадать в разные комиссии, ее имя начало часто появляться в печати. Это уже было кое-что, но не к этому стремилась Айна. О всех готовящихся мероприятиях она узнавала тогда, когда об этом знало уже большинство, а на черной политической бирже, где она рисковала своим капиталом, такая информация не имела никакой цены. Надо было узнавать или угадывать намерения противника хотя бы несколькими днями раньше, чем они становились достоянием широкой гласности, — тогда можно было использовать ситуацию, выбросить на рынок свои акции и понизить курс акций

противника до минимума. Айна Перле не могла похвастаться, чтобы это ей хоть раз удалось. За что же Никур озолотит ее?

Одно время она чувствовала себя ужасно одинокой. Старые друзья, неправильно истолковав ее активность, сторонились ее и при встречах ограничивались сдержанными поклонами, а в тех кругах, куда она старалась пробиться с семнадцатого июня, у нее не могло быть ни одного близкого по духу человека. Может быть, это было с ее стороны не очень правильно, но Айне Перле больше ничего не оставалось, как открыться некоторым старым знакомым. После этого Мелнудрис перестал избегать ее, а Алкснис охотно болтал с нею в кафе. У всех троих были общие заботы и общие цели. С удовольствием вспоминали они о прошедших днях славы и мечтали о будущем. Ведь тяжело жить без мечтаний.

Индулис Атауга свернул к лесу и повел машину извилистой просекой. Ветви сосен образовали над узкой дорогой сплошной зеленый свод, сквозь который кое-где лишь проникал солнечный луч. Внизу стоял полумрак. Когда нельзя уже было различить дорогу, Индулис остановил машину под громадной сосной.

— Отдохнем немножечко, — сказал он, с особенным выражением глядя на Айну. — Выйдем из машины, а то затекли ноги.

Место показалось Айне знакомым. Сумрак и тихий шум вековых сосен пробудили в ней воспоминания о других прогулках. Направо от дороги, как огромный ствол орудия, лежало повалившееся дерево. И вдруг Айна вспомнила такой же зимний день год тому назад. Тогда другая машина точно так же свернула с шоссе, въехала в лес и остановилась с подветренной стороны громадной сосны.

«Отдохнем немного, — сказал тогда Альфред Никур так же выразительно, с улыбкой глядя на нее. — Выйдем из машины, у меня ноги затекли».

Как все повторяется! Как похожи эти люди, принадлежащие к одной общественной группе! По одному и тому же пути, одинаковыми средствами добиваются они одной и той же цели. Разница только в том, что у Никура были маленькие усики, которые щекотали при поцелуях, а Индулис Атауга брился.

— Какая ты чудная, — целуя ее, шептал он сотни раз слышанную ею фразу.

— И ты чудный, милый мой баловник, — автоматически отвечала она, точно так же, как это делала сотни раз в подобных случаях. В их жизни ничто не движется вперед. Они просто существуют, они носятся по заколдованному кругу, возвращаясь через некоторое время к исходной точке... Одни и те же вожделения, одни и те же способы их удовлетворения. И каждый раз какой-то кусок жизни отламывается, сгорает — и его нет; и в конце концов их жизнь походит на дерево, с которого облетела вся листва. Остаются одни воспоминания.

Когда они прошли немного по сумрачной лесной дороге и возвращались обратно, Айна подумала, что он непременно заговорит о повалившемся дереве. Он заговорил. Они присели на него, прижавшись друг к другу. Некоторое время они молчали. Наконец, взгляд Индулиса стал настойчиво искать глаз Айны, губы его дернулись, но он сдержался.

— Тебе не холодно? Пойдем лучше в машину.

Все то же, все то же! Смущенное возвращение к машине, машинально напеваемый вполголоса мотив и бурное заключение.

И снова ревел мотор, сменяли друг друга лесные картины, а где-то на берегу озера стояло одинокое заведение, куда горожане приезжали рассеяться в свободные вечера. Во втором этаже была удобная комната с видом на замерзшее озеро. Немой и равнодушный ко всему на

свете официант накрыл стол, откупорил бутылки и скрылся так же бесшумно, как появился.

Индулис Атауга запер дверь на ключ.

— Правда, чудесно?

Айна рассеянно смотрела на темнеющее озеро. Немного погодя она ответила:

— Я бы хотела остаться здесь навсегда.

Стучали ножи и вилки. В бокалах искрилось вино. Время от времени было слышно, как ручные часы Индулиса отсчитывали секунды. Тик-тик-тик... Незаметно, по каплям, как тающая сосулька, иссякала их жизнь. 7

Однажды вечером Феликс Вилде, возвращаясь домой с пакетом продуктов, которые он всегда закупал на несколько дней, встретился почти возле своего дома с Аболлом. Толстячок, не говоря ни слова, втолкнул его в ближайшие ворота и быстро, взволнованно зашептал:

— Благодарю бога, что я встретил тебя на улице. Целых полчаса дежурил... Тебе нельзя возвращаться домой. На лестнице устроена засада. Я сам чуть не попался им в лапы; слава богу, что ученный-переученный.

— Предательство? — спросил Вилде, всматриваясь в замерзшее лицо Абола. — Кроме тебя и Риекстыня, больше знать некому...

— Лучше бы Риекстынь не знал ничего. Прошлой ночью его взяли. На заседании коллегии пытался протащить никуда не годный проект завода — помнишь, который делал инженер Малит. Наверно, пронюхали, что дело пахнет вредительством. Малит тоже сел. Вот и выходит, что Риекстынь не умеет держать язык за зубами, выдает все, что ему известно.

— Черт бы его взял! Мы все были уверены, что Риекстынь один из самых надежных. Теперь все пропало.

— Все пропало. Тебе надо скорее смыться, исчезнуть с горизонта и переждать, пока мне с Понте удастся организовать новое гнездо. А что, у тебя в квартире ничего такого компрометирующего нет?

— Я не такой дурак, чтобы хранить в квартире вещественные доказательства.

— Тогда все более или менее в порядке. Теперь какие будут указания?

Вилде некоторое время что-то обдумывал.

— Пока держи связь с Понте. Я как-нибудь постараюсь, дам ему знать о себе. От него ты получишь указания относительно дальнейших действий. Ясно?

— Ясно, шеф. Теперь мне можно идти? Здесь долго оставаться не годится. И тебе советую скорее убраться подальше от этого места.

— Будь здоров и действуй, как я тебе сказал. — Вилде пожал Аболлу руку и, когда тот перешел улицу, нырнул в безлюдный переулок. Там он бросил покупки в мусорный ящик и через проходной двор большого дома вышел на другую улицу. Избегая освещенных мест, он скоро достиг Артиллерийской улицы и размеренными шагами направился в сторону Гертрудинской церкви. Как он теперь раскаивался, что вовремя не догадался подготовить несколько резервных квартир где-нибудь в Задвинье или за Воздушным мостом. Тогда не пришлось бы бродить по улицам и придумывать, где провести первую полную опасности ночь. Потом-то, конечно, все устроится, но пока надо подождать, выяснить, кто еще

арестован. Если бы где-нибудь удалось приютиться — хоть на несколько дней, хоть на одну эту ночь!

— Какая проклятая обстановка, — сердился он, и ему все больше становилось не по себе.

После спектакля Мара задержалась в театре и вернулась домой лишь около полуночи. Жила она на Цесисской улице, в маленькой квартирке из двух комнат на пятом этаже. Утром не надо было идти в театр, и, умывшись, она взялась за книгу Станиславского.

Книжная полка Мары была полна новых, советских книг. Больше двадцати лет, всю сознательную жизнь Мары Павулан, этот мощный, чистый идейный родник был ей недоступен, а сейчас из него можно было пить и пить, утоляя давнюю жажду. Каждая прочитанная книга была как порыв бури, рассеивавший часть той непроглядной мглы, которая до сих пор скрывала правду о жизни, о людях. Все являлось в новом свете — без ложных прикрас, но тем ярче, глубже, полнее.

Мара все чаще спрашивала себя: как могла она, как вообще мог развитой, интеллигентный человек обходиться без этих книг? Это все равно, что жить на уединенном острове, среди океана, куда не доходит ни одна весть о том, что творится в мире. До сего времени она обходилась ошибочными представлениями и о смысле своей жизни и о смысле процесса развития человечества. Теперь только она начала видеть по-настоящему жизнь народа. Читала она запоем, как и тысячи других, пробужденных к сознательной жизни латышей. С каждым днем они становились богаче духом, взгляд их охватывал невиданные горизонты, и никакая сила уже не могла заставить их вернуться к узости прежнего кругозора и удовлетвориться им.

Часы пробили три. Мара загнула страницу и хотела лечь спать, но старый великан Станиславский рассказывал так чудесно, что не было никакой возможности оставить главу недочитанной. Она взбила скомкавшуюся подушку, удобнее откинулась на нее и продолжала чтение.

В это время на лестнице послышался шорох, как будто кто-то отыскивал в темноте кнопку звонка.

Мара накинула на плечи халат и вышла в переднюю. Чуть слышно задребезжал звонок.

— Кто там?

— Открой, пожалуйста. Это я, Феликс.

— Что вам угодно? — голос Мары звучал твердо и холодно.

— Я только на минуточку, — тихо ответил Вилде через дверь. — Я должен сообщить тебе нечто чрезвычайно важное. Будь добра, впусти, расскаиваться тебе не придется.

Молчание. Наконец, Мара ответила:

— Подождите немного. Я приведу себя в порядок.

Она надела платье, кое-как сколола волосы и вышла отворить дверь.

Она едва узнала Вилде. Поношенный полушубок и круглая шапка-ушанка совершенно изменили его наружность.

— Не удивляйся, — попытался улыбнуться Вилде. — Разное случается в жизни. Позволь мне

освободиться от этих непривычных атрибутов.

— Пожалуйста, — сдержанно ответила Мара, словно не замечая протянутой для пожатия руки. — Но я не желаю, чтобы вы называли меня на «ты». Между чужими это не принято.

Вилде дернул плечом.

— Как вам угодно, но от этого ничто не изменится.

— Что вам от меня надо? — спросила Мара.

— Надеюсь, вы не заставите меня говорить в передней? — обводя глазами стены, сказал Вилде. — Или вам неудобно принять меня в комнатах? Мужчина, да?

Он цинично усмехнулся.

— Вас это не касается, — ответила Мара. — Я перед вами не отвечаю. Но если вам так удобнее — пожалуйста.

Она отворила дверь в гостиную, которая служила ей кабинетом и столовой. Проходя мимо зеркала, Вилде взглянул в него и пригладил волосы. Сняв полушубок и ушанку, он стал прежним элегантным господином, каким его знала Мара. Те же холеные Ногги, те же тщательно подстриженные усики, искусно завязанный узел галстука... Ох, как она знала, что скрывается под этой оболочкой!

— Что вам угодно? — спросила она в третий раз, когда Вилде сел. Сама она продолжала стоять.

— Что мне нужно? — Вилде несколько секунд не отвечал, будто задумавшись. — Ничего особенного и в то же время очень многое, Мара... Я хочу тебе... я хочу вам доставить великолепный шанс, хочу выдать вексель на будущность.

— Говорите яснее, я вас не понимаю.

— Ах, все еще не понимаете? Ну, хорошо, по-деловому так по-деловому. Разрешите закурить?

— Курите.

Вилде закурил, несколько раз подряд глубоко затянулся ароматным дымом (у него все еще водились контрабандные сигареты) и заговорил тихо, каким-то вороватым тоном:

— За какие-нибудь несколько месяцев советской власти вы уже успели основательно скомпрометировать себя. По-моему, это не особенно дальновидно с вашей стороны.

— Ваше мнение меня несколько не интересует.

— Сегодня — нет. Но через некоторое время может заинтересовать. Неужели вы думаете, что большевики удержатся в Латвии? Что здесь все так и останется на веки вечные? Я придерживаюсь других взглядов.

— Дальше? — насмешливо спросила Мара.

— Как бы тогда вам не пришлось раскаяться в своем увлечении большевиками. Мы все видим. Мы знаем, как кто ведет себя сегодня, наматываем себе на ус. Когда времена изменятся, — а я уверен, что они непременно изменятся, — то каждому придется дать отчет в своем поведении при большевиках.

Пока Вилде говорил, Мара все время стояла возле двери в переднюю и, даже отвечая, не переставала обдумывать одну мысль, появившуюся у нее несколько минут назад. В тот момент, когда Вилде обернулся к соседнему столику в поисках пепельницы, она одним быстрым движением заперла дверь, а ключ опустила в карман.

— Ну, и что же дальше? — повторила она свой вопрос.

— Тогда вам будет плохо. Вы слишком скомпрометированы. В лучшем случае вам придется уйти из театра и стать судомойкой в какой-нибудь столовке. В худшем случае тюрьма раскроет перед вами свои гостеприимные ворота.

— Чего вам все-таки от меня надо?

— Я хочу вам помочь. Пусть мы сейчас чужие, все-таки нельзя выкинуть из сердца воспоминаний о прожитых вместе счастливых годах.

— Не напоминайте, пожалуйста, мне о них, — поморщившись, сказала Мара. — Для меня это самые постыдные воспоминания.

Вилде сделал вид, что не слышит ее слов, и продолжал уже спокойнее:

— Я не хочу, чтобы с вами тогда случилось что-нибудь плохое. Я могу вам помочь. Я уже сегодня хочу дать вам возможность обеспечить свое будущее, заранее заслужить в наших глазах право на прощение. Что, не хотите? — Вилде наблюдал за ней. — Предрассудки мешают? Не стоит терзаться, товарищ Мара Павулан. После глубоко об этом пожалеете.

— Мне от вас ничего не надо, — сказала Мара. — Но я желаю знать, чего вам надо от меня. Признайтесь, вас сюда загнала печальная необходимость?

— В известной мере. Но это не означает, что у меня не было другого выхода. Мне могли помочь многие другие люди. Но я желал предоставить вам чудесную возможность реабилитироваться. Поэтому и пришел прямо к вам.

Мара медленно, не глядя на Вилде, пошла к двери в спальню.

— Уже половина четвертого. У меня вовсе нет желания болтать с вами до утра. Говорите скорее, что вам надо. Я хочу спать.

— Хорошо, я вас не буду долго беспокоить. За мной следят. Меня хотят арестовать. Мне хитростью удалось вырваться из их когтей. Тебе придется спрятать меня в своей квартире... по меньшей мере на несколько дней, пока я не выберусь из Риги.

— Что вы сделали? — живо обернулась к нему Мара.

— Я не успел сделать, но намерения у меня кое-какие были. Они узнали об этом. Сейчас мне грозит тюрьма. Да будет тебе известно, что я не простой солдат, а одно из главных лиц тайной организации. Ты получишь благодарность от ее руководителей. Никому не придет в голову проверять твою квартиру. Риска никакого.

Мара хотела ответить, но, ясно понимая, что сейчас Вилде способен на все, — физически он во всяком случае сильнее, — быстро проскользнула в спальню и заперлась на ключ. И тогда уже сказала:

— Вы пришли не по адресу, господин Вилде. Я не желаю вам помогать.

— Ах, ты не желаешь? — прорычал он за дверью. — Может быть, ты желаешь, чтобы я задушил тебя своими руками?

— Попробуйте.

Он попытался открыть дверь. Она не поддавалась. Тогда он подбежал к другой двери, толкал ее, дергал, тряс за ручку.

— Открой, Мара, — шипел он. — Выпусти меня. Мои друзья знают, где я нахожусь. Если со мной что-нибудь случится, они тебе отомстят. Слышишь? Тебя застрелят в первый же вечер, когда ты будешь возвращаться из театра.

Мара прислонилась к стене. «Теперь ты должна показать, кто ты... настоящий друг или нет? Только ли на словах ты с

ними, или же всей душой? Жубуру, Силениеку... им никому не нужны твои слова. Остановиться на полдороге? Господи, до чего это трудно...»

Она понимала, что находится на распутье, что дальше будет только один путь, один до самого конца.

За стеной то грозил, то молил негодяй, который когда-то считался самым близким ей человеком. Для него во всем мире не было ничего святого. Всю свою жизнь он шел против своего народа, — шакал, предатель, омерзительный шпик. Но сейчас он бессилен, он все равно что со связанными руками... Лежачего не бьют.

Как огненные стрелы, пронзали ее мозг тысячи мыслей. Вилде стучался в дверь, молил и проклинал. Нет, даже перед пропастью он остался тем же мерзавцем, каким был всю свою жизнь. Громадным усилием воли Мара стряхнула с себя чувство замешательства, и вдруг все стало для нее ясным. Она решила. Был только один путь, и с этого дня она всегда, без колебаний будет идти по нему.

— Мои друзья увезут тебя в лес и повесят на первой сосне, — угрожал за дверью Вилде.

— Я не боюсь ваших друзей. Слушайте, Феликс Вилде. Сейчас вы услышите мой ответ.

Уверенными шагами она подошла к ночному столику и сняла с телефона трубку. Набрала нужный номер.

— Народный комиссариат внутренних дел? Говорит актриса Мара Павулан. В моей квартире находится государственный преступник Феликс Вилде. Он заперт в моей квартире и не может убежать. Пришлите скорее своих работников, иначе он здесь все разнесет.

Глава шестая

1

Тридцать лет Екаб Павулан проработал на одном предприятии и за эти годы только два раза сменил станок. Все, что за это время происходило на заводе, составляло и значительную часть биографии Павулана. Из молодого парня, только что научившегося ремеслу токаря, он стал стариком Павуланом, и добрая половина рабочих токарного цеха считались его питомцами. Среди них были разные люди. Некоторые еще недавно старались выслужиться перед начальством, угодничали, пресмыкались, доносили о настроениях рабочих. Большинство мирно ело честно заработанный хлеб, сторонясь всех бурь и в любых условиях ища компромисса. Но были и люди беспокойные, которые не боялись риска и ополчались на все несправедливости; некоторые из них насиделись во времена буржуазной Латвии по тюрьмам — либо за конкретные действия, либо просто на основе чрезвычайного закона Керенского, действовавшего в стране. Но к Екабу Павулану все относились с уважением.

Чем заслужил он дружбу и любовь коллектива? Безупречной жизнью и производственным мастерством. За всю свою жизнь он ни разу не солгал, не тронул чужого добра, хотя бы оно валялось под ногами, а своим местом у станка гордился больше всего на свете. Уже десять лет, как администрация завода поручила ему изготовление самых ответственных и сложных деталей. Только благодаря своему редкому мастерству Павулан не терял работы даже в самые тяжелые годы кризиса. Если за два-три года ему и приходилось что-нибудь испортить, сделать не так, как нужно, он считал себя несчастнейшим человеком в мире и месяцами не находил себе покоя.

В той же степени, как со своим станком, старый Павулан сросся со своим заводом. Он не только вкладывал всю душу в работу, он хотел, чтобы весь токарный цех, весь завод работали без брака. Таких людей считают золотым фондом каждого предприятия, а руки их называют золотыми руками. Жесткие, узловатые и неприглядные, они умеют творить чудеса. Грубый кусок металла в пальцах Павулана превращался в тончайшую деталь, важнейшую часть сложного механизма. Иногда он изготавливал первые опытные образцы по указаниям изобретателей и чертежам конструкторов, не зная еще, для чего они предназначены, и только позже, когда завод начинал выпускать новые изделия, старому мастеру становилось понятным, над чем он трудился. Никогда ему в голову не приходила мысль, что работа его стоит гораздо больше, чем он за нее получает. Есть кусок хлеба, есть две комнатки в районе Воздушного моста, а большего он не требовал. Раньше он не задавал себе вопроса, кому идет доход с его работы. Не интересовало это его и теперь. Главное, чтобы работа шла правильно и хорошо.

После национализации завода директором его стал один из учеников Павулана, Ян Лиетынь, освобожденный двадцать первого июня из тюрьмы. Сам Лиетынь настаивал на том, чтобы пост директора доверили старому Павулану, и весь рабочий коллектив поддержал это предложение, но со старым токарем от волнения едва не случился удар.

— Что вы надо мной, стариком, подшутить вздумали! Чтобы потом весь свет смеялся? Много я понимаю в директорских делах...

— Ты и завод знаешь лучше других и производственный процесс, — сказал Лиетынь. — Без твоего совета здесь не обходились и раньше. Соглашайся, и больше ничего, а мы все будем тебе помогать.

— И образования у меня нет и распорядиться я как следует не могу, буду только глазами хлопать, всем мальчишкам на потеху. Дайте уж мне честно кончить свой век у станка.

Так и не уговорили Павулана, — пришлось Яну Лиетыню взять на себя трудные обязанности директора.

Однако остаться в стороне во время великих перемен Екабу Павулану не удалось. Как он ни упирался, но однажды в приказе по заводу было объявлено, что товарищ Павулан назначен начальником токарного цеха. Думаете, после этого он начал расхаживать по цеху, отдавая распоряжения, а свой станок передал другому? Ничего подобного. Старый Павулан действительно стал обходить цех, разговаривал с токарями о работе, давал советы молодежи, а после этого возвращался к своему станку и принимался за сложные детали. Зато одно обстоятельство обрадовало Екаба Павулана в его новом положении: теперь он мог испробовать на практике некоторые затеи, придуманные за долгие годы работы у станка. Раньше бы он не посмел и заикнуться об этом. Владельцы завода не только не считались с предложениями рабочих, но еще и подымали на смех, считая это самомнением не по чину. Сейчас было другое дело. Когда Павулан приладил к своему станку небольшое приспособление, после чего работа двух подсобных рабочих стала ненужной, Лиетынь расхвалил его на весь город. О нем писали в газетах, с других заводов приходили инженеры знакомиться с изобретением и перенять его опыт. Но Павулан на этом не успокоился.

Вспомогательные приспособления устроили на всех станках, и теперь в цехе могли перейти на двухсменную работу, не увеличивая числа рабочих.

— Вот видишь, Екаб, какой бы из тебя вышел директор, — сказал Лиетынь. — Подсчитай-ка, на сколько у нас снизилась себестоимость продукции.

— Можно и еще удешевить, — невозмутимо ответил Павулан. — Если бы мне дали попробовать...

— Пробуй все, что найдешь нужным, — ответил директор. — Ты в своем цехе хозяин.

Тогда Павулан сделал то, о чем втайне думал много лет. Токарный станок получил еще одно небольшое и простое приспособление, которое вдвое ускорило производственный процесс. Так же, как и раньше, за станком был занят один рабочий, только увеличилось потребление электроэнергии. Когда приспособление было испытано, его установили на всех станках, и снова на завод стали приезжать инженеры с других предприятий, а фотографии старого Павулана появились на первой полосе газеты «Циня». Одним словом, он стал знаменитым, совсем не добиваясь славы. Однажды нарком пригласил его к себе, долго беседовал с ним, затем Павулану вручили почетную грамоту и выдали премию.

До сих пор все шло хорошо. Давнишние замыслы старого рабочего осуществились, профессиональная мудрость его торжествовала победу. Но вот на общезаводском собрании Ян Лиетынь выдвинул кандидатуру старого Павулана в члены заводского комитета. Предложение было поддержано бурными аплодисментами.

— Правильно! Павулана предзавкомом! — раздавалось со всех сторон.

Смутившись от неожиданности, он встал и начал отказываться:

— Ну, какой я председатель... молодых, что ли, у нас нет? Сами знаете, что в политике я не смыслю. Дайте уж мне поработать с моими станками. Там я кое-что понимаю. Политикой пусть занимаются молодые.

Возражений его все-таки не приняли и выбрали в заводской комитет. От председательства Павулан наотрез отказался, но обязанности члена завкома выполнял хорошо.

— Видишь, Екаб, политика вовсе не такая уж трудная штука, — говорил ему Лиетынь, когда тот освоил свои новые обязанности. — Годы тут никакой роли не играют.

— Вот ведь ты какой, опять провел меня, — добродушно ворчал Павулан. — Сам знаешь, что нет у меня охоты заниматься другими делами. Точить — дело другое. А у тебя только и на уме как бы втянуть меня в политику.

— Все будет хорошо, Екаб, — успокаивал его Лиетынь. — Кто тебя в чем упрекнет, если ты можешь оказать пользу своим товарищам и своему народу?

За последнее время Мара старалась проводить у своих стариков свободные вечера, хотя они выпадали у нее довольно редко. Иногда к Павуланам заходил кто-нибудь из старых друзей. Они как-то быстро находили общий язык — и рабочие и известная актриса. Впрочем, теперь все люди, которые были заняты полезной и нужной работой, чувствовали себя близкими друг другу и жили одинаковыми радостями, одинаковыми интересами. Многие еще не осознали и не могли объяснить, в чем суть происшедшей в их положении перемены, но все они чувствовали, как что-то новое и большое с каждым днем входит в их жизнь. Разве не странно, что старый Павулан зарабатывал сейчас столько же, сколько и директор завода? А премии, а проценты за рационализацию, за превышение норм — все это было так непривычно, и все это было действительностью.

Всю жизнь сторонясь политики, как черт ладана, Екаб Павулан, сам того не замечая, стал активным строителем советской власти. Ему казалось, что политика — это что-то существующее само по себе, за пределами обыденной жизни и работы. Он не знал еще, что политика — это сама жизнь, это каждый шаг и каждое дело, выполняемое даже самым незаметным человеком. 2

В кабинете директора театра Калей было полно народу. Места всем не хватило, многие сидели на поручнях кресел, а писатель Яундалдер, который теперь работал в театре, расположился на краю стола. Единственной женщиной в этом обществе была Мара Павулан.

Калей — известный прогрессивный писатель, назначенный в начале сезона директором театра, всегда проводил совещания в своем кабинете. Раньше это было единственное место, где можно было поговорить обо всем, не опасаясь нескромных ушей. Если бы кто-нибудь и хотел постоять у дверей кабинета директора, долго задерживаться там было неудобно: мимо все время сновали люди. Этот обычай сохранили, хотя и не было больше ни министра Берзиня, ни Фридрихсона, ни шпииков охранного управления. Если даже кто-нибудь из них остался в театре, то его деятельность никому не могла причинить вреда.

Калей, мужчина средних лет, с моложавым румяным лицом и седеющими волосами, недавно выпустил сборник рассказов, написанных еще до великой перемены. Сейчас он работал над пьесой, которую собирался поставить в течение сезона. После шестилетнего молчания Калей как никто чувствовал живительное дыхание новых времен. Теперь писатель мог полным голосом заговорить обо всем, что долгие годы зрело в его душе, не находя выхода.

На пост директора Калей согласился пойти при условии, что в театре будет работать и писатель Яундалдер. Скоро все увидели, что выбор был правилен. Яундалдер хорошо знал и театр и все причуды и фокусы режиссера Букулта, пытавшегося наложить на каждую постановку отпечаток собственного мировоззрения.

Говорил актер Кукур:

— Если мы не хотим провалить спектакль, Зивтынь эту роль никоим образом давать нельзя. Она сознательно опошляет образ комсомолки. Все серьезное, идейное она своей акцентацией, своими ужимками превращает в шарж. Вы увидите, что в самых сильных сценах публика будет покатываться со смеху. Как раз в самых важных местах она проглатывает отдельные слова и таким образом искажает текст. Сколько времени мы будем терпеть эти фокусы? Ясно, что тут готовится политическая демонстрация.

— Ее всячески поддерживает режиссер Букулт, — сказала Мара. — Делает вид, что не замечает ошибок, и даже хвалит за удачную трактовку роли.

— Мара права, — согласился Кукур. — А что вытворяет сам Букулт со своей ролью краснофлотца? Героя, борца он превращает в такого слюнтяя, что тошно смотреть. Ведь у него получается какой-то нытик! Разве такие люди делали революцию, восстали против самодержавия и добились победы?

— Но что вы предлагаете? — спросил Калей. — Отстранить Букулта от режиссуры мы уже не можем. Получится скандал. А перераспределять роли он не захочет. Если нажать на него, поговорить напрямик, он в одном месте исправит, в другом исказит.

— Премьеру надо отложить недельки на две, — сказал Кукур. — Этого вполне достаточно, чтобы роль Зивтынь разучила другая актриса. Жаль, что Мара Павулан занята в другой роли. Вот ей бы это было по плечу.

— Я думаю, это нам урок на весь сезон, — заговорила Мара. — Все серьезные роли надо дублировать. Если бы у Букулта и Зивтынь были дублеры, мы спокойно могли бы выпустить

их на премьере.

Калей усмехнулся.

— Правильно! А мы их перехитрили. К вашему сведению, я об этом подумал, когда распределяли роли. И у Зивтынь и у Букулта уже есть дублеры. Они все время присутствуют на репетициях, готовят свои роли, а когда придет время, порадуют нас приятным сюрпризом.

— Вот это славно, — обрадовался Кукур. — Кто это, если не секрет?

— Роль краснофлотца готовит Вилцинь, который недавно перешел к нам из Передвижного театра, а роль комсомолки дублируют сразу две актрисы. Обе будут лучше Зивтынь.

— Странно, для чего же скрывать это? — спросил Кукур.

Калей кивнул головой в сторону Яундалдера:

— Расскажи ты.

— Эта своеобразная конспирация вызвана следующими причинами, — начал Яундалдер. — Во-первых, мы не хотим, чтобы Букулт калечил и дублеров. Если их сейчас передать ему, он будет их гонять и муштровать до тех пор, пока они не станут сами на себя не похожи. Во-вторых, если Букулт заметит наш маневр, он может преподнести нам на премьере такой сюрприз, что мы только ахнем. А главное, надо показать клике Букулта, что мы совсем не такие простачки, за каких они нас принимают. Пусть старый лис поймет, что мы все видим, все понимаем и в силах его обезвредить. Ну, а после премьеры поговорим с ним с глазу на глаз. Фактами припррем его к стенке и дадим выбрать: или трудиться честно, для народа, как подобает служителю подлинного искусства, или уйти на какую-нибудь другую работу, которая не связана со сценой. Уверен, что он выберет первый путь.

— Мне кажется, что после этого совещания наш актив удвоится, — сказал Калей. — От группы реакционно настроенных актеров надо отколоть всех, кто еще по своему недомыслию плетется у нее в хвосте. Я только что получил из Москвы много новых книг. Некоторые следовало бы изучать всем коллективом. Думаю, что Яундалдер это организует. Наш театр до сих пор варится в собственном соку, только этим можно объяснить самодовольство и упрямство некоторых маститых. Если бы они немного больше читали и поразмыслили о своем месте в обществе, о своем общественном лице, они устыдились бы своих капризов и стали бы совсем иными людьми. Что мы ставим им в вину? Буржуазное общество, реакционный режим делали все, чтобы отравить их, сузить их кругозор, оттолкнуть от народа. Мастер сцены должен стать активным членом общества, деятельным участником всенародной борьбы за социализм. Вы думаете, в Советском Союзе в первые годы после Октябрьской революции было легче? Там многие интеллигенты переболели той же болезнью, и прошло известное время, пока они поняли, что борются с собственной тенью. Поймут и наши. Только поможем им скорее пережить этот духовный перелом. Через несколько лет нам уже не придется обсуждать такие вопросы, из-за которых мы собрались сегодня. Только побольше выдержки, товарищи. Не нервничать от первых неудач. Дело наше верное.

Выходя из кабинета директора, Мара наткнулась на Зивтынь. Маленькая актриса нимало не смутилась, хотя всякий бы понял, что она по старой памяти подслушивала у двери.

— Что нового? — подобострастно заговорила она с Марой, взяв ее под руку, и потащила к красному уголку, который был устроен в комнате отдыха.

— Директор получил новые русские книги. Советую тебе кое-что прочесть. Попроси у Яундалдера.

— Тебе давно известно, дорогая, что я не знаю русского языка, — засмеялась Зивтынь.

— Почему же ты не учишься, не запишешься в кружок?

— Учиться вместе с рабочими сцены и портнихами? Фи! — Зивтынь сделала гримасу. — Буду я ронять свой престиж!

— Занимайся самостоятельно.

— Одной зубрить скучно. Скажи, дорогая, тебе известно, что твой бывший супруг, господин Феликс Вилде, арестован? Говорят, что он провел у тебя последнюю ночь перед арестом. Разве вы опять сошлись?

— Нет. — Мара еле сдержалась, чтобы не ответить резкостью.

— Тогда почему же он так поздно попал к тебе? — допытывалась Зивтынь. — Может быть, думал, что в благодарность за чернобурую лису... ты помнишь?.. Может быть, на что-то надеялся?

— Никакой чернобурой лисы у меня нет. Я отдала ее обратно в тот же день, когда узнала, что она добыта тем же способом, что и твоя.

В это время к ним подошел заведующий осветительной частью.

— Товарищ Павулан, сегодня после спектакля будет заседание месткома, — обратился он к Маре. — Нам надо поговорить с вами о повестке дня.

Мара отошла с ним в сторону. А Зивтынь, как ни в чем не бывало, бегала из гардеробной в буфет, из буфета в мастерские и чирикала, как воробышек под лучами весеннего солнца.

— Вы слышали, что бывший муж Мары Павулан арестован поздно ночью у нее на квартире? Подумайте только, оказывается, они все время жили вместе. Кто мог ожидать от такой святой невинности?

Мелкие уколы, шушуканье, гнусенькое ликование по поводу каждой пылинки, приставшей к какому-нибудь работнику, заполняли жизнь Лины Зивтынь. Как воробей, набрасывалась она на теплые еще сплетни, подобранные на улице, ворошила и расклеивала их, радовалась каждому найденному в навозной куче зернышку сенсации. «Вы еще не слышали?..» 3

Уже несколько дней Мару разыскивал по телефону Саусум. Газета начала печатать серию очерков об известных деятелях культуры и искусства. Очерк о Маре Павулан был уже написан, но в редакции не было ее фотографии.

— Загляните, пожалуйста, к нам в редакцию, — уговаривал он ее. — Мы вас сфотографируем, а заодно и познакомим со статьей. Может быть, там надо кое-что изменить? Мои борзописцы иногда такую чушь наплетут...

Мара пришла в редакцию в самое горячее время. Было очень шумно: звонили телефоны; взад-вперед бегали мальчишки-рассыльные с гранками очередного номера; заведующие отделами, заткнув уши, в последний раз перечитывали набранные статьи и придумывали заголовки. Все нити стягивались в кабинете Саусума: он был одним из заместителей ответственного редактора. Отсюда же неслись по всем направлениям распоряжения. Одних они успокаивали, других возбуждали еще больше.

Содержание газеты изменилось, а стиль работы остался прежним. Это доставляло большие трудности редакторам и сотрудникам.

— Ну, скажите, пожалуйста, кто сейчас станет читать о выращивании лука в комнатных условиях? — кричал Саусум сотруднику сельскохозяйственного отдела. — Неужели вы не могли найти ничего более интересного? Что-нибудь о машинно-тракторных станциях, об агротехнике, о доярке, которая добилась удоя в четыре тысячи литров... Думать, черт возьми, надо! Каждая статья должна быть актуальной и сочной.

Это было главным несчастьем сотрудников газеты: они никак не могли ответить в одно и то же время требованиям актуальности и сочности. Если статья была актуальной и соответствовала требованиям момента, то получалась сухой, как протокол. Наоборот, статья, в которую журналист вкладывал всю душу и все свое профессиональное умение, оказывалась неактуальной. Подумать только — уголовную хронику перенесли на последнюю полосу; о мелких воришках, дебоширах и хулиганах, специалистах по подложным векселям и пьяницах, вываливавшихся из извозчичьих пролетов, больше не писали; помолвки и золотые свадьбы перестали пользоваться вниманием читателей. Как работать бедному газетчику, который весь свой век гонялся за сенсациями, а теперь должен осмысливать действительность, ловить в пестром потоке событий самые существенные факты, характеризующие направление народной жизни? До сих пор уважением пользовались только типичные выразители идеалов буржуазного общества: предприимчивые люди, сумевшие обеспечить себе тепленькое местечко, ловкие дельцы, всевозможными махинациями стяжавшие себе богатство, обеспеченный, сытый и довольный собою мещанин, которого после смерти провожали на кладбище с оркестром пожарной команды, филантропы, экстравагантные дамы в парижских туалетах. Это наследство тяжелым грузом висело на шее воспитанного буржуазной прессой журналиста. Он не мог освободиться от него и чувствовал себя как слепой среди бурлящего потока. Он затвердил несколько прогрессивных фраз, определений и выпаливал их кстати и некстати. Не в силах схватить глубокий смысл происходящих событий, политически почти неграмотный, он мог только вылавливать случайные факты; вместо ядра он преподносил народу только свое упрощенное и искаженное представление о скорлупе. Все получалось банально, шаблонно, дешево.

Сидя в кабинете Саусума, Мара стала невольной свидетельницей мук рождения очередного номера.

— Вы меня простите, — каждую минуту извинялся Саусум. — Я сейчас...

Он отдавал распоряжения, раскритиковал одну статью, забраковал другую, заставил сократить третью, прикидывал, рассчитывал и, наконец, вздохнул с облегчением, как пахарь после последней борозды вспаханного им поля.

— Ну, кажется, все... Еще один номер уйдет в народ. Как дела в театре, товарищ Павулан? Когда обрадуете нас новой ролью? Что скажете об этом очерке, не наврали ли чего? Хотя Яундалдер очень осторожно обращается с фактами.

— Слишком захвалил, — сказала Мара. — Приписал мне чуть ли не все таланты, какие только есть на свете. Кое-что, по-моему, надо вычеркнуть.

— Нельзя, дорогая, ведь это очерк. Здесь все построено на акцентах, а что же получится, если мы их отбросим? Когда вы выходите на сцену, вы ведь тоже подчеркиваете гримом характерные черты персонажа, чтобы их могли схватить на расстоянии. Между читателем и выведенным в очерке лицом тоже существует дистанция, и если мы не подчеркнем ваше характерное и личное, читатель не получит нужного и подлинного представления о вас. Вы уж предоставьте это нам, мы в этих вещах напрактиковались.

— Но читатель-то сразу увидит, что это грим, — возразила Мара.

— Ну и что же? Для чего вообще существует грим? — Прамниек, — обратился он к вошедшему художнику, — скажи, чем отличается картина от фотографии?

— Картина облагораживает действительность, — ответил, не задумываясь, Прамниек. — В картине все предметы размещены гармоничнее и пропорциональнее, чем в природе. Поэтому картина доставляет нам большее эстетическое наслаждение, чем самая лучшая цветная фотография.

— Слышали? — кивнул Маре Саусум.

— Боюсь, что этот самый принцип и мешает вам делать хорошую газету.

— Почему же? — удивился Саусум.

Прамниек бесцеремонно положил портфель и шляпу на стол Саусума, сел и сразу занялся своей трубкой.

— Вы избегаете действительности, она вам кажется недостаточно гармоничной. Вы встали в стороне от современности, вы только издали, из кабинетов, наблюдаете ее и изображаете вещи соответственно своему вкусу. Я думаю, что явления жизни, их смысл нельзя изображать, пользуясь гримом.

— Гм... об этом можно спорить без конца, — сказал Саусум. — Я показываю как истину то, во что я верю, что я понял и принял. Если я когда-нибудь восприму ее иначе, то и покажу ту истину по-иному. Прамниек, разве это не верно? Ведь ты это тоже пережил. Когда-то в твоих картинах преобладали весенние голубовато-розовые тона. Потом они стали темнее и серее. Недавно в твои полотна ворвался красный цвет, и я даже думал, что он останется там навсегда. Но в последнее время снова начинают расцветать на них какие-то иные тона, не такие яркие, более кроткие, мирные, тихие. Человек живет и учится. Ничто не стоит на одном месте.

Пришел фотограф сказать, что все готово. Мара попрощалась с Саусумом и ушла в фотостудию.

— Как обстоит дело со статьей о социалистическом реализме в живописи? — спросил Саусум. — Знаешь, с каким нетерпением ожидает ее весь художественный мир?

— Не так это легко, — проворчал Прамниек. — Пересказывать чужие статьи не хочется, а чтобы сказать свое слово — одного желанья мало. Надо прочесть и продумать высказывания Ленина о советской культуре, надо знать почти все, что об этом писали советские искусствоведы и критики. Легче нарисовать картину, чем написать об этом.

— Легче жить, чем анализировать жизнь... — добавил Саусум.

— Поэтому-то нам так часто и не везет. Хочется сделать хорошо, а выходит просто неверно. Только начнешь философствовать по-своему, смотришь — заехал в лужу. Этот старик Маркс прямо беспощаден в своей логике. Как только отступишь от нее, сразу наталкиваешься на тысячи противоречий. Нет никакой возможности ни опровергнуть его, ни исправить. Прямо поразительно, как материалистическая философия сумела охватить все области, все явления жизни. Ею можно измерить все.

— А самого себя ты пробовал измерить?

— Пробовал. И выходит, что мне многого не хватает еще до полной меры. Я незрелый, невыдержанный и осаждаемый сомнениями искатель. Мое искусство — это хаотическая смесь разнообразных, даже несоединимых элементов.

— А ты надеешься когда-нибудь очистить его от всего лишнего, нарушающего его цельность? — усмехнулся Саусум. — Тогда ты устранишь из него свою личность, свое «я» и станешь аптекарем, который всю жизнь готовит одну микстуру по готовым, шаблонным рецептам.

Таких рецептов, дорогой Прамниек, по которым можно было бы приготовить панацею на все случаи, — нет. Я, например, и не стремлюсь к этому в работе. Я вижу, что мои ребята часто попадают впросак, пишут не то, что надо. Но я ничего не говорю. Не хочу я в каждом случае определять степень правильности. Когда основной тон более или менее верен, из-за побочных звучаний не стоит расстраиваться. Пусть звучат.

— Ведь каждый должен стремиться к какой-то полноте, завершенности, — возразил Прамниек.

— Ты ее все равно не достигнешь. Будь самим собой — это будет вернее. Не отрицай самого себя. Заново родиться мы, старики, уже не можем.

— Но обновиться — вполне. Потом мы вовсе не такие старики, чтобы жить одними воспоминаниями. Кое-что из нового мы тоже можем воспринять.

— Кое-что, но не все. В нас отложился известный процент консервативных солей. Никому уж не излечить нас от этого духовного ревматизма.

Прамниек сидел согнувшись, опершись головой на кулаки. «Как же это получается? — думал он. — Совсем еще недавно нападающей стороной был я, а Саусум защищался и сдавал одну позицию за другой. Теперь нападает он, а я даже не защищаюсь по всем правилам... только подыскиваю способ, как бы поудобнее капитулировать. Разве я больше не верю? Сомневаюсь? Не знаю сам, чего хочу?»

Он сам не знал, что дело обстояло гораздо проще. В прежние времена, в прежних условиях Прамниек умел только выражать недовольство существующим, отстраняться от него. Сам того не сознавая, он и теперь пытался сохранить позу наблюдателя, стоящего над жизнью. Ему казалось, что он ищет лучшего, а на самом деле он избегал участия в ежедневном труде всего народа. Так было легче, привычнее. И вот сейчас в скептицизме Саусума он вдруг уловил что-то родственное.

Замечая лишь то, что еще не завершено, что предстояло завершить завтра, они не видели сделанного, и им казалось, что все не так, как должно быть. А побрюзжать вдвоем было приятнее, чем одному. 4

Жубур остановился у витрины галантерейного магазина на Известковой улице.

Покупать он ничего не собирался. Его скорее заинтересовали цены, чем сами товары. Посредине витрины, на самом видном месте, был выставлен завязанный узлом галстук, один из кричащих образцов импортированной заграничной моды, какие рижанам не часто приходилось видеть. Такими галстуками щеголяли сынки богачей, чьей главной жизненной целью было не походить на других людей. Жирными, бросающимися в глаза цифрами была обозначена цена галстука — восемьдесят рублей. Заинтересовавшись, Жубур стал приглядываться к другим предметам. Их было немного, но у всех были непомерно высокие, отпугивающие цены.

Жубур перешел улицу и стал останавливаться у других магазинов. Везде он видел одну и ту же картину. Посредине витрины красовалась какая-нибудь уникальная вещь: пара туфель из золотой парчи, невиданная экзотическая пижама, горностаевое манто, а жирно обозначенные цены кричали на всю улицу: «Видите, сколько я стою? Кто из вас в состоянии купить меня?»

Обычные предметы скромно ютились в глубине витрины, а те, которые стояли на видном месте, ошеломляли своими ценами. Пара ботинок стоила пятьсот рублей. В витринах посудных магазинов ослепляли глаза роскошные, художественной работы чайные и кофейные сервизы, в другом месте дорогие трости с набалдашниками из слоновой кости и серебра, антикварные дамские сумочки, заграничные «вечные» ручки с золотым пером,

библиографические редкости в переплетах из свиной кожи. Все эти вещи стоили бешеных денег. Цифры с двумя и тремя нулями бесстыдно и вызывающе лезли в глаза.

«По моему карману ничего и не найдешь, — подумал Жубур. — Кто из рабочих или служащих может здесь приобрести что-нибудь, если только он не чудака и не маньяк, готовый ухлопать на какую-нибудь редкость весь свой месячный заработок».

Жубур стал заходить в другие магазины, но тут его ждала новая неожиданность. Везде был большой выбор товаров на самые разнообразные вкусы и по ценам, которые не могли отпугнуть даже самых скромных покупателей.

— Почему же вы не выставляете их в витринах? — спросил Жубур у одного торговца.

— Мы выставляем только самые интересные, — любезно ответил тот. — Мы всегда так делаем.

— Но тогда ведь покупатель не может знать, что у вас есть и чего нет.

— Кому надо будет, тот нас найдет. А нам покупателей искать не приходится. Денег у людей достаточно — успевай только продавать.

Тогда Жубур попросил показать одну из вещей, выставленных в витрине. Торговец замялся:

— Видите... тогда нам надо вынимать из витрины. Это единственный экземпляр.

— Ах, единственный, — усмехнулся Жубур и ушел.

Такой же разговор повторился и в других магазинах. Сказочно дорогие галстуки, пижамы, манто и фарфоровые сервизы оказывались единственными и последними экземплярами, уделом которых было красоваться в витрине и удивлять прохожих своей редкостью.

Жубур попробовал дозвониться из автомата к инспектору цен, но телефон у того все время был занят.

«Оставить это так нельзя», — решил он и сам отправился в инспекцию цен. Приемная инспектора была полна народа. Экзотически накрашенная секретарша недовольно объясняла посетителям, куда им надо обращаться.

— По какому делу? — спросила она Жубура.

— Мне надо безотлагательно поговорить с инспектором цен.

— По какому делу? — как автомат, повторила секретарша.

— Важное сообщение инспектору.

— Так я доложить не могу, и вообще инспектор сегодня очень занят и никого больше не примет.

— Не примет? Может быть, вы посоветуете мне обратиться к наркому? Надеюсь, он будет свободнее.

— Как о вас доложить? — сердито опросила секретарша. Она нервно записала на клочке бумаги фамилию Жубура и вошла в кабинет к инспектору. Вернувшись, сообщила:

— Вам придется ждать приема не меньше часа. Будете ждать?

— Раз нельзя иначе...

Жубур сел и от скуки стал наблюдать за пестрой публикой, наполнявшей приемную. По большей части это были ловкие, подвижные люди — торговцы, работники снабженческих контор. Один пробыл в кабинете инспектора больше получаса и вышел, явно удовлетворенный результатами посещения.

После него позвали Жубура.

За письменным столом сидел рослый человек. Лицо его Жубуру было знакомо по снимкам в прежних газетах. Тонкие губы, пренебрежительный взгляд (хотя инспектор и косил одним глазом). Еле кивнув Жубуру, чтобы тот сел, он сказал:

— Я слушаю.

Все было, как при старом режиме в любом министерстве Ульманиса. Тот же кабинет, тот же инспектор цен Элпер, те же нравы. Не хватало только портрета Ульманиса на стене, за спиной инспектора.

Поборов неприятное чувство, Жубур начал рассказывать о своих наблюдениях в магазинах.

— Все это пахнет вредительством. Темные личности пытаются исказить советскую политику цен и прибегают к таким вот проделкам.

Элпер спокойно выслушал Жубура.

— Что же вы нам предлагаете?

— Ясно, что. Надо немедленно вмешаться, положить конец этому вредительству. Да вам-то лучше знать, какие предпринять шаги.

— Какими способами воздействовать на них? — усмехнулся Элпер. — То, что вы сейчас рассказали, нам давно известно. Это не новость. Но вы ведь знаете, что в Латвии еще существует частная торговля. Можно регулировать государственный сектор, но не частный. Руки коротки! Придется просто подождать, пока частники распродают запасы своих товаров. Ими они могут распоряжаться по своему усмотрению. Вот когда товаров больше не станет и магазины опустеют, тогда прекратятся и все эти мелкие неполадки.

— Выходит — мы бессильны против этих вредителей?

— К сожалению, это так. Надо издать какой-нибудь новый закон. Без закона я ничего не могу поделывать. У вас еще есть вопросы?

— Нет, это все. Прошу извинить за беспокойство. — Жубур встал.

— Пожалуйста, пожалуйста, — продолжал улыбаться Элпер. — Но вы не волнуйтесь. Этот факт известен всем, кого это касается. Я каждый день лично информирую руководство.

Ничего не добившись, Жубур покинул кабинет инспектора.

«Элпер, конечно, прожженный плут и рад нашим трудностям. Этому типу не место в советском учреждении. Посмотрим, господин Элпер, какой закон воздействует на вас».

О своих наблюдениях Жубур решил сообщить в Совнарком. Не может быть, чтобы и там этот вопрос никого не заинтересовал. Он опять пошел к автомату. И снова его постигла неудача. В Рижском замке только что началось заседание Совнаркома. Но когда Жубур сказал, что дело идет о крупных безобразиях в торговле и требуется безотлагательное вмешательство, дежурный секретарь обещал немедленно доложить об этом и просил позвонить через четверть часа.

Через полчаса Жубур позвонил снова, и ему сказали, что после заседания его примет председатель Совнаркома или кто-нибудь из его заместителей.

Жубур пошел домой и начал составлять подробный доклад с конкретными данными. В назначенный час он был уже в замке, и его пригласили к заместителю председателя. Жубур впервые увидел его двадцать первого июня во дворе рижского централа, в полосатой одежде каторжника, с обритой головой. Теперь волосы у него отросли, только рот по-прежнему оттеняли две глубокие складки — неизгладимая печать долгих лет тюрьмы. Дружески, с еле заметным выражением грусти глядели его голубые глаза на Жубура.

— Председатель просит извинения, что не может принять вас лично. Он сразу же после заседания уехал в Центральный Комитет.

Он ободряюще улыбнулся Жубуру, предложил папиросы и сел против него. Беседа началась свободно и просто.

Заместитель председателя внимательно выслушал Жубура и, только когда тот кончил свой рассказ, заговорил сам:

— Это очень характерный и вполне объяснимый факт. Наши враги никак не желают уняться. Классовая борьба... Перестройка зарплаты и цен показалась им заманчивым предложением для всяческого рода вылазок. Мы стараемся сделать так, чтобы трудящиеся получали более высокую и справедливую зарплату и чтобы цены на товары были доступнее. А наши враги изо всех сил стараются сделать так, чтобы трудящийся не получил того, что ему причитается и что предусматривается советским законом. Вы сами видите, что теперь происходит. Пока общественность, пока широкие слои населения не придут нам на помощь, мы не сможем так быстро устранить все безобразия. Значит, нужно еще больше поощрять инициативу масс, вовлекать в созидательную работу все прогрессивные силы нашей страны, всех желающих помочь советской власти людей, а ведь они у нас составляют подавляющее большинство населения. Тогда никакие ухищрения врагов не смогут затормозить наш рост.

Он подошел к телефону и созвонился с наркоматом торговли и городским комитетом партии.

— Начнем действовать, товарищ Жубур, — сказал заместитель председателя. — Поставим на ноги актив, проверим каждую лавочку. В Центральном Комитете уже решили с завтрашнего дня начать проверку торговой сети. Есть сигналы, что многие товары продаются у нас втрое дороже, чем в Москве. Было бы не плохо, если бы мы могли за несколько дней подготовить эти материалы для Центрального Комитета. Надо действовать решительно и быстро, только так мы добьемся успеха. До свидания, товарищ Жубур.

В тот же вечер Жубур встретился с Силениеком, и они наметили план кампании. Утром Жубур созвал актив учителей и студентов. Из каких прекрасных людей состоял этот актив — передовой отряд формирующейся советской интеллигенции! Преследуемые старым режимом, испытавшие все мытарства безработицы, гонимые с одного места на другое, они только летом 1940 года обрели свои человеческие права, и теперь вся их будущность была накрепко связана с советской властью.

Они разработали подробнейший план действий. Распределив между собою весь район, отдельные улицы и магазины, сгруппировались по двое, по трое и на следующее утро с открытием магазинов приступили к проверке. Уже к трем часам дня к Жубуру стали поступать первые сведения о результатах проверки, и сам он тоже успел обойти один участок. Около пяти часов можно было уже судить об общей картине в районе. Рижские торговцы развернули свою вредительскую кампанию гораздо шире, чем это можно было — предположить вначале. Оказалось, что выставки самых дорогих предметов, которых не было в магазинах, стали общим явлением. Многие товары широкого потребления торговцы прятали на складах, чтобы продать их потом по спекулятивным ценам. У некоторых на квартирах хранилось больше

товаров, чем в магазине. Но больше всего обращала на себя внимание грубость продавцов. Если в магазин входил буржуй, вокруг него суетились, за ним ухаживали, сам владелец показывал ему товары. Простому же человеку приходилось слышать всяческие грубости и насмешки: «Вы желаете рабочие сапоги? У нас нет. Ищите в другом месте». — «Почему нет?» — «Откуда нам знать? Спросите у советской власти». Их заставляли ждать часами, пренебрежительно бросали на прилавок требуемый товар и чуть ли не лаяли в ответ на вопросы. Ведь это была совсем другая публика — рабочие, трудовой народ,

толпа... С ними можно обращаться кое-как. Вызывающее презрение к простому человеку — основному слою нового, советского общества — выпирало из них на каждом шагу. Продавец-зазывала, который еще недавно чуть ли не за полы тянул каждого прохожего, сейчас злобно глядел на покупателей.

— Если не нравится, идите в другое место. Я не прошу, чтобы вы у меня покупали.

Собрав и систематизировав весь материал, Жубур хотел уже позвонить Силениеку, как его прервал звонок Чунды.

— Жубур, приходи сейчас же ко мне в райком, — раздался его суровый голос. — У меня к тебе весьма серьезный разговор. Чтобы был через пять минут. В случае неявки ставлю вопрос о снятии тебя с работы. Все.

«Что это на него нашло? — подумал Жубур. — Откуда такая агрессивность?»

Он собрал материалы проверки и направился в райком.

Чунда, не ответив на приветствие Жубура, отсутствующим взглядом уперся в папку с делами. В комнате находился еще один человек — голубоглазый мужчина в рабочей спецовке. Жубур видел его несколько раз на собраниях актива, но по фамилии не знал. Он скромно сидел возле двери и при входе Жубура молча, кивком головы, поздоровался с ним.

— Я пришел, товарищ Чунда, — напомнил о себе Жубур, но Чунда еще несколько секунд не хотел замечать его прихода.

— Видишь, я занят, — уронил он наконец.

— Я кончил, — поднимаясь со стула, сказал рабочий. — Если у вас не будет больше никаких указаний, я пойду.

— Куда вам спешить? — остановил его Чунда. — Когда отпущу, тогда и пойдете. На военной службе не были? Не знаете, видно, что такое дисциплина, товарищ Кирсис?

— Разве что так, — усмехнулся Кирсис и снова сел.

Ему можно было дать лет тридцать. Выше среднего роста, блондин с добродушным лицом, он напоминал чем-то Силениека, только был не такого крупного сложения. Говорил он мало, но живые глаза и сдержанная улыбка свидетельствовали об остром уме, который все быстро схватывает и понимает, но не спешит с выводами.

Жубур подождал еще немного, но Чунда все еще продолжал таинственно молчать. Тогда он не вытерпел:

— Товарищ Чунда, у меня дела. Если у вас нет сейчас времени, я зайду попозже.

— Дела, дела, — передразнил Чунда. — Боже ты мой, какой мы занятой народ. Работник райкома вызвал его к себе, а у него нет времени подождать.

— Я жду, а вы ничем не заняты, — обрезал его Жубур.

— Слабая у вас, интеллигентов, закалка. Думаете о себе черт-те что, носы позадрали, а как до дела доходит, то кишка тонка. Плохая вы опора пролетариату. — И внезапно, выйдя из себя, он начал кричать, потрясая кулаками: — С каких это пор какой-то завождем исполкома имеет право вмешиваться в жизнь района? Политику делать? Панику подымать? Плести интриги против ответственного партийного работника?

— Какую панику? Какие интриги? — удивлялся Жубур.

Кирсис слушал и время от времени улыбался.

— Думаешь, я ничего не знаю? — окончательно разохдясь, кричал Чунда. — Мне за какой-нибудь час становится известным все, что творится в районе. У меня везде свои люди. Сегодня во всем районе только и разговору, что какой-то Жубур проверяет торговые кадры. Яму мне рыть? Ищешь факты, да? Думаешь сесть на мое место? Если хочешь знать, так ты завтра же со всеми потрохами вылетишь из исполкома! Ишь, вздумал непорядки искать! Ну, смотри, теперь за это тебе здорово попадет. С Эрнестом Чундой шутки плохи. Я за правду и порядок голову готов положить.

— Товарищ Чунда, я вынужден напомнить, что вы разговариваете с членом партии...

— Это еще вопрос, долго ли ты продержишься в партии. Я никому не позволю интриговать против меня.

— Я не понимаю, о каких интригах вы говорите.

— А какого же черта ты натравил сегодня эту армию ревизоров на торговую сеть? Распоряжайся своими учителями, если тебя на это дело посадили, но не суйся туда, куда тебя не просят. Кадры ревизовать вздумал?

— Товарищ Чунда, вам, кажется, что-то мерещится среди бела дня.

— Мерещится, говоришь? Хорошо, я об этом доложу первому секретарю.

— Докладывайте. Кстати, я иду сейчас к товарищу Силениеку, чтобы сообщить о результатах проверки. Я намеревался говорить только о непорядках и вредительстве в самой торговле, но сейчас я пришел к выводу, что нужно будет доложить и о положении с кадрами. Не все там в порядке. Извините, но у меня больше нет времени. Товарищ Силениек ждет.

Жубур повернулся и пошел к дверям.

— Спешу, беги! — крикнул Чунда. — Но мне все-таки интересно знать, кто тебе разрешил эту проверку.

— Проверку разрешил Силениек, — ответил уже в дверях Жубур.

— Что, что? Подожди, куда ты торопишься?

Но Жубур уже ушел. Чунда поерзал, поерзал на стуле, не зная, что предпринять, потом схватился за телефон и набрал номер Силениека.

— Товарищ секретарь? Говорит товарищ Чунда. Сегодня, по моему предложению, Жубур с активом проверял положение торговой сети в районе. Подтвердились безобразные вещи, как я и предполагал. Он сейчас будет у тебя и все доложит. Надо нам что-то предпринять. Надо, надо, так это оставить нельзя. Если не возражаешь, я назначу целую бригаду и прошуаю, что это за зубры укрылись в торговом аппарате и портят воздух. Я их перетряхну как следует.

Товарищ Силениек, между прочим, этот Жубур совсем не понимает шуток. Я над ним немного подшутил, а он сразу и ошетинился. Еще будет жаловаться. Прошу учесть то, что я тебе сказал.

Чунда положил трубку и с улыбкой посмотрел на Кирсиса.

— Занятный случай, верно?

Кирсис не ответил ни на его улыбку, ни на его вопрос. Он поднялся и пошел к двери.

— Когда я должен прийти и узнать ваше решение?

— Приходите на следующей неделе, — сказал немного успокоившийся Чунда. — Мы подумаем, посоветуемся и решим, как быть.

...После разговора с Жубуром Силениек сейчас же пошел в Центральный Комитет партии. В тот вечер там происходило совещание по поводу безобразий в торговле. На следующий день с витрин исчезли сказочно дорогие редкости, а вместо них появились одежда, обувь, разные товары широкого потребления — и все по нормальным ценам. На многие товары торговцам пришлось снизить цены наполовину, а некоторым дельцам, надеявшимся подложить камень под ноги советской власти, пришлось отвечать перед судом. Инспектора цен Элперта арестовали. Одна из наиболее широко задуманных попыток вредительства была разоблачена, но ликвидация ее потребовала нескольких недель работы. И позднее то тут, то там возобновлялись попытки подложить новый камешек, и на месте одного выполотого сорняка вырастал другой.

Такое это было время, время великих мечтаний, великого пафоса и — неустанной борьбы. 5

В коридоре, у дверей канцелярии университета, Жубур увидел Индулиса Атаугу. Он стоял среди кучки студентов перед вывешенным на стене списком освобожденных от платы за учение. У Индулиса, как и у других комильтонов, исчезли корпорантские шапочки и часовые брелоки с цветами корпорации. Только вызывающие выходки свидетельствовали о том, что папины сынки, воспитанные в погребках конвентов[52], не избавились от прежней спеси даже теперь, когда уже не осталось ни корпораций, ни конвентов, ни фуксов[53], которыми могли командовать могущественные филистеры[54]. С кислыми физиономиями прогуливались по коридорам бывшие селоны, летоны и бевероны[55]. Никто им не завидовал, никто не обезьянничал их повадок, никого не соблазняло их вчерашнее великолепие.

Индулис Атауга, как олдермен[56] корпорации, чувствовал свое падение болезненнее, чем обычные комильтоны. Он больше не был полновластным хозяином корпорации, признанным заправилкой, не он задавал тон в университете. Сегодня тон задавали студенты, вышедшие из рабочего класса, чей путь и раньше не вел через логово лоботрясов-корпорантов, хотя их за это и обзывали дикарями или как-нибудь хуже. Единственно, что утешало Индулиса, — это верность и традиционное уважение, по-прежнему оказываемое старыми комильтонами олдермену своего обанкротившегося братства. И если внешние признаки их принадлежности к той или иной корпорации исчезли, это еще не значило, что в душе они не продолжали носить цвета своей корпорации, не были членами некоей касты, некоего тайного ордена. Новый элемент, пролетарский студент, раздражал их, как чужеродное тело. Но еще больше бесило их то, что этот новый элемент, став главной и решающей силой в университете, отодвинул их на второе место. Тут не помогали им ни бойкот, ни улыбочки.

Студент-первокурсник, у которого еще не сошли с рук мозоли, и не думал угождать бывшим университетским львам. Он не слушал, разинув рот, рассказы о скандальных приключениях и попойках в ночных заведениях. У него были иные мечты, он равнялся по иным образцам. Его общественной школой была университетская партийно-комсомольская организация. Гордился он только своей работой.

Сердца бывших корпорантов веселило лишь то, что во главе некоторых кафедр оставались еще бывшие столпы, седовласые, высокочтимые филистеры, которые во время экзаменационной сессии проявляли твердость духа и приверженность старым идеалам. Они не задавали слишком трудных вопросов Индулису Атауге и прочим корпорантам, нет, — своими отеческими замечаниями, подобными огням маяка, они наводили их на правильные ответы. Успешно выдержанное комильтоном испытание по какому-нибудь предмету, отличную оценку его успехов такие профессора вменяли себе в заслугу. Они держались сообща и так хорошо понимали друг друга, что экзаменационная сессия была истинным торжеством для всей реакционной клики. Зато уж старые филистеры — доценты и профессора — брали под настоящий перекрестный огонь рабочее студенчество. Они задавали самые каверзные вопросы и всячески придирались к смельчаку, отважившемуся прямо от станка прийти в высшую школу изучать науки. А то обстоятельство, что рабочее студенчество несло на своих плечах весь груз общественных обязанностей, что ему приходилось не только учиться, но и выполнять множество различных партийных и комсомольских поручений, — еще больше подогревало усердие реакционных профессоров, они становились непреклонными в своей требовательности.

— А, да вы комсомолец? Превосходно. Вы во всем должны быть впереди, поэтому от вас мы требуем больше, чем от других.

И когда удавалось провалить комсомольца или активиста, это было для них настоящим праздником, — за здоровье удачливого профессора подпольные комильтоны в тот день выпивали не одну кружку пива.

Уничтожающим взглядом смотрел иной профессор на студента, который по простоте своей необдуманно осмеливался назвать товарищем уважаемого работника науки. В аудиториях студенты открыто называли друг друга господами, барышнями и сударынями.

Во время лекций по марксизму-ленинизму старых студентов вдруг одолевал кашель. Кашляли и соло и хором, пока лица не покраснеют от натуги. Некоторых одолевали сонливость и другие недуги, вызванные равнодушием или ненавистью.

Партийная организация университета была еще слишком мала, чтобы охватить своим влиянием обширный коллектив, но все же то тут, то там стали пробиваться молодые побеги. Лекции по диалектическому материализму заставляли задумываться того или другого самонадеянного юнца, а раз он начал думать и интересоваться, то случалось, что старые предубеждения начинали рушиться и с детства вколачиваемые ему в голову основы идеалистического мировоззрения рассыпались в прах. Иной паренек, по недоразумению попавший в реакционное окружение, решительно отходил от этой клики и искал товарищей среди передового студенчества. Люди, для которых классовые интересы буржуазии не составляли непреодолимого барьера, обретали способность слышать голос правды. Немногочисленный в начале учебного года советский актив, который можно было перечесть по пальцам, вырос сейчас до нескольких сот человек, и Жубур мог сказать себе, что некоторая заслуга в этом принадлежит и ему. Бессонные ночи, настойчивая, огромная работа, которую он провел вместе с партийной и комсомольской организациями университета, начали давать плоды. Они уже не были одиноки. Первая, самая трудная борозда была проложена. Еще год-другой, и тогда не будет больше чувствоваться запах плесени, который так ударял в нос при входе в университетские аудитории.

— Значит, это все дети трудового народа, — говорил Индулис Атауга, и бывшие корпоранты глубокомысленно качали головами. — Теперь все стало ясно. Эти списки говорят об этом без обиняков. А мы? Товарищ Жубур, — обратился он внезапно к подошедшему, — как по-вашему? Моя мать служит в домоуправлении на жалованье, отец тоже работает, а сам я служу в таможне и живу на то, что заработаю своими руками. К какой категорий вы причислите меня?

— Вашему отцу принадлежал пятиэтажный дом и посредническое бюро, где работали наемные служащие.

— Да, но все это уже национализировано. Со дня национализации мы стали такими же трудящимися интеллигентами, как и вы. Почему меня не освобождают от платы за учение?

— А почему меня причисляют к имущим, когда у моего старика ничего нет, кроме девяноста разрешенных пурвиет? — задал вопрос кто-то из бывших бевеверонов. — Нас семеро у родителей. Когда я начал учиться в университете, то одновременно поступил на работу в Латвийский банк. Отец помогать мне не может. Почему меня не считают трудящимся студентом?

— Название «трудящийся студент» не брелок, который привешивают к цепочке часов, — ответил Жубур. — Категорию определяют не по формальным признакам. Ваш папаша со своими девяноста пурвиетами может кое-чем помочь своему

нуждающемуся сыну, и, насколько мне известно, он так и делает. Тем более что ваши братья и сестры не сидят на его шее, а давным-давно служат в Риге и неплохо зарабатывают. Не стоит, знаете ли, изображать простачков и думать, что мы тоже из таких.

— Но зачем же клеймить нас этой каиновой печатью? — патетически выкрикнул Индулис Атауга. — Почему нас навсегда хотят сделать людьми второго сорта? В конце концов, что мне за дело до моих родителей — как они жили, как добывали свое имущество? Ведь я-то никого не эксплуатировал! Достаточно и того, что я отвечаю за самого себя!

— Правильно! — загалдели бывшие комильтоны. — Каждый отвечает только за себя.

— Это верно, — усмехнулся Жубур. — Но нужно соблюдать и справедливость. Раз уж положение таково, что вашим отцам принадлежит больше благ, чем сыновьям батраков и заводских рабочих, то советская власть в первую очередь считает своей обязанностью помогать последним. Когда окончите университет, будете все равны.

Индулис Атауга с комическим видом отвесил помои.

— От имени всех присутствующих благодарю за ценную консультацию. Нам очень лестно стать

когда-нибудь равными. Когда это будет, товарищ Жубур? После дождика в четверг?

— Да, не раньше, чем вы вылечитесь от кашля, который вас мучает на лекциях по общественно-политическим наукам, — ответил Жубур.

— Это тоже относится к существенным признакам, по которым определяют категории? — спросил Индулис Атауга.

Вся компания загоготала.

— Да, конечно, — ответил Жубур. — Это ведь тоже доказывает, что вы не желаете учиться.

— Вон оно что. Будем знать, уважаемый товарищ.

Жубур рассердился на себя за то, что ввязался в спор. Безнадежная ведь публика. Это они писали на стенах контрреволюционные лозунги, шептались и зубоскалили по углам, испытывая меру долготерпения советской власти. Сейчас они будут бродить из аудитории в аудиторию и передавать этот разговор как пикантный анекдот.

«Ну и пусть. В день генеральной чистки метла истории выметет их на свалку. А мы — мы

будем строить и творить новый мир, человеческое общество без категорий, жизнь без лжи и несправедливости. Вы увидите — только мы и достигнем этого».

Глава седьмая

1

— Товарищ Сникер, тебе необходимо перестроить стиль работы, — отечески сурово говорил Эрнест Чунда. — Дальше так работать не годится. Я думал, что, приехав в старую революционную Лиепая, смогу отдохнуть душой среди настоящих пролетариев. А что я нашел? Это джунгли, болото, это черт знает что такое! Ты мало разговариваешь с рабочими. Совсем забросил работу по политическому воспитанию масс. У тебя люди не знают, что творится в мире. Абсолютно ничего не знают. Сегодня утром я спросил человек десять грузчиков, что такое нэп, что такое диалектический материализм, в каком году Энгельс написал «Анти-Дюринг», и только один мне ответил, что нэп — это новая экономическая политика. При таких методах работы вы всю Лиепая развалите. Трудно представить, но они не знают фамилий многих видных работников. Плохая работа, товарищи, а хуже всего обстоит на том предприятии, за которое отвечает Сникер. Разве не так, товарищ Бука? — обратился Чунда к секретарю горкома партии.

Бука — потомственный липайский грузчик и сам выросший на этой тяжелой работе — подозрительно посмотрел на Чунду. Он был немного глуховат и, должно быть, не расслышал как следует последних слов говорившего. Простой, грубоватый, всегда одетый в черный шерстяной свитер, Бука и теперь почти не отличался по внешности от своих грузчиков и матросов, да он и не старался напускать на себя важность.

— Сникер работает хорошо, — коротко ответил он, — один из лучших наших парторгов.

— Об этом могут быть разные мнения, — ответил Чунда. — Я вижу, у вас здесь процветает семейственность, товарищ Бука. Ты недостаточно требователен к своим подчиненным. Каждый работает, как ему вздумается. Чего же тогда удивляться, если у рабочих будут черт знает какие настроения? Вот одиннадцатого января, когда они пойдут к избирательным урнам, сами увидите результаты вашей нерадивости.

— Да ты не волнуйся, товарищ Чунда, — сказал Сникер. — наших людей мы все-таки лучше знаем, чем ты. Мы их изо дня в день видим, знаем, чем они дышат. А если тебе кажется, что достаточно приехать, как артист на гастроли, побродить несколько часов по городу и порту, и после этого можно считать, что все видел и узнал, то ты глубоко ошибаешься.

— Ошибаюсь? Я ничего не вижу и не понимаю? Выходит, по-твоему, что в Центральном Комитете специально подыскали дурака, чтобы прислать вам на помощь?

— Дурака, конечно, там не искали, но иногда можно ошибиться в человеке, — отрезал Ояр. — И напрасно ты прикрываешься мандатом Центрального Комитета. Ты только Чунда, а нигде не сказано, что Эрнест Чунда непогрешим.

— Хорошо, я доложу об этом самому товарищу Калнберзиню.

— Не повышай тона, — вмешался в разговор Бука. — Я сам сегодня вечером буду говорить с товарищем Калиберзином. За липайскую организацию отвечаем мы. А если ты приехал сюда не помогать, а портить воздух, то езжай скорей обратно в Ригу. Сникер, обеспечь ему место в спальном вагоне.

— С превеликим удовольствием, товарищ Бука.

— Я уеду, когда исполню свою миссию, — процедил сквозь зубы Чунда. — А вы будьте любезны показать мне сегодня вечером все избирательные участки. Через час буду ждать в гостинице.

Не попрощавшись, он вышел из кабинета Буки.

— Вот жеребец, — проворчал ему вслед Бука. — Тебе, Сникер, придется повозиться с ним до конца. Свези его на заводы «Тосмаре» и «Красный металлург», ну и к портовикам. Только много говорить ему не давай. Это не человек, а балаболка.

— Я его давно раскусил.

— Почему же его так долго терпят? — удивлялся Бука.

— У него есть кое-какие положительные черты. Где надо что-нибудь продвинуть поскорей — Чунда самый подходящий человек. По-моему, в военное время такой человек может творить чудеса. Правда, ему часто достается за то, что он чешет, как топором, — только щепки летят.

— Ну, раз ты его так хорошо знаешь, тебе и придется с ним заниматься. Только гляди, чтобы щепок этих было поменьше. Лиепайцы — слишком ценный материал.

— Ты прав, товарищ Бука, — ответил задумчиво Ояр. — Великолепные люди, твердые, стойкие. В дни испытаний их никакая сила не согнет. Это не беда, что сегодня еще многие из них не знают, что такое диалектический материализм. Диалектику происходящего они все равно понимают лучше, чем вот такие Чунды. А какой прекрасный актив выработается из них годика через два, когда мы хорошенько с ними позанимаемся.

Ояр успел полюбить и город и людей. Его уже хорошо знали и тосмарцы, и старые портовые грузчики, и рыбаки. Формально он не принадлежал к числу руководящих работников, — был парторгом на одном из предприятий средней величины, о котором редко писали в газетах. Но влияние Ояра Сникера распространялось за пределы предприятия. Он был ненасытен в работе и принимал участие во всех больших кампаниях, был членом городского комитета партии, а перед выборами в Верховный Совет СССР его выдвинули, по предложению Буки, в члены окружной избирательной комиссии. Из упрямства ли, вызванного душевной болью, из желания ли забыть в трудной работе, или же оттого, что его захватила и пленила бодрая жизнь города, но он чувствовал себя здесь хорошо и все его существо требовало работы, напряжения, сосредоточенной деятельности.

Приезд Чунды внес разлад в согласный ход жизни Ояра. Меньше всего его волновали мелочные придирки Чунды к каждому пустяку, его вызывающее и пренебрежительное отношение: таков уж был Эрнест Чунда, кто же его не знал? Но с появлением его в Лиепеае опять повеяло мучительными воспоминаниями о далеком, взлелеянном и несбывшемся. Перед ним вновь встал образ Руты, и, наблюдая за Чундой, он снова испытывал невыразимую жалость к девушке, которую любил. Что она нашла хорошего в этом крикуне? Как могли сжиться два таких противоположных характера? А может быть, Рута подпала под влияние Чунды, сама стала походить на него, и мало-помалу незаметно отмирает нежность ее души? Или она нашла то, к чему стремилась, а он, Ояр, в своем глупом самомнении напрасно одаряет ее непрошенным сочувствием?

Так ли, иначе ли, а ему все равно было больно, тяжело. Присутствие Чунды раздражало, бередило старые раны.

Два дня Ояр водил Чунду по избирательным участкам, стараясь не замечать ядовитых насмешек по поводу непорядков, глотая его, отеческие поучения. Он чуть не краснел за трафаретные, избитые вопросы, которые Чунда задавал рабочим, за его казенные и часто

демагогические ответы. Ояр привык иначе говорить с людьми, и его всегда понимали. Он знал, что никогда не нужно бояться правды, обходить трудные вопросы. Рабочие любили правду, как бы сурова и неприятна она иногда ни была. Они оскорблялись, если их принимали за простачков и поучали, как малых ребят: «Вы этого не знаете, вы этого не понимаете, а вот мы знаем, почему это так, а не этак». Только невежда, человек, не знающий лиепайцев, мог говорить так с закаленными в испытаниях, потомственными рабочими.

Чунда так и не дождался от Ояра расспросов про Руту. Ему не терпелось похвастаться своим семейным счастьем и поддразнить этого угрюмого парня, который когда-то заглядывался на Руту. Пусть уж лучше не притворяется: у самого, наверное, на душе кошки скребут. Триумф без зависти побежденного не мог быть полным, поэтому в день отъезда Чунда, раскритиковав в последний раз всю работу лиепайцев, попытался втянуть Ояра в разговор на личные темы.

— Все еще ходишь в холостяках?

Ояр пожал плечами.

— А чем это плохо?

— Кому как нравится. Я, например, никогда бы не променял свое нынешнее житье на прежнее. Из Руты вышла славная женка. Мы с ней живем неплохо. Рута говорит, что только теперь она поняла, что такое счастье. Только она очень не любит, когда я уезжаю в командировки. Скучает.

Ояр опустил голову и ничего не ответил.

— Вот такие-то дела, Сникер, — улыбался Чунда. — Присмотри подходящую девушку и женись, а то закиснешь, как третьегодичный огурец. Конечно, такие девушки, как Рута, на дороге не валяются, не всякому дается такое счастье, но ты постарайся. Только вот работу тебе надо выправить, женщины ведь оценивают мужчин и по их работе... Одним красивым носом их не прельстишь. Они тоже присматриваются, как у тебя башка варит. Рута говорит, что она главным образом из-за этого и вышла за меня замуж. Подтянись, Сникер. Начни работать углубленнее, правильнее. Партийное руководство долго этого терпеть не будет.

— Чего именно? — закричал выведенный из себя Ояр. — То, что ты высидел, как курица, из своих мозгов? Оставь меня со своими советами!

— Вот ты как заговорил! Хорошо. Я навязывать свои советы не буду, раз ты такой умник, но о непорядках на избирательных участках придется поговорить в Риге. Я сообщу об этом куда следует.

— Сообщай. Я тоже сообщу, какую ты ерунду порол. Перед партией мы все равны.

В поезде Чунда написал длинный отчет о своих наблюдениях в Лиепаве. Получалось едко, саркастично, беспощадно. «Гляди теперь, голубчик, я тебе вкручу гайки, будешь знать, как бороться с товарищем Чундой».

На следующий день Ояра по телефону вызвали в Ригу. Он сразу понял, кого ему благодарить за это.

— Ты не очень волнуйся, Сникер, — успокаивал его Бука. — Я позвоню в Центральный Комитет и скажу свое мнение о Чунде. Управы, что ли, не найдем на этого жеребца? 2

Чунда просунул голову в дверь ванной:

— Ты мне ничего не дашь поесть? Я здесь жду, жду... Думаю, чем это ты занята? А она все еще с этими тряпками возится.

Рута полоскала в ванне выстиранное белье. Ванная комнатка была полна пара. Подоткнув передник, распаренными от мыльной воды руками покрасневшая от усилий Рута выжимала прополосканное белье и укладывала его в таз. Светлые волосы прядками прилипли к ее вспотевшему лбу.

— Ты бы мне помог, Эрнест, тогда бы я скорее кончила.

Чунда сделал гримасу.

— Если ты думаешь, что мне некуда время девать...

— Что, очень торопишься? — спросила Рута, не отрываясь от работы.

— Ну ясно, тороплюсь. У меня сегодня совещание с заведующими отделами кадров. Раньше двенадцати домой не вернусь.

— Посмотри, Эрнест, в кухонном шкафу, там кое-что приготовлено. Масло где лежит, знаешь? В кладовке найдешь молоко, закуси пока чем-нибудь, мне надо еще выполоскать вот эту кучу белья.

Чунда обиделся:

— Тебе, значит, эти тряпки дороже мужа?

— Неужели тебе так трудно самому собрать? — вздохнула Рута. — Один-то раз смог бы.

— Тебе бы, кажется, следовало снять с моих плеч подобные заботы, — недовольно проворчал Чунда. — Мне, сама знаешь, приходится думать, концентрировать внимание на серьезных вещах. Вечно работа и работа... Дома бываешь считанные минуты. Кажется, я заслужил право на отдых...

— А я разве без дела сижу? — почти оправдывающимся тоном возражала Рута. — Ты думаешь, за меня ангелы работают?

— Нашла сравнение! Разве на тебе лежит такая ответственность, как на мне? Что тебе: проинструктировала одного-двух комсомольцев, написала ответы на вопросы — и ладно. А у меня? Кадры, живые люди! Нужна чуткость, знание психологии и классовая бдительность. Ты бы посидела один день на моем месте, вот тогда бы узнала. А то изволь — иди ищи и масло и молоко...

— Ну, хорошо, хорошо, если уж так трудно, сейчас я брошу полоскать.

Рута вытерла руки и пошла в кухню. Чунда сейчас же сел за стол и стал ждать, когда она подаст ему поесть. Руте несколько раз пришлось бегать в кухню и обратно, принести хлеб, масло, молоко, колбасу, потом достать стаканы, вилки, ножи.

— Вот так комбинация — колбаса с молоком, — поморщился Чунда. Впрочем, он ел с аппетитом, откусывал помногу, шумно отхлебывал молоко, и настроение его, по мере утоления голода, заметно улучшалось. Рута почти не притрагивалась к еде. Она устала, и больше всего ей хотелось отдохнуть, — хотя бы посидеть у окна и, ни о чем не думая, глядеть на уличную сутолоку.

— Сегодня Сникеру досталась такая головомойка, что на всю жизнь запомнит, — весело сказал Чунда. — Сначала, пока я еще не брал слова, он кое-как выкарабкивался. Хотел втереть очки: мол, ничего ужасного нет, везде тишь да гладь. Мое выступление перевернуло все вверх тормашками. Секретари ЦК слушали меня затаив дыхание... Избирательные участки не подготовлены, с избирателями никто не беседует. Члены организации газет не

читают, не знают даже, кто такой Чунда и другие ответственные работники. Кто-нибудь, возможно, думает, что я абиссинский негус. Так дальше продолжаться не может. Я говорил целых полчаса. Сказать можно было бы и больше, но из-за недостатка времени пришлось сократиться. Но я и в полчаса успел. Иногда важно не то, сколько времени говоришь, а в каком стиле. Ты ведь знаешь, как я выступаю, когда у меня настроение.

— То-то ты и охрип.

— Ну да, я говорил с темпераментом. Так и так, кто мы такие — оппортунисты или большевики? Долго еще мы будем это терпеть?.. Надо принять самые решительные меры и привлечь нерадивых работников к самой суровой ответственности. С людьми, подрывающими дисциплину, разговор короткий... Вот бы ты видела, какими глазами смотрел на меня Сникер. Я думал — вот-вот укусит.

— И какое вынесли решение?

— Сникеру указали, что работу надо улучшить. В моем проекте, правда, был предусмотрен строгий выговор с предупреждением, но бюро сегодня было в благодушном настроении. Ничего, в другой раз получит строгача.

— За что ты его так ненавидишь? — с грустным удивлением, глядя на мужа, спросила Рута.
— Что он тебе сделал?

— Я говорил от имени партии.

— А мне кажется, что ты партийные дела путаешь с личными, — резко сказала Рута. — Это нечестно, Эрнест.

— Я и партия — понятие неразделимое! — вскипел Чунда.

— Не надо быть демагогом.

— Рута, я не желаю, чтобы ты его защищала. — Чунда даже есть перестал. — Разрешите мне разделяться с моими противниками так, как я нахожу нужным. Я уже начинаю думать, что ты равнодушна к этому типу.

— Ты знаешь, что я с ним знакома уже несколько лет, и ничего нет удивительного, если меня интересуют его дела. Нельзя жить, как звери в берлоге, и думать только о себе.

— Ты лучше поинтересуйся, как я себя чувствую, какое у меня настроение. Пусть Сникер сам думает о себе. Для нас с тобой самое главное в мире — это наша совместная жизнь. Только так, Рута.

— Но мы ведь живем не только для себя, — заупрямилась Рута. — Надо подчинять эгоистические интересы интересам общества.

— Интересам общества — возможно, но не интересам Ояра Сникера. — Чунда вытер рот, икнул и поднялся со стула. — Значит, вечером ты будешь занята стиркой. Ну, ладно, я пошел. А если кто будет звонить, скажи, что на заседании. Поцелуйчик полагается?

Мокрый и звонкий, как оплеуха, был его поцелуй. С довольным, как всегда, видом он кивнул головой и вышел.

Рута стояла в передней и думала: «Ты будешь стирать белье... единственный в неделю свободный вечер, и тот проводи у корыта, и еще тебе разрешается проявлять больше забот о муже, чтобы ему было хорошо. Ему... всегда ему... сам он никогда не поинтересуется, как ты себя чувствуешь».

— На сегодня хватит, спасибо... Не желаю быть только прачкой.

Семь часов. Если поторопиться, можно еще куда-нибудь попасть.

Рута сбросила передник и начала одеваться. Надела самое нарядное платье, причесалась и пошла в Драматический театр.

Зрителей в зале было маловато. Из ложи первого яруса Рута рассматривала публику и заметила нескольких знакомых. В одном из первых рядов сидел Ояр Сникер. Он совсем не походил на человека, подавленного тяжелыми переживаниями дня. Соседи, с которыми он разговаривал, громко хохотали: значит, опять шутит. Очевидно, Чунда не смог особенно навредить ему.

Руте стало легче на душе. Во время первого действия она еще несколько раз оборачивалась в ту сторону, где сидел Ояр. Ей показалось, что и он оглянулся на ее ложу, но она могла и ошибиться. Потом ее заинтересовал спектакль, и она загляделась на сцену, забыв про Ояра.

В антракте они встретились в фойе. Поздоровались, немного смутившись при этом, потом начали прохаживаться.

— Как живется в Лиепе? — спросила Рута.

— Пожаловаться я не могу. Да тебе, наверно, Эрнест уже все рассказал. Я ведь по его милости и приехал. Получил приглашение «на чашку кофе» из-за своего озорства. Намылили голову и сказали: «Иди и больше не греши». А ты совсем не изменилась, Рута.

— Не льсти, Ояр... мне это не нравится.

— Ну вот... а что же тебе нравится?

— Расскажи лучше, как тебе живется, почему ты уехал из Риги?

— Почему уехал? — Ояр на мгновение замолчал, но быстро овладел собою и продолжал в том же беспечном тоне: — Здесь мне сейчас нечего делать. Ты думаешь, Лиепая хуже Риги? Приезжай как-нибудь, когда твой муле в командировку поедет, тогда увидишь, как мы живем.

Они заговорили о пьесе, об игре артистов и о своих знакомых. В следующем антракте они встретились снова. Ояр, как всегда, рассказывал о разных смешных случаях, о лиепайском рыбацьем порте, даже о том, как бушует море за дюнами. После спектакля он подождал Руту у выхода.

— Если разрешишь, я провожу тебя.

— Очень хорошо. Когда ты уезжаешь обратно?

— Завтра вечером. Мне еще надо зайти в наркомат.

— К комсомольцам не зайдешь?

— Не знаю, как будет с временем. Ты разрешишь? — Он взял Руту под руку, — обледеневший тротуар был очень скользок. — Падать — так вместе.

Они выбирали самые пустынные улицы и чем ближе подходили к дому Руты, тем больше замедляли шаг.

— Ояр, у меня к тебе вопрос.

— Слушаю, Рута.

— Только ты отвечай честно, по чистой совести.

— Ну, задавай свой вопрос.

— Почему ты тогда... после загса... не пришел к нам? Мы тебя ждали весь вечер.

— И Эрнест ждал?

— Какое это имеет значение? Достаточно, если я тебя ждала.

— Я этого не знал.

— Ты... сердишься на меня? — Она пристально взглянула в глаза Ояру, насколько позволяла темнота. Пальцы ее нервно сжали руку Ояра. — Ты все еще сердишься?

Он долго не отвечал. Почему таких вопросов и таких разговоров не было раньше, летом? Сейчас поздно выяснять прошлые недоразумения. Он тихонько засмеялся.

— Задавай вопросы полегче. Но сердиться — я на тебя никогда не сердился. Нет, зачем сердиться? Ведь ты мне ничего плохого не сделала.

— И все в порядке? Все хорошо и правильно? — не отступала Рута.

— Может быть, и не все. Но тебе это лучше знать, чем мне.

Не доходя до дома Руты, они остановились.

— Большое спасибо, что проводил, — сказала Рута. — Дальше не надо. Так будет лучше. До свидания, Ояр.

— Покойной ночи, — ответил он и заставил себя улыбнуться.

Долго стоял он у неосвещенных ворот и все смотрел ей вслед, прислушиваясь к затихающему звуку ее шагов. Ему казалось, что фигура Руты горбится все больше и больше по мере приближения к дому. Вот ее далекий, еле угадываемый в темноте силуэт растаял совсем. Ояр повернулся и пошел. Долго в нем звучала какая-то тихая, щемящая струна, которой вновь коснулась жизнь. Звучала всю ночь, весь следующий день и еще много дней и ночей. Но лишь ему одному была она слышна.

Рута взбежала по лестнице и стала искать в сумочке ключи, но ей не пришлось ими воспользоваться. Дверь распахнулась. В освещенной передней стоял Эрнест в домашних туфлях, в расстегнутой рубашке. Он сардонически улыбался.

— Вот ты как стираешь белье?

— Ну и что? — холодно спросила Рута.

Чунда с удивлением посмотрел на жену. Усмешка сошла с его лица.

— Мне кажется, каждое начатое дело надо доводить до конца.

— Ну и что? — повторила Рута, не глядя на мужа. Повесила на вешалку пальто и, придерживаясь одной рукой за стену, сняла боты.

— Скажи хоть, где ты была?

— В театре.

— Почему ты не сказала мне, что собираешься в театр?

— Я надумала пойти после твоего ухода.

— Чертовски хочется жрать. Чего-нибудь горяченького. Не могу же я сидеть на одном хлебе и молоке.

Рута пошла в кухню. В тот вечер она ни разу не улыбнулась. Тяжелый комок все время стоял у нее в горле. 3

Семнадцатого января Силениек получил два анонимных письма. Он договорился с окружной избирательной комиссией, что вечером приедет за депутатским мандатом в уездный город, где его только что избрали депутатом Верховного Совета СССР.

Как великий праздник, прошли дни выборов. Андрей Силениек баллотировался в Видземе, в своем родном уезде, и одиннадцатого января за него было подано девяносто восемь процентов всех голосов. Подавляющее большинство народа безоговорочно выразило свое доверие советской власти. Значит, то, что она осуществила за эти месяцы, было правильно, народ одобрил ее политику. Напрасно гитлеровский посол, рыжий граф Шуленбург, приезжал накануне самих выборов в Ригу инспектировать свою агентуру. Напрасно старалось контрреволюционное подполье, распространяя слухи и примитивно изготовленные листовки, — сбить с толку массы им не удалось. В день выборов реакция получила сокрушительный удар от всего латышского народа.

Первое письмо было лаконично:

«Предатель народа, Андрей Силениек, мы объявляем тебе наш приговор. Ты осужден на смерть за свои преступления, и при первом случае, как только появишься у нас в деревне, мы приведем в действие наш справедливый приговор. Смерть тебе!

Те, кто не голосовал».

Силениек со всех сторон осмотрел письмо и усмехнулся. На конверте не было ни марки, ни печати. Значит, его принесли прямо в райком и бросили в ящик для писем. Адрес несомненно написан левой рукой.

«Два процента беснуются, — думал Силениек. — Меньшинство не желает уняться, не признает себя побитым. Эх вы, безмозглые! Да я сегодня же выеду в деревню, и мне в голову не придет спрашивать вашего разрешения. Так-то».

Другое письмо было длиннее и написано в несколько ином стиле:

«Латыш, сын матери латышки — Андрей Силениек! К тебе обращаются люди, долгое время наблюдавшие твою работу. Мы знаем, что ты честный человек, который по недоразумению заблудился на ложном пути. Мы уважаем твое мужество и справедливость. Ты всегда старался действовать по совести, из идейных побуждений. Но разве ты не видишь, куда ведет твой народ эта слепая и неразумная политика? Одумайся, вспомни, что ты латыш, и порви всякие отношения с твоими теперешними единомышленниками. Только так ты еще можешь спасти себя. Иначе тебя ждет неминуемая гибель, ибо мы все видим, все знаем и все понимаем.

Андрей Силениек, мы не хотим твоей гибели, поэтому доводим до твоего сведения, что семнадцатого января, когда ты поедешь за своим депутатским мандатом, на дороге будет устроена засада. Наши изловят тебя и повесят на ближайшей сосне. Тебе в наказание, а всем остальным коммунистам в назидание. Не едь за мандатом! Ни семнадцатого января,

ни в другие дни. Откажись от своих прав депутата и объяви об этом всему народу. Этим ты спасешь себя. В противном случае тебя ждет грозный суд.

Латыши».

«Ну, посмотрим, — думал Силениек. — Хитрости у вас довольно, но ума маловато. Жалко небось национализированных домов и фабрик? Скулите, кулацкие душонки, по распределенной меж безземельными крестьянами землице? Тоскуете по рабскому труду, по армии безработных? Напрасные чаяния, старые прохвосты!»

Анонимная попытка вызвать колебания и сомнения была так наивна, что могла вызвать только усмешку. Но когда Силениек подумал, что было бы, попади такое письмо в руки менее закаленного человека, он задумался. Такими письмами могли застрашать и в то же время приручить неустойчивых людей, сделать их пассивными. Как раз на это и была реакция. Ее пугали темпы социалистического переустройства страны. Каждая победа советской власти на хозяйственном или культурном фронте была сокрушительным ударом по лагерю черных сил. Там старались спасти еще, что можно, выиграть время, оттянуть свое полное политическое банкротство.

«Какая наглость — пробовать на мне свои трюки. — Силениек презрительно поморщился. — Во имя чего бы я боролся в подполье, во имя чего сидел в тюрьме, если они надеются испугать меня своими анонимными бумажонками!»

Он нажал кнопку звонка. В дверях появился технический секретарь.

— Скажите Капейке, чтобы ровно в четыре ждал внизу с машиной. Поездка за город.

— В такую метель? — удивился секретарь.

— Да, в такую метель.

— Не лучше ли поездом?

— Тогда я не успею вернуться вовремя, у меня завтра дела в Риге. Чего же раздумывать, товарищ?

В четыре часа дня Силениек сел в машину и уехал. На окраине их встретили первые сугробы, но они пробрались без особого труда.

— Эвальд, а ты лопату и цепи захватил? — спросил Силениек шофера Капейку. Это был молодой плечистый парень с розовыми щеками и льняными волосами.

— А как же.

— Тогда надень цепи.

Шофер остановил машину и надел на колеса цепи. После этого они с полчаса ехали без остановок, пока шоссе не вышло из леса в открытое поле. Силениеку часто приходилось выскакивать из машины и подталкивать ее, пока они не выбирались из очередного сугроба. За час они проскочили открытое место, но продвинулись вперед лишь на несколько километров. Силениеку даже жарко стало.

— Пока дорогу не занесло, жми вовсю. Дальше опять придется подталкивать.

С полчаса все шло хорошо, а потом опять «сели». Километров за двадцать до места назначения дорога вновь пошла полем. Впереди все было занесено снегом. Машина не трогалась, сколько ее ни толкали, не помогала и лопата. Метель завывала над равниной,

хлопья снега били в лицо, залепляли глаза, таявшие снежинки стекали по щекам. В вечерних сумерках дальше тридцати — сорока шагов ничего нельзя было различить.

Силениек заметил направо огонек в окне крестьянского дома.

— Подожди здесь, — сказал он шоферу. — Я схожу туда и поговорю с хозяевами.

Это было большое хозяйство с хорошими коровниками, фруктовым садом и водяной мельницей. Силениек с трудом уговорил хозяина довезти его до города.

— Вы лучше переночуйте у меня, а утром поедете, — предлагал крестьянин. — У меня телефон есть, позвоните, куда вам надо, и договоритесь.

— Меня ждут сегодня, — ответил Силениек. — Если не дадите лошадь, придется идти пешком.

Тогда крестьянин перестал упрямыться и пошел запрягать. Шофер остался с машиной на дороге.

— Не остуди мотора! — крикнул Силениек. — Ночью двинемся обратно.

Почти всю дорогу пришлось ехать медленно, но лошади были сильные, шли крупным ровным шагом. К девяти часам вечера Силениек был уже в уюте партии. Поздоровался с ожидавшими его товарищами, немного обсушился, обогрелся и поспешил в Народный дом на торжественное собрание уездного актива.

Председатель окружной избирательной комиссии обратился с приветственным словом к Силениеку и вручил ему мандат. Силениек выступил с ответом, после чего его поздравили участники собрания. Тем временем председатель распорядился накрыть общий стол. стакан горячего чаю озябшему Силениеку был как нельзя более кстати.

— Товарищ Силениек, вы ведь останетесь ночевать? — спросил его секретарь укома. — Поезд уходит только утром.

— Никак не могу. Мне сегодня надо во что бы то ни стало попасть обратно в Ригу. Как-нибудь доберусь.

— Где там доберетесь! Застрянете в сугробах, и придется всю ночь мерзнуть в поле.

Побеседовав за чаем с уездными работниками, Силениек стал прощаться. Крестьянин с санями уже ждал его внизу.

Снова они ехали по занесенному шоссе. Когда становилось холодно, вылезали из саней и шли пешком. Достигнув усадьбы, они поспорили из-за платы.

— Ничего мне не нужно. Я вас не ради денег повез.

— Как же, я вам испортил субботний отдых.

— Вы тоже не отдыхали. И потом вы наш депутат. Сделайте мне такую честь, позвольте оказать услугу своему депутату. Самое лучшее, если бы вы у меня переночевали. Всю жизнь помнил бы.

— Дела, дружище.

Силениек крепко пожал руку крестьянину.

— Вы носа не вешайте и, главное, не слушайте глупостей. Хорошее время ждет Латвию.

Работайте честно, и никто вас не тронет. Скажите, у вас что-нибудь уже национализировали?

— Двадцать гектаров и мельницу.

— Вы знаете, что я участвовал в проведении национализации?

— Знаю. — Крестьянин выпрямился и посмотрел поверх изгороди в сторону мельницы. — Знаю, что и еще как-нибудь меня ограничивать станете.

— И обижаетесь на меня?

— На советскую власть обижаюсь, на вас — нет.

— Почему так?

— Мне говорили... что вы настоящий латыш. Сами из крестьян. Быть не может, чтобы вы не понимали нужд своего народа. На вас вся надежда.

— На что же вы надеетесь? — спросил заинтересованный Силениек.

— Вы поможете оставить все, как у нас было до сих пор.

— Все честное, здоровое, годное... — сказал Силениек. — Но если вы думаете, что я буду бороться за сохранение эксплуатации, то ошибаетесь. Угнетение человека человеком не есть какая-то особая черта латышского народа. Одним жиреть, а другим тощать, одним наслаждаться всеми благами жизни, другим горькая судьба раба — разве это справедливо? Я буду делать все, чтобы этого не было. Я действительно латыш и люблю свой народ. Но отсюда не следует, что я должен любить меньшинство и предавать интересы большинства. Подумайте хорошенько об этом и потом рассудите сами, могу ли я быть таким, каким вы меня хотите видеть. Я убежденный коммунист, смертельный враг всех эксплуататоров. Но именно поэтому я и понимаю нужды народа.

Всего народа — вы это учтите. Латвию действительно ждет светлое будущее, как я его понимаю, как понимает весь народ. Я вам еще раз говорю: не вешайте головы, и вы можете найти свое место в новой жизни, если только захотите. Благодарю за помощь. Покойной ночи.

Смущенный крестьянин долго-долго смотрел вслед удалявшемуся Силениеку, потом стал распрягать лошадей. Тающие снежинки каплями стекали по его щекам — можно было подумать, что он плачет.

«Чего они хотят от меня? — думал Силениек. — На каком основании они взывают к моим чувствам латыша? Огромное дело — классовые противоречия — вы хотите разрешить по-семейному... так, мол, легче договориться. Запомните раз навсегда: у подъяремных и угнетенных всех стран общий язык — язык борьбы. Когда речь идет о борьбе, об осуществлении справедливости, то мы не спрашиваем, к какому племени ты принадлежишь. А народ свой мы любим больше вашего. Мы хотим его сделать счастливым. А вы? У вас только одна забота: я, мой дом, мое благополучие. Не по пути нам с вами».

Ему снова пришлось выйти из машины. За несколько часов сугробы стали еще больше. Силениек по очереди с шофером брался за лопату и работал до тех пор, пока с него не начинал лить пот.

Так прошла ночь. Воскресным утром, вместе с первым трамваем, Силениек въезжал в Ригу. Ложиться уже не стоило, так как через несколько часов надо было идти на заседание. Силениек побрился, а чтобы использовать оставшееся время, сел за стол и начал писать для газеты передовую: «Кто такие настоящие латыши?»

Дня через три статья появилась в газете. После этого Силениек перестал получать анонимные письма с угрозами. Теперь ему слали только угрозы. 4

По усиленному оживлению в немецкой колонии можно было догадаться, что рыжий граф приезжал в Ригу вовсе не для развлечений. Гуго Зандарт почувствовал это на своей шее еще до отъезда Шуленбурга. Эдит дергала его, как марионетку: «Добудь мне сведения о бывшем вице-директоре кредитного банка», «Проверь, как настроен генерал Паруп», «Сходи к бывшему оптовику Эрглису и выясни, как он — непременно хочет репатрироваться в Германию или остается в Латвии».

Все надо было делать быстро, в несколько часов. Гуго из кожи вон лез, как угорелый носился по Риге, летом летал по квартирам. И хоть бы похвалила раз. Какое там: Эдит делала недовольное лицо даже тогда, когда выпадала удача. Члены свиты Шуленбурга требовали от нее в десять раз больше, чем она от Зандарта. Те нажимали на нее, а она на своих агентов. Вся шпионская сеть была наэлектризована. Напряжение не ослабело и после отъезда Шуленбурга, — в Риге оставался бывший посол Германии фон Котце.

— Гуго, ты имей в виду, что сейчас придется работать больше прежнего, — сказала как-то Эдит. — Многие из наших уезжают. Сеть редеет, а улов не должен уменьшаться. Придется работать за пятерых, за десятерых. Руководство этого не забудет.

— А ну, как провалюсь? — забеспокоился Гуго. — Что будет тогда со мной, с моей семьей? Мне ведь тоже жизнь дорога.

— УТАГ пока еще не ликвидирован, и репатриация продолжается. Твою семью включают в число репатриантов и увезут в Германию.

— А меня возьмут?

— Ну еще бы. Но за это тебе придется поработать, не жалея себя, на пользу Великогермании. Насколько мне известно, тебя включили в списки кандидатов на один из высших орденов. Еще получишь на старости лет рыцарское звание.

— Орден орденом, а попадать в лапы чекистов охоты у меня мало, тогда мне крышка.

— Действуй с умом и не попадешься.

И Гуго старался до седьмого пота. Клуб художников всегда был переполнен. Конечно, не ради богемы приходили сюда люди из прежнего высшего общества, а для того, чтобы встретиться за чашкой кофе с какой-нибудь таинственной личностью и после короткого секретного разговора разойтись. Здесь все официантки выполняли определенное задание, и в их блокнотах рядом с записями о заказанном кофе, пирожком и папиросах можно было бы увидеть заметки, не имевшие ничего общего с клубным меню. По дороге на кухню эти заметки попадали в руки буфетчика, который их систематизировал, превращал в шифрованное донесение и отправлял куда следует.

Вскоре после Нового года рижские литературные круги облетела неожиданная новость: в Германию репатриировался прогрессивный писатель и злейший враг нацистов — Эрих Гартман. Изгнанник, еле избежавший террора гестапо, возвращался в свое отечество. Находились простодушные люди, которые жалели бедного Гартмана и уговаривали его не лезть в пасть зверя, — ведь это же чистейшее безумие, писателю с такими левыми настроениями отдаваться в руки врагов. Более дальновидные сразу смекнули в чем дело, вспомнив некоторые его высказывания. Довольнее всех были те, кто никогда не скрывал своих симпатий к Гитлеру.

— До свиданья, — говорили они Гартману. — Не забывайте нас. Мы еще вам пригодимся,

когда настанет момент.

— До свиданья, — отвечал им Эрих Гартман.

Он сердечно простился с Эдит и обещал передать привет ее мужу, который был где-то в Польше.

— Жаль, что не могу остаться с вами до конца. Небезопасно. Чека что-то пронюхала. Надо убираться, пока не поздно. Но ты, Эдит, держись, не попадайся. На тебя возлагаются самые большие надежды. Если продержишься до конца, представь, как торжественно мы встретимся здесь, в Риге.

— Не попадусь, Эрих, — шептала Эдит, хотя разговор происходил в тихом приюте Оттилии Скулте, вдаль от любопытных взоров и ушей. — Я знаю, как работать среди них. Меня ведь многие считают активисткой, а это имеет большое значение. Главное же, я сама оставляю их в покое, ничего не допытываюсь, ничем не интересуюсь, чтобы отвести малейшие подозрения. Что мне надо узнать, я добываю через других. Есть у меня сейчас на примете лакомый кусок.

— Из коммунистов?

— Да, один комиссар.

— Желаю удачи, — сказал Гартман.

Он обнял Эдит и поцеловал в губы.

— И ты такой же, как все мужчины.

— Почему мне нельзя быть таким, как все мужчины?

— Ведь ты писатель, возвышенная душа.

— Где сказано, что писатель должен обладать рыбьей кровью?

Эдит вздохнула. Зандарт, Гартман, даже ее муж, Освальд Ланка, давали лишь дешевую подделку того счастья, к которому рвалась ее алчная до наслаждений натура. Вернее всего, это была постыдная пародия счастья, оскорбившая бы более гордую душу. Силениек — вот о ком тайно мечтала Эдит. Она несколько раз видела его издали, во время демонстраций, на собраниях. Высокий, широкоплечий, с загорелым лицом — как он выделялся среди остальных людей... Как приятно было вслушиваться в его мужественный голос, наблюдать во время речи его спокойные жесты, его красивое лицо, ловить его ясный, открытый взгляд. Чем громче звучал голос Силениека в это богатое замечательными событиями время, тем больше он увлекал Эдит. Она следила за каждым его шагом, собирала все, что о нем было напечатано в газетах, все, что появлялось из-под его пера. И странно — те же убеждения, те же мысли сразу вызывали в ней чувство ненависти, если их высказывали другие, и только Силениека она слушала с каким-то угрюмым, завистливым восхищением.

Но встреча у Прамниека так и не состоялась. Силениек несколько раз в самый последний момент откладывал свой приход, а теперь и Прамниек на вопрос Эдит, когда же к нему придет Андрей, лишь неопределенно хмыкал в ответ.

Глава восьмая

1

Старый Вилде повернулся на другой бок, натянул одеяло на голову, но заснуть ему больше не удавалось. Давно уже была пора вставать. Сквозь щели в ставнях бил яркий утренний свет. Со двора доносилось мычанье коров, кудахтанье кур и веселый лай собаки. Но над этими привычными звуками властвовал какой-то новый, необычный шум. Он заполнял весь мир, врвался в комнату хозяина, приводя в расстройство папашу Вилде. Нигде не найти ему покоя от этого наваждения.

На бывшей земле Вилде работал трактор, настоящий гусеничный дьявол, которому любая залежь была нипочем. Вчера он тарыхтел по соседству, вспахивая землю новохозяина, а сегодня блестящие лемехи переворачивали пласт за пластом на поле Пургайлуса. Как будто не по полю, а по сердцу Вилде шел лемех и проводил глубокую, кровоточающую борозду. Он переворачивался с боку на бок, пытался думать о других вещах, но гул трактора все время возвращал его к действительности.

— А, чтоб их черт... — рассердился хозяин и сбросил с себя одеяло. — Все равно покоя не будет.

Он поднялся с кровати и, ворча, стал натягивать брюки. Отхлебнул простокваши — жена поставила на стол полную кружку — и вышел во двор. Напрасно старый пес потягивался и вилял хвостом, в надежде что его погладят, — хозяин смотрел поверх телячьего загона, в самый конец поля. Ага, вон он где... серый, постылый. Ветром донесло до двора запах выхлопных газов, и он защекотал ноздри Вилде. «Эка насмердил на весь свет».

За трактором шли два человека. «Пургайлус с женой... теперь не знают, что и делать от радости. И гребешки кверху... Это им за их нахальство первым начали пахать. Пашите, пашите! — злорадно думал Вилде. — Неизвестно еще, кто жать будет. Земля на месте останется. Моя земля!»

Из-за угла дома показалась сгорбленная фигура Бумбиера.

— Ты еще дома? — спросил хозяин. — Гляди, как Пургайлус старается. В один день весь свет перевернуть хочет.

— Уж он такой, — закричал Бумбиер. — Что и говорить, хозяин, как на свою землю стал, таким работягой заделался, таким ненасытным. Теперь ему дня мало, ни сна, ни отдыха не знает.

— Пускай его, пускай, — усмехнулся Вилде. — Пусть подымет старую залежь. Все какая ни на есть польза будет.

— Вот и я про то же, — угодливо поддакнул Бумбиер. — Пусть, пусть подымет, когда выдалась такая возможность. Не знаю, хозяин, как вы на это поглядите, а право, пока этот трактор здесь, не вспахать ли заодно и мой участок? И лошадей не надо мучить. Никто ведь не узнает, что это ваша земля.

Вилде задумался. Предложением Бумбиера пренебрегать не следовало. Хоть этот трактор и смердит и гремит, а все же штука дельная. Почему бы не попользоваться? А то все для одних голодранцев. Уж если не исполнились предсказания, что из машинно-тракторных станций ничего не выйдет, что это одни враки и сказки, — надо хоть урвать что-нибудь для себя.

— Как же без договора с машинно-тракторной станцией? Он ведь пахать не захочет, — сказал, наконец, Вилде.

— Вы не подумайте чего, хозяин, только я без спросу... — снова закричал Бумбиер. — На прошлой неделе, когда ездил на базар, я этот договор подписал. На пять гектаров, хозяин.

— Скажи, какой продувной, — благосклонно засмеялся папаша Вилде. — Тогда чего же? Валяй, пусть заодно и тебе вспашут. Моим же лошадям меньше работы.

— А ничего я придумал, хозяин? Думаю, казенное ведь имущество. Пусть поработает и на нас.

— Правильно, Бумбиер, пусть поработает и на нас. Чем мы хуже всяких там Пургайлисов? Хе-хе... Пойдем посмотрим, как у них там дело идет.

Влажная еще местами земля дымилась под теплыми лучами солнца. Стояли последние дни апреля. На шлепанцы Вилде налипли комья земли. Позади плелся Бумбиер в стоптанных постолах. Проходя по своим полям, хозяин думал: «Как это так выходит, что ни одно наше предсказание не сбывается, а большевики в конце концов что задумают, то и сделают?» Не раз уже он говорил об этом и с писарем Каупинем, и с Германом, и с Вевером, но они сами путем не могли объяснить. Во время выборов надеялись, что народ не пойдет голосовать. Сами только любопытства ради пошли, вычеркнули фамилии кандидатов, а помогло это? Девяносто восемь процентов проголосовало за новых депутатов. «Где у людей разум, чего им надо? Вот и с машинно-тракторной станцией... Баловством называли, зубоскалили по всем корчам, у всех церквей. Кто мог — вредил всякими способами: и с ремонтом помещений и с постройкой хранилищ для горючего, — только бы ничего у них не вышло. По рассуждению иных мудрецов выходило, что на

наших полях тракторам нельзя работать — завязнут, как в болоте, горючего больше сожгут, чем наработают. А вот, пожалуйста — гудит себе и отваливает пласт за пластом. За что ни возьмутся, все им удастся, и если не хочешь быть посмешищем, лучше гляди да помалкивай».

— Помогай вам бог, — умильно сказал Вилде. — А что, лучше так, чем конягой?

Ян Пургайлис с женой переглянулись. Глаза у них сияли.

— Да ты хоть скажи ему что-нибудь, — шепнула Марта мужу. — Подумает еще, что загордились.

Пургайлис медленно шагал по гладкой, блестящей борозде.

— Нельзя пожаловаться. До вечера все поле будет вспахано. Останется еще время кое-что сделать по дому.

— Что верно, то верно, — согласился Вилде. Подбоченившись, он внимательно смотрел, как переваливается через лемех пласт земли и ложится в ровный ряд с другими. — А что же вы сами здесь делаете? Не червей ли ищете? Как будто рановато... Хе-хе...

Марта покраснела, улыбка сбежала с лица Яна Пургайлиса. Он гневно посмотрел на своего бывшего хозяина и сплюнул:

— Ну, ты... кулак. Проваливай с

моей земли! Сам-то почему до сих пор не пашешь? Я тебе больше не подневольный.

Глаза у Вилде налились кровью, но он сдержался и, ничего не сказав, пошел прочь. «Я тебе это припомню... Ты у меня завизжишь...»

В сердцах он отшвырнул ногой попавшийся на дороге камень. Старый пес, который приплелся за хозяином на поле, жалобно взвизгнул и отпрыгнул в сторону, решив, что камень предназначается ему.

А Бумбиер пошел к трактористу переговорить о вспашке своего поля.

— Помойная бочка, — сердился Ян Пургайлис, глядя вслед Вилде. — Что ему здесь надо?

Марта дотронулась до руки мужа, стараясь его успокоить.

— Ты не гляди на него, на это чучело. Лучше подумай, что тут будет, когда взойдут яровые.

Пургайлис посмотрел на нее и засмеялся.

— Правду говоришь, Марта. Не стоит кровь себе портить. Нам ведь есть на что порадоваться. Эх, жизнь, жизнь! Теперь ты только для нас и начнешься. Тридцать лет тебя ждал, вот ты и пришла.

— Половину-то сбрось, — засмеялась Марта. — Не до рождения же ты ждал ее.

— Ладно, половину сброшу, — согласился Ян. — Хотя что ты думаешь, — разве батрацкий год можно равнять с хозяйским? Встаешь до зари... Солнце зашло, а ты все на работе. Так ведь было?

— А сейчас разве собираешься меньше работать? Знаю я тебя: так ты и успокоился на этом!
— покачала головой Марта.

— А что поделаешь, когда у меня такая жадная жена?

— С каких это пор? Как это у тебя язык поворачивается жену позорить?

Они смеялись и шутили от избытка счастья. Весеннее солнце слепило глаза. 2

Апрель месяц на заводе, где директорствовал Петер Спаре, закончился праздником. Всю зиму продолжалось строительство и оборудование нового строгального цеха, и сейчас он был готов — первые доски проходили через станки. Рабочий коллектив обязался сдать новый цех в эксплуатацию к Первому мая, но обязательство было выполнено до срока.

Старик Мауринь, назначенный начальником нового цеха, круглые сутки проводил на работе, совсем позабыв про дом. Он, как детей, гладил своими жесткими руками новые станки, смахивал с них каждую пылинку, и его сердитое лицо светилось ласковой, отцовской улыбкой.

— Милые вы мои, — говорил он. — Ну, и поработаем мы теперь. Покажем, что мы умеем. Досочки будут выходить целыми стандартами, гладкие, без сучка и задоринки, а потом пароходы повезут их в разные стороны. Кто такую дощечку получит, будет только похваливать. «Гляди, скажет, как ладно сработано. Дай им бог здоровья». А мы за это здоровье опрокинем сегодня по изрядной чарке, — Петер Спаре не поскупится.

Петер Спаре действительно не поскупился. Товарищеский ужин в заводском клубе прошел весело, с подъемом. Старик Мауринь сидел рядом с директором, и когда ему предоставили слово, аплодисментам не было конца.

— Зря вы мне хлопаете, дорогие товарищи, — начал он. — Сами знаете, как я говорю. Еще между старичками туда-сюда, а когда вот на таком торжестве — дух замирает, легче, кажется, целый день доски таскать на самые высокие штабеля. Так как же обстояло дело с этим строгальным цехом? Пока здесь распоряжались старые владельцы, дальше ученых разговоров дело не шло. И то им дорого и это не окупится, а для точки строгальных ножей придется, мол, специалиста-точильщика из Норвегии выписать, — где же простому латышу освоить такую тонкую работу. Норвежцу жалованья требуется побольше, чем главному инженеру, но о том, чтобы он свое искусство кому-нибудь показал, — и не думайте. Давно ли

у нас советская власть, а поглядите, что сделано! Они мудрили годами, а мы вот взяли и построили в четыре месяца. Без всяких там норвежцев. И разве наши доски будут хуже? Да ничуть. Пусть их теперь смотрят, пусть лопаются от зависти. Нет на свете такого трудного дела, чтобы рабочий человек при советской власти не мог его одолеть. Почему так выходит? Да потому, дорогие товарищи, что эти заводы сейчас наши собственные, и если хотите знать, то этот директор тоже наш питомец. Как же тут не пойти делу? Вот за это все, за нашу новую жизнь я хочу сказать спасибо русским товарищам. Вы думаете, они не знают, как у нас дела идут, как мы работаем? А кто нам прислал эти новые станки? Давайте же будем работать так, чтобы им не пришлось за нас стыдиться. И чтобы это было в последний раз, чтобы больше никто не смел плевать в новом цехе на пол. Это все равно, что плюнуть на свою работу. Я таких выходок не потерплю... Ну, сегодня не будем уж говорить про это — я только, чтобы предупредить. За наши успехи, за удачу, дружки!

Все зааплодировали и выпили стаканы до дна, выпил и тот, к кому относилось сердитое замечание Мауриня.

Петер Спаре поехал домой, когда ужин кончился и все разошлись. Завтра воскресенье — можно будет вволю отоспаться за много дней.

Ему открыла Элла. Он хотел обнять ее и поцеловать, но она уклонилась от ласки.

— Погоди, Петер, у нас гости.

— Разве? — Петер отстранился и взглянул на вешалку. Он узнал пальто тещи. — Не сердись, что я так поздно. Знаешь, какой горячий день. Мне жалко, что ты не могла прийти.

Элла ждала через несколько месяцев ребенка.

Теща довольно ласково встретила Петера. Пусть и коммунист и многое понимает на свой лад, но человек он все же приятный, славный. Никто не скажет, что Элле достался плохой муж. Однако приветливость мамыши Лиепинь имела и другую подоплеку. Об этом Петер узнал за ужином.

Вначале она плакалась на тяжелые времена:

— Мы с отцом ума не приложим, как в этом году быть с землей. Беднота и батраки теперь получили землю и работают на себя. Старый Лиепник на прошлой неделе пошел было к Закису, хотел его нанять... и чего только он не сулил, а Закис знай смеется: пускай, мол, поищет, может и найдется такой дурак. У нас тоже с Юрьева дня ушла батрачка, которая из Латгалии. В городе, говорит, жизнь легче. А как мне одной справиться с коровами? Отец еле разыскал одного старичка, ну, тот за плугом еще пройдет, а коров доить его не заставишь. Что же будет дальше? Не может разве правительство объявить такой закон, чтобы горожане помогали нам обрабатывать землю? Мы ведь не просим даром. Сколько будет нужно, столько и заплатим... деньгами или продуктами. У Лиепника один сын бросил работу в городе и приехал к отцу. Такое хорошее было место, по письменной части, а теперь приходится пахать и боронить.

— Видите, что получается? — сказал Петер. — Пока Закис батрачил у Лиепника, сын его в городе мог руки холить, маникюр делать. За эти годы он хорошо отдохнул, теперь сможет заменить двух Закисов.

— Ну, какой он пахарь, — вздохнула мамаша Лиепинь. — Кто уж привык к перу, тому плуг не по силам.

— Ничего, привыкнет. Всякой работе можно научиться, было бы желание.

— Я не говорю, что нельзя, но им без этого можно обойтись, — не сдавалась теща.

— Мало ли чернорабочих на свете, — вступилась за нее Элла. — Тогда и не стоило учить детей.

— Закису тоже хочется учить своих детей, — ответил Петер. — И прав у него на это больше, он их учит на средства, заработанные собственными руками. О Лиепниеках этого не скажешь. Кто же, как не Закис, помог ему обучить сыновей и дочерей?

Теща вздохнула.

— Зачем нам до всего докапываться? Этак выйдет, что мы все нечестные. Ну, а что с землей-то делать? Не оставлять же незасеянной...

— Это верно, — согласился Петер. — Нельзя оставлять.

— Не знаю, право, как ты на это посмотришь, а я кое-что надумала... Ты на заводе директор. У тебя сотни рабочих. Если бы ты человек пять-шесть прислал недели на две? Мы заплатили бы, сколько полагается. Завод от этого не развалится... Элла говорила, вы там какой-то ремонт будете делать. За это время и мы бы все вспахали и засеяли.

— Можно ведь, Петер? — спросила Элла. — Никто и не заметит, что на заводе не хватает нескольких человек. Можно сделать так, что они уйдут в отпуск. Рабочему ведь выгодно будет, он что-нибудь заработает.

Петер чувствовал на себе взгляды женщин, устремленные на него с мольбой и надеждой. Он покачал головой:

— Нет, этого я сделать не могу, да и не хочу.

— Своим родным и то не желаешь помочь, — медленно сказала Элла, и в голосе ее послышались слезы. За последнее время она расстраивалась из-за каждого пустяка.

— Успокойся, милая, — еле сдерживаясь, сказал Петер. — Если уж там так тяжело, я возьму на несколько дней отпуск и сам приеду помочь. Больше ничего сделать не могу.

Мамаша Лиепинь нахохлилась. Элла обиженно молчала. 3

У него была седоватая, клинышком бородка, подстриженные усы, и лицо напоминало правильный треугольник. Треугольник этот опирался на плотное туловище с короткими, втиснутыми в яловые сапоги ногами. Не легко было портному одеть такую нескладную фигуру — пиджак из серого домотканного сукна топорщился, а брюки были так туго натянуты на большой, раздавшийся зад, что казались надутыми пузырями.

Он вошел неожиданно, во время телефонного разговора, — без приглашения, без стука. Кивнул головой и с застывшей улыбкой на широком розовом лице остался стоять у двери. Жубур вопросительно взглянул на вошедшего и указал рукой на стул, но тот энергично замотал головой.

«Странный тип... чего ему нужно?»

Жубур разговаривал с заместителем наркома об учебных пособиях, о новых учебниках, о высшей школе. Разговор затянулся, и ему было неудобно, что посетитель так долго стоит у двери, но и после вторичного предложения присесть тот отказался так же категорически, как и в первый раз.

«Стеснительный, скромный человек...»

Наконец, разговор кончился. Жубур поднялся и вышел на середину комнаты. Посетитель только того и ждал. Он вдруг мгновенно преобразился: стеснительность и неловкость слетели с него, как высохшая чешуя. С выражением самозабвенного восторга он широко раскрыл объятия, ринулся к Жубуру, схватил его, как ястреб добычу, и, громко закричав: «Карл, милый ты мой!» — звонко расцеловал в обе щеки. Не обращая внимания на удивление Жубура, он взял его обеими руками за голову и стал поворачивать в разные стороны, как покупатель, рассматривающий приобретаемую вещь.

— Вот ты каков, дорогой родственничек, — разнеженно бормотал он. — Ничего, молодец. Сколько же тебе лет? Ведь ты мне в крестники годишься.

— Что все это значит? — спросил Жубур, стараясь высвободиться из его объятий. — Кто вы такой?

Но незнакомец крепко, как в тисках, держал его за плечи, словно опасаясь, что он от него убежит.

— Ишь, какой здоровенный вырос! А жена есть? Если нет, я тебе такую хозяйскую дочку сосватаю, что твоя печка. У наших соседей как раз такая есть. Кровь с молоком, скажу тебе. У отца пятнадцать коров и четыре лошади. Не усадьба — хорошее именице...

— Скажите, наконец, кто вы такой? — взмолился Жубур. — Я вас не помню.

— Да что ты? — удивился крестьянин. — Разве тебе мать не рассказывала про своего двоюродного брата из Больших Тяутей? Вот я и есть тот самый Большой Тяутис. Только не путай с Малыми Тяутисами. Такие у нас тоже имеются, но они на побережье живут, рыбачат. Мы их прозвали «смерть салаке». Один в прошлом году, под Мартынов день, утонул.

Жубуру, наконец, удалось освободиться. Опасаясь повторения только что происшедшего, он отошел на свое место за стол, потирая помятое плечо.

— Садитесь, пожалуйста, и начнем с самого начала. Так скорее разберемся.

— Можно и так. — Большой Тяутис грузно сел на стул, положил картуз на стол и достал кисет из свиного пузыря, побуревший от долгого употребления. — А ты что? Постоянно в городе? Как живется?

— Я прошу вас сказать, кто вы такой, — сдержанно сказал Жубур. — Как ваша фамилия?

— На побережье до самых Лимбажей меня прозывают Большим Тяутисом, по названию усадьбы, а по паспорту — Ерум... Симан Ерум. Мать моя была родной сестрой отцу твоей матери. Выходит, что мы с твоей матерью родные кузины. Отец твой родом из другой волости, уж и не упомяну, как они там поженились. Вот поди ж ты, я и не знал, что у меня такой родственник в Риге. Племянница рассказала — она учится на адвоката и знает тебя. Тогда мы со старухой и порешили, что надо поехать в Ригу и проведать родственничка. Слыхал, ты в коммунистах, близко к властям стоишь? Может, вспомнишь родственников, раз уж ты по этой части определился. Родственникам сам бог велел друг за дружку держаться.

Пока он говорил, Жубур вспомнил рассказы матери о богатых родственниках в Видземе, но в ее рассказах не содержалось ничего такого, что бы заставило радостно забиться сердце при встрече с этим «кузином». В трудные времена, когда старику Жубуру пришлось три месяца сидеть без работы, он однажды на попутных санях съездил к родственникам попросить в долг мешок картошки. Большой Тяутис заставил его целую неделю возить дрова из лесу, после чего действительно насыпал ему мешок гнилой картошки и выпросил долговую расписку: «так, порядка ради, чтобы не забыть про должок». Через полгода старый Жубур вернул долг деньгами, а расписку хранил до самой смерти.

— Так что же вам угодно? — спросил Жубур. Я очень занят, и если вы по делу, выкладывайте сразу.

Симан Ерум, он же Большой Тяутис, сделал вид, что не замечает холодности Жубура.

— Занят, говоришь? Ну, конечно, у тебя много работы. У больших людей работы невпроворот.

— Я вовсе не большой человек, а обыкновенный студент. Учусь и работаю.

— А разве не коммунист?

— Да, я коммунист.

— Мне того только и надо. — Ерум повернулся всем своим грузным телом к Жубуру, буравя его наглыми глазами. — У тебя ведь своего хозяйства не имеется?

— Откуда ему у меня взяться?

— Я так и знал. Ну, ты, конечно, не думаешь весь век прожить без кола, без двора? При одной только должности человек еще не человек. Вспомни, как бывало при Ульманисе, — у каждого министра, у каждого директора что-нибудь да было в деревне. Или там мельница, или именице, или дача. Без этого нельзя. У кого земля, тот на ногах крепче стоит. Земля никогда не пропадет, какие бы времена ни наступили. Тебе, милый родственник, тоже надо подумать о себе. Если пожелаешь, могу это устроить без всяких хлопот. У меня в Больших Тяутях сорок гектаров. Десять прошлой осенью отрезали и зачислили в государственный фонд, но еще никому не передали. Почему бы тебе не истребовать их для себя?

— Что мне с ними делать? — нехотя усмехнулся Жубур.

— Погоди, погоди, пусть она хоть считается за тобой. Тогда никто больше не сунется, а земля останется за Большими Тяутями. Если ты еще холостой, женись, пусть там хозяйничает жена. Мы бы тебе нашли хорошую девку, хозяйскую дочь. Круглую, мягкую, как слива... Спокойнее ведь, когда земля не в чужих руках. Как ты на это смотришь?

«Сразу видно — беспардонный нахал», — подумал Жубур.

— Если вам тяжело глядеть на бесхозяйную землю, я пошлю письмо в волисполком и попрошу скорее передать эти десять гектаров кому-нибудь из безземельных.

— Никак ты с ума сошел? — разволновался Ерум. — Прошлой осенью еле уговорил волостного писаря, чтобы скрыл в актах... отвез за это целую кадку масла, свиной окорок... Ишь, какой торопыга! Если тебе самому не нужно, пусть лучше останется как есть. Как-нибудь вывернусь. Карл, сынок, а ты бы все-таки подумал... У тебя знакомства с набольшими. Замолви словечко, пусть меня назначат председателем в волость. При Ульманисе я четыре года проработал помощником. Опыт изрядный. Не все же одной мелкоте управлять.

— Крупные достаточно повластвовали. Пусть поработают и бедняки.

— Родственникам не грех бы и помочь, — не унимался Ерум. — Соседи мне все уши прожужжали: «Что ты за человек, при таких родственниках и не можешь получить в волости хорошее место». На смех подняли. А если бы меня назначили председателем, все бы устроилось. Нельзя же так, надо кому-то заступаться и за старых хозяев. Порадей уж, милый.

Жубур еле сдерживался. Откровенный цинизм старика граничил с простодушием.

— Знаете что, — медленно сказал он. — После смерти родителей у меня родственников

больше не осталось. Для меня существуют только хорошие люди и плохие, честные и мошенники. Вы принадлежите к последним.

— Кто это про меня так говорит? — вздыбился Ерум.

— Я, черт возьми, говорю! Уходите-ка вы лучше! Берите шапку и вон отсюда!

— С чего это ты? — удивился Ерум. — За что ты на меня так? Что я тебе плохого сделал?

— В глаза вы плюете народу — вот что! И я постараюсь, чтобы для этих десяти гектаров нашелся хозяин нынешней же весной. Ну, чего вы еще ждете? Можете идти.

— Господи, зазнался-то как, — покачивал головой Ерум. — Ну, не ожидал. Я к нему как к родному, а он как зверь...

Бормоча и вздыхая, он вышел. Жубур откинулся на спинку стула и вытер лоб платком.

«И каких только подлецов не бывает на свете... Нашелся милый родственничек...»

Раздался телефонный звонок. Жубур снял трубку.

— Слушаю. У телефона Жубур.

— Почему ты такой сердитый? — Жубур узнал голос Мары, и дурное настроение его мигом улетучилось. — На работе что-нибудь?

— Ты угадала. С кем только не приходится сталкиваться за день.

— Оказывается, не вовремя позвонила. Я хотела попросить тебя зайти сегодня вечером, хотя бы ненадолго. Врач велел несколько дней полежать, и я эти дни никуда не выхожу. Наверно, немного переутомилась, готовили постановку к декаде.

— Почему ты раньше не позвонила? Конечно, приду, сегодня же вечером приду. Но ты уж извини, не раньше десяти.

— Приходи, когда освободишься. Я знаю, сколько у тебя дел. Ну, всего... 4

Его впустила мать Мары.

— Заходите, заходите, вас давно ждут, — весело сказала старушка. Несмотря на свои шестьдесят лет, двигалась она проворно, а в волосах у нее лишь чуть проступали седые нити.

— Что с Марой? — спросил Жубур, снимая пальто. — Может быть, нехорошо, что я ее тревожу?

Умные, улыбающиеся глаза старушки ласково глядели на него.

— Не так уж плохо. Сегодня голова не болит. Хочет завтра идти на работу, а вы постарайтесь уговорить ее, чтобы полежала до понедельника.

И снова она стала воплощением простодушия, по Жубур понял, что она, со своим опытом повидавшего жизнь человека, уже все угадала: и то, что было, и то, что может когда-нибудь сбыться. Ему стало чуть-чуть неловко.

— Хорошо, мамаша, — ответил он. — Сделаю все, что от меня зависит, чтоб Мара осталась дома несколько дней. За год наработается.

Он тихо вошел в маленькую спальню и, пожав теплую, влажную руку Мары, сел возле кровати.

— Так-то ты вспоминаешь про своих друзей?

Мара улыбнулась. Лицо ее залилось лихорадочным румянцем.

— Нельзя же поднимать на ноги весь свет из-за того, что немного поднялась температура.

— Что врач, аккуратно навещает?

— Сегодня приходил. Да ничего серьезного, сильная головная боль — вот и все. Приходится принимать порошки и лежать. Наверное, в понедельник ночью простудилась, когда шла из театра. Мне ведь не много надо... Ну, а как твои дела? Скоро экзамены?

— Через неделю начнутся.

— И со вторым курсом будет покончено?

— Да, как будто. И хотя нас пока еще пичкают школой профессора Балодиса, — у старого Атлантика[57] здесь много приверженцев, — однако советская политэкономия начинает укореняться, и я полагаю, что по окончании факультета мы уже не будем такими невеждами.

— Ты и следующую, зиму собираешься учиться? Работать и заниматься?

— И следующую после нее тоже. Пока не кончу.

— Откуда у вас всех такая сумасшедшая выдержка? Как вы это можете?

— Все мы росли в суровых условиях, Мара. Жизнь нас раньше не баловала, потому мы такие крепкие.

Зазвонил телефон. Жубур опередил Мару и снял трубку.

— Квартира Мары Павулан. У телефона врач. Кто? Здравствуйте, товарищ Калей. Нельзя сказать, что хуже. Скорее бы сказал, что дело идет к улучшению. Только что измерили температуру — 38,2. Советую пробыть дома до понедельника. Понятно, понятно, товарищ Калей... Вполне сможет выступить в приемочном спектакле. Даю вам честное слово врача, что сделаю все возможное. Привет, товарищ Калей.

Он положил трубку и посмотрел на Мару.

— Ты с ума сошел, Карл, — испуганно зашептала она. — Что ты ему наговорил? Что мне еще надо лежать до понедельника?

— Да, и Калей принял это без всяких трагических переживаний. Сказал, что до понедельника ничего особенного не предвидится.

— А приемка пьесы к декаде латышского искусства? Я не могу допустить, чтобы ее принимали без моего участия. Раз в жизни выпало счастье играть в Москве, в центре непревзойденного театрального искусства... Нет, я свою роль никому не уступлю.

— Успокойся, Мара. — Жубур погладил ее руку. — Просмотр пьесы назначен на следующий четверг. Генеральные репетиции будут в понедельник и вторник. Куда тебе спешить? Что, ты роль, не разработала? Не знаешь текста?

Мара сердито посмотрела на него и тут же рассмеялась.

— Текст знаю наизусть, и роль у меня готова. Но для чего ты подшутил над Калеем? Он чудесный человек. Лучшего директора у нас никогда не было.

— После того как закончится в Москве декада искусств, — а мы все уверены, что она пройдет с успехом, — я ему сам все расскажу. Пусть тогда спускает с меня шкуру. Что, замирает сердечко? Подумай только — Москва...

— Москва... — шептала Мара. Радость, гордость, нетерпение — все было вложено в это слово. — Может быть, товарищ Сталин придет посмотреть на нашу игру?

— Вполне возможно, Мара.

— Иногда даже страшно становится, как подумаешь, что придется играть на московской сцене, перед зрителями, которые видели Ермолову и Щукина, Качалова, Москвина, Хмелева, Тарасову... — продолжала Мара. — Там до сих пор звучат голоса Льва Толстого, Горького, Чайковского и Глинки. А сколько новых советских мастеров... какие огромные духовные богатства созданы гением этого великого народа! Я боюсь, Карл, ужасно боюсь, что мы будем там выглядеть маленькими и провинциальными.

— Если вы будете правдивыми в своей игре, никто не будет на вас смотреть как на провинциалов. Москве понимают настоящее искусство и ценят его.

— Мы все как в лихорадке. Никогда не видела, чтобы люди работали с таким воодушевлением. Даже те, кто вначале посмеивался и говорил о провале. Букулт, злостнейший из злостных, и тот в чем-то изменился с тех пор, как ему предложили руководить постановкой спектакля для декады. Не знаю, насколько он искренен... Во всяком случае все хотят показать, на что они способны. У нас в Риге так не работали еще ни над одной пьесой. Мы за это время как будто прошли курс новой школы, и я уверена, что после декады уже не будем работать по-старому. Да и не только театр, сейчас все искусства переживают необыкновенное время. Знаешь, это словно весенний разлив... он захватывает даже равнодушных и робких. Кто любит настоящее жизненное искусство, тот не может остаться безразличным. Пусть говорят, что хотят, но вы, большевики, молодцы.

— Почему ты говоришь: «вы — большевики»? Как будто ты сама стоишь в стороне.

— Не знаю, имею ли я право причислять себя к большевикам.

— Тебя уже давно причислили к ним, — сказал Жубур. — Да иначе и быть не может.

— Как странно! То же самое мне на днях сказал Калей. Его недавно приняли кандидатом в партию. Говорят, на собрании он был так взволнован, что у него слезы на глазах выступили.

— Калей будет с партией до конца, и жалеть ему об этом не придется. И партии тоже. Вот видишь, Мара, все лучшие, самые одаренные и честные люди с нами. А то, что одна-другая мелкая рыбешка, вроде Зивтынь, еще старается замутировать воду, нас не опечалит. Пескарю не замутировать моря.

— Ты прав, Карл, — пескарю не замутировать моря. Но наш театральная пескарь, Зивтынь, за последнее время совсем присмирела. Или она задумалась, или это новая тактика.

Мать Мары внесла два стакана чаю с малиновым вареньем.

— Я ведь не больной, мамаша, а вы мне варенье даете, — засмеялся Жубур.

— Не повредит и здоровому, — ответила она и опять оставила их одних.

Чтобы не подумали, будто она интересуется разговорами молодых людей, старушка больше,

чем следовало бы, шумела в кухне. Звенела посуда, стучал переставляемый стул, скрипела раскрываемая с размаху дверца духовки.

«Хитрунья какая, — подумала Мара. — Жубура она видела несколько раз и, наверно, что-то вообразила».

Но каковы же были их отношения в действительности? Изредка они встречались, и обоим это было приятно. Дружба ли связывала их, или нечто большее? Кто знает? У них не было времени подумать о своих взаимоотношениях. Все шло само собой, как будто помимо их воли. И все же, при встречах с Жубуром или слыша его имя, Мара всегда чувствовала необъяснимое волнение. Быстрее билось сердце, щеки разгорались, а взгляд становился ласковым и смущенным. Замечал ли он это? Думал об этом? Может быть, — были же моменты, когда и он казался смущенным без всякой причины.

Они могли говорить свободно и непринужденно обо всем на свете: об искусстве, о своей работе, о знакомых, — но коснуться своего, сокровенного, дать знать о нем робким намеком они не умели.

Так, наверно, было нужно.

В тот вечер Жубур ушел от Мары после полуночи. Прощаясь, он подумал, что чего-то не договорил. С этим чувством он и ушел, дорогой все время стараясь вспомнить, что же это было. Но так и не вспомнил. 5

С конца зимы Ольга Прамниек перестала появляться в обществе. Причина была ясна, — не из-за прихоти моды носила она теперь свободные платья и широкое пальто. В конце июля можно было ждать родов. Дома Прамниек принимал только самых близких друзей. Изредка приходила Мара, забегала на минутку Эдит. Довольно частым гостем был редактор Саусум, с которым у Прамниек за последнее время установилось полное взаимопонимание. Редакция не могла служить подходящим местом для откровенных разговоров на политические темы, в кафе тоже не наговоришься. Таким образом, мастерская художника превратилась в нечто вроде маленького клуба, где можно было сколько угодно курить, пить крепкий кофе и говорить вволю.

Что представляли собой эти люди — художники, журналисты, писатели и просто интеллигенты, с которыми общался в это время Прамниек? Их можно было бы охарактеризовать одним словом: выжидатели. Они стояли в стороне, на берегу, и наблюдали за течением потока. Они не старались остановить его. Их нельзя было назвать противниками советской власти, но и друзьями они не были. Снова заговорила в них природа обывателя! Если бы в их взглядах могли содержаться какие-то идеи, то Саусума можно было бы назвать их «златоустом», их главным идеологом.

— Сейчас у нас может быть только одна задача, — проповедовал Саусум. — Не скомпрометироваться. Не дать вовлечь себя в общественную деятельность, в общественную жизнь, не стать ответственными за то, что сейчас происходит. Любой ценой сохранить себя при всех обстоятельствах. Точно так же, как в прошлом мы обеспечили себе возможность стать полноправными гражданами при сегодняшней власти, сегодня нам надо обеспечить эти права для завтрашнего дня. Мы не принадлежали к тем, кто вчера держал в своих руках власть. Сегодня мы тоже не управляем. Пусть бушуют большие политические страсти, а мы должны остаться в стороне. Советская власть ничего плохого нам не сделала и, будем надеяться, не сделает и впредь. Тому порукой наша нейтральная лояльность. Мы не восклицаем: «Да здравствует!», но мы не будем кричать и «Долой!» Разве за это нас можно упрекнуть? Вы скажете: трудно работать, не показывая своего политического лица, особенно в нашу эпоху всеобщей активности. А я вам на это отвечу: во все времена можно работать, стоя в стороне от политики. Если угодно, берите пример с меня. Кому уж труднее оставаться

аполитичным, как не работнику большой ежедневной газеты? Мне доверен отдел просвещения и культуры. Пожалуйста, я свою часть заполняю статьями о ремонте школ, биографиями старинных мастеров, эссеями о корифеях мировой литературы. Поэты у меня воспевают солнце, цветы и любовь. Композиторы рассуждают о полифонии и контрапункте. В сообщениях с мест я вычеркиваю все декларативное и оставляю только заметки о постановках пьес Блаумана, Бригадере и Алунана[58]. О, этот Блауман[59], о, Бригадере[60], Порук[61] и братья Каудзиты![62] Это такой спасательный круг, что с его помощью можно удержаться на поверхности во все времена. Поглядите, как ими пользуется Артур Берзинь. Каждую неделю он дает нам по большой статье о своих пиебалгских классиках[63]. Поди докажи после этого, что он не активен или стоит в стороне от общественной жизни. Так и другие, в ком говорит инстинкт самосохранения и здравый смысл. Они вам не станут писать о Маяковском, Шолохове, Островском или о последних советских пьесах. Они даже сделают крик, чтобы обойти Белинского, Горького, Андрея Упита. И умно поступают. Они себя не прозакладывают новым временам. Если что-нибудь изменится, вы не найдете ни одной компрометирующей строчки в их теперешней продукции. А в чем их могут упрекнуть большевики? Писателю, художнику, искусствоведа и литературоведу требуется перспектива, дистанция, с которой можно изучать изображаемую эпоху. Дайте им получше освоиться с новой жизнью. Подождите несколько лет, тогда они смогут проанализировать то, что происходит сегодня. Спешат только профаны.

Последние работы Эдгара Прамниека служили наглядным доказательством влияния Саусума. Портрет известного актера, иллюстрации к детским книжкам, какой-то пейзаж, натюрморт, несколько этюдов обнаженной натуры — кто мог похвалиться, что сделал больше него за такое короткое время! Он стал придерживать язык и даже перестал упоминать о своем родстве с Силениеком. Когда Мара заговорила с ним о социалистическом реализме, он только глубокомысленно покачал головой, как бы в знак одобрения. Желчные разглагольствования Мелнудриса о молодых советских поэтах заставляли его только благодушно улыбаться. Он не проповедовал, не спорил, ничего не утверждал, ничего не опровергал. Таким образом Прамниека сохранял за собой славу прогрессивного человека, избегая в то же время «компрометации». Видя, что так поступают многие из его знакомых, он верил, что их поведение является единственно правильным.

Каждый раз, когда к Ольге заходила Эдит, она приносила какую-нибудь новость. В их квартиру через все щели проникали таинственные слухи. Они ползли из Германии, из темных нор подполья, — то в виде тайного шепота, то через анонимные листки, обнаруживаемые в ящике для писем, — и создавали определенное настроение в семье художника. Их больше не радовало майское солнце, первая зелень на улицах. Темное облако какого-то тяжелого предчувствия нависло над ними. А они хотели сохранить себя. Сохранить не для того, чтобы жить большой, полнокровной жизнью, а для того, чтобы просто существовать, как они существовали раньше и всегда, как существовали тысячи им подобных — робких, напуганных, сторонящихся от всего созданий, которые считают себя солью земли, а на самом деле только мелкие ящерицы. Они удовлетворялись тихим солнцепеком, не осмеливаясь начать борьбу за подлинное счастье. Бедные, пугливые ящерицы... 6

Суровая зима на несколько месяцев почти прервала навигацию, и сотруднику пассажирского отдела рижской таможни Индулису Атауге до сих пор не удалось осуществить свои намерения. Несколько важных пассажиров, которым во что бы то ни стало надо было тайно пробраться за границу, все еще скрывались на нелегальных квартирах в Риге. Лишь в конце мая пришел немецкий пароход, и Индулис обо всем договорился с капитаном.

Три досточтимых мужа, которых разыскивали органы государственной безопасности, превратились в багаж, в старую мебель, отправляемую вслед ранее уехавшим репатриантам. Их запаковали в большой вагоноподобный ящик и отвезли в порт. Но там случился непредвиденный казус. Какой-то рабочий услышал в ящике чиханье и сообщил об этом начальнику пограничной охраны. Пограничник созвонился с органами государственной

безопасности, и подозрительный ящик решили проверить.

Результаты проверки заслуживали внимания. Трех путешественников попросили вылезти из ящика и поведать свои замыслы. Когда об этом узнал Индулис Атауга, он живо понял, что ему в таможене больше делать нечего. Он убрал со стола бумаги и ушел по служебным делам в город. Через полчаса он уже укладывал в своей квартире рюкзак. Надел бриджи, сапоги, резиновый макинтош, захватил две смены белья, документы и деньги. Но в документах стояло другое имя. С этого дня Индулис Атауга становился Индриком Лодзином, автомехаником, работающим на одной из видземских машинно-тракторных станций.

Перед уходом он на несколько минут завернул к родителям. Мать ушла к Фании, можно было спокойно поговорить с отцом. Старый Атауга лег вздремнуть после обеда и рассердился, когда его потревожил звонок. Вообще в последнее время он был сердит и желчен — или потому, что ему некуда было девать избыток накопившейся энергии, или потому, что приходилось долго ждать обещанного министерского поста. Нельзя сказать, что жилось ему плохо. Полные розовые щеки показывали, что питается он хорошо, костюм его был всегда отглажен, бегать ему тоже не приходилось. Но если по дому распространялись свежие сплетни про советскую власть — источником их оказывался бывший домовладелец. У него всегда имелся наготове запас слухов и анекдотов, их у него было больше, чем блох у паршивой собаки. Атауга рассказывал их с апломбом очевидца. Но он не обладал достаточной осмотрительностью, и это беспокоило Индулиса.

— Нельзя ли все-таки поосторожнее, — упрекал он отца.

— У меня внутри накипело, — отвечал старый Атауга. — Если не отведешь душу с порядочным человеком, можно задохнуться, того и гляди — хватит удар.

— Смотри, как бы кое-чего не заработать.

— А долго мне еще ждать, когда все прояснится?

— Считанные дни остаются. Если не продержишься в своей роли, тебя разоблачат. Тогда не видать тебе министерства, как своих ушей.

Еще спросонья, Атауга пошел отворить дверь. Увидев Индулиса, он успокоился.

— Ну, что там стряслось?

Индулис заговорил, только войдя в отцовский кабинет:

— Сегодня в порту мы провалились. Тех троих, которых надо было отправить за границу, обнаружили и сейчас допрашивают. Мне надо убраться из Риги. Матери скажи, что уехал срочно по делам в Лиепая, а сам скорее дай знать штабу, чтобы распределяли оружие. Наш дом больше не является надежным хранилищем. Чем скорее увезут, тем спокойнее ты будешь себя чувствовать.

— Куда же ты сейчас направляешься?

— На север Видземе. Дней через десять можно ждать от меня вестей. А если будут спрашивать из таможни, скажи, что ничего не знаешь. Не видел меня неделю. Лучше всего не пускайся в разговоры, тогда скорее оставят в покое. Ну, до свидания...

— Ну, храни тебя бог, — старый Атауга потер глаза, но слез не было. Затем они расцеловались, и отец проводил сына до дверей.

Оставшись один, он стал прикидывать, как лучше действовать. Там, на чердаке, среди старого барахла... Нельзя сказать, что место удобное, но оттуда вся улица до самого

перекрестка видна как на ладони. Индулис говорил, что хороший пулеметчик с такой позиции может вести бой с целым батальоном. Когда наступит момент, придут и стрелки. Сущее безумие... Но должность министра дешево не достается. Тогда бы каждый...

Он начал действовать. Договорился с дворником, что следующей ночью, когда жильцы будут спать, надо навести в доме порядок. Пожарная охрана давно уже не дает покоя, требует, чтобы очистили чердак от всякого огнеопасного хлама. Сегодня опять приходили, грозились. Не дожидаться же, когда составят протокол.

Атауга взялся сам доставить рабочих и грузовик. Откуда все это было получено, знал только сам организатор, но в полночь, когда затворяли ворота, во двор въехала машина. Шофер и рабочие зашли в квартиру дворника, чтобы подождать, когда улягутся спать жильцы дома. Все это были молодые люди, ловкие, с военной выправкой. Коротая время, они выпили по несколько стаканчиков водки. В три часа ночи все поднялись на чердак. Их встретил с фонарем в руках сам Атауга.

— Берите вон тот ящик, только вдвоем, иначе не донесете. Вот это надо будет разобрать и снести по частям.

В двух ящиках были винтовки, а подлежащий разборке механизм оказался новешеньким пулеметом. В других ящиках были патроны и ручные гранаты. Такое имущество на чердаке действительно было огнеопасным, и Атауга поступал дальновидно, решив перевезти его в более надежное место.

Молча выносили вниз один ящик за другим. Для виду на двор было вытащено несколько старых матрацев и источенный жучком буфет. Это могло ввести в заблуждение любопытных жильцов, но не старых, опытных разведчиков, которые в эту ночь наблюдали из окна того же дома за странной суетой во дворе. Долго наблюдать они не рассчитывали и, когда большая часть вещей была погружена на машину, сошли вниз и приветствовали полуночников.

— Над чем это вы так стараетесь? — поинтересовались они. — Ах, чердак очищаете... Хорошее дело. Разрешите взглянуть, что это за хлам. Может, что-нибудь еще пойдет в дело?

Они и в ус не дули, заметив ужасное смятение тружеников, а тем, которые хотели улизнуть, приказали не шевелиться и не подымать шума. А чтобы долго не спорить по этому поводу, вынули для убедительности из карманов свои «вальтеры» и таким образом установили во дворе тишину и порядок.

Атауга только головой тряс. Вот тебе и министерский пост...

— Старое чучело, — злобно шипел на него шофер, — заманил в ловушку. Что теперь будет?

Один из «рабочих» бросился бежать, но в подъезде его встретили двое вооруженных пистолетами людей. Дом был окружен со всех сторон. Даже мышь не проскочила бы.

Атаугу судили и выслали. Шофер и ночные труженики оказались членами той же самой контрреволюционной организации, готовившей вооруженный заговор, в которую входил и Индулис Атауга.

Конечно, мадам Атауга пролила немало слез по своему «ни в чем не повинном старичке», который был «такой тихий и примерный гражданин — ну чуть ли не большевик». Ей вторили обывательницы-соседки, и кое-какие простофили, не имевшие понятия о случившемся. Про тайный склад оружия на чердаке Атауги и про планы бывшего домовладельца они помалкивали. Нет, об этом они знать не хотели. Из их среды был вырван хороший, добросердечный человек — невинная жертва людской злобы и зависти. И долго еще говорили об этом, окружая Атаугу ореолом мученика.

Очень неприятно обернулось это дело и для Бунте. После высылки Атауги теща переселилась к дочери, и на его шею сел лишний едок. Если бы она только ела его хлеб, было бы еще полбеды. Но с тех пор как мамаша Атауга уволилась из домоуправления, она не знала, куда девать свободное время, и с утра до вечера поедом ела Джека:

— Что нам до твоего пролетарского происхождения, когда ты не мог даже вызволить из тюрьмы родного отца своей жены? Тряпка, а не зять...

Джек молча глотал все обиды.

Глава девятая

1

Первыми заметили его малыши, пасшие коров у опушки кустарника. Восемилетнему Янцису сразу показался знакомым этот стройный парень в военной форме. Неторопливым шагом, внимательно осматривая все вокруг, он спускался по тропинке с холма и не замечал, что пастушки наблюдают за ним. Когда Янцис окончательно убедился, что это идет их старший брат, он велел сестренке Мирдзе присматривать за коровами, а сам опрометью бросился к дому. Чистое наказание: когда тебе дорог каждый миг, все, словно нарочно, под ноги подвертывается — валяющийся на дороге сук, камень, ком глины... Спотыкаясь, с радостно бьющимся сердцем, бежал он, как маленькая козуля, и, увидев в сарайчике отца, еще издали крикнул:

— Густ приехал! Густ идет!

Отложив в сторону топор, заинтересованный Закис посмотрел на сынишку.

— Что случилось, Янцис? От кого ты бежишь?

Янцис бросился к отцу и, еле переводя дух, скороговоркой выпалил:

— Совсе я не бегу. Прибежал только сказать, что Густ...

— Слышишь, мать? — крикнул Закис. — Заводи тесто, лепешки печь. Сегодня одним едоком будет больше.

Вытирая руки о передник, из хибарки вышла Закиене. Меньшой мальчуган держался за ее юбку и что-то лепетал на своем детском наречии.

— Какие еще лепешки? — переспросила Закиене.

— Янцис говорит, Густ приехал.

— Я первый увидел. Во-он где он идет. Я только прибежал сказать. Мирдза, а ты почему бросила коров?

— Почему ты сам удрал? — огрызнулась сестренка.

— О господи, скотина все хлеба потравит, — встревожилась мать. — Два пастуха и не могут досмотреть.

— Да-а, все мне да мне одной, а Янцис удрал, — оправдывалась Мирдза.

Такая суэта поднялась на дворе Закиса, что слышно было в этот тихий вечер и в усадьбе Лиепниеки. Там залаяли собаки. Виновник всего этого, Аугуст Закис, в форме курсанта

военно-пехотного училища, стоял среди родни и давал оглядывать себя со всех сторон. У него было отцовское статное сложение и сухощавое лицо, большими серыми глазами он походил на мать. Держался он молодцевато и казался старше своих девятнадцати лет. От всеобщего внимания ему стало неловко. Мирдза вцепилась в руку старшего брата и не хотела выпускать ее, даже когда Аугуст здоровался с остальными.

— Надолго, сынок? — спросила мать.

— Дали отпуск на три дня.

— Тогда вы с Аустрой вместе вернетесь в Ригу. Только позавчера приехала. С пятнадцатого июня ей надо начинать работу в комиссариате. Сейчас ее нет дома — ушла в лавку за писчей бумагой.

— Янцис, ты у нас послушный паренек, — заговорил отец. — Ну-ка, дружок, посмотри, как там скотина. Скоро пора и домой гнать.

— Тогда пусть и Мирдза идет, — потребовал пастух.

— Ведь ты уже большой, обойдешься и один.

— Ну, нет — не надо, можно и обойтись, — согласился Янцис и нехотя ушел на пастбище.

Глядя, как он понурил голову, Мирдза пожалела его и, выпустив руку Аугуста, побежала за ним. Когда через полчаса ребятишки пригнали во двор двух коров и телку, Закиене не сказала им ни слова. Хотя была середина недели, но им казалось, что сегодня суббота.

Аугуст обошел двор, осмотрел новый колодец и свезенный для постройки лес. За время его отсутствия многое здесь изменилось. Под окнами избушки появились цветочные клумбы, на огороде зеленел лук, свекла и репа; картофель был недавно окучен в первый раз, но ботва уже снова лезла из влажной земли.

— Ты погляди, какой урожай нынче будет, — говорил отец, ведя Аугуста по небольшим полям своего новохозяйства. — Хватит и самим и государству. Кое-что можно будет и на базар свезти. Только вот с сеном тяжело, пока не приведем в порядок приречный лужок. Придется все ж пойти косить исполу. Старый Лиепинь все набивается.

— Лиепиню еще туда-сюда, а Лиепниeku ни в коем случае, — сказал Аугуст. — Пусть сынок спину поразомнет, а то гнет ее, сидя в банке, совсем кривая станет. Тогда узнает, каково батрацкое житье.

— Спина что, — усмехнулся отец. — Главное, души у них кривые. Не знаю, с чего они так осмелели, но последнее время всякий стыд потеряли. Как встретят, обязательно облают.

— Ах, они так?

— Наверное, старика молодой Лиепниек подбивает. На людей глядит сбычившись, чуть ли не съест глазами готов. Меня все «красным» называет, «господином товарищем». А когда чужих нет, начинает грозиться, чтобы не радовался на урожай, косить все равно не придется. А если, мол, уберу, то не для себя. Готовь, говорит, цыганскую кибитку для зайчат[64], чтобы везти в свою нору.

— А ты? — Аугуст мрачно посмотрел на отца. — Ты что же, слушаешь и молчишь?

— В долгу не остаюсь, сынок. Знаешь, какой я на язык? А они только смеются. Кажется мне, есть у них что-то на уме. Бывшие айзсарги опять головы подняли. Волостной писарь все делает по-своему, а не как в исполкоме велят. Говорят про войну, что, мол, тогда

рассчитаются. Поди узнай, что там такое. Может, ты что знаешь?

— Советскому Союзу война не нужна. Ну, а если и выйдет что, то уж как-нибудь сладим с любым врагом. Пусть только начнут. Красную Армию победить нельзя. Где еще на свете есть такая сила?

— Вот и я так думаю, — одобрительно смеялся Закис. — Пусть их лают. На будущей неделе начнем новый дом закладывать.

— Тогда давай завтра распилим на доски несколько бревен, — сказал Аугуст. — Хочется поразмять руки. Пустишь меня наверх, на бревно?

— Придется уж, глазомер у тебя хорош. За что это значок получил?

— Это значок ГТО, — не без гордости ответил Аугуст. — Я все нормы сдал. Мы и спортом в школе занимаемся. В следующее воскресенье я участвую в соревнованиях.

— Ну, тогда пилка тебе пойдет впрок.

В тот же вечер они поставили большие козлы и затащили наверх первое бревно, а пилку отложили до утра, так как всем хотелось порасспросить Аугуста, как ему живется в военной школе, чему их там обучают, какие у него товарищи и когда он снова пойдет в отпуск.

И Аугуст не переставая рассказывал им про своих командиров и товарищей, про то, как они сдружились, хотя все собрались с разных концов советской земли.

— У меня сосед по койке — сибиряк один, фамилия его Смирнов. Должен сказать — отличный лыжник, а стреляет лучше всех в училище. Если нам дадут отпуск в день Лиги, привезу его с собой, — у него сейчас родители живут в Белоруссии, на самой границе. Там его отец батальоном пограничников командует. И командир взвода, Рыбаков, замечательный парень, в финской кампании участвовал. Когда он начинает рассказывать, как они штурмовали линию Маннергейма, прямо завидно становится. Жалко, что меня там не было. Этот Рыбаков — настоящий герой, а в училище скромнее его никого нет.

Старый Закис слушал его рассказы, а сам думал:

«Как получается-то: сын хибарочника Закиса будет офицером Красной Армии. Вчера его избивал полицейский, а сегодня он в военной школе учится. Кто раньше мог там учиться? — сыновья буржуев да серых баронов, а таким, как мой Густ, была одна дорога — в батраки. Не мудрено, что Лиепниеки со своими Максами от злости зубами скрипят».

Влажными глазами смотрел он на сына. Нет, за этого парня не придется краснеть ни отцу, ни Родине. «Да, если кому вздумается напасть на нашу землю, они ее оберегут... и Аугуст Закис и его товарищи — из России и с Украины, из далекой Сибири и с Кавказских гор. Двести миллионов — да это же целый божий свет! Вот как нас теперь много. И чего только у нас нет — все, что нужно народу, чтобы жить в довольстве, ни у кого не выпрашивая. Попробуй задеть такой народ. А кто начнет, тому долго придется жалеть — до внуков и правнуков...»

В сумерки вернулась из лавки с газетами и разными новостями Ауэстра, старшая сестра Аугуста. Это была бойкая, живая девушка. Она только что окончила вечернюю среднюю школу, договорилась уже о работе в одном из наркоматов, а в то же время подумывала и об университете. Приезд брата для нее не был неожиданностью.

— Вообразите только, — рассказывала она, — на дороге встретился Мне Макс Лиепниеки. Такой кавалер — просто беда! Спросил, не состою ли в комсомоле и что я думаю насчет айзсаргов. Говорит, что вчера из НКВД приходили арестовать Зиемеля, бывшего командира роты айзсаргов, но тот вовремя удрал в лес. Все равно, говорит, не поймают, и если Зиемеля

не оставят в покое, то может случиться, что красный петух пойдет гулять по хибаркам новохозяев.

— Болтают, сами не знают что, — сказала Закиене.

Да, в воздухе чувствовалось что-то недоброе, но никакие слухи не могли испортить жизнерадостное настроение семьи. До поздней ночи говорили они о недалеком будущем, когда все тяжелое уже останется позади и каждый из них крепко станет на ноги. Домик в три комнатки, с маленькой верандой, новый хлев, где будет стойло и для лошади, фруктовый садик...

Тихий, теплый июньский вечер. Жужжали комары, мелькали в воздухе летучие мыши. На козлах лежало светлое, очищенное от коры бревно. Добротные выйдут доски для пола! Будущей зимой отец поедет на лесозаготовки, заработает денег на плотников. Что-нибудь отложит из жалованья и Аустра, тогда можно будет купить пальтишко Янцису — осенью ему уже пора идти в школу.

Первыми ушли спать малыши. Потом стали позевывать отец с матерью. Аугуст остался на дворе один. Он сидел на скамье перед хибаркой и поглаживал устроившегося на коленях старого, сладко мурлыкавшего кота. Вдали темнели строения усадьбы Лиепниеки, в одном окне горел еще свет. Как волчий глаз, глядело из темноты это окно на Аугуста, и он долго наблюдал за ним. Как тихо, как одиноко... И все же приятно побывать среди родных — с их мечтами, с их невзыскательным счастьем, которого не могла нарушить злоба и зависть врагов, как в свое время не могла убить в юном Аугусте дух борьбы полицейская нагайка. На спине еще остались красные рубцы от заживших ран, но они больше не болят. В ожидании исполнения больших мечтаний и надежд сладко замирало от нетерпения сердце юноши. 2

— Товарищ Вевер, там какой-то человек просит принять, — доложила Понте машинистка, исполнявшая обязанности и секретаря.

— Фамилия?

— Забыла спросить. По очень важному и срочному делу, говорит. Решить можете только вы.

— Дайте ему бумагу и конверт, — сказал Понте. — Пусть напишет о своем деле. Видите, я занят.

— Хорошо, скажу. — Машинистка вышла.

Некоторое время Понте никто не тревожил. Он перелистывал списки уездных работников, просматривая фамилии членов волисполкомов, руководителей МТС, совхозов и кооперативных организаций. Против каждой фамилии ставил черточки синим или красным карандашом. Иногда вместо черточек помечал их крестиком, но опять цвет карандаша придавал пометкам тайный смысл.

Снова вошла машинистка.

— Товарищ Вевер, он отказывается писать, ему надо поговорить с вами лично. Согласился подождать, пока вы не освободитесь. Что ему сказать?

— Ну, пускай входит, теперь все равно покоя не даст.

Понте закурил папиросу и склонился над бумагами с видом крайне занятого человека. Но когда в дверях показалось круглое румяное лицо толстячка и посетитель, улыбаясь, спросил: «Можно, Кристап?» — заместитель председателя уездного исполкома нервно вскочил со стула и устался на вошедшего.

— Заходи, Абол. Почему сразу не сказал, что это ты?

— Ну, знаешь, легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем простому смертному попасть к тебе. Так-то ты поддерживаешь связь с массами?

Улыбаясь, они пожали друг другу руки.

— Будь покоен, Абол... — тихо произнес Понте. — Связь с массами имеется. Спрашивается только — с какими... Ты из Риги?

— Так точно. Несся, как ветер, чтобы повидать тебя.

— А что, очень спешное дело? Может, подождать до обеда, тогда пойдем ко мне на квартиру. Там можно говорить свободнее.

— Наверяд ли это лучше. Вчера прибыл представитель от... превосходительства. Важные указания. Надо активизироваться. Да ты ведь сам знаешь, как действовать, — руководство поручено тебе.

Они присели к письменному столу и долго перешептывались. Абол окончил свой доклад, а Понте все еще молчал. Потом заговорил и он, еще тише, еще лаконичнее, чем Абол. Посланец все время кивал головой: понял, понял.

— Немедленно поезжай обратно в Ригу и смотри — не напутай, — сказал в конце беседы Понте. — Продержись в своей роли до конца. Боже тебя упаси взять в рот хоть каплю. Ни одного лишнего слова! Говорю ради твоей же пользы. Понял?

— Все ясно, Кристап, сейчас же сажусь на мотоцикл и качу обратно. Моя миссия кончена. Только не забудь старого друга, когда начнут делить медвежью шкуру. Я думаю, что мои заслуги оценят.

— О таких пустяках не беспокойся, Абол. — Понте положил руку на плечо толстяка и торжественно произнес. — Мы тебя не забудем. Ты получишь видную должность. До свиданья.

— Будь здоров, Кристап. Надеюсь, что при следующей встрече мы сможем выпить как следует.

Абол ушел. Понте услышал, как заработал мотор мотоцикла, потом он собрал списки уездных кадров и еще несколько важных документов и сунул в портфель. Машинистке он сказал, что уезжает по делам в волость, а вместо себя оставляет секретаря уисполкома.

— Обратно буду утром.

Секретарь уездного комитета партии и председатель исполкома были в это время в Риге на пленуме Центрального Комитета партии, а со вторым секретарем Понте не считал нужным говорить о делах. Он немедленно тронулся в путь, так как его мотоцикл с прицепом всегда был наготове.

Миксит шагал впереди и показывал дорогу. Этот человек действительно обладал каким-то шестым чувством. На пути не попадалось ни тропинок, ни зарубок на деревьях, а он уверенно шел напрямик сквозь чащу, потом долго вел Понте густым кустарником и опять частым лесом. Наконец, они достигли болота, и Миксит снова безошибочно нашел поросшую вереском тропинку к расположенному среди чарусы острову. Черная вода отсвечивала в бездонных болотных «окнах». Раздался крик какой-то птицы. Миксит сложил ладони у рта и

закричал, подражая верещанью зайца. Птица крикнула еще раз.

— Все в порядке, — объяснил он Понте. — Они ждут нас.

Наконец-то Понте удалось собственными глазами увидеть «зеленую гостиницу». Ночью ничего нельзя было разобрать, да и при дневном свете трудно было что-нибудь заметить здесь с первого взгляда. В самом высоком и сухом месте была вырыта огромная землянка, надежно замаскированная окружавшими ее ветвистыми соснами. Это был целый комбинат с кухней, баней, складом, с одним большим и множеством маленьких жилых помещений Радзинь с Ницманом в свое время порядком потрудились, оборудуя по указанию Никура это логово. Там была радиоаппаратура и маленькая типография, а склад напоминал небольшой арсенал. Несколько постов круглые сутки охраняли «зеленую гостиницу». В большом помещении на стене висели портреты Ульманиса и Никура в парадном облачении — во фраках и с орденами.

Когда все обитатели «зеленой гостиницы» собрались в большом помещении, Понте почувствовал себя даже как-то неловко. Он знал в лицо большинство этих людей, занимавших когда-то видное положение, и ему казалось странным, что он, заурядный шпик охранного управления, не только сравнялся с ними, но даже стал чем-то вроде начальника и распорядителя всей этой важной компании. Тут было несколько директоров департаментов, несколько высших военных чинов, командиры айзсаргов и один из самых черносотенных журналистов. Самоуверенно держался олдермен студенческой корпорации Индулис Атауга. Старший лесничий Радзинь, тоже приглашенный на это важное совещание, смиренно жался в самый темный угол. Лесника Миксита на совещание не пустили, он сидел в передней и ждал, когда его позовут, если это вообще будет нужно.

Взгляды, устремленные на Понте, вопросительные взгляды более двадцати пар глаз, сильно его смущали. Он несколько раз откашлялся, вытер платком вспотевший лоб и начал:

— Уважаемые господа... имею задание сообщить вам, что мы должны ожидать скорой развязки. Скоро настанет конец вашей конспиративной жизни в «зеленой гостинице». Верховное руководство признало необходимым, чтобы каждый из нас в ближайшие дни находился на своем посту и был готов выполнять полученные задания. Господин Никур прислал мне из-за границы указания, что война между Германией и Советским Союзом может начаться в любой ближайший день. Надо ждать, что война долго не затянется и, может быть, уже через несколько недель закончится победой Германии. Задание такое: как только начнется война, каждому из вас надо будет направиться в свой район и начинать действовать против большевиков и Красной Армии. Нельзя допустить, чтобы советские активисты ушли у нас из-под рук, их надо ловить и истреблять. Надо стрелять в спину большевистским войскам, мешать отступлению Красной Армии, разрушать линии связи. Руководителям боевых групп придется действовать самостоятельно, не ждать подробных указаний на каждый случай. Надо постараться захватить в свои руки власть, как только большевики начнут уходить. Обязательно составлять черные списки по всем городам и волостям. Расправу можно начинать, не дожидаясь установления военно-полевых судов.

— Вот это здорово! — не удержался Индулис Атауга. — Теперь мы поработаем. На каждом телефонном столбе будет висеть по большевику или комсомольцу.

— У меня черный список уже готов, — сказал командир роты айзсаргов Зиемель.

— Верховное руководство рекомендует сейчас же начать активизацию наших людей, — продолжал Понте. — Пусть каждый проверит свое оружие. Когда начнется война, всем нам надо распространять тревожные слухи, подымать панику, беспорядки. Только пусть каждый сам рассчитает, когда ему выступить открыто. Некоторых, кто слишком рано снял маску, чекисты арестовали и выслали в Сибирь. В нашем уезде вчера арестовали шесть человек. В

их числе два командира айзсарговских батальонов. Слишком рано высунулись из своих тайников Нельзя спешить...

— Но нельзя и запаздывать, — вырвалось у одного из полковников. — Работенки много. У меня давно уже руки чешутся. Пора, пора начинать войну.

— Гитлеру не придется жалеть, что он понадеялся на нас, — прозвучал из угла комнаты голос бывшего главного лесничего Радзиня.

— Сейчас надо подумать о генеральном оперативном плане, — заговорил Индулис Атауга. — Я думаю, что господа полковники могли бы разработать его для нас всех. Важнейшие направления, дислокация... все надо наметить сейчас. Надо подумать и о том, как мы будем поддерживать связь друг с другом. Я хочу просить, чтобы моей группе доверили особое задание. Что-нибудь вроде летучей карательной экспедиции. Вешать, расстреливать, обрабатывать нагайками... Это работа деликатная.

— Почему именно вашей группе? — возразил Зиемель. — Мои айзсарги и полицейские сделают не хуже.

Кристап Понте понял, что эту компанию убеждать и уговаривать не придется. Как кровожадные псы, рвались они с цепи в предвкушении поживы. То-то будет зрелище, когда этой своре дадут волю!

Перед рассветом Понте вернулся к Микситу и сразу же сел на мотоцикл, чтобы поспеть в исполком до возвращения из Риги председателя. 3

В конце марта в жизни Гуго Зандарта наступило некоторое однообразие. Перестал существовать приют Оттилии Скулте на улице Валдемара, а сама почтенная дама попала под суд. Во время обыска Зандарт, благодарение богу, находился на ипподроме, и жестокий шквал миновал его. Выступавшие свидетельницами женщины не знали фамилии Зандарта, и хотя в протоколах фигурировал «низенький гражданин с круглым румяным лицом», рука следователя до него не дотянулась. Спасибо еще Оттилии Скулте: эта женщина держалась стойко и своих главных клиентов не выдала.

Да, салон Оттилии Скулте был ликвидирован, и сама она на некоторое время сошла со сцены. Теперь Гуго Зандарт не знал, чем заполнить свободные часы. Эдит за последнее время редко показывалась в обществе и чаще одного раза в неделю не принимала его. Начать ходить по ночным ресторанам и удовлетвориться проблематичной дружбой тамошних дам? На следующий день об этом будут знать все рижские болтуны, а Паулина не допустит, чтобы ее семейная жизнь стала притчей во языцех. И потом — это слишком вульгарно, не хватает аромата приключения: Зандарт не мог обойтись без иллюзий.

Он попытался однажды приударить за официанткой клуба, которую недавно приняли на работу, но получил такой отпор, что даже струхнул. Просто никакой жизни не стало.

Зандарт затосковал. Скорее бы хоть наступили перемены, опять бы все пошло, как в доброе старое время. Он присмотрел славненькую дамочку, которая не отказала бы ему в дружбе, если бы последняя была связана с некоторыми житейскими благами. Нужна была только подходящая обстановка. Из туманных намеков Эдит можно было понять, что долго ждать не придется, но лошадь сильнее всего чувствует жажду как раз перед ее утолением, когда до ручья, сулящего избавление от страданий, остается лишь несколько шагов.

Зима кончилась. В хмельной истоме благоухала весна. Снова пришел июнь. Люди думали о море и солнце, о дачах, о летних удовольствиях. И когда Зандарт получил от Эдит приглашение явиться вечером к ней на квартиру, он понял, что теперь долго ждать ему не придется.

Любезно-деловито встретила его Эдит.

— Ты, надеюсь, хорошо отдохнул, мой милый судачок. Что ты скажешь, если я заставлю тебя немного поработать? Работа всегда на пользу человеку.

— В зависимости от вознаграждения, дорогая.

— Разве я тебя когда-нибудь обижала?

— Я ведь не жалуясь.

— Ты знаешь, что тебя ждет большая награда, когда мы будем подсчитывать, кто что сделал и кто чего заслуживает. Заслуги у тебя не маленькие, но сейчас я хочу дать тебе возможность выслужиться еще больше.

— Ты меня никогда не обижала.

— А я что говорю? — улыбнулась Эдит. — Ну, пойдём в комнаты, здесь неудобно говорить о делах.

Она повела Зандарта в спальню, усадила у окна и сама села близко-близко, так что он сразу почувствовал, что пьянеет.

Эдит говорила тихо. Зандарту приходилось наклоняться, чтобы расслышать ее;

— Ты помнишь списки с плюсиками и минусиками? Теперь пришло время воспользоваться этими крестиками и проверить минусы.

— Как проверить? — спросил Зандарт.

— Сейчас расскажу, но сначала ты должен понять, что твоя жизнь в опасности.

— Не может быть, — испугался Гуго. — Честное слово, я так осторожно действую, что даже Паулина ничего не заметила.

— Пока-то тебе ничего не грозит, но может угрожать в ближайшие дни, если ты хоть одному человеку проговоришься о том, что я тебе скажу. Тогда тебе конец.

— Господи боже мой, да разве я какой болтун? — обиделся Зандарт.

— Я хотела только предупредить тебя. Видишь ли, мы раскрываем тебе большую тайну. Пока об этом знают три человека во всей Латвии, ты будешь четвертым.

Теперь Зандарт понял, что заслуги его оценены и что его действительно ждет блестящая будущность. Один из четырех самых надежных людей во всей Латвии!

— Скоро начнутся важные события, — шептала Эдит. — Будет война. Немецкая армия танками и авиацией проложит путь своей пехоте. Чтобы уменьшить число жертв и быстрее достигнуть успеха, нам надо организовать

свою фронтную линию в тылу у противника. Ригу надо сделать боевым плацдармом еще до того, как наши передовые части подойдут к границам.

— Пятая колонна? — спросил Зандарт.

— Да, но это не значит, что тебе придется самому взяться за оружие. Твое задание гораздо важнее и ответственнее. Ты сегодня же должен обойти все квартиры, владельцы которых отмечены в списках двумя крестиками. Я думаю, они самые надежные. Ты поговоришь с ними

и попросишь спрятать нескольких молодых людей, которые явятся к ним на этих днях. Людей этих они узнают по паролю. Конечно, их надо будет кормить и устроить так, чтобы соседи ничего не знали. Договоришься с одним — отправляйся к другому, и каждый вечер докладывай мне о результатах.

— Довольно рискованный номер... А если не на того нарвешься?

— Да ведь я посылаю тебя к самым надежным, у кого два крестика.

— А с минусами что делать?

— Ничего особенного. Только проверить, живут ли они на прежних квартирах. Если кто переехал, узнай новый адрес. Никто не должен исчезнуть, ускользнуть из наших рук.

— Ох, Эдит, — вздохнул Зандарт. — С этими делами я совсем забросил свои конюшни. Кто за лошадками присмотрит?

— С лошадками ничего не случится, если ты их не увидишь с неделю. Нам надо о людях думать.

Эдит вынула из тюбика с губной помадой крошечную бумажную пульку. Развернула ее. Это был список фамилий, написанных так мелко, что разобрать их можно было лишь с помощью сильной лупы. На маленьком клочке помещалось тридцать семь фамилий с адресами.

— Храни как зеницу ока, — приказала Эдит, — в случае опасности проглоти. Завтра вечером жду первого донесения. До свидания, Гуго. Немедленно приступай к делу.

Зандарт сразу скис.

— Это с сегодняшнего вечера?

— Не с вечера, — начинай с этой самой минуты. Не теряй драгоценного времени, Гуго. Надеюсь, что ты за три дня со всеми договоришься.

Зандарт замялся, давая понять, что это далеко не все, чего он ожидал от свидания. Эдит поцеловала его и лукаво подмигнула:

— Завтра вечером, Гуго... если придешь с хорошими новостями.

Зандарт стал обходить квартиры. Скоро настроение его стало улучшаться. Все помеченные двумя крестиками оказались подходящими людьми. Понимали с полуслова и сразу соглашались... Он жалел только, что их так мало. Только тридцать семь среди многих тысяч — прямо ничтожная цифра! 4

В воскресенье, пятнадцатого июня, к Силениеку на Взморье приехали в гости Карл Жубур, Айя и Юрис. Знойным полднем они сидели на веранде маленькой дачки и разговаривали. Силениек подошел к окну веранды и стал глядеть на море. Примыкающий к даче небольшой садик был полон роскошной зелени. Жаркий солнечный день, цветы, синева моря, легкие светлые костюмы — все это способствовало праздничному настроению.

— Эх, Андрей, — стараясь сдержать нахлынувшие на него чувства, заговорил Юрис Рубенис. — А ведь не приходится нам стыдиться своей работы, — все-таки сделали кое-что за одиннадцать месяцев. Народ нас ни в чем не упрекнет.

— Ты прав, Юри, кое-что мы сделали. — Силениек повернулся к остальным. — Трудовой народ видит и понимает, что советская власть — это его власть. Поработать так еще год — и можно будет немного отдохнуть. А за несколько лет у нас подрастет своя, советская

интеллигенция, будут свои, советские специалисты. Насколько легче будет тогда работать!

— Да и сегодня уже легче, чем вначале, — сказал Юрис. — Я это на себе чувствую.

— Больше опыта накопилось, — ответил Силениек. — Мы лучше знаем людей, знаем, что они могут, чего нет. Да и люди многому научились за это время. Погодите, вот когда будут пущены в ход новые заводы, когда крестьяне-новохозяева соберут первый урожай, когда отпразднуем в Москве нашу декаду искусств, — какой гордостью наполнится тогда сердце каждого латыша. Дайте нам только чуть побольше времени. Прекрасная будет жизнь, друзья!

Но что-то оставалось невысказанным. Айя уловила в улыбке Силениека оттенок грусти. Он мечтал, как пахарь, который, наблюдая за созревающей нивой, думает о грядущем урожае, но в глубине души тревожится заботой: как бы не надвинулась гроза, как бы не побилو жестоким градом все, что возвращено с такой любовью. К радости и гордости за достигнутое примешивалось тяжелое предчувствие: что-то угрожало этой солнечной тишине. Об этом говорили постройка убежищ, учебные противовоздушные тревоги, бесстыдное появление немецких самолетов над Латвией. Об этом говорили и лица бывших айзсаргов и полицейских, и появлявшиеся на дорогах подозрительные типы, и лесные пожары. Что-то уже тлело, кое-где уже начинало дымить.

Жубур успешно окончил второй курс экономического факультета. Петер Спаре собирался осенью поступать в университет. Впереди открывалась большая жизнь и работа, и они восторженно глядели в будущее. Были и заботы. Но разве они приехали сюда только для того, чтобы думать и разговаривать о своих тревогах и заботах? Имели же они право отдохнуть хоть один день за все одиннадцать месяцев напряженной работы. Как и всех здоровых, жизнерадостных людей, их радовала свежая зелень, пение птиц в кустах сирени, и эта морская даль, и теплый июньский воздух.

Когда полуденный зной спал, решили пройтись по пляжу. На каждом шагу встречались знакомые. Дети играли на дюнах, взрослые загорали, веселые голоса людей сливались с криками чаек, носившихся над отмелями.

Найдя камень потяжелее, Силениек попробовал закинуть его как можно дальше. Айя, хлопнув по плечу Юриса, крикнула: «Лови!» Босая, быстроногая, проворная, она делала такие петли, что Юрису долго не удавалось ее догнать.

Потом они пошли в сад играть в волейбол, а после обеда разошлись кто куда. Жубур, лежа в гамаке, читал Чехова, Айя с Юрисом пошли к киоску есть мороженое и с аппетитом уничтожили по две порции. Силениек все ждал Прамниека с Ольгой. Он их тоже пригласил, и они обещали, но так и не пришли. Он решил, что у них самих были гости.

Так прошел день отдыха — пятнадцатое июня 1941 года. Айя, Юрис и Жубур вернулись с вечерним поездом в Ригу. Силениек остался один. Далеко за полночь засиделся он на скамейке перед дачей. Ночной ветерок шевелил листву. Бессильные, бледные звезды пытались блеснуть, но у них ничего не выходило, — отблеск заката простер руки навстречу близкой утренней заре, не давая мраку взять верх.

«Да, теперь можно было бы жить, можно бы свить и свое гнездо», — подумал Силениек.

У Андрея Силениека было много товарищей, связанных с ним крепкой дружбой. Вот только не было самого близкого, к кому можно прижаться горячим лбом, когда устает сердце, когда подкрадывается грусть. А он, как и всякий человек, испытывал потребность в ласке, но в этом ему до сих пор было отказано.

Тихо дышала ночь. Как неотвязная мысль, докучливо-долго жужжал неизвестно откуда взявшийся комар. Андрей Силениек слышал, как стенные часы пробили три раза, а он все

еще сидел и думал.

«Да, теперь можно было бы жить. Крепкая целина поднята, плодородные пласты земли повернуты к солнцу».

Хорошо как... Народу хорошо. Благодатный труд оплодотворял страну, и жизнь могла быть счастливой, прекрасной... Все человечество должно желать этого.

Почему именно его поколение должно выдержать самую великую бурю? Может, в этом его счастье?

Тяжелое, трудное счастье... оно уже стучалось в двери. 5

Восемнадцатого июня Ояр Сникер приехал в Ригу по делам фабрики. Ехать собственно должен был директор, но так как некоторые вопросы приходилось разрешать в Центральном Комитете партии, то послали Ояра. Узнав о его приезде, Петер Спаре позвонил всем своим товарищам по тюрьме и предложил устроить вечер воспоминаний — наступала годовщина их освобождения из рижского централа. В связи с празднованием дня Лито, который приходился на вторник, воскресенье 22 июня было объявлено рабочим днем, и Ояру утром этого числа надо было быть в Лиепае. Поэтому годовщину решили отпраздновать двадцатого вечером.

Собрались у Айи. Петер пришел один, Элла была беременна и не могла участвовать в вечеринке. Последними пришли Андрей Силениек с Крамом. Единственный человек в этой компании, не испытывавший тюремного застенка, был Юрис Рубенис, но у них и не было намерения приглашать одних бывших политзаключенных.

Вспоминали каждую подробность своей последней ночи в тюрьме. И то, что каждый перечувствовал, и то, что думал и что делал... Таинственное перешептывание тюремщиков, необычайное оживление во всех корпусах... Неизвестно кем отданное некоторым заключенным распоряжение собирать вещи...

— Я вам говорю, что они собирались покончить с нами в последнюю ночь, — сказал Петер Спаре. — Посадить в «черную Бертю», отвезти за город в тихое место и убить. Все было бы шито-крыто, и в день освобождения не было бы среди нас ни Андрея с Ояром, ни многих наших друзей.

— Может быть, двадцать первого июня вообще некого было бы освобождать, — сказал Силениек. — Если бы им удалось увезти первую партию, они взялись бы и за остальных. Бикерниекский лес недалеко. За одну ночь можно было сделать несколько рейсов.

— Выходит, они хотели устроить варфоломеевскую ночь? — сказал Юрис. — А ведь верно — айзсарги и молодчики из штабного батальона были приведены в боевую готовность. Ждали только сигнала, чтобы начать.

— Да, был у них такой план, — ответил Силениек. — Хлопнуть дверью... Теперь это известно. Весь рижский полк айзсаргов был разбит на террористические группы. Каждой группе отвели особый участок, определенное число рабочих семей, которые числились в списках охраны. Если бы они осуществили свой кровавый план, мы в первое время остались бы без кадров и актива.

— Нас тоже не было бы, — заметила Айя.

— Они хотели сломать партии хребет, — сказал Крам. — Вместо старых товарищей пришлось бы идти на ответственную работу начинающей зеленой молодежи, без стажа и знаний.

Участник гражданской войны, Крам любил напоминать о своих заслугах и немного свысока

смотрел на товарищей, вступивших в партию после 1930 года. Сам он лет десять как остановился в развитии. Он всегда и во всем требовал крайней прямолинейности. Слишком медленными и осторожными казались ему темпы перестройки за прошедший год. Ему не терпелось видеть молодую, формирующуюся Советскую Латвию такой, какой она должна была стать в результате естественного развития через несколько лет. Будучи сам полнейшим аскетом, он осуждал малейшую человеческую слабость. Кружка пива, новый костюм, танцы в его глазах были блажью, пережитками прогнившего капитализма, от которых надо немедленно освободиться.

И Силениек, и Петер, и другие давно знали нрав Крама. И хотя в тот вечер на столе стояли бутылки пива, они не чувствовали неловкости, когда Крам отказывался от предлагаемого ему стакана. Ояр каждый раз наливал ему лимонаду, чтобы он не оставался в одиночестве.

— Дели с нами грех пополам, — говорил он.

— Почему ульманисовцы отказались от своих намерений? — спросил Юрис, и сам же ответил: — Потому что силенок не хватило. Потому что у тюремных ворот стояли советские танки и Поммер получил предупреждение: «Попробуй только начать, тогда тебе конец».

— Кроме того, генерала Праула в ту ночь вызвали на первое неофициальное заседание совета министров и сказали, чтобы он немедленно убрал с улиц своих айзсаргов, иначе гнев народа сотрет их в порошок, — продолжал Силениек. — В том, что предупреждение не было пустым звуком, Праул убедился на заседании. Могучие советские танки и бронемшины, стоявшие на перекрестках, не обещали ничего хорошего зачинщикам погрома. А таких героев или фанатиков, которые не побоялись бы идти с оружием в руках на верную смерть, у наших противников не нашлось.

— Эта публика всегда трусит в подобные минуты, — сказал Петер.

Когда наговорились о пережитом в ту историческую ночь, Ояр Сникер решил, что все участники вечера настроены слишком серьезно.

— А помните, как мы, под самым носом у надзирателя, играли в карты?

Крама укоризненно взглянул на Ояра, но тот сделал вид, что не замечает этого взгляда.

— Ах да, расскажи, Ояр, — попросил Петер. — Не все ведь знают.

— У нас в камере сидел один веселый парень, по фамилии Пакалнынь. Днем он работал в швейной мастерской. Однажды он проигрался в карты и спустил все свое арестантское богатство. Тогда он поставил на кон свою куртку. Перед самой решающей партией специальная комиссия произвела оценку куртки и составила акт, чтобы все было как полагается. Перечислили карманы, пуговицы, каждую примету и договорились, что в случае проигрыша Пакалнынь обязан в семь часов вечера отдать куртку выигравшему. Председателем комиссии был наш уважаемый товарищ Крам. Ну, куртку Пакалнынь, конечно, проиграл. После этого его увели на работу. Когда он вернулся, его не беспокоили, но в семь часов Крам объявил, что куртку пора отдавать. Однако парень и не подумал с ней расстаться. Он с самым серьезным видом вынул из кармана маленькую-маленькую модель куртки, которую можно было надеть только на мизинец, и положил на стол: «Прошу принять по акту, соответствует ли описи?» Конечно, все было в точности — число карманов, пуговиц, фасон. Тут новый хозяин куртки рассердился: «Чего ты дурака валяешь? Я тебе не кукла!» А Пакалнынь преспокойно отвечает: «Все предусмотрено актом, только размер не обозначили, пусть комиссия решает, кто прав». После долгого обсуждения комиссия вынуждена была признать, что прав Пакалнынь. Правильно, Крам, ты ведь сам объявлял решение?

— А что я мог поделаться? — проворчал Крам. — Оставил он нас всех в дураках. Интересно,

где сейчас этот Пакалнынъ?

— Заведует швейной мастерской, — ответил Силениек. — И хорошо работает. Предприятие уже несколько раз премировали.

— Ну, я желаю ему удачи, — смеясь, сказал Ояр. — Когда соберусь жениться, закажу ему костюм.

— Давно пора, — засмеялся Петер. — Только ты что-то долго невесту выбираешь.

Ояр усмехнулся, пожал плечами и притих. Айя задумчиво смотрела на него. Из всех присутствующих она одна догадывалась о сердечной ране Ояра.

— Когда ты уезжаешь? — спросила она его.

— Завтра вечером.

— Почему ты не зайдешь в райком комсомола? Хочется послушать, как вы живете в Лиепае.

— Как живем, Айя? Каждый день какая-нибудь немецкая машина пролетает над городом.

— И вы им позволяете?

— Зачем позволять! Наши летчики сейчас же поднимаются в воздух и просят незваных гостей убраться прочь.

— Ояр... — Айя заговорила тихо, чтобы остальные не слышали. — Руте живется плохо. Правда, она еще крепится, ничего не говорит, но я все вижу.

Ояр сжал губы и опустил голову.

— Приходи завтра в райком. Придешь?

— Сам не знаю, Айя, может быть и приду.

Он примолк и, посидев еще немного, встал из-за стола и, ни с кем не попрощавшись, незаметно вышел. Оглянувшись в дверях, он встретил ласковый, понимающий взгляд Айи.

В ту ночь он долго ходил мимо дома, где жила Рута. Не горел ни один фонарь, черные окна домов глядели в темноту. Редкие машины проезжали с потушенными фарами. Странной, настороженно тихой и призрачной казалась в ту ночь Рига. Проходила проверка противовоздушной обороны.

Ояр не зашел на следующий день в райком комсомола. Он весь день носился по городу, заканчивая оставшиеся дела, а когда все было сделано, сел отдохнуть на скамейку у городского канала и снова, как тогда, в прошлом году, смотрел на величаво проплывавших мимо белых птиц.

На вокзал Ояр пришел за целый час до отхода поезда. Прогуливаясь по пассажирскому залу, он несколько раз подходил к телефону-автомату, но у него так и не хватило решимости позвонить Руте. Когда пассажиров стали выпускать на перрон, он поднялся наверх и занял в вагоне место у окна. Тяжело было у него на сердце. Безумная, страстная мысль, родившаяся в мозгу, не оставляла его. Если бы что-нибудь произошло, если бы налетела буря и перевернула всю его жизнь, всю, до самого основания! Тогда можно будет отдаться стихии, забыть все мелкие горести, целиком переплавить себя в великом горне или погибнуть славною смертью! Что-то должно наступить, что-то должно случиться!

Всю ночь он провел без сна. 6

В субботу вечером Силениек надолго задержался в райкоме, проверяя, на всех ли предприятиях готовы к завтрашнему рабочему дню. Он допоздна разговаривал по телефону с директорами и парторгами, после чего сел в машину и объехал свой район. Проверка противовоздушной обороны продолжалась, но то ли жители не приняли ее всерьез, то ли они не подготовились как следует, а было еще много случаев нарушения правил. В некоторых квартирах окна не были замаскированы, а люстры горели полным светом. Появлявшиеся на улицах запоздалые пешеходы почему-то разговаривали полупрошепотом.

В половине второго Силениек велел шоферу Эвальду Капейке ехать на Взморье. Они проехали жутко тихими улицами Задвинья. У железнодорожного переезда пришлось подождать. По другую сторону шлагбаума стоял темный лимузин и несколько велосипедистов. Все в одинаковых, тяжелых, подкованных гвоздями ботинках, зеленовато-серых спортивных френчах и темных кепи с большими козырьками.

— Куда это вы так поздно? — шутиливо окликнул их Силениек.

Велосипедисты переглянулись, но ничего не ответили. Проезжая мимо, Силениек заметил у каждого из них на спине брезентовый рюкзак.

На станции Бабите окна были ярко освещены. «Надо будет запомнить, — подумал Силениек. — Завтра же проверю, почему игнорируют правила».

Понтонный мост через Лиелупе был разведен. Надо было ждать почти час, пока пропустят буксир с баржами. В это время из лесу выехала какая-то спортивная машина с включенными фарами.

— Скажи им, Эвальд, пусть выключат свет, — сказал Силениек шоферу.

В темном облачном небе гудел мотор самолета. Воды Лиелупе были черны, как деготь.

— Он меня к черту послал, — доложил Капейка. — Не приставай, говорит, иначе будет плохо. Документы предъявлять отказывается.

— Тогда возьми ключ и разбей фары, — сказал Силениек. — Я за это отвечаю.

Повторять шоферу не пришлось. Раз-два — и фары потухли. Долговязый мужчина вылез из машины и начал ругаться.

— Вам за это попадет! Не только новые фары поставите, но и в тюрьму сядете. Сегодня же доложу куда следует.

— Кто вы такой? — спросил Силениек.

— Вам что за дело?

Силениек вышел из машины.

— Предъявите документы.

— И не подумаю. Еще каждому шути документы показывать!

— Посвети минутку! — крикнул Силениек шоферу. — Посмотрим, что это за птица.

При свете карманного фонаря Силениек увидел сухощавое лицо, тонкий нос с горбинкой и горящие злобой глаза. На голове точно такая же кепка, как у велосипедистов у переезда. В машине за рулем сидела молодая девица.

— А-а, — сказал Силениек. — Если не ошибаюсь, доцент Гринталь из университета? Это еще что за штучки, гражданин Гринталь?

Гринталь отвернулся и замолчал.

— Хорошо, мы поговорим с вами завтра.

Вскоре подняли шлагбаум, и они тронулись. На дачу Силениек приехал в три часа ночи. Он было хотел пойти к морю выкупаться, но его остановил телефонный звонок.

— Какой у вас номер? — спросили Силениека на другом конце линии.

Он назвал номер. После паузы в трубке послышался мужской голос:

— Это ты, Арнольд?

— Да, — ответил Силениек.

— Я опять здесь, — продолжал неизвестный. — Ты разве не узнаешь по голосу? Твой комильтон Герберт... сегодня прибыл на серебряной птице. Говорю из автомата. У тебя все в порядке?

— Все в порядке, — покашливая, ответил Силениек, чтобы изменить голос.

— Тогда минут через двадцать я буду у тебя.

— Жду... Герберт.

Силениек позвал Капейку.

— Немедленно поезжай в отделение милиции и привези нескольких милиционеров. Сейчас мы будем иметь дело с незваными гостями.

Когда шофер уехал, он позвонил начальнику отделения милиции. Тот обещал приехать сам.

Следующая четверть часа была богата событиями. Через пять минут вернулась машина с начальником отделения и двумя милиционерами. Силениек рассказал о загадочном телефонном звонке и своих дорожных наблюдениях.

— Здесь дело нечисто. Может быть, наш гость внесет некоторую ясность в эти события.

Они составили план действий. Силениек вышел на веранду, оставив дверь приотворенной. Милиционеры спрятались в садике. Вскоре у калитки показался стройный мужчина в спортивном френче, с рюкзаком на спине. Как человек, знакомый с обстановкой, он откинул крючок калитки и, озираясь по сторонам, направился к веранде.

— Арнольд, ты где? — спросил он.

Силениек очень хорошо знал, где находится Арнольд: несколько месяцев тому назад бывший владелец дачи был арестован за подготовку вооруженной диверсии и выслан из Латвии. Он кашлянул, давая понять, что находится на веранде. Когда пришедший отворял дверь веранды, к нему с двух сторон бросились милиционеры. Начальник отделения обыскал его. В кармане брюк нашли револьвер. Под френчем был сложенный пополам автомат. В рюкзаке оказались боеприпасы, карты, а в самом низу форма старшего лейтенанта Красной Армии. Документы были на имя командира латвийского территориального корпуса Гайлита, но в потайном кармашке, под подкладкой френча, милиционеры нашли старый латвийский паспорт на имя Герберта Аугсбурга.

— Я ничего не скажу, — заявил арестованный. — Можете допрашивать, но от меня все равно ничего не узнаете.

Его отвели в отделение милиции, а вскоре стал ясен и смысл всех таинственных событий этой ночи. В пятнадцать минут пятого утром 22 июня Силениеку позвонил из Риги дежурный по райкому:

— Товарищ Силениек, вам нужно сейчас приехать в райком. Только что звонили из Центрального Комитета. Началась война... немецкие самолеты бомбят Лиепаю и Вентспилс.

В первый момент Силениек растерялся, как бывает с человеком, когда его глаза внезапно ослепляет сильный свет, но тут же его мысли приобрели необычайную отчетливость.

«Значит, началось... — подумал он. — Свора спущена...

Теперь это свершившийся факт...»

Напряженное чувство неизвестности рассеялось, и все вдруг стало ясным, понятным до конца.

«Да... война против всех советских народов, против мира социализма...»

Снова наступают тяжелые времена. Борьба не на жизнь, а на смерть. Но в то же время он чувствовал, что с каждой минутой силы его прибывают. Крепнет воля к борьбе. Все существо властно требовало деятельности.

— Спокойно, Андрей, — сказал он себе. — Без нервозности, без суеты.

— Эвальд, — стал будить он шофера, который только что улегся спать. — Теперь, друг, спать не придется. Едем сейчас в Ригу. Захвати все свои вещи, — неизвестно, когда мы сюда вернемся... Война началась, старина.

— Началась? — с шофера сон как рукой сняло. — Ну, раз война так война. Повоюем, товарищ Силениек. Надаем Гитлеру по шеям. Давно заработал.

Силениек собрал бумаги и кое-что из платья. Через двадцать минут машина уже мчалась обратно в Ригу. Постепенно пробуждаясь, в предутренней мгле лежал большой красивый город, не подозревая, какая угроза над ним нависла. Где-то уже гремела канонада, бесновался огненный смерч и гибли люди... А Риге еще снился тихий, спокойный сон. Воздух был насыщен пьянящим ароматом цветущих кустарников, и птицы восторженно запевали свои беспечные песни солнцу и жизни.

Машина неслась по пустынным улицам к центру города.

Глава десятая

1

Никогда еще в такой ранний час не было видно у здания Центрального Комитета столько машин. На улицах только начали появляться редкие пешеходы, резко звучат звонки первых трамвайных вагонов, а к Центральному Комитету подъезжают все новые и новые машины. Прибыли секретари, члены Бюро, руководство Совнаркома и народные комиссары, работники горсовета.

Просторный кабинет секретаря Центрального Комитета Калнберзиня полон людей. Первые

лучи солнца золотили липы на бульваре Райниса. В распахнутые окна лился свежий, благоуханный воздух. И снова, так же как по дороге в Ригу, Силениек остро ощутил контраст между невозмутимым спокойствием природы и предчувствием бури, которое переполняло людей. Поджидая запаздывающих, все разговаривали вполголоса.

Ровно в семь часов утра 22 июня началось чрезвычайное заседание, и хотя еще мало что было известно о ходе событий на границе Советского Союза и Германии, на этом заседании были намечены главнейшие руководящие линии той большой работы и исторической борьбы, которую трудящиеся Латвии вели потом в продолжение трех с половиной лет.

Заседание открыл Калнберзинь. Сначала он говорил спокойно, тихо, вполголоса, как бы подыскивая подходящие слова и выражения для того важного, огромной значимости известия, которое придавало теперь новый смысл и содержание всей жизни советского народа. Постепенно он загорался. Под густыми бровями засверкали глаза, они как бы пронизывали участников совещания и зажигали их.

— Вековечный враг нашего народа снова стучится в двери Родины. Потомки тех же прусских юнкеров и баронов, чьи отцы, деды и предки семь веков пили кровь и пот латышского народа, сегодня в образе гитлеровских фашистов хотят ворваться на нашу землю и сделать нас снова рабами. Допустим ли мы это? Нет, никогда! Вместе со всеми советскими народами все честные и любящие свободу сыны и дочери латышского народа возьмутся за оружие и станут на борьбу с подлым противником. Никогда латыши не станут рабами немцев. Наша задача — начиная с этого дня до того часа, пока враг не будет разбит и окончательно побежден, организовывать и направлять по правильному руслу борьбу трудящихся Советской Латвии с врагом. Под руководством коммунистической партии мы это сделаем, и победа будет на нашей стороне, ибо нет такой силы, которая могла бы победить Красную Армию и великий советский народ. Центральный Комитет партии созвал вас на это совещание, чтобы совместно обсудить, как действовать, какие шаги предпринять уже сейчас, чтобы ни один час не пропал даром, чтобы ничего не упустить.

Совещание продолжалось около двух часов. Каждый участник получил и общие указания и личное задание. Был выработан план действий на ближайшее время и заново распределены обязанности среди руководящих работников республики. С этого момента каждый отвечал за определенную отрасль или предприятие. Бюро Центрального Комитета постановило немедленно перестроить организацию рабочей гвардии, а в числе главных решений совещания был тщательно и подробно разработанный план подготовки к спешной эвакуации материальных ценностей, в первую очередь — ценностей государственного банка.

Во вторую очередь следовало эвакуировать запасы стратегического сырья, цветные и редкие металлы, каучук, продукцию и оборудование оборонной промышленности. После этого, если бы позволили обстоятельства, надо было эвакуировать продовольствие, текстильные и кожаные изделия. Руководить эвакуацией каждого крупного предприятия были назначены особые уполномоченные, отвечавшие за порученное дело непосредственно перед Центральным Комитетом и правительством.

Большинство участников совещания сразу же разъехалось по своим учреждениям и предприятиям. В кабинете Калнберзиня остались только некоторые члены Бюро Центрального Комитета, и совещание продолжалось еще с час.

Когда все вопросы были обсуждены, члены Бюро пожали друг другу руки, и клятвой прозвучали их скупые, простые слова:

— Выдержим! Что бы ни было, мы должны победить!

После этого они разошлись. В Риге и по всей Латвии закипела боевая работа во имя грядущей победы. Подавляющее большинство участников этого совещания больше уже не

возвращалось на свои квартиры. Так же, как год тому назад, сутки слились в один непрерывный рабочий день.

...Состояние неизвестности, тревоги продолжалось короткий момент, пока люди не привыкли к новому положению. Рабочие, придя утром на заводы и фабрики, узнавали о начавшейся войне. Так же, как вчера, раздавался гул машин, по улицам неслись трамваи и в магазинах шла торговля, только лица у людей стали серьезными, какая-то собранность появилась во всех их движениях. Они продолжали еще жить привычным ритмом, понимая, что все изменилось, стало за эту роковую ночь другим и их деятельность и существование обрели новый смысл. Хотя бои шли еще далеко от Риги и ни один вражеский самолет не показался над городом, суровое дыхание войны уже веяло вокруг. И, словно наперекор событиям, стояли прекрасные летние дни. Солнце продолжало светить, как будто ничего не случилось, деревья дремали на бульварах, оглушительно чирикали воробьи, а старик извозчик терпеливо клевал носом на козлах у ворот парка, поджидая седоков.

Всех людей в то время можно было разделить на три разные группы.

Первые — те, кто глубже всех проникал в смысл свершавшихся событий. Серьезно и с полной ответственностью смотрели они в глаза правде, старались своими делами повлиять на ход событий. Они были готовы к борьбе. Обычная работа казалась им теперь незначительной, не соответствующей времени. Упорные, дерзкие, уверенные в своих силах, они походили на могучие скалы, над которыми могут проноситься все ураганы мира, не будучи в состоянии поколебать их.

Вторые — это те, кто отходил в сторону и равнодушно наблюдал происходящее, как будто оно их не касалось. Сегодня, как, впрочем, и всегда, они ничуть не стремились принять участие в борьбе ни на той, ни на другой стороне, думая лишь о том, как бы сохранить свою жизнь. «Пусть уж борются другие, а мы — мирные граждане и политикой не занимаемся. Не требуйте, чтобы мы безумствовали вместе с вами, и не укоряйте нас за бездействие: такими мы родились, такими и будем. Мы всегда приспособимся, и наши требования невелики; оставьте нас в покое!»

К третьей группе принадлежали те, кто с трудом сдерживал свою радость. Если бы это не было сопряжено с известным риском, они бы плясали на улицах и бросали вверх шапки. Они шныряли по городу, они ко всему присматривались, они молча, издевательски смеялись над горем людей, а сойдясь с единомышленниками, злобно ликовали в предвкушении своего торжества.

Жизнь неумолимо раскрывала подлинную сущность человека. Видно было, кто герой, кто бесшабашный сорви-голова или просто трус. Многие не в состоянии были отказаться сразу от прежних планов и думали об одном: любой ценой сохранить себя. Им приходилось тяжелее всех, потому что в то время каждый день грозил опасностями. Многие искали утешения в фатализме, обманывая себя, обманывая инстинкт самосохранения.

Но такие люди, как Андрей Силениек, в первый день войны, в первый ее час сказали себе: «В этой буре многие должны будут погибнуть. Ты капитан, который во время шторма должен стоять до конца на капитанском мостике. Твои руки не должны дрожать, тебе нельзя искать убежища. А если случится так, что ты пройдешь через все бури и увидишь своими глазами победу, это будет огромным, но неожиданным счастьем».

Так он сказал себе, и в его душе больше не оставалось места страхам и волнениям.

В полдень 22 июня из Москвы прозвучали по радио исторические слова товарища Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Как высеченные стальным молотом на гранитном утесе, запечатлелись эти слова в сознании

народа, и отныне их не могли изгладить никакие переживания, никакие неудачи и трудности. Скупые, четкие слова, перед чьей правдой должен был сойти на нет оголтелый лихорадочный напор противника, — они проникли в самую душу и сознание советского народа, чья сила поразила все человечество.

С первого же дня войны по городу стали распространяться тревожные слухи. Гуго Зандарт усердствовал и в клубе художников, и на улице, и в квартирах знакомых.

— Слыхали? В Спилве выброшен немецкий десант. Аэродром уже в их руках, и ни одна советская машина не может подняться в воздух.

— Вы уже слышали? У Даугавгривы, возле Буллюциема, немецкие корабли высадили десант. Он уже захватил крепость и движется к Задвинью.

— Вы уже слышали? Между Тукумом и Кемери сброшены две тысячи парашютистов. За заводом «Квадрат», в районе Сортировочной, сброшено семьсот человек.

— Немецкие танки уже в Мейтене и подходят к Елгаве.

После первого налета вражеской авиации на Ригу слухи стали расти. Почти через каждые десять минут к ответственным партийным и советским работникам звонили по телефону анонимные благожелатели: «Почему вы ничего не предпринимаете, когда враг у ворот Риги? В больничном саду в Задвинье спрятался целый батальон немцев. Горит ВЭФ... Взорвана Кегумская электростанция... Киш-озеро полно немецких подводных лодок!»

Но эти выдумки быстро разоблачались. Намерения пятой колонны были ясны: создать панику и дезорганизацию, помешать работе руководящих учреждений. И когда поздно ночью к Силениеку позвонил один из таких услужливых типов, который будто бы своими глазами видел, как по Московской улице промаршировали в сторону центра две роты немцев, Андрей спокойно ответил:

— Если вы перепуганный обыватель, которому везде чудятся привидения, выпейте холодной воды и ложитесь спать. А если вы из пятой колонны и ловите на удочку дураков, то уберите к черту. Мы плюем на ваших немцев! — и положил трубку.

Через несколько минут снова звонок. Потом еще и еще. Тогда Силениек усадил за телефон одного рабочегвардейца. Когда раздавался телефонный звонок, тот брал трубку и сам задавал вопрос:

— Что? Снова парашютисты? Десант? Вот как? — и вешал трубку.

Прекрасный, героический пролетариат Риги... Когда настал час серьезных испытаний, он пришел со своим чистым и мужественным сердцем и сказал: «Будем драться до последней капли крови. Давайте оружие, давайте задания. Покажем Гитлеру, кто мы такие!»

Рабочая гвардия взяла на себя охрану заводов и фабрик и снова встала на зоркую вахту, готовая до последнего вздоха защищать жизнь, начавшуюся с 17 июня 1940 года. Сейчас, когда над этой жизнью нависла грозная туча, рабочие еще яснее почувствовали, как она дорога им. Им не нужно было раздумывать и взвешивать, они не спрашивали, что означает эта война, — они это знали.

Героические струны 1905 года снова зазвучали в их сердцах. Как только на пороге Латвии раздался топот подкованного сапога немецкого юнкера, сразу же воспрянул бессмертный дух латышских стрелков. С первым порывом бури вековая вражда и ненависть вспыхнули мощным пламенем, и новый латыш — советский латыш — вступил в смертный бой.

Поздно вечером Айе позвонил Юрис:

— Как ты себя чувствуешь, дружок? Долго еще проработаешь?

— Юри, — укоризненно прозвучал голос Айи. — Ты ведь знаешь, какое сейчас время.

— Знаю, знаю. Я только хотел сказать, что домой нынче не приду. Эвакуируем две фабрики и готовую продукцию. Мне надо самому проследить, как идет дело.

— Если выберешь время, позвони еще раз ночью. Я тоже здесь останусь до утра.

И снова она забыла обо всем, отдавшись работе. Какой великолепный народ ее комсомольцы, какие бесстрашные, кристальные сердца! Как они рвались на самую трудную, самую опасную работу...

— Товарищ секретарь, почему я должен дежурить в райкоме, когда другие уходят в отряды истребителей? — жаловался молодой парень. — Стрелять я умею. Я хочу драться, хочу на фронт.

— А разве в райкоме не нужен хороший стрелок? — отвечала Айя. — Если ворвется банда хулиганов, негодяи из пятой колонны, кто с ними будет драться? Такая возможность не исключается. И потом, думать, что война кончится в одну неделю, не приходится. Ты еще успеешь навоеваться.

— Товарищ Рубенис, пустите нас тоже в истребители или в какую-нибудь часть рабочей гвардии, — просились девушки. — Мы окончили санитарные курсы и можем оказать первую помощь.

— А комитет без людей останется... — улыбалась Айя. — Что это с вами случилось? Хотите меня одну оставить? Разве со мной так плохо?

— Не в этом дело, товарищ Рубенис, но у нас здесь мало работы.

— Потерпите, друзья, — убеждала их Айя. — Придет время, все пойдете на фронт. Пойдем все вместе. Ведь вы возьмете меня с собой?

После этого они немного успокоились и некоторое время оставались на своих местах, пока не загудели сирены воздушной тревоги и не стали падать бомбы... Никто, конечно, не пошел в убежище; все столпились у окон.

— Это «юнкерс», мерзавец, я узнаю по гуденью мотора... Сбросил бомбы в районе Железного моста.

— Опять сбросил... На станцию Земитана или на ВЭФ. Эх, побежать бы, узнать, как там!..

— Бомбит в Задвинье, наверно аэродром. Смотри, смотри, один фриц загорелся. Падает. Молодцы зенитчики!

— А другой улепетывает... Ага, наш истребитель гонится за ним. Поддай, поддай ему, не давай удрать фашисту!

Ну что поделаешь с ними? Ни вой бомб, ни осколки снарядов — ничто не пугало их. Когда принесли раненого товарища, они обступили его, удивляясь и втихомолку завидуя ему, а санитарки старались скорее оказать помощь. «Почему он, почему не я на его месте?» — думал каждый из этих людей героического племени, которое маньяк Гитлер думал победить и уничтожить. Сегодня они еще всё видели в романтическом свете.

Такими же были их отцы и братья, грузившие этой ночью железнодорожные составы оборудованием и готовой продукцией эвакуированных фабрик и заводов. Юрису Рубенису не приходилось уговаривать их: он заботился только о порядке и о том, чтобы вовремя подавали новые вагоны. Проработав весь день без отдыха и даже не поев как следует, они не бросали работу, пока не были погружены последние станки и готовые изделия. И даже тогда они не уходили, оставались ждать, когда подадут паровоз и поезд тронется, направляясь в далекий путь к безопасному тылу.

— Теперь немцу не видать нашей фабрики, как своих ушей, — говорили они, провожая эшелон. — Вот тебе, фриц, выкуси!..

Никто не мог сказать, сколько времени осталось для эвакуации и много ли удастся вывезти, но они ничего не желали оставлять врагу. День и ночь рижские рабочие носили на своих спинах тяжелые тюки и ящики с ценностями, не считаясь с временем и не спрашивая, когда и сколько им за это заплатят.

Когда неприятельские самолеты стали кружить над станцией, рабочие трудились еще самоотверженнее, не обращая внимания на подвешенные в небе «люстры», на падающие бомбы, на очереди пулеметного огня, которые клевали вокруг них землю. Когда осколком снаряда ранило в плечо молодого слесаря, он дал перевязать рану и продолжал работать одной рукой, пока не было все закончено. Убитого товарища уложили под нанес склада, и на его место сейчас же встал другой. Всю ночь напролет с заводов на станцию неслись грузовики, всю ночь продолжалась упорная работа. Ничего не оставлять врагу! Все, что может пригодиться фронту и тылу, грузить в вагоны!

Старый сплавщик Мартын Спаре со знанием дела распоряжался у талей, следя за тем, чтобы тяжелые станки аккуратно устанавливали на платформу.

— Тише, осторожней, не кантовать! — учил он молодых рабочих. — Станок надо доставить целехоньким, в полной исправности.

Напрасно Юрис убеждал тестя немного передохнуть. Мартын Спаре сердито махнул рукой на зятя, и тот сразу замолк.

— Ах, вам разрешается, а мне нет? Погодим немножко. Мы, старики, тоже можем сказать свое слово.

Успешной эвакуации желали не все. На фабриках были и саботажники, старавшиеся затормозить, замедлить ход работы. Поэтому там, где случалась заминка, где кто-нибудь пытался припрятать важное оборудование или товары, — там сразу появлялся председатель райисполкома Юрис Рубенис и сразу же вмешивался.

В три часа ночи ушел один эшелон. С ним уехало несколько рабочих с семьями. Пока подавали новый состав, Юрис позвонил в райком к Айе:

— Дружочек, только что ушли сорок вагонов. Сейчас начнем грузить новый состав. Почему ты еще не спишь, Айюк? Что это за мода?

— Я очень рассердилась, потому что муле меня совсем забыл, — ответила Айя в том же шутовском тоне. — Поэтому решила назло не спать, а работать всю ночь напролет. Ну, как твои дела? Ты не проголодался, милый?

Карл Жубур когда-то прослужил полтора года в армии, окончил курсы младших офицеров и демобилизовался в звании сержанта. Два раза он проходил переподготовку. В первый же день войны он поговорил с Силениеком, и было решено, что райотделом народного образования сейчас может руководить кто-нибудь другой, а место Жубура в рядах рабочей

гвардии.

Его хотели назначить начальником штаба батальона, но Жубур решительно отказался.

— Давайте мне роту или взвод, или даже отделение, только не ставьте на штабную работу,
— сказал он. — Мне больше подойдет строевая служба.

Он стал командиром роты рижской рабочей гвардии. Надел темносинюю форму, привесил на пояс револьвер и круглые сутки проводил со своими гвардейцами. На первых порах они несли сторожевую службу, но иногда участвовали и в уничтожении диверсантских групп в окрестностях Риги.

Как-то Жубур вместе с представителями Красной Армии осматривал по заданию штаба рижские мосты. Последние события на фронте заставляли ждать появления немецких танков на берегах Даугавы. Пришло время подумать об обороне мостов. Рижане начали готовить заграждения, складывать возле мостов мешки с песком для баррикад, оборудовать позиции для возможных боев.

Закончив осмотр, Жубур направился в райком, чтобы поделиться с Силениеком своими наблюдениями. У киоска с колоннами кучка людей окружила лежащего на земле красноармейца. Раздавались тревожные возгласы:

— Я сам слышал выстрел.

— И не один. Кажется, вон из того дома.

— Совсем и не оттуда, а из парка.

В это время прогремел новый выстрел, просвистела пуля, и какой-то лейтенант схватился за плечо.

— Разойдись! — крикнул Жубур. — Вы сами создаете цель негодяю, который стреляет из укрытия.

Толпа загудела, и все бросились врассыпную. Жубур перешел через трамвайные рельсы, встал за газетным киоском и стал осматриваться. Последний выстрел, ранивший лейтенанта, он ясно слышал сам. Стрелок находился, наверное, где-то в кустах, вблизи Бастионной горки.

Раздался новый выстрел, и у памятника Свободе упал подросток, который шел рядом с военным. Теперь Жубур больше не мешкал. Он побежал по бульвару Аспазии к Бастионной горке. У мостика через городской канал, напротив Пороховой башни, остановился, вынул из кобуры револьвер.

Ну, конечно, вон он где спрятался. Маленький, толстенький. Лежит на животе в кустах, прижав к плечу винтовку, и наблюдает. Когда у памятника Свободе появилась группа милиционеров, он стал прицеливаться.

Никогда Жубуру не приходилось стрелять в живое существо — ни в птицу, ни в лесного зверя, а уж в человека и подавно. Но в этот момент рука его не дрогнула, он прицелился в затылок неизвестного и выстрелил раньше, чем тот успел нажать собачку. Тот перевернулся на бок и замер. Жубура даже в жар бросило. Он видел где-то это круглое румяное лицо. Жубур задумался, напрягая память, и вспомнил июльское воскресенье на дюнах в Дзинтари, Айю и двух хулиганов. Теперь ясно, почему этот тип стрелял в прохожих. Слишком рано выскочил из своей норы Абол. Нарвался. Получил своего верный помощник Кристапа Понте.

Жубур был доволен своим поступком, и в то же время он испытывал незнакомое раньше

волнение.

Значит, и он способен на это? Интеллигент, который раньше не мог видеть, как отец колет свинью...

Да, это правильно. Так нужно. З

Теперь Эрнест Чунда выглядел совсем по-боевому — сапоги, защитного цвета галифе и гимнастерка, армейская фуражка, громадный пистолет в деревянной кобуре с одного бока, противогаз с другого. В таком виде он расхаживал по комнатам райкома, топая сапогами, словно целая войсковая часть. Но голос его не звучал уж так звонко, и от наблюдательного глаза не укрылись бы бледность его лица и некоторая нервность в движениях. Дело в том, что на самочувствие Чунды плохо действовала жаркая погода. Кроме того, он не привык к некоторым специфическим шумам и грохоту, которые в последнее время повторялись слишком часто. Например, воздушные тревоги: чуть только завоют сирены, как Чунда бросает работу и сломя голову бежит вниз, в убежище, откуда не выходит до самого отбоя. Если тревога застанет его на улице, он сразу же отыскивает глазами какую-нибудь щель, забирается в нее и сидит там смирно, как мышь.

Это было не чувство самосохранения, а большая жизненная мудрость.

— Никогда не стоит играть с опасностью, — говорил он Руте. — Мы не простые обыватели, а квинтэссенция общества, так сказать соль земли. Если погибнет рядовой, большой беды не будет, на его место встанет другой, таких у нас тысячи, сотни тысяч. А что произойдет, если меня не станет? Кто займет мое место? Сейчас же образуется брешь, и товарищам придется очень туго. Мы принадлежим не себе, а обществу, партии, народу. Для них мы и должны беречь и сохранять себя до последней возможности.

Он яростно ворчал на упрямцев, которые во время налета оставались на своих местах и продолжали работать.

— Пустое хвастовство... Никому не нужная храбрость... Кому от этого польза?

— Утром 25 июня его вызвали в Центральный Комитет.

— Есть для тебя задание, товарищ Чунда, — сказал один из инструкторов, с удовольствием оглядывая его складную фигуру, которую военные доспехи делали еще более внушительной. — Немецкие парашютисты оседлали шоссе за Ауце и нарушили связь с Лиенайе. Лиенайцы думают, что они отрезаны от всего мира. Мы должны послать туда подходящего человека, который бы организовал на месте мощную группу истребителей, очистил район от диверсантов и затем пробился до Лиенайе. Это задание поручается тебе.

— Мне? — Эрнест Чунда не хотел верить своим ушам. — Кто же тогда подготовит к эвакуации документы отдела кадров?

— Кто-нибудь из инструкторов райкома. Ты сейчас же собирайся и поезжай. Машина уже ждет. Возьмешь с собой двух рабочегвардейцев с винтовками. Желаю успеха, товарищ Чунда.

Инструктор пожал ему руку. Выйдя на лестницу, Чунда вытер мокрый лоб. «Безумие. Кидаться черту на рога. Люди уже поговаривают, что Ауце в руках немцев... Бои идут у Тукума. Бросаться так ответственными работниками! Подвергать такому страшному риску!»

Но ничего не поделаешь. Чунда дополнил свое воинское облачение еще несколькими новыми деталями — биноклем и планшеткой с картами, прихватил на всякий случай несколько ручных гранат, затем сел в маленький «мерседес-бенц» и велел ехать к райкому комсомола.

Рута была у Айи на совещании. Во всех комнатах толпились комсомольцы. Чунда вызвал Руту и предстал перед ней во всем своем величии.

— В чем дело, Эрнест?

— Я направляюсь на фронт. Важное задание. Мне поручили задержать авангард немецкой армии и наладить связь с Лиепайей. Даны широкие полномочия. Когда вернусь и вообще вернусь ли — неизвестно. На всякий случай ты сегодня же вечером упакуй все наши вещи в чемоданы. Кто знает, возможно придется эвакуироваться. Когда приеду, все должно быть готово к отъезду.

— Как, разве Ригу не будут защищать? — Рута посмотрела широко открытыми глазами на Эрнеста. — Мы ведь будем драться, бороться до последней возможности. Правда, Эрнест?

— Понятно, до последней возможности. Ну, а если эта последняя возможность будет у порога? Тебе хочется, чтобы ваше имущество попало в руки немцев? Вот так, Рута. Не слишком, конечно, умно, что в такой ответственный момент меня посылают из Риги, но ведь нужно выполнять задание партии. До свидания, Рута.

— Желаю успеха, Эрнест, — прошептала Рута. — Помоги лиепайцам.

— Вот так всегда, вечно я им должен помогать... И в мирное время и на войне... Ну что же, мне не жалко.

Он ушел, брэнча и гремя, точно воплощение воинственности и мужества.

На Елгавском шоссе они встретили первых беженцев из Литвы. В машинах, на мотоциклах, велосипедах, многие просто пешком — они потоком двигались на север: взрослые и дети, с котомками за спиной, усталые, покрытые дорожной пылью, опаленные жарким дыханием войны. Время от времени Чунда останавливал машину и пытался расспрашивать беженцев. Но что они могли сказать? Грохот орудий, налеты немецкой авиации разрозненными кровавыми обрывками мелькали в их сознании. По одним сведениям, немцы еще штурмовали Шауляй и Паневежис, по другим — уже приближались к Елгаве; третьим казалось, что неприятель гонится по пятам, что из леса вот-вот выскочат танки или бронемшины и металл будет кромать живые тела.

Это была довольно трудная проблема. Чунда через каждые полчаса сверялся с картой. Прохожие могли подумать, что едет кто-нибудь из высшего командования, чуть ли не переодетый генерал.

В Елгаве Чунда зашел в горком партии, чтобы собрать сведения. Ясной информации он и здесь не получил. Немцев видели повсюду, но были ли то регулярные войска, или группы парашютистов, сказать было трудно. Где-то около Скрунды произошел большой бой между немецким воздушным десантом и отрядом истребителей. В некоторых местах, где были леса, начали сбоя деятельность зеленые бандиты — айзсарги и крупные кулаки. Группы наших истребителей успешно боролись с ними, некоторые банды были уже ликвидированы. Во всех волостях советский актив был приведен в боевую готовность.

Чунда все наматывал себе на ус. После обеда он поехал дальше. А навстречу ему несся вихрь слухов, навевавших на него непреодолимый ужас. До Ауце он так и не добрался: какой-то крестьянин определенно видел, как немцы занимали этот городок. Впереди, со стороны большого леса, раздавались выстрелы.

Дело оборачивалось плохо. Освободитель Лиепайи велел повернуть машину и минут десять

гнал ее полным ходом обратно. Наконец, посреди поля, Чунда в единственном числе провел военный совет: с шофером и рабочегвардейцами говорить не стоило, они не знали, какое у него задание. Четверть часа Чунда изучал и рассматривал карту, делал красным карандашом таинственные пометки, что-то записывал, что-то обдумывал, после чего вложил карту в планшет и сверился с часами. Было двадцать минут шестого. Он уже хотел позвать шофера и приказать ехать дальше, как в воздухе загудели моторы самолетов и показалась девятка «юнкерсов» с юго-западной стороны.

— Разойтись! Ложись! — крикнул Чунда и, показывая пример, побежал к кустам влево от дороги.

До них было метров сто, и он пробежал только полпути, как в воздухе послышалась пулеметная очередь. Чунда упал, уткнувшись лицом в траву. Пулемет затрещал еще раз два, пули со свистом врезались в землю, вздымая по дороге мелкие клубы пыли. Затем ужасный гул моторов стал постепенно стихать, «юнкерсы» уже приближались к Елгаве, и скоро стали слышны разрывы бомб.

«Бомбит, — думал Чунда. — Бомбят мест через Лиелупе. Теперь нам не перебраться через реку».

От волнения он даже весь вспотел.

«Черт подери, они ведь стреляли в меня, хотели убить... Девять „юнкерсов“... я мог быть уже мертвым...»

При этой мысли сердце его затрепетало, как пойманный лосось в руках рыбака. «Сейчас нечего и думать об освобождении Лиепая. Как-нибудь уж сами справятся — кто им велит сидеть до последнего момента в городе? Пусть отступают».

Чунда сел в машину и велел ехать к Елгаве. Там он узнал, что «юнкерсы» бомбили аэродром. Вреда особенного не причинили, только шума наделали. Теперь можно было со спокойной совестью возвращаться в Ригу.

Вечером Эрнест Чунда зашел к Силениеку и стал рассказывать:

— Немецкая авиация непрерывно бомбит Елгаву. Между Елгавой и Ауце на меня налетели девять «юнкерсов» и обстреляли из пулемета. Две пули попали в бок. Вот видишь, гимнастерка разорвана, — только чудом остался живым. В лесу по эту сторону Ауце идет большой бой между немцами и нашими истребителями. Я сам, своими глазами видел, даже участвовал в бою. А дорога на Лиепая отрезана, и пробиться туда нет никакой возможности. Тут нужны более крупные силы.

Андрей слушал и думал. Кое-что совпадало с теми сведениями, которые он получил от других. Кое-что он слышал впервые, но никто бы не мог сказать, что Чунда врет или преувеличивает. Положение менялось ежечасно.

— Товарищ Силениек, у меня возникла одна мысль, — начал Чунда. — Положение, как видно, с каждым часом становится опаснее. Не исключена возможность, что нам придется уйти из Риги. Давайте заранее подумаем, что станет с нашими семьями, когда мы будем отступать. Мне кажется, что кому-нибудь из нас надо съездить в Псков или в Великие Луки и переговорить с местными властями об устройстве наших беженцев.

— Об этом надо позаботиться, — сказал Силениек. — Но мы будем драться, оборонять Ригу. У Даугавы немцам придется остановиться, так же как во время прошлой мировой войны. Ладно, Чунда, я подумаю. Иди пока отдохни. Только не рассказывай никому в подробностях о том, что ты сегодня видел. Неприятель из кожи лезет, чтобы создать панику. Не будем лить

воду на его мельницу.

Чунда сразу же побежал в райком комсомола, к Руте.

— Ты уже вернулся? — удивилась она.

— Да, и это сущее чудо, что я вернулся живым, — девять самолетов гнались за мной, бомбили, обстреливали. До этого принял участие в большом бою, но об этом расскажу после. Теперь, Рута, собирайся поскорее. Нынешней ночью нам придется уехать. Силениек дал мне задание организовать тыловую базу в районе Пскова. Я только что от него.

— Как уехать? — разволновалась Рута. — Все бросить, искать местечко поспокойнее?

— Да ты пойми, это же задание, — горячо объяснял Чунда. — Если бы зависело от меня, я завтра бы взял в руки винтовку и ушел на фронт. Но руководство об этом и слышать не хочет. Я выполняю, что мне велят. Ты думаешь, это случайность, что именно меня послали сегодня утром в прифронтовую полосу организовать батальон истребителей? По-твоему, это тоже случайность, что мне поручают организовать тыловую базу? Руководство знает, кому доверить то или иное задание. Собирайся, собирайся, Рута. Сдавай кому-нибудь дела. Мы выезжаем рано утром.

— Мне надо сначала сообщить Айе, — может, не отпустит.

— Как это не отпустит? — возмутился Чунда. — Будь покойна, я сам с Айей поговорю.

— Эрнест... разве это правильно, что мы удираем?

— Не путай двух вещей, — начал сердиться Чунда. — Удирать — это одно, а ехать по делам — совсем другое.

— Не знаю, право, формально... может быть, но по существу... Видишь ли, Эрнест, мне стыдно...

— Ну, знаешь, если мы с такими предрассудками будем подходить к серьезным вещам... — Чунда пожал плечами и недовольно замолчал.

...Едва забрезжило, как маленький «мерседес-бенц» переехал мост через Юглу и на полной скорости понесся по Псковскому шоссе. Эрнест Чунда, как старый вояка, обвесился всем находившимся в его распоряжении военным снаряжением. Раскрытый планшет лежал на его коленях, и он время от времени наклонялся взглянуть на карту. Сбоку висел огромный пистолет в деревянной кобуре, а бинокль Чунда все время держал в руке, как полководец, обзирающий с возвышенности поле битвы. Настроение у него было приятно возбужденное.

Забившись в угол кабины, Рута угрюмо молчала. Когда на шоссе случался затор и машине приходилось останавливаться, молодая женщина вся сжималась. Она стыдилась людских взглядов. Ей казалось, что они всё знают и презирают ее. 4

Ночью с 26 на 27 июня к Силениеку в райком пришел неизвестный человек. Некоторые видели его раньше, но никто не знал, где он работает и как его зовут.

— Доложите товарищу Силениеку, что пришел Кирсис, — сказал он рабочегвардейцу, охранявшему вход в райком.

— По какому делу?

— Он знает.

Когда Андрею доложили о позднем посетителе, он отпустил помощников и, предупредив, чтобы никого не впускали, пока он будет занят разговором, велел позвать его.

Он запер дверь на ключ и сел рядом с Кирсисом на диван.

— Ну, что, друг? — спросил Андрей, ласково глядя на него. — Препный уговор остается в силе?

Кирсис утвердительно кивнул головой.

— Я пришел проститься, Андрей... Неизвестно, удастся ли потом. Пришло время зарыться поглубже в землю.

— Верно, Роберт, тебе пора скрыться.

Они разговаривали полупшепотом. Временами даже одними взглядами и жестами.

Оба голубоглазые, оба светловолосые, они даже чертами лица походили друг на друга, так что их можно было принять за братьев, только Силениек был на полголовы выше. Они и действительно были родственниками, но об этом никто не знал.

— Ты все уже получил? — спросил Силениек.

— Все, до последней мелочи. Передатчик спрятал в надежном месте, у лесника. Типографию мы вчера доставили на нашу Чиекуркаликскую базу, а оружие и боеприпасы зарыты в дюнах.

— А как со средствами?

— Если экономно расходовать, хватит года на три, — двадцать золотых часов, кольца с бриллиантами и еще кое-какие ценные вещи. Но это на особые нужды. Как только начнем действовать — на себя заработаем. Кстати, опоздай мы немного, и драгоценности увезли бы. Эшелон государственного банка ушел вчера ночью.

— На твою долю оставили бы, у нас была договоренность с управляющим банком. А как с документами, Роберт?

— Все в порядке.

— Радиошифр?

— Уже согласован.

— А настроение как, Роберт?

— Нормальное. Я знаю, что риск велик, а разве раньше мы не рисковали? Ведь какая это большая честь — получить от партии такое задание! Мои ребята так гордятся...

— Ты смотри за ними, чтобы не действовали очертя голову. На первых порах вам надо жить тихо-смирно. Пока не легализируетесь. Слушайте московское радио. Старайтесь почерпнуть из латышских передач указания относительно вашей работы. Ну, а если все связи нарушатся, — допустим таксе положение, — то действуйте самостоятельно, по своему усмотрению, в зависимости от ситуации. Таково указание товарища Калнберзиня.

— Он о нас знает?

— А как же! Он хотел вас проинструктировать сам, но от этого пришлось отказаться в целях конспирации.

Они поговорили еще некоторое время, затем Кирсис встал и начал прощаться.

— Пора, Андрей.

Андрей тоже поднялся с дивана. Два сильных, закаленных человека несколько мгновений глядели друг на друга, смущенно улыбаясь, точно стыдясь своих чувств. Потом пожали друг другу руки, крепко обнялись и поцеловались.

— Желаю, Роберт, успеха во всех делах, — взволнованно сказал Силениек. — Всегда помни, что товарищи о тебе не забывают.

— Ладно, Андрей. Ну, до свидания.

Роберт кивнул головой и вышел из кабинета, а Силениек еще некоторое время стоял в раздумье, глядя на то место, где только что сидел этот спокойный, сильный человек. Теперь он ушел выполнять задание партии, навстречу большим опасностям. Может быть, они увидятся, а может...

— Что за человек... Золото, — шептали его губы.

На улицах тревожно выли сирены, стреляли зенитки, а в небе гудели моторы «юнкерсов». Опять налет, опять бомбежка. Сказочно причудливой казалась в эту ночь Рига при свете пожаров.

Силениек взял телефонную трубку.

— Как подвигается эвакуация? Эшелон не ушел еще? Директор, запомните одно: даю вам сроку до десяти утра. Если до того все цветные металлы и уникальные станки не будут погружены в вагоны, я вас расстреляю. Нет, я не шучу. В десять жду доклада об исполнении. Будьте уверены, что удрать вам не удастся, за вами наблюдают. Это все, что я хотел вам сказать.

Потом он созвонится с управлением железной дороги, со штабом рабочей гвардии, с райкомом комсомола, и все приходило в движение, новая волна энергии подбадривала уставший коллектив.

Днем и ночью кипела работа в районе. Самое ценное было уже эвакуировано. Архив райкома — в надежном месте. Но разве можно в несколько дней увезти все, что строилось и производилось годами? Надо было спасти, не дать врагу захватить самое ценное, самое важное, что больше всего понадобится в великой борьбе. Если время позволит, можно будет подумать и об остальном. Если время позволит...

В эту борьбу за время, в эту огромную работу по спасению ценностей включился весь трудовой люд столицы молодой советской республики. Ему не могли помешать ни распространяемые врагом слухи, ни налеты, ни обывательская паника — рижский рабочий до конца выполнял свой долг советского патриота. В пламени пожаров, высоко над городом, поднималась мужественная его фигура, отбрасывая гигантскую тень. Он боролся.

27 июня Силениек послал своего помощника к Прамниеку с просьбой срочно зайти к нему в райком. Угрюмый и подавленный вошел Эдгар Прамниек в кабинет Андрея.

— Ты еще в Риге? — даже как-то удивленно спросил он. — А я еще вчера слышал, что все большевики уехали и что в Риге не осталось ни одного советского учреждения.

— Мы уйдем, когда это будет нужно, — ответил Силениек. — А вот тебе пора подумать об эвакуации. Поэтому я и позвал тебя. Что ты намерен делать, Эдгар?

— Разве я могу выбирать? — пробормотал художник. — Куда мне уезжать? Жена через две недели должна родить.

— Я помогу тебе эвакуироваться. Сегодня мы отсылаем в тыл часть районного аппарата. Возьмем и тебя с Ольгой.

— А имущество? Обстановка? А мои картины? — разволновался Прамниек. Он нервно заходил по кабинету. Зажатая в зубах трубка дрожала. — Если все бросить, это все равно что пропадать самому.

— Я помогу тебе вывезти имущество и картины, — продолжал Силениек. — К эшелону, который сейчас грузится на станции Земитана, должны прицепить еще один товарный вагон. Если хочешь, устроим тебя в этом вагоне, вместе с картинами и имуществом.

Прамниек молчал, но по лицу было видно, что предложение Силениека его не радует.

— Тебе хочется остаться с немцами? — спросил Силениек.

— Да нет... — мотнул головой Прамниек. Пряди густых волос упали на лоб, из-под них лихорадочно блестели глаза. — Какое это имеет значение, Андрей? Все равно никуда не убежишь. Пусть уж немцы поймают меня в Риге, чем где-то под Москвой...

— Ты не веришь в нашу победу? — И хотя Прамниек молчал, Андрею ясен был его ответ. — Значит, вот ты каков? Эх ты, Фома неверующий! А я думал, что имею дело с настоящим человеком.

— Ты меня не так понял, Андрей... — трагически простонал Прамниек. — Я домашнее животное. Совершенно не переношу бродяжнической жизни. Погибнуть где-нибудь в кустах? К тому же Олюк... Нельзя же требовать, чтобы она рожала в придорожной канаве.

— Я понял тебя. Обыватель ты, Прамниек. Тебе нужна мягкая кровать и тишина, даже когда весь мир грохочет. Ты все норовишь усесться на двух стульях. А эту тишину и мягкую кровать пусть тебе обеспечивают другие. Пусть другие борются, пусть они идут по грязи, гибнут в боях — только не трогайте Эдгара Прамниека, потому что он не может жить без удобств. Послушай, уважаемый братец. Я зову тебя в совместный путь. Он труден и далек, но он приведет к победе. Это путь советского человека. Если ты пойдешь с нами, мы всегда тебя поддержим в тяжелый час. Но ты отказался. Так подумай хоть о том, что, если ты запятнаешь себя, потом ни один честный человек не подаст тебе руки.

Прамниек опустил голову, хотел что-то сказать, но слова не сходили с языка. Он вышел бледный, понурый.

Силениек, прикусив нижнюю губу, угрюмо смотрел ему вслед. Он сердился и в то же время жалел этого человека.

Рано утром мамаша Лиепинь приехала в Ригу за Эллой. Та уже собрала все свои вещи, и их уложили на подводу. В ее положении оставаться в городе было безрассудством, поэтому Петер согласился с тем, что последние недели беременности Элле лучше провести у родителей. Там будет спокойнее.

— Если положение изменится, я за тобой приеду, — сказал он прощаясь. — Обязательно приеду. Обо мне особенно не беспокойся, я не пропаду. — И, нагнувшись к уху Эллы, застенчиво шепнул: — Заботься о малыше, люби его и за меня, пока я сам не смогу его приласкать.

— А ты береги себя, — наставляла его Элла, — не лезь в опасные места. Подумай о нас.

Вот они и расстались. Оставшись один, Петер Спаре мог целиком отдаться своему долгу, и он делал это без оглядки. 5

Прямо со станции Ояр Сникер направился в горком партии. Вся Лиепая была уже на ногах. Рабочие спешили на заводы. У газетных киосков выростали длинные очереди. Люди надеялись найти в рижских газетах какие-нибудь сообщения о событиях, которые, как снег на голову, свалились на лиепайцев. На рассвете их разбудили сирены воздушной тревоги и разрывы бомб. В воздухе ревели моторы немецких бомбардировщиков. Они, как стая коршунов, повисли над городом, бомбили военный порт, железнодорожную станцию и стоящие на рейде суда.

Стреляла зенитная артиллерия. В воздух поднялись советские истребители. Началась война. По дороге в горком Ояр узнал все утренние события. Чувствовалось, что для каждого из этих людей, с напряженными, серьезными лицами стоявших на углах улиц, на площадях, у моста через канал, началась другая жизнь. Пульс города забился быстрее. Звеня, промчалась пожарная машина.

Если завтра война, если завтра в поход,

Будь сегодня к походу готов! —

звонко пели молодые голоса краснофлотцев. Стоя в грузовой машине с винтовками и автоматами в руках, они пронеслись по улице, и их песня еще долго-долго доносилась издали, пока ее не заглушили другие звуки. Какой-то пароход, с валившим из трубы дымом, вышел через ворота порта в море. Рыбачьи моторки стояли у берега, и облепленные чешуей рыбаки смущенно поглядывали на спокойное море. Станным казалось им, что сегодня они не могут выйти на лов.

Кабинет Буки был полон народа.

— Вот и хорошо, что приехал, — сказал он Ояру. — Лиепая надо подготовить к войне. Лиепайцы хотят драться, и нам надо вооружить их.

Это было не заседание с пространными речами, а краткое совещание о плане действий. Как лучше оборонять свой город? Как драться с врагом, если он покажется у ворот города?

Каждый излагал свое предложение в двух-трех словах. Само собой понятно — драться! Любой ценой удержать город, что бы ни случилось. Надо рыть окопы, вооружать рабочих, подготовиться к бою. Враг не заставит себя долго ждать, — достаточно было взглянуть на карту, чтобы убедиться в этом: расстояние от германской границы до Лиепай хороший танк мог пройти в несколько часов. Совсем не требовалось быть большим стратегом и для того, чтобы понять, что немцы поспешат в самом начале войны захватить эту крупную военно-морскую базу.

Надо было ко всему приготовиться, не дожидаться, когда придут немцы.

«Быть наготове». С этой мыслью Ояр ушел с совещания, с нею пришел и на фабрику. И это были первые слова, с которыми он обратился к рабочим, собравшимся в помещении главного цеха.

— Нельзя отдать наш прекрасный город врагу, — говорил он, — не будем дожидаться, когда

подойдет Красная Армия защищать Лиепаю. Мы находимся рядом с границей. Нам первым придется принять на себя удар. Пусть же враг почувствует, что здесь не Франция, не Бельгия и Голландия, где чванливый, обвешанный оружием фриц может прогуливаться, как индюк вокруг хлева. Пусть знают, что это Советская Латвия! Дадим ему в морду так, чтобы его скрючило. Превратим нашу Лиепаю в стальной орешек, о который Гитлер обломает зубы. Товарищи, это будет не шутка, не игра. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть. Если мы хотим победить, нам надо уметь и умирать. Умирать, как солдатам, за свой родной город, за советскую отчизну и народ, с оружием в руках, без страха и сомнений. Кто хочет взяться за оружие и идти на врага, тот пусть выходит вперед.

Почти сотня рабочих вышла на середину цеха. Все члены партии, комсомольцы и активисты. Все, у кого не дрогнуло сердце при первом шквале бури. Все молодые и сильные, все, кто был на военной службе или участвовал в первой мировой войне. Седые головы — и те воспламенились: «Возьмите нас тоже». Женщины, молодые девушки — и те не хотели отставать от своих мужей и братьев: «Мы вам поможем, возьмите только с собой!»

Когда выступил с речью директор фабрики, — рабочие заговорили в один голос:

— Чего тут еще долго рассуждать! Разве мы сами не понимаем? Давайте только оружие, мы этим фашистам покажем. Дорого обойдется им Лиепая.

Речей и в самом деле не требовалось. Лиепайские рабочие в первый же момент поняли свой долг. Они сами рвались в бой. Уговоры их только обижали.

Ояр отобрал семьдесят человек и образовал из них роту. Ее разбили на четыре группы, и командирами групп назначили рабочих, побывавших на военной службе. Командиром роты был единодушно избран Ояр.

Придя в горком партии, он узнал, что лиепайцы уже на всех предприятиях организовали боевые отряды. У тосмарцев была своя рота в полтораста человек — ее организовал парторг завода Петерсон. Затем рота «Красного металлурга», особая группа из работников города, батальон Дундура, бригада комсомольцев, работники милиции. Город отдавал все, что у него было лучшего. Вместе с частями пограничников, работниками военного комиссариата и отдельными группами из состава военно-морского флота получилась, как казалось лиепайцам, внушительная сила. Им казалось, что они смогут удержать свой город, отбить любой удар противника, и, возможно, эта дерзкая уверенность позволила горсточке советских людей выдерживать в течение целой недели непрерывные бои с вооруженной до зубов гитлеровской армией, создать легенду о лиепайском чуде.

Давно покоятся в могилах защитники Лиепаи, но легенда о них жива. И каждый новый день вплетает новую нить в благородную повесть о вчерашнем. Где Петерсон, где Бука, где отважный разведчик Арнольд Скудра, где Оттилия Круче, Имант Судмалис и многие другие? Неверно, что они умерли, — герои не умирают!

«Ты ждал бури, стремился к трудностям и большим боям — и все это пришло, — думал Ояр. — Теперь все это есть у тебя. Что тебе еще нужно? Гори, кипи, живи десятью жизнями».

Его сердечная рана больше не ныла. В первый же момент, как только его сознания коснулось обжигающее слово «война», он приготовился к опасностям, к окопной грязи и к боевой горячке. Личная жизнь отступила за кулисы, даже любовь казалась мелочью. Ояр думал свою думу, но об этом же думали и тысячи лиепайцев, сотни тысяч и миллионы людей по всей советской земле: «Когда придется впервые встретиться с врагом и как это будет?» Он хотел, чтобы это произошло скорее, сейчас... Ведь они уже готовы.

Рота Ояра получила новенькое оружие. Ребята очистили его от смазки и в несколько часов научились обращаться с ним. То, на что в обычное время тратили месяцы, сейчас

приходилось осваивать за день.

Время шло. Провожаемый воем сирен, первый день войны угас за горизонтом. Жарко пылало небо на закате. Воды Балтики дремали всю летнюю ночь. Следующий день снова принес с собой зной и духоту. Впечатление неожиданности уже прошло. Люди знали о том, что происходит в мире, а если бы кто и забыл, достаточно было появиться над городом вражеским бомбардировщикам — и они напоминали о том, что идет война.

Вечером 23 июня рота Ояра Сникера заняла позиции неподалеку от дороги Лиепая — Гробини. Перед ними тянулась широкая полоса лугов, вдали — спокойная гладь Лиепайского озера. Птицы спешили к своим гнездам, изредка на дороге показывался запоздалый прохожий. Упираясь в небо церковными башнями, раскинулся позади красивый мирный город. Ояру показалось, что он попал в ночное: эту иллюзию создавало пофыркивание пасшихся на лугу лошадей, неторопливая беседа расположившихся на краю канавы людей, вечерняя прохлада. «Неужели это так просто? Кругом тишина и покой. Смертельная гроза где-то далеко-далеко...»

Уже смерилось. Ояр обходил позиции роты и вглядывался в сгущающуюся темноту. Вдруг он остановился.

«Не огонь ли это? Или свет прожектора?» — про себя сказал он.

— Это фара, товарищ Ояр, — отозвался из темноты чей-то голос. — Машина или мотоцикл.

Теперь они увидели и другие фары. Как волчьи глаза, светились они в темноте и двигались длинной вереницей по шоссе в сторону города. Вскоре стал слышен и треск моторов.

— По местам, товарищи! — крикнул Ояр. — Приготовить оружие к бою. Это немцы.

«Немцы идут!» Электризирующая весть пробежала по цепи бойцов. Как порывом ветра развеяло мирное настроение. Со всех сторон слышалось щелканье затворов. Каждый старался поудобнее и выгоднее устроить свою позицию на пригорках, откуда все было видно как на ладони. После этого наступила тишина, полная, напряженная тишина. Прямо перед ними тянулось цементированное шоссе. Ближе и ближе подвигались яркие волчьи глаза, моторы тархтели, фыркали и постреливали. На каждом мотоцикле сидело по три солдата, на прицепе стоял пулемет. На фоне бледного неба тянулся ввысь черный силуэт церкви Анны. Взгляды едущих были направлены в одну сторону — вперед, на погруженный в сумрак город. Избалованные прогулкой по Европе, окруженные ореолом непобедимости, они снова взирали на один из городов, который спокойно лежал перед ними, как бы ожидая часа своего унижения.

Мотоциклы быстро катили вперед. На некотором расстоянии за ними шли открытые грузовики с пехотой. По четыре в ряд сидели гитлеровцы с автоматами и винтовками в руках. Аккуратно и чинно, как оловянные солдатики на параде, двигалась колонна победителей на восток.

И вдруг все кончилось. И безукоризненный порядок, и согласный железный ритм движений, и присущая застывшим рядам солдат симметрия. Когда колонна поровнялась с позициями лиепайцев, сурово и бесстрашно зазвучал голос героического города:

— Нет, не сдаюсь!

И пригорки заговорили. Одновременно заговорили десятки автоматов и винтовок. Начался бой. 6

Они не смотрели на часы, когда раздались первые винтовочные залпы. Они не смотрели на них и тогда, когда все уже кончилось. Поэтому им трудно было сказать, сколько времени

продолжался бой. Может быть, час, а может быть, всего несколько минут. Когда прозвучал последний выстрел, на шоссе не осталось ни одного живого врага. Грудами лежали в канавах мотоциклы, люди и лошади. Позже стало известно, что в вылазке 23 июня со стороны гитлеровцев участвовали, кроме моторизованных частей, кавалерийское соединение, сброшенный незадолго до того воздушный десант и группа айзсаргов. Никому из врагов не удалось попасть в Лиепаяу, и лишь немногие спаслись бегством. На месте боя осталось восемьсот убитых гитлеровцев. С нашей стороны в бою участвовали несколько пехотных подразделений, курсанты военно-морского училища, тосмарцы и рота Спикера. Плечом к плечу бились кадровые бойцы Красной Армии и военно-морского флота и пролетариат Лиепаяу, оказавшиеся достойными друг друга боевыми товарищами.

Победа! Это слово как на крыльях облетело цепи бойцов, достигло города, заставило радостно и гордо забиться все сердца. Для защитников Лиепаяу слово это стало новым источником силы. Надменная гитлеровская армия, слава о непобедимости которой бежала впереди наступающих рот и дивизий, гипнотизируя и парализуя всех малодушных, проиграла свой первый бой за Лиепаяу.

Вера в возможность победы десятикратно увеличивала силы каждого бойца: это был цемент, превращающий коллектив в монолитную скалу.

Ояр снова обходил расположение своей роты, проверял, кто остался в строю. Трое раненых — вот и все потери, девушки-санитарки уже ухаживали за ними.

— Закурить бы, товарищ Спикер, — попросил кто-то.

Ояр вытащил из кармана портсигар, но он был пуст.

— Жалко, друг, но все выкурено.

— Разрешите обыскать какого-нибудь фрица, — продолжал рабочий. — Вдруг найдется... Все равно на тот свет с собой не захватит. Там, говорят, курить не разрешается.

— Ладно, иди, только поосторожнее, чтобы какой-нибудь дьявол не перерезал тебе горла.

— Ну, это мы еще посмотрим.

Но когда минут через десять парень вернулся с немецкими сигаретами, захватив впридачу немецкий автомат и бинокль, заядлые курильщики единогласно признали, что сигареты никуда не годятся.

— Один навоз, больше сена, чем табаку.

— Как и сами курильщики, — сказал Ояр. — С виду они куда какие герои — только знай уступай им дорогу. А когда доходит дело до нутра — одна труха. Ну, нынешней ночью им досталось...

— И еще достанется, — добавил какой-то моряк. — Пусть только сунутся. Ребята, как там было в засушливый год, когда жены не рожали?

— Это когда на фрицев мор напал... — отозвался откуда-то из темноты молодой голос. — Апостол Петр поливал их водой из святой лейки, чтобы скорее подышали, а то, мол, черти в аду стосковались по жаркому.

— А что, разве святой Петр у черта за снабженца?

— Каждый зарабатывает, как может, а кто смел, тот и двух съел. Вы что думаете, разве старику Петру чаевые не пригодятся? Ну, а господь бог скуповат, это видать по тому, как он

исполняет молитвы своих святош. Вот когда Петру вздумается заглянуть в корчму и заложить как следует за галстук, тут своя копейка-то и кстати.

— Ох, не верится, что вельзевул много даст за фашистскую душу. Один эрзац.

Ояр с удовольствием прислушивался к шуткам парией. Раньше он и сам был первым зачинщиком таких разговоров и мог развеселить любого меланхолика. Но в эту ночь, когда первое столкновение с противником уже стало достоянием истории, надо было серьезно подумать о будущем.

На заводе «Тосмаре» бушевал пожар. Над ним все небо было охвачено заревом. «Вот какие костры приходится видеть сегодня липайцам».

— Ребята, а ведь сегодня канун Лиго, — тихо сказал Ояр.

Куда девались пиво и сыр, зеленые венки и несмолкаемые песни. Лиго? Кто этой ночью ищет волшебный цветок папоротника? Как злая пародия на праздничные костры, пылают пожары на холмах Латвии. Ночь проходит в молчании. Кроважадный зверь затаился в темноте.

Следующий день прошел сравнительно спокойно. Липайцы рыли окопы вокруг города. Днем и ночью кипела работа в штабе обороны. Группы разведчиков, следили за продвижением неприятеля. Немцы подтягивали резервы и готовились к новому наступлению. По слухам, город был окружен со всех сторон, за исключением узкой береговой полосы на севере. В море шныряли немецкие подводные лодки, блокируя порт.

Затем была прервана телефонная связь с Ригой. Бука успел еще узнать, что на помощь Лиепае спешат курсанты военно-пехотного училища и части войск внутренней охраны. Но пришло утро 25 июня, а они все не подходили. Может быть, их бросили на другое направление или они не могли пробиться через кольцо окружения?

— Как бы там ни было, а нам надо драться, надо положиться на свои собственные силы, — сказал Бука. — Кое-что мы и сами можем.

Центр руководства перешел из помещения горкома партии в штаб противовоздушной обороны по Церковной улице, 18. Оттуда руководили теперь всей подготовкой обороны и самыми боями, когда они разгорелись снова. Под железнодорожным мостом, в районе старых фортов, был устроен командный пункт восточной группы.

Вторая серьезная атака немецких войск на Лиепаю началась утром 25 июня. Немцы наступали по двум направлениям — с юга и востока. Защитники города быстро разгадали уловку врага: атака с юга была только маневром, чтобы оттянуть силы защитников города от района завода «Тосмаре» в южный пригород. Главный удар был нанесен у шоссе Лиепая — Гробини.

В первый раз заговорили орудия и минометы. Под прикрытием артиллерийского огня немецкая пехота широкими правильными цепями наступала на позиции липайцев. Немцы шли во весь рост, крича и стреляя из автоматов. Они хотели ошеломить липайцев, подавить превосходством огневых средств, численностью. Казалось, ничто не в силах остановить эти живые механизмы. Ближе и ближе подходили они к окопам, не обращая внимания на потери, которые причинял им меткий огонь винтовок и автоматов.

Был момент, когда казалось, что фашисты вот-вот прорвут линию обороны, сметут заграждение, серо-зеленой волной хлынут в город. Уже некоторые группы короткими перебежками начали занимать новые позиции, прикрывая отход остальным. Повсюду рвались артиллерийские снаряды и мины, дробно, словно тысячи барабанов, тархтели автоматы, пули со свистом секли землю.

На место павших подходили люди из резерва. Новый удар смертоносного огня в металла обрушился на вторую линию обороны лиепайцев. Насыпь железной дороги Лиепая — Айзпуте они уже потеряли. Если их отожмут через шоссе, то гитлеровцы скоро зацепятся своими ястребиными когтями за первые дома пригорода.

— Ребята, дальше отступить некуда! — закричал Ояр. — Не пустим проклятых фашистов в город! Вперед, лиепайцы!

Забыв всякую осторожность, с искаженным от ярости лицом вскочил он на ноги и побежал навстречу немецким цепям. Слева и справа от него вскакивали сотни таких же отважных и стремительных бойцов.

— Гони их! Коли штыком фашистских дьяволов!

Так внезапен был взрыв этого гнева, так молниеносна контратака лиепайцев, что мастера психической атаки опешили. На один момент они остановились в замешательстве, тараша от удивления глаза, потом, позабыв всякое достоинство, показали спины и пустились бежать без оглядки. Много гитлеровцев осталось лежать на поле, не достигнув железной дороги, многие нашли свой конец на самой насыпи, а те, кому удалось перебраться через нее, продолжали бежать все дальше, хотя за ними даже не гнались, — только винтовочный огонь помогал редеть побитой, разбегавшейся толпе «завоевателей мира».

И снова наступила тишина. Снова была одержана победа. Отогнанный зверь зализывал кровавые раны и издали недоумевающе глядел на упрямый город, не желавший становиться перед ним на колени. Нет, это действительно не Западная Европа.

Лиепайцы тоже понесли потери. Они подобрали своих убитых и раненых и расположились на новых позициях вдоль железнодорожной насыпи. Там они оставались до темноты, а ночью снова заняли прежние позиции.

Два следующих дня продолжалось затишье, если не считать мелких стычек с разведчиками и налетов авиации. Враг нервничал, злился. Мирный город у Балтийского моря нарушил оперативный план, затормозил намеченные темпы продвижения и заставил кое-что изменить в распределении сил. Немецкому командованию стало ясно, что с наличными силами Лиепая не взять. Но напрасен был гнев генералов, напрасно командующий армией метал громы и молнии на головы командиров дивизий: лиепайский орешек был слишком крепок. Надо было искать щипцы. Скрежеща зубами, командование направило к Лиепаяе несколько дополнительных дивизий, подтянуло резервы из тыла, сконцентрировало артиллерию на восточном берегу Лиепайского озера. Кончалась первая неделя войны, а главная ставка Гитлера все еще не получала сообщения о взятии Лиепая.

Что делали защитники Лиепая? Они считали патроны и прикидывали, сколько раз еще можно будет выстрелить. Они построили через канал примитивный мост, чтобы в последний момент осталась хоть узкая полоска дороги к своим.

Наступило 28 июня. Под вечер начался третий, самый сильный штурм Лиепая. Несколько дивизий, при поддержке артиллерии и авиации, напали на горсточку героев, которые зубами и ногтями вцепились в свою землю и не отдавали ее. Неизвестно откуда взявшись, подошли вновь организовавшиеся группы защитников — рабочие с окраин, люди Мурниека и Силиса. Всю ночь длился бой. Железное вражеское кольцо все туже стягивалось вокруг города. Но Лиепая держалась. Каждый лесок, каждая рощица, каждая улица и дом становились полем боя.

29 июня немцы ворвались в Яунлиепая. Артиллерия через озеро обстреливала центр города. Авиация противника сбрасывала бомбы. На площади Роз бушевал пожар.

Всю ночь трещали автоматы на улицах Лиепайи. Лиепайцы держались до последнего патрона, плевали противнику в глаза смертоносным огнем, но перевес сил все больше давал себя знать. Те, кто успел, отошли к Военному порту и продолжали драться там. Кто не смог вырваться из города, укрепились на чердаках, не отдавая ни одного дома без боя. И только 1 июля замолчали последние гнезда сопротивления. В Лиепайе наступила тишина, жуткая и кровавая, как отсвет пожаров, полыхавших в центре города и в порту. Смердящий дым стоял над героическим городом. На мостовых валялись трупы. Гремя подкованными сапогами, злобно и тревожно оглядываясь по сторонам, крадучись, проходили завоеватели. Над развалинами сияло солнце, но его лучи не в силах были скрасить ужас этой картины. Только мирно сверкали синевато-стальные воды моря и волны легко набегали на прибрежный песок, где отдыхали на отмелях чайки. 7

После того как немцы ворвались в Яунлиепайю, Ояр Сникер вместе с остатками своей роты отступил к Военному порту и продержался там весь день 29 июня. Бука был ранен еще 28-го. Решено было с помощью нескольких товарищей вывести его из окружения. Ночью они двинулись к северу, чтобы до рассвета перебраться через канал Военного порта.

Ни Ояр, ни другие больше его не видели. По одним слухам, Бука был вторично и тяжело ранен у самого моста, дальше идти не мог и, не желая сдаваться в руки немцам, застрелился. По другим — он упал от вражеской пули на берегу канала, и товарищи, сочтя его убитым, положили в придорожную канаву, а сами ушли. Айзсарги опознали Буку, приволокли в город и через несколько дней одним из первых расстреляли на прибрежных дюнах — в том месте, где впоследствии было расстреляно несколько тысяч лиепайцев. Как бы там ни было, но этот потомок лиепайских грузчиков, как истый советский патриот и герой, руководил борьбой родного города против векового врага; в этой схватке гитлеровские дивизии узнали, что такое крепкий кулак латышского рабочего. Так он на вечные времена вписал свое имя в историю, ибо лиепайская легенда немыслима без Микеля Буки.

В диске автомата не было больше ни одного патрона. Ояр вскинул его на плечо — в будущем бою он мог еще пригодиться как хорошая дубина. Остался еще пистолет «вальтер» и пять патронов. «Четыре пули — немцам, последнюю — себе», — подумал он, уходя вечером с четверьмя товарищами из Военного порта на север. Когда кончились все боезапасы, защитникам Лиепайи не было никакого смысла держаться вместе. Они уговорились разбиться на мелкие группы и порознь выходить из окружения. От усталости люди еле держались на ногах. Давали себя знать проведенные без сна ночи. Кое-кто заговорил о самоубийстве, о сдаче в плен. Голодные, оглушенные взрывами гранат и мин, дошедшие до последней степени нервного напряжения, они на все смотрели угрюмым, тупым взглядом. Прошедшая неделя взяла слишком много, им казалось, что они уже не способны на последнее усилие. Был ли какой смысл в том, чтобы что-то делать, куда-то идти? Может, немцы уже в Риге, Ленинграде, под Москвой! Есть ли место, где их ждут свои?

— Выдержим еще одну ночь, — старался подбодрить их Ояр. — Как стемнеет, будем выходить из окружения, найдем спокойное, безопасное место и выспимся за целую неделю. Вот тогда лучше будет видно, что делать. Остаться здесь — это смерть... и не в бою, а от руки палача. Терять нам больше нечего, ребята, а приобрести мы можем все — жизнь, силы для новой борьбы и победу. Только одну ночь еще. Неужели не выдержим?

— Ладно, Ояр, чего там с ними долго разговаривать, — сказал Акментынь, боцман с землечерпалки. — Кто тоскует по немецкой виселице, пусть остается. Кто хочет драться, пусть идет с нами. Пошли.

Но когда они поднялись и зашагали к темнеющей, покрытой валунами, можжевельником и редкими сосенками равнине Курсы, не выдержали и остальные. Пятеро смертельно уставших людей гуськом, друг за другом, потянулись на север.

«Хоть бы ночь была потемнее, — думал Ояр. — Нам бы сейчас маленький ветерок и теплый летний дождичек! Тогда не пришлось бы остерегаться каждого кустика».

Во всяком случае до утра надо было миновать эту узкую полоску земли, между морем и озером Тосмаре. Здесь они чувствовали себя, как зайцы на просеке. Позади полыхало пламя горящего города. Изредка слышался одинокий выстрел, короткая очередь автомата, и снова тишина, снова однообразная пустынная полоса, и на ней пятеро смертельно уставших людей. Если кому случалось зацепиться за пень и упасть, проходила минута, пока он снова поднимался на ноги. За это время остальные уходили на десять шагов вперед, и отставшему надо было догонять их.

Они шли час, может быть два, как вдруг из-за кустов их обстреляли из автомата и нескольких винтовок.

— Не останавливаться! — крикнул товарищам Ояр. — Вперед, ребята, бегом!

Неизвестно, откуда у них взялись силы. Низко пригибаясь, почти касаясь руками земли, они пробежали около ста метров. Сзади продолжали стрелять. Когда миновали кусты, вспыхнули огоньки и с другой стороны. Они попали под перекрестный обстрел.

Еще минута сверхчеловеческих усилий — и они очутились в небольшой роще. Выстрелы еще раздавались, но пули свистели в стороне. Очевидно, немцы уже не видели беглецов и стреляли наудачу.

— Все здесь? — тихо спросил Ояр.

Первым отозвался Акментынь, потом кузнец Звиргзда с «Красного металлурга», кашлянул молодой техник Натансон, только месяц тому назад отпраздновавший свою свадьбу. Не было лишь Луяна, бухгалтера с фабрики.

— Убит, — сказал Акментынь. — Мы бежали рядом, пуля попала ему в голову.

Они подождали — не послышится ли стон раненого, и внимательно вгляделись в ночную темень. Все было тихо.

— Кажется, это последний пояс огня, — прошептал Ояр.

— Мне тоже так кажется, — подтвердил Акментынь. — Немецкие посты между морем и озером. Если это так, мы вышли из окружения.

— Бедный Луян, — сказал Натансон. — В самый последний момент... Если он не убит, они его прикончат.

— Еще неизвестно, как мы выберемся, — мрачно покачал головой Звиргзда.

— Если промешкаем здесь до утра, немцы нас наверняка сцапают, — сказал Ояр. — Пошли, товарищи.

Они шли всю ночь, сначала на север, потом на северо-восток, и к утру достигли лесного массива, через который проходило шоссе. Метров за сто от шоссе, в густом ельнике, выбрали место для отдыха, растянулись на мягком мху и заснули как убитые. Спали они целый день, изредка просыпаясь на мгновение, переживая еще раз во сне события прошедшей недели. Моторизованная немецкая колонна у шоссе, идущие по открытому полю цепи пехоты, горящий город, убитый посреди улицы мальчик, вой сирен и омерзительный гул «юнкерсов»... Все горит, все звенит, воет. Черный дым и красное пламя заволакивают мир... Какая-то женщина бежит по улице и громко хохочет, машет руками и хохочет без конца. Потом она исчезает, и у моста через канал Ояра встречает Рута. «Где ты так долго

пропадал? Я ждала тебя весь день. Пойдем домой, Ояр... Тебе надо принять ванну, ты такой грязный...» — но и сама она вся серая от дыма. Непонятно, как она сюда попала, в эту мрачную пустыню. На ней черное атласное платье. И снова гром, снова и снова виденья. Смерть ходит по полю и собирает ягоды. Длинными, костлявыми пальцами собирает бруснику и бросает себе в рот.

Когда Ояр проснулся, солнце уже садилось между стволами деревьев. Приближался вечер. Автомат намял бок. Поодаль, на гнилом пне, сидел Акментынь и, улыбаясь, глядел на Ояра.

— Хорошо выспался? Пора вставать. Дорога у нас дальняя.

Ояр поднялся на ноги и стал потягиваться. Ужасно хотелось есть, но напрасно он обыскивал свои карманы. Последние крошки были съедены еще вчера.

Акментынь продолжал улыбаться.

— Что, урчит в животе? Своей порции требует? На, испей водички.

Он протянул Ояру плоскую алюминиевую флягу. Свежая, вкусная вода...

— Где ты ее достал? — спросил Ояр, сделав несколько глотков. Сразу стало легче, только голова была еще тяжелой от долгого сна.

— Тут недалеко есть маленькое озеро, — ответил Акментынь. — Слышу, в той стороне запел петух, даже разбудил, стервец. Где петух, там должен быть и дом. Я пошел поглядеть. Так и есть: малюсенькая хибарка на самой опушке, на лавочке кот и старая бабушка. «Как же ты, бабуся, одна здесь живешь? Где же молодежь?» — спрашиваю. «Эх, сынок, ничего не поделаешь — война ведь. Сын с дочерью ушли с Красной Армией». — «А ты чего же не ушла?» — «Да так уж, сынок, кому-нибудь надо за домом присмотреть. И куда уж мне, с моими старыми ногами? Не хочется помирать посреди дороги. Лучше уж на своем дворе».

— Новоселы? — спросил Ояр.

— Ясно. Старушка дала целый каравай хлеба, наложила в берестянку творогу. И еще накормила. Так что этот хлеб вам троим.

Он подошел к спящим, похлопал по плечу Звиргзду, пощекотал затылок Натансону. Через несколько минут они сидели вокруг пня и уплетали большие ломти хлеба. Ели жадно, набивая полон рот, пока не утолили голод. Теперь можно было поговорить по-человечески.

Ояр разложил на земле карту, и они с полчаса изучали ее.

У Звиргзды в Айзпутском уезде жила сестра. Он решил двинуться в ту сторону и некоторое время скрываться у нее, пока не станет ясно, что собственно творится на свете. Натансон согласился присоединиться к нему. Они тут же и попрощались. Ояр с Акментынем посидели немного в ельнике, а когда наступили сумерки, пошли. Их путь шел на восток, к своим, через леса, болота и реки, мимо крестьянских усадеб. Дойдут ли они, и когда это будет? Весь мир полон опасностей и неизвестности. Идти они отваживались только по ночам, издали обходя большие усадьбы и дома лесников, чтобы не попасться в лапы айзсаргам. К утру они выбирали надежное убежище в лесной чаще или где-нибудь на островке среди болота. Крестьяне охотно делились с ними куском хлеба.

«Где ты сейчас, Рута? — думал Ояр, глядя в темноту зоркими, как у ночной птицы, глазами. — Как тебе живется? Увижу ли я еще тебя?»

Сильнее чем когда-либо хотелось ему сейчас быть возле нее и охранять от всех опасностей.

В то солнечное летнее утро, когда рижские рабочие, ничего еще не зная об исторических событиях на границе Советского Союза и Германии, спокойно шли на работу; когда по берегам рек, где луга побогаче, крестьяне, звеня косами, вели широкий вал срезанной травы; когда дети с веселым гомоном играли во дворах больших городских домов или строили на песке прибрежных дюн чудесные сооружения и беззаботно наблюдали за чайками, чьи белые крылья сверкали над тихим пляжем, — в то теплое июньское утро на границе уже гремели бои, стальной дождь обильно поливал порог советской земли и сеял смерть. С беспримерным героизмом дрались советские пограничники, принимая на себя первый предательский удар врага, и бесстрашно, презирая самую смерть, шли навстречу залпам артиллерии и минометов, навстречу танкам. Не дрогнули сердца защитников советской Родины, несмотря на очевидный перевес сил нападающего, их мужество творило чудеса, расстроившие уже в самом начале войны выработанный генеральным штабом Гитлера график.

Скоро в борьбу включились регулярные части Красной Армии. Образовалось несколько главных узлов сопротивления, наметились направления главных ударов сил противника. Постепенно стало ясным, что первоначальное преимущество внезапного и предательского нападения гитлеровских полчищ не даст тех результатов, на которые надеялся германский генеральный штаб. Против Москвы и Ленинграда были направлены острия огромных клиньев, но между Москвой и передовой линией неприятеля находились Минск, Могилев, Смоленск и Вязьма; между Ленинградом и Восточной Пруссией были Шауляй и Даугавпилс, Остров и Старая Русса, Таллин, Луга и Новгород. И острия клиньев, при нажиме на восток и северо-восток, крошились, тупились с каждым километром; начальные темпы продвижения с каждым днем становились медленнее.

Главный удар германской армии в северо-восточном направлении скользнул мимо большей части Советской Латвии, задевая только ее восточную часть — от Даугавпилса, мимо Резекне и Абрене, к Острову. Там шел гул грандиозной битвы, горели села и города, по ночам небо наливалось зловещим красным светом. Там сражались за каждую пядь родной земли полки и дивизии Красной Армии; и еще долго после того, как громадный военный вал откатился на восток и северо-восток, тысячи разбитых и расплавленных вражеских орудий и танков свидетельствовали о ярости прошедших здесь битв. Бои на Земгальской равнине, около Риги и Лиепаи, имели только второстепенное значение. Ни рижане, ни лиепайцы этого не видели, а в те трагические дни не могли и знать этого; поэтому у многих в то время создавалось неправильное представление о силе сопротивления Красной Армии и ходе развивающихся военных действий. Когда пришло время, об этом узнали и жители Риги и Лиепаи, и тогда им стало понятным то, что казалось странным и неясным в июньские и июльские дни.

27 июня, когда началась эвакуация учреждений и жителей Риги, Ингрида Селис получила у Аи разрешение поехать на Взморье за братом. Имант был прикомандирован на летние каникулы к одному из пионерских лагерей как помощник вожатого. Мать хотела уехать из Риги с обоими детьми, но до возвращения Иманта она слышать не хотела об эвакуации. Сама за ним съездить тоже не могла: она заведовала большой прачечной и теперь должна была срочно ликвидировать предприятие: вернуть клиентам сданное в стирку белье, отослать документы, отправить рабочих. Последние дни она была так занята, что даже не ночевала дома.

Поезда на Взморье больше не ходили. Ингрида сговорила с шофером одного учреждения, которого в тот день посылали за персоналом какого-то дома отдыха, второй день нервничавшим в Дзинтари. Около полудня они выехали из Риги.

Грузовик с большим трудом подвигался вперед: шоссе до самой Лиелупе было забито отходящими войсками и беженцами. Нескончаемой вереницей тянулись колонны пехоты и

обозы, артиллерийские батареи, грузовые машины с боеприпасами и обмундированием, толпы людей шли с котомками за плечами. Кое-где можно было увидеть крестьянина с возом скарба и привязанной к нему коровой. Шоссе гремело и пылило. Скрипели и визжали несмазанные колеса.

Шофер лавировал среди этого потока, но за первый час ему удалось проехать не больше десяти километров.

— Куда ты, чудак, продираешься? — кричали на него встречные. — Поворачивай назад, немцы уже в Слоке.

— Нельзя ли побыстрее? — поторопила шофера Ингрида. — Как бы не опоздать.

— Нельзя, дочка, — хладнокровно возразил шофер. — Если буду гнать без разбора, нас столкнут в канаву. Да ты не волнуйся, к вечеру будем на месте.

— К вечеру поздно. Вы ведь слышали, что немцы уже в Слоке?

— Ну и что из этого! — усмехнулся шофер. — Разве немцы не люди?

— Как вы можете так говорить? Сюда идут враги, фашисты. Они несут нам гибель и смерть.

— Как кому, дочка, — продолжал усмехаться шофер. — Таким, как ты, приятного, конечно, мало. Ну, а мне-то чего тревожиться? Я семь лет проездил шофером у немецких господ. Уж они-то, наверно, опять приедут. И язык немецкий знаю.

Километра за два до моста через Лиелупе дорога стала свободнее и можно было ехать быстрее, но кто-то из встречных сказал, что на левый берег не пропускают ни одной машины: мост минирован и его в любой момент могут взорвать.

— Тогда и ехать дальше не стоит, — решил шофер. — Я поворачиваю обратно в Ригу.

Ингрида не стала больше его уговаривать. Сошла с машины и направилась дальше пешком. Через полчаса она была уже у моста. Встречный сказал правду — в сторону Взморья через мост не пропускали ни одной машины. Ингриду тоже не хотели пустить. Но когда она рассказала, зачем и куда идет, и показала свой комсомольский билет, начальник охраны моста уступил.

— Вы поторопитесь, иначе не успеете вернуться до взрыва. Мы дожидаемся только одной артиллерийской части, а когда она перейдет, мост будет взорван.

Беженцы и красноармейцы подозрительно оглядывались на девушку, которая бегом спешила на запад.

«Наверно, решили, что я встречаю немцев», — подумала Ингрида, и ее в жар бросило от этой мысли. Выйдя на главный проспект, она поспешила в Булдури. На улицах было безлюдно, всюду царил мертвая тишина. Только в каком-то садике, возле дачи, возился у своих цветов садовник, чистил грабельками дорожки или скашивал подросшую траву.

Еще полчаса быстрой ходьбы, и Ингрида была у пионерского лагеря. Повисший от безветрия флаг устало льнул к шесту. Прохаживавшиеся перед домом двое ребят внимательно посмотрели на Ингриду.

— Вызовите ко мне, пожалуйста, Иманта Селиса, — обратилась к ним Ингрида. — Скажите, что приехала сестра, пусть он сейчас же выйдет.

Один из пионеров молодцевато отсалютовал, повернулся и военным шагом направился

вглубь сада. Ингрида разговорилась с оставшимся мальчиком.

— А вы разве не собираетесь уезжать?

— Куда? — не понял мальчик.

— Ну, отсюда, от немцев.

— Разве немцы уже здесь? Руководительница говорит, что люди только зря болтают.

— Вот как? Значит, вы думаете еще оставаться?

— Здесь нам очень хорошо. Каждый день купанье в море, разные игры. Мне здесь нравится.

— Кому же не нравится, дружок, — грустно улыбнулась Ингрида. — Если бы не война, можно было бы провести здесь все лето.

Из-за угла дома показался Имант — в трусиках, загорелый, как индеец. Он еще издали заулыбался, увидев сестру.

— Здравствуй, Ингрида. Приехала покупаться в море? Можно пойти хоть сейчас. Вода как парное молоко.

— Нет, Имант, сейчас нам не до купанья, — тихо ответила Ингрида. — Я за тобой приехала. Соберись побыстрее, нам надо сейчас же двигаться в путь.

— В какой путь? — раздался с крыльца визгливый голос. — Что вам здесь нужно, гражданка? Какое вы имеете право нарушать лагерные порядки в мертвый час?

— Разрешите... — смущенно начала Ингрида. — Я приехала за своим братом Имантом Селисом. Он дольше не может здесь оставаться, и мне кажется, что вам тоже следовало бы разбудить всех ребят и возвратиться в город.

— Зачем я буду это делать? — Женщина сошла с крыльца и строго посмотрела на Ингриду. — Кто вы такая?

Это была сухопарая особа лет под сорок, типичная старая дева. Судя по красноватым припухшим векам, она только что проснулась.

— Я работаю в райкоме комсомола, — ответила Ингрида.

— Это начальница нашего лагеря, — шепнул Имант.

— В райкоме комсомола? — Начальница критически осмотрела Ингриду. — Тогда вам должно быть известно, какой порядок заведен в пионерских лагерях.

— Неужели вы живете вне времени и пространства? — возмутилась Ингрида. — Так ничего еще и не слышали о войне?

— Я знаю, что Советский Союз воюет с Германией, но это еще не значит, что мы должны нарушать лагерные порядки.

— Вы не имеете права оставлять здесь детей ни на один час! — выкрикнула Ингрида. — Ригу эвакуируют. Вот-вот взорвут мост через Лиелупе. Если вы сейчас нее не соберетесь в дорогу, весь лагерь попадет в руки немцев.

— Мне об этом ничего не известно, — бесстрастно ответила начальница, как будто это не имело к ней отношения. — Мне никаких указаний не дано. Пока мне не прикажут, здесь все

останется по-старому.

— Но другие лагеря уже эвакуируются.

— Их дело. За этот лагерь отвечаю я. А вас я попрошу не поднимать паники и поскорее покинуть территорию лагеря.

— Тогда позвоните в Ригу своему начальству. Ведь у вас есть телефон?

— Со вчерашнего дня не работает.

— Вот видите. Такое время, а вы даже не подумали о том, как наладить связь с Ригой.

— Если начальство найдет нужным, в лагерь пришлют нарочного.

Столпившиеся вокруг них ребята с серьезными лицами следили за этим разговором.

Ингрида поняла, что имеет дело с чужаком, что начальница лагеря ждет прихода немцев. Не было никакого смысла убеждать и уговаривать.

— Вы действительно ничего не сделаете, чтобы эвакуировать детей?

— Пока не получу из Риги распоряжения, здесь все останется по-старому. Не трудитесь убеждать меня.

— Ну, хорошо, — сказала Ингрида. — Я позабочусь о том, чтобы вы вечером же получили распоряжение о выезде. А мой брат поедет со мной сейчас.

— Иду, Ингрида, — откликнулся Имант и побежал собираться.

Через четверть часа они вышли из лагеря. Двое ребят по-прежнему прохаживались перед домом, охраняя покой пионеров, а на веранде в удобной качалке дремала начальница, пользуясь законным часом отдыха.

У Ингриды сжалось сердце, когда она подумала об оставшихся в лагере детях.

— Давай пойдем быстрее, Имант. Надо позаботиться, чтобы пионеров сегодня же вывезли отсюда.

Глухой взрыв раздался за лесом. В дачах зазвенели оконные стекла.

— Бежим, Имант, может, еще не опоздали.

— Ладно, ладно, Ингрида, ты сама беги, я не отстану.

Когда они добежали до Лиелупе, то не увидели там ни души. Ни на том, ни на другом берегу не было ни одного красноармейца, ни одной машины. Оба моста были взорваны. У берега не осталось ни одной лодки. Только на середине реки колыхалась переполненная людьми зеленая лодка. Неопытные гребцы медленно подвигали ее вперед, к правому берегу.

— Товарищи, подождите! — крикнула Ингрида. — Возьмите и нас с собой!

Никто не оглянулся. Когда лодка пристала к берегу, люди выскочили из нее и заспешили к лесу. Лодка врезалась килем в песок.

Брат с сестрой переглянулись.

— Что нам теперь делать? — заговорил Имант. — Значит, не переправимся?

В воздухе опять загудели моторы «юнкерсов» и «мессершмиттов». Они направлялись бомбить Ригу. На дороге показалась кучка вооруженных людей. Некоторые были в штатском, а несколько человек — в зелено-серой форме айзсаргов. Воровато оглядываясь, они шли к берегу не спеша, даже как будто умышленно медля. В руках у них были винтовки.

Ингрида сразу заметила, что это айзсарги.

«Шакалы выползли», — подумала она. Потом схватила за руку Иманта.

— Бежим отсюда! Может, они не заметили нас.

Низко нагибаясь, держась за руки, спешили они вдоль берега, вверх по течению. Немного поодаль рос высокий тростник. Там они и спрятались. 9

Днем Маре позвонил Калей.

— Сегодня в десять часов вечера мы уезжаем. Машина будет ждать у райкома партии. Вы ведь тоже едете?

— Конечно, товарищ Калей. Можно что-нибудь взять с собой?

— Только то, что сами донесете. Кто знает, как мы будем ехать... На всякий случай надо рассчитывать на то, что придется идти пешком.

— Понимаю, товарищ Калей. В девять часов буду у райкома.

Время у нее еще оставалось. Мара быстро собрала документы, бумаги, письма и дневники. Часть сожгла, кое-что сложила в стопку и обернула газетой. Это были фотографии родных, близких и самой Мары в разных ролях и вырезки из газет. Самые ценные вещи она упаковала в маленький чемодан — это останется у родителей. В дорогу взяла несколько смен белья, чулки, носовые платки и запасную пару туфель. Потом переоделась в серый костюм, обула прочные ботинки на низких каблуках, голову повязала пестрым шелковым платком. Заперев квартиру на ключ, она направилась к родителям.

В центре города раздались выстрелы. Стреляли и на улице Свободы, по которой двигались отходящие войска и массы беженцев. Мара шла узкими боковыми улицами и скоро добралась до квартиры родителей.

Они ничуть не удивились, когда Мара объявила им о своем отъезде.

— Правильно делаешь, — сказал старый Павулан. — Тебе никоим образом нельзя оставаться. Будь мы с матерью помоложе, тоже ушли бы. Да куда же нам, старикам? Задавят на дороге. Неужели каждого что ни на есть простого человека будут вешать?

— А как же с имуществом, Марочка? — забеспокоилась мать. — Так все и бросишь? Беда-то какая! Человек трудится целый век, копит, хлопочет, а настал недобрый час — и все прахом идет.

— Не стоит огорчаться из-за этой рухляди, мама, — ответила Мара. — Это все можно будет приобрести, когда война кончится. Сегодня надо думать о жизни, о чести народа. Я и не то готова потерять, лишь бы не пресмыкаться перед фашистами.

Но не так-то легко было успокоить мать.

— Отец, возьми ты ручную тележку, — сказала она. — Съездим к Маре на квартиру и перевезем что получше. Разве можно оставлять одежду чужим людям? Посуду, картины тоже надо перевезти. Пусть побудут у нас, пока Мара не вернется.

— Не стоит, мама, — возразила Мара. — Немцы начнут доискиваться, и если найдут у вас — беда будет.

— Мы так запрячем, что не разыщут, — настаивала на своем мать. — Собирайся, собирайся, отец! Знаешь, что у Мары времени нет. А ты, дочка, побудь пока здесь, отдохни перед долгой дорогой. Мы с отцом все сделаем.

Старый Павулан поднялся и пошел за тележкой.

В половине восьмого они вернулись. Тележка была полна вещей. Можно было с уверенностью сказать, что ни в гардеробе, ни в буфете ничего не осталось. Картины старики Павуланы завернули в ковер.

Наблюдая за их хлопотами, Мара удивлялась своему равнодушию. Какими лишними и ненужными казались ей сегодня эти вещи! Старики походили на крестьян, пытающихся спасти во время бури охапку сена, которую уносит вихрь. Ну пусть уж, если это доставляет им какое-то удовлетворение.

— Когда вам будет трудно, вы долго не раздумывайте, — сказала она. — Продавайте все, только голодными не сидите.

— Разве уж такие времена настанут, что мастеровой человек не сможет заработать на кусок хлеба, — ответил отец. — А ты за свое имущество не беспокойся. Мы потом еще разок сходим. Там еще много хороших вещей.

— Зеркала, занавески, подушечки с дивана... — начала перечислять мать. — А какие красивые книги. Зачем мы будем чужим людям оставлять? Если иначе нельзя, зароем в землю, а немцам не дадим.

Пришла пора прощаться. Отец поудобнее пристроил Маре за спину дорожный мешок. Долгие пожатия дрожащих рук, последние поцелуи и взгляд влажных, покрасневших глаз...

— До свиданья, родные. Ждите с победой. Мы обязательно победим!

Часы показывали начало девятого. Пройдя немного по улице, Мара услышала стрельбу в центре города. Где-то в направлении первой городской больницы или чуть подальше заговорили автоматы и винтовки. Неизвестно почему, в дневное время в воздух поднимались ракеты. «Немцы? Пятая колонна?»

Что-то там происходило.

Дальше улицы Мира нельзя было пробраться. По улице Свободы двигалось несколько легких танков. Стрельба усилилась, похоже было на настоящий бой. Мимо Мары пробежали испуганные люди. Громко плакали женщины. Мужчины беспокойно оглядывались и спешили дальше.

— Вы чего здесь стоите! — крикнул Маре какой-то милиционер. — Хотите, чтобы вас пристрелили или задавили?

— Что тут происходит? — спросила Мара.

— Диверсанты спрятались на чердаках и обстреливают улицу. Пятая колонна... Ну, наши зададут им жару!

Вдруг завывли сирены. Воздух вздрагивал от гула моторов и грохота зениток.

Стоять здесь не имело смысла. К райкому не пробраться. Похоже было, что именно там шла

самая ожесточенная стрельба. «А вдруг наши уже уехали? — подумала Мара. — Не будут же люди сидеть в открытой машине и дожидаться Мары Павулан. Не сумасшедшие же они!»

Она повернула направо и твердым шагом пошла к станции Брасла. Здесь было гораздо меньше людей. Постепенно стихала и перестрелка в центре города. Через час Мара достигла железнодорожного переезда. В половине одиннадцатого вечера, пройдя через Чиекуркалн, она добралась до шоссе Свободы, километра на два дальше ВЭФа и «Вайрога». Глазам Мары открылось страшное зрелище. На территории «Вайрога» бушевал пожар. Совсем недалеко горел новый двухэтажный дом, и странно было, что никто не думает тушить его. Даже обычной в таких случаях толпы любопытных не было. Сгоревшие машины и убитые лошади валялись на дороге. Недавно это место бомбили немецкие самолеты. Кровь, трупы, исковерканный металл, груды золы и повсюду запах гари. В сторону моста через реку Юглу тянулся нескончаемый поток людей, повозок и машин. Мара окунулась в этот поток.

Надвинулась ночь. Знойное, багровое от зарева пожаров небо нависло над Ригой. По окнам домов пробегали огненные блики. Гроыхали телеги, скрипел и визжал нагретый металл. Ездовые трубили, ругались и нахлестывали лошадей. Пешеходы молча шагали по обеим сторонам шоссе. Все в одном направлении.

У моста образовалась пробка. Машины, орудия и повозки стояли в три-четыре ряда. Регулировщики боролись с нетерпеливыми ездоками, рвавшимися вперед.

— Товарищи, соблюдайте порядок! — кричал усатый лейтенант. — Ну куда вы прете, черт вас дерит! Если не послушаетесь, велю сбросить вашу машину в реку.

Затор мало-помалу рассосался. Сначала пропустили тяжелую артиллерию, потом машины.

Перейдя мост, Мара пошла вдоль левой стороны шоссе. Там уже пешеходы протоптали по лугу тропинку. Шоссе курилось от пыли. С реки тянулся туман.

Впереди шла целая семья: муж, жена и мальчик лет шести. Они, видимо, надели на себя все что было из зимнего платья. У отца с матерью были большие узлы за спиной. В длинных брюках, коротком пальто, в зимней шапке, с шерстяным шарфом на шее, шагал между родителями мальчуган. Отец и мать держали его за руки, и он усердно перебирал ножонками, словно понимал, какая опасность ему угрожает. При виде этого ребенка, который молча, не жалуясь, шагал ночью по дорогам войны, у Мары сжалось сердце: «И тебе, малыш, надо бежать, спасаться... иначе тебя ждет гибель. За что ты должен нести это бремя на своих детских плечиках?»

У Баложской корчмы маленькую семью и Мару подобрали в какую-то армейскую грузовую машину. Красноармейцы помогли им взобраться и усадили на куче шинелей. Мальчик дышал часто, тяжело. Когда мать протянула ему кусочек хлеба, он покачал головой и не взял.

Колонна тихо продвигалась вперед. Они ехали всю ночь. Между Ропажами и Сигулдой их обстреляли из придорожного кустарника. Красноармейцы схватили винтовки, соскочили с грузовиков и окружили кусты. Минут через десять группа диверсантов — четыре немецких парашютиста и два айзсарга — была уничтожена. Захватив с собою трофеи — несколько немецких автоматов, два бинокля и планшет с документами, — красноармейцы вернулись к колонне, и она снова тронулась.

Один из красноармейцев протянул мальчику жетон, снятый с убитого диверсанта.

— Это тебе на память о первом бое. Сохрани и вспоминай, когда вырастешь, что это было ночью 28 июня.

Мальчик несмело улыбнулся, взял жетон, осмотрел со всех сторон и спрятал в карман.

— Вам не холодно, товарищ? — спросил Мару сержант. — Возьмите, накройтесь шинелью, ночью прохладно будет.

— Благодарю, — прошептала Мара.

Завернувшись в шинель, она в глубоком, тяжелом раздумье глядела назад, в сторону Риги. Они отъехали уже далеко, только у самого края горизонта можно было еще различить зарево пожара. Тяжелый грузовик слегка покачивало, но сон не шел. Всю ночь наблюдала Мара за потоком беженцев на шоссе.

Остановившийся на дороге автобус обступила толпа людей.

— Одолжите десять литров бензину, — обращались они ко всем проезжавшим. — У нас ни капли не осталось. Нельзя же оставлять немцу такой прекрасный автобус.

Молодой парень вел велосипед, на котором сидела девушка. Наверно, жена или сестра, а может быть, невеста... Мужчина тащил нагруженную вещами тележку, а жена и двое подростков подталкивали ее сзади. На заре Мара увидела молодую женщину с двумя маленькими детьми. Она сидела в придорожной канаве, прижимая к груди детей, и плакала. Почти каждая машина останавливалась и женщине предлагали место, но она устало качала головой и еще крепче прижимала к себе детей.

— Я больше не могу, не могу, не могу... — Как стон раненого, звучал сквозь слезы ее голос. Широко раскрытыми глазами, как безумная, смотрела она на людей, не видя их.

И машины ехали дальше.

«Где-то сейчас Жубур? — думала Мара. — Может быть, так же вот трясется по пыльной дороге... Или дерется на улицах Риги? Может быть, его уже нет».

Неизвестность, как огромная черная туча, нависла над людьми. И все казалось померкшим, даже яркое утреннее солнце.

«Неужели это возможно, что я никогда больше не вернусь сюда? — думала Мара. — Нет, нас нельзя победить. Мы выдержим бурю и победим. Ради этого стоит жить... Жить, чтобы бороться до победы...»

Колонна двигалась на северо-восток по Псковскому шоссе. 10

Целый день шли жаркие бои в Задвинье. К полудню гитлеровские войска подошли к Бишумуйже. Соединения Красной Армии и группы рабочей гвардии вступили в бой, как только немцы попробовали ворваться в город. Бок о бок с рижанами боролись рабочие Елгавы и Кулдиги, недавно прибывшие в Ригу. Весть о героических боях лиепайцев просочилась через фронт и долетела до Риги. Жубур рассказал об этом своей роте.

— Лиепайцы показывают пример, как надо защищать свой родной город. Разве рижане будут драться хуже их?

В этот тяжелый, решающий час Юрис, Айя, Петер и Силениек снова очутились вместе. И каждый привел с собой своих людей. Набережная Даугавы превратилась в поле битвы. На мостах были построены заграждения и баррикады из мешков с песком и камней. На правом берегу рабочие выламывали из мостовых камни и строили одиночные огневые позиции. Участники боев в Испании готовили бутылки с горючей смесью и учили новичков бороться с немецкими танками. Все были обвешаны ручными гранатами.

— А ведь тебе бы лучше всего уехать отсюда, — сказал Юрис Айе. — Скоро здесь такое пекло начнется, что свой своего не узнает.

— Вот это будет славно. Бросить своих комсомольцев, а самой — в тыл? Нет уж, милый, тебе не удастся сделать жену трусихой. Если придется уходить, уйдем все вместе. Где ты, там и я.

— Тогда по крайней мере не показывайся на берегу, — сердился Юрис. — И скажи своим девчонкам, чтобы они не совались куда не надо. Пускай сидят на своем перевязочном пункте и ждут, когда для них будет работа. Мы позовем.

— Ладно, Юри, я их отошлю отсюда, — сдалась Айя. — Но меня ты все равно не прогонишь. Я ведь ревнивая и всегда хочу знать, как ведет себя мой милый муж.

— Что ты, Айюк! — он легко пожал руку Айе и снова отпустил. — Будь покойна, стыдиться за меня не придется.

— Я знаю, знаю. Вот потому я и хочу быть с тобой. Ну, уступи, дружок, не гони. Ведь я стреляю не хуже тебя. Ты думаешь, у меня не хватит мужества?

— Ну зачем ты говоришь глупости? — перебил ее Юрис. — Я знаю, какая ты у меня. В этом все и дело... Не хочу я потерять тебя из-за глупой случайности.

— Я буду вести себя благоразумно. Не буду стоять во весь рост, когда начнется бой.

Петер с рабочими своего завода находился в Задвинье. Вечером, когда немецкие части оттеснили защитников города к Даугаве, он переправил остатки своей группы на правый берег и занял позиции у самого моста. Полчаса спустя и Жубур со своими людьми отступил через реку. Около восьми часов вечера начался бой. Понтонный мост был разобран. Железнодорожный мост взорвали в последний момент, когда первые немецкие танки появились на левом берегу. В то же время должен был взлететь на воздух и старый Земгальский мост, но взрыва не произошло: случайная пуля перебила электропровод. Видя, что старый мост еще держится, немцы бросились на него, но с баррикад по ним открыли такой пулеметный огонь, что передние группы не успели даже отскочить. Тогда немцы стали искать прикрытия за первыми домами Задвинья и вытащили на огневые позиции орудия. Через Даугаву на правый берег полетели снаряды, мины, град пуль. Защитники Риги отвечали пулеметным и винтовочным огнем.

Мост держался.

В тот вечер два раза пытались смельчаки соединить перебитый провод. Под огнем неприятеля саперы ползком пробирались на середину моста и искали оборванные концы провода. Первый был почти у цели, когда его настигла пуля. Полчаса спустя после него двинулся второй храбрец, но немцы поняли, в чем дело, и открыли такой огонь, что парень успел проползти не более тридцати метров и замер с простреленной головой.

— До наступления темноты нечего и пытаться, — решили защитники моста. И хотя в новых добровольцах недостатка не было, на мост их больше не пускали.

Бой продолжался. На набережной Даугавы рвались снаряды, взрывая мостовую и разрушая дома Старого города. Кровь рижских рабочих вновь полилась на мостовую родного города, свидетельствуя об их воле к борьбе и любви к свободе.

Комсомолки Айи работали не покладая рук. Легко раненные сами приходили на медпункт, других приносили на носилках санитары. Хирург, участник боев в Испании, оперировал раненых вблизи места боя. Многие после перевязки снова брались за винтовки. Тяжело раненных отправляли на санитарной машине.

Артиллерия противника — сосредоточила свой огонь на здании штаба военного округа, пока

от него не остались одни развалины. Штаб уже давно переехал в другое место, погибло только одно из самых красивых зданий на набережной.

На улицах то здесь, то там раздавались предательские выстрелы пятой колонны. Поняв, что немецкие войска вот-вот ворвутся в город, предатели старались выслужиться, пока было время. Из-за углов и с чердаков они слали выстрелы в спины защитникам города. Они как шакалы выбирали одиноких и отставших раненых бойцов и рабочегвардейцев. Ночью они пускали ракеты, помогая немецким самолетам находить объекты. На них охотились милиционеры, красноармейцы, рабочегвардейцы, стаскивали их с чердаков, выволакивали из подвалов вместе с автоматами и пулеметами. С некоторыми приходилось расправляться на месте. Других передавали военному трибуналу, который судил их по законам военного времени. Для предателя мог быть только один приговор — пуля. Ах, как кусали пальцы их соучастники, читая по утрам на углах улиц приговоры военного трибунала! Самые хитрые, просидевшие в своих норах до конца июня в ожидании развязки, впоследствии проливали горькие слезы о нетерпеливых негодях, слишком рано высунувших головы из тайников, а продажные писаки пытались превратить их в героев и мучеников, фабрикуя вокруг них легенды. Но народ не поверил этой сказке: он-то видел свирепые морды этих «мучеников».

Наконец, под покровом ночи, удалось соединить концы оборванного провода. Но мост взрывать не спешили. Защитники города решили подождать, когда неприятель начнет новое наступление. Наблюдатели не спускали глаз с левого берега Даугавы, фиксируя малейшее передвижение частей. В воздух то и дело взвивались ракеты, освещая набережную. Наконец, около двух часов ночи с 29 на 30 июня на другом берегу зашевелились. Лязгая гусеницами, на мост въехала колонна танков. За ней показались мотоциклисты и пехота. Заговорила немецкая артиллерия, создавая огневую завесу для своих наступающих частей.

Когда танки достигли середины моста, на командном пункте включили ток. Мост сперва поднялся, подбросил в воздух танки, броневики и толпу солдат, затем обрушился всей своей тяжестью в реку. Старый Земгальский мост напоминал сейчас громадное допотопное животное с перебитым хребтом. Воды Даугавы уносили с собой тонущих немцев. На другом конце моста началась невообразимая паника. Мотоциклисты поворачивали машины обратно на берег, то же самое делали танки, давя гусеницами своих солдат. Проклятия, предсмертные крики задавленных, яростная ругань и лязг железа продолжались минут десять.

Однако некоторые танки в момент взрыва оказались на северной половине моста. У них остался один выход: двигаться вперед. На полной скорости они устремились на баррикады, раздвинули мешки с песком и выехали на берег. Один направился по насыпи прямо к вокзалу, два других свернули влево и, стреляя, понеслись в сторону Рижского замка. Но странно: от них не бежали, как когда-то в Польше или во Франции. Смельчаки с бутылками в руках бросались им навстречу, и минут через пятнадцать танки горели, как факелы. Когда экипаж танков выскакивал из машин, его настигали пули красноармейцев и рабочей гвардии.

Где-то около почтамта или вокзала защитники Риги покончили с третьим танком.

— Видала, Айя, как наши работают? — крикнул Юрис.

— Молодцы! Так и надо, Юри.

Припав к груде камней, они смотрели через реку и, когда при свете ракет замечали немца, прицеливались и стреляли. Вначале было страшновато, когда стали рваться снаряды и мины и то один, то другой из товарищей падал на камни мостовой. Некоторые не выдерживали, отступали под прикрытие домов. Но спокойствие и выдержка бывалых вояк скоро подействовали на новичков. Страх не помогал, страх не спасал. И хотя никому не хотелось умирать, железная логика борьбы диктовала линию поведения. Легче умирать среди

товарищей, которые делят с тобой борьбу и судьбу. Твое упорство будет жить в них, даже если тебя больше не будет.

Проходили часы, временами бурные, со смертоносным огнем, взрывами, обвалами разрушаемых домов и стонами умирающих товарищей, временами тихие, но именно поэтому еще более грозные. Ночь сменилась днем. Море огня, бушующего в Старом городе, соперничало с солнечным светом. Сгорела древняя деревянная башня церкви Петра. Языки пламени вырвались из-под крыши дома Черноголовых, словно дразня небеса.

Поняв, что в лоб Ригу не взять, немцы весь день 30 июня больше не делали попыток переправиться через Даугаву и развернули наступление на город с юга, стараясь окружить Ригу и отрезать обороняющимся частям путь к отходу. Тогда защитники столицы Советской Латвии поняли, что они свой долг выполнили и дальнейшая борьба за Ригу в этом месте бесцельна. Разбившись на несколько боевых групп, красноармейцы и части рабочей гвардии в ночь на 1 июля двинулись через Московский район из города. У Центрального рынка они еще раз вступили в бой с немецкой десантной группой, которая пыталась преградить им путь. Здесь Петера Спаре ранило в плечо. Аяя наскоро сделала перевязку, и, когда десантники были уничтожены, они продолжали отход. Здесь были Юрис, Жубур и Силениек, несколько комсомольцев, фабричные рабочие и грузчики порта. С оружием в руках, зорко всматриваясь в дома и переулки, утопающие в ночной тьме, они миновали предместье и вышли из города. Вместе с ними отходили последние части Красной Армии..

— Дай мне твой автомат, — сказал Юрис Петеру. — У тебя ведь плечо болит.

— Плечо что, — махнул здоровой рукой Петер, — сердце болит. Ведь мы уходим, оставляем нашу Ригу...

Все молчали. Оглянувшись назад, на огромный город, который широко раскинулся перед ними, местами погруженный в сумрак, местами — в красный клубящийся дым пожаров, они представили себе отцов и матерей, тысячи детей, женщин и седых стариков, которые не могли уйти сейчас и с ужасом, с тревогой ждали завтрашнего дня, не зная, что он принесет им.

— Слушай, седая Рига, — взволнованно сказал Юрис Рубенис. — Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы спасти тебя. Больше сделать мы сейчас не в состоянии. Жди нас обратно, — мы уходим для того, чтобы вернуться. И тогда горе тому, кто тебе причинит зло!

Аяя взяла его за руку.

— Идем, Юри, нам долго идти. Мы счастливее Риги, мы уходим к друзьям, к братьям. Но она услышит о нас!

Стиснув зубы, они шли дальше, чтобы миновать до зари открытую равнину. Они несли в своих сердцах ненависть к врагу и веру в победу.

Конец первой части

Примечания

«Яунакас Зиняс» («Последние новости»),

«Брива Земе» («Свободная земля») — рижские буржуазные газеты.

2

Беньямин-старший — крупнейший рижский книгоиздатель, миллионер.

3

Студенты-корпоранты — члены корпораций — реакционных организаций студенчества.

4

Зандарт — по-латышски судак.

5

Мазпулцены — детская организация «Крестьянского союза» — кулацко-фашистской партии в ульманисовской Латвии.

6

Комильтоны — товарищи по студенческой корпорации.

7

Яункундзе — барышня

(лат.).

8

Штиглиц — начальник агентурной службы охранного управления ульманисовской Латвии, гитлеровский шпион.

9

Здесь помещалось правление латышской социал-демократической партии, ставшей в буржуазной — доульманисовской — Латвии агентурой западноевропейских и американских империалистов.

10

Айзсарги — военно-фашистская организация латышского кулачества, ставшая опорой режима Ульманиса, а в годы Великой Отечественной войны — террористической и шпионской агентурой гитлеровских оккупантов.

11

Судетская авантюра — захват гитлеровской Германией Судетской области Чехословакии (1938), осуществленный при прямом поощрении Англии, Франции и США накануне второй мировой войны.

12

Возле города

Зилупе и железнодорожной станции

Индра проходила государственная граница Латвии и Советского Союза.

13

«Валяй-Берзинь» — прозвище Берзиня, министра общественных дел в правительстве Ульманиса.

14

Рыдз-Смиглы — один из ближайших соратников лидера польского фашизма Пилсудского. После его смерти (1935) — генеральный инспектор польской армии.

15

Бек — один из главарей польских фашистов. В 1932–1939 гг. — министр иностранных дел Польши, агент гитлеровской Германии.

16

Мосьцицкий — ближайший соратник Пилсудского и один из главарей польских фашистов. В 1926–1939 гг. — президент Польской республики.

17

Утаг сокращенное название штаба по репатриации немцев из Латвии.

18

Немецкий Юрьев день — то есть день переселения. В старой Латвии в этот день (23 апреля) батраки переходили от одного хозяина к другому.

19

МОПР — Международная организация помощи борцам революции — интернациональная организация, созданная в 1922 г. и оказывавшая помощь политическим заключенным — борцам за освобождение рабочего класса.

20

Пауль Калнынь — лидер латышских социал-демократов, яростный враг Советского Союза и коммунистической партии.

21

Таннер Вяйне — лидер финской социал-демократической партии, махровый реакционер, кооперативный деятель и крупный капиталист, яростный враг Советского Союза и пособник финских фашистов.

22

Лапуасцы — финская фашистская организация типа гитлеровских штурмовиков, получившая свое название от центра финляндского кулачества — района Лапуа в Эстерботнии.

23

Маннергейм Карл-Густав (1867–1950) — фельдмаршал финской армии, один из главарей финских фашистов.

24

На улице Альберта помещалась охранка ульманисовской Латвии.

25

Пура — мера объема, около 70 литров.

26

Стивидор — капиталист-предприниматель, финансирующий погрузочно-разгрузочные и складские работы в морском порту.

27

Парламентские времена — годы 1919–1934, предшествовавшие фашистскому перевороту Ульманиса, разогнавшего 15 мая 1934 года буржуазно-демократический сейм.

28

«Варонис» — рижская фабрика резиновых изделий.

29

Ахмет Зогу (род. 1895) — король Албании в 1928–1939 гг. В 1924 г. установил в Албании фашистскую диктатуру. Бежавший из Албании Ахмет Зогу является злейшим врагом албанского народа и продажным агентом американо-английского империализма.

30

Сметона — лидер литовской буржуазно-националистической фашистской партии таутининков. В тридцатых годах — президент Литовской республики, подобно президенту Эстонии

Пятсу — наемник гитлеровцев.

31

Фридрихсон — начальник охраны ульманисовской Латвии.

32

«Крестьянский союз» — так называлась латышская кулацко-фашистская партия, являвшаяся главной политической опорой правительства Ульманиса.

33

Полковник Калпак — командующий войсками буржуазной Латвии в период ее образования.

34

Зивтынь — по-латышски рыбка.

35

Форман — старший рабочий, бригадир грузчиков, ответственный за правильную укладку грузов в трюм.

36

Райнис — Ян Плекшан (1865–1929) — величайший латышский поэт и драматург, автор сборников стихов «Далекие аккорды синего вечера» (1903), «Посев бури» (1905), «Тихая книга» (1909), «Конец и начало» (1913), трагедий «Индулис и Ария», «Огонь и ночь», драм «Вей, ветерок!», «Золотой конь» и др.

37

Времена «становления» — так латышские буржуазные националисты именовали период образования буржуазной Латвийской республики (1919).

38

Янов день, день Лиго (24 июня) — латышский народный праздник, соответствующий дню Ивана Купала.

39

Аушкап — министр просвещения ульманисовского правительства.

40

Эдуард VII (1841–1910) — английский король в 1901–1910 гг., один из наиболее активных

представителей политики империализма накануне первой мировой войны.

41

Варфоломеевская ночь — массовая резня гугенотов — сторонников кальвинистской (протестантской) религии, выразивших интересы развивавшейся буржуазии, — осуществленная парижскими католиками в ночь под праздник св. Варфоломея 24 августа 1572 года. В «варфоломеевскую ночь» было уничтожено около 30 тысяч гугенотов во главе с их вождем адмиралом Колиньи.

42

Эзерклейши — родовая усадьба Ульманиса.

43

Пурвиета — старинная латышская земельная мера, около одной трети гектара.

44

«Циня» («Борьба») — центральный орган Коммунистической партии Латвии, основанный в 1904 г.

45

Шкот — снасть, натягивающая нижний угол паруса.

46

Спардек — палуба средней надстройки на судах.

47

Фальшборт — легкая обшивка борта судна выше верхней палубы.

48

Шпангоут — поперечное ребро судна, к которому крепится его наружная обшивка.

49

Уленшпигель — герой фламандского народного эпоса и романа бельгийского писателя Шарля Анри де Костера (1827–1879) «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзак».

50

Зандарт намекает на собственную фамилию (см. прим. 4).

51

Викенд (Week-end) (англ.) — конец недели, то есть конец субботы и воскресенье.

52

Конвент — место заседаний студенческой корпорации.

53

Фукс — младшая степень члена корпорации.

54

Филистер — почетный член корпорации.

55

Селоны, летоны, бевероны — члены корпораций «Селония», «Летония», «Беверония».

56

Олдермен — старшина корпорации.

57

Атлантик — псевдоним латышского буржуазного экономиста Балодиса.

58

Алуан Юрис (1832–1864) — латышский поэт, драматург и переводчик.

59

Блауман Рудольф (1862–1910) — один из крупнейших латышских прозаиков и драматургов, автор ряда реалистических произведений, живописавших латышскую деревню («Сорная трава», «Раудупиете», «Андриксон», «Индраны» и др.).

60

Бригадере Анна (род. 1861–1933) — латышская писательница, автор ряда стихотворений, новелл и пьес, драматической сказки «Принцесса Гундега и король Брусубарда» и др.

61

Порук Ян (1871–1911) — латышский поэт и прозаик, автор драмы «Гернгутеры».

62

Братья Каудзиты — Матис (1848–1939) и Рейнис (1839–1920) — сельские учителя, авторы романа «Времена землемеров» (1879), одного из лучших произведений латышской социальной сатиры.

63

Пиебалгская волость в Видземе — родина многих деятелей латышской национальной культуры.

64

Готовь, говорит, цыганскую кибитку для зайчат — игра слов. Закис — по-латышски заяц.